КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1931

КНИГА
ДЕСЯТАЯ - ОДИННАДЦАТАЯ

ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ'ЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ

№ 10—11

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

13-я типо-цинкография
„Мособлполиграфа“
Москва, Б. Дмитровка, 26
Уполн. главлита Б. 12281
Тираж 18200
Зак. 2548

Поэт и поэт

Роман в десяти картинах

С. Сергеев-Ценский

Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует,—
Они жрецы единых муз,
Единый пламень их волнует

А. Пушкин

Когда гремя и пламенея
Пророк на небо улетал,
Огонь могучий проникал
В живую душу Елисея.

. . . .

Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет!

Н. Языков

Картина первая

В 1837 году в январе месяце, а еще точнее — 26 января, при скупом уже предвечернем солнечном свете, в обширной комнате в квартире Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, приехавшей из своего пензенского имения понаблюсти за юным внуком, корнетом лейб-гвардии гусарского полка, этот самый корнет, Михаил Лермонтов, с увлечением пишет масляными красками картину: атаку русских гусар при взятии Варшавы.

В погоне за светом в комнате тяжелые гардины окон высоко подвязаны, но краски все-таки заметно жухнут и блекнут, и художник волнуется, поминутно отходя от картины и подходя к ней снова. Шея его подвязана платком, он в халате, с палитрой и муштабелем в одной руке и с кистью в другой; лицо у него худощаво, смугло, скуласто; чуть проступают усы... Большие черные глаза он часто щурит, прикладываясь к своей картине, и потом они вспыхивают вновь.

За фортепиано у внутренней стены сидит его друг, Раевский Святослав Афанасьевич, крестник Арсеньевой, лет на пять старше корнета Лермонтова, немного выше его, но уже в плечах, с густыми белокурыми волосами и небольшими баками, в форме мелкого чиновника военного ведомства из департамента военных поселений. Он бойко и умело перебирает клавиши.

Нервно морщась, говорит громко Лермонтов:

— Чорт! Как темнеет!.. Брось, пожалуйста, Слава, ты врешь жестоко!

— Вот тебе на!.. Вру?.. Почему вру?.. Я фантазирую, — необидчиво отзывается Раевский.

— Все равно врешь!

— Должно быть ты в рисунке врешь, а на меня валишь... — и, взявши еще несколько заключительных аккордов, Раевский подходит к художнику и говорит мягко: — Однако, Мишель, куда же все-таки так яростно скачут твои лошадки?

— Куда они посланы, туда и скачут, — отвечает Мишель с чуть заметной хрипотой в голосе.

— Насколько я вижу, в какую-то канаву, Мишель!

— Ряб-чик!.. «В ка-на-ву»!.. Это не канава, а крепостной ров!.. Знай это на будущее время: пригодится.

— Гм... Таких прекрасных лошадок и куда-то в ров. Значит, еще момент, и они сломают ноги?.. И шеи?.. И спины?..

— Одни сломают, другие перескочат... Зачем же мы с ними учимся брать барьеры?.. Отойди сюда, — ты застишь.

— Брр... Скверная штука война!.. Нет, не хотел бы я брать барьеры!..

— На то ты и рябчик... Не чувствуешь даже и красоты в этом?..

— Признаться тебе, Мишель?.. Нет!

— Врешь, чувствуешь!.. Это не пехтура, это — конница!.. Вот когда марширует пехота, — согласен, тут красоты мало... Ты, знаешь, говорят, царь заказывал Брюллову картину «Парад преображенцев», а Брюллов: «Ваше величество! — говорит. — Закажите мне какую-нибудь батальную картину: мало ли подвигов у русского оружия?.. Я готов и сделаю... Но в этих вытянутых носках у всех одинаково, в этом шаге учебном, каким люди никогда не ходят, в этих выпяченных грудях, подбитых ватой, — прошу меня извинить, — никакой красоты я не вижу»... Так и отказался.

— А царь что же?

— Осерчать изволили...

Но тут Раевский вдруг начал поспешно шарить по карманам, говоря оживленно:

— Совсем было забыл, а какую я для тебя прелесть откопал сегодня, Мишель!.. Куда засунул только, — не помню... Не даром же я — архивный юноша.. Нарочито для тебя списал, чтобы ты посмеялся... А,—вот оно... Слушай... Это для тебя, как художника, должно быть лестно... и поучительно... Это — книжка такая выпущена была в конце прошлого века, и вот заглавие: «Начертание для изображения в живописи пресеченной в Москве 1771 года моровой язвы, которое предлагает художникам Данило Самойлович... Санкт-Петербург, 1795 года».... Хорошо, Мишель?.. Вникни в наставление и пиши такую картину... Кстати, тут тоже есть лошадки... Генерал Петр Дмитрич Еропкин на коне... Князь Григорий Григорьич Орлов— на коне... А около них пехотный офицер с нижними чинами... Вблизи — монастырь и кладбище... Вдали — город Москва... Оттуда везут на телегах трупы... На самом же переднем плане — сам этот Данило Самойлович, который... который... сейчас... вот оно: «приспев к месту и расторгнув с надлежащей осторожностью одежду оного трупа великое находит на оном Чернобагровое (это — с большой буквы) пятно, что было также явным свидетельством и убеждением для самого начальника»... Представляешь?

— Это чтобы такую картину написать? — и чуть улыбнулся Мишель.

— Непременно!... Ведь сам Данило Самойлович на ней будет представлен... «Таковая картина, — он пишет, — будет сколь важна, столь и нова для Всероссийской империи и даже всей Европы, изображая страшилище, которое пагубнее всех народов»...

— Гм... Хорош!.. Кто же он был такой?...

— О, он!.. Я списал весь его титул... Вот: «Действительный статский советник, медицины доктор, государственный медицинский коллегии почетный член, при учреждениях карантинных черноморской медицинской управы инспектор, ордена Владимира 4-й степени кавалер»... Мало тебе? Вот кто такой был этот Самойлович!.. В небе должен быть изображен как раз над генералом Еропкиным преподобный Симон... Кстати, ты, художник, должен знать и как называются по латыни чумные язвы... Слушай: Corbunculos pestilentiales bubones pestilentiales et petechias...

— Ну его к чорту!

— Pestilentiales... Не хочешь писать картину на такую тему?... Зачем же я трудился, переписывал?.. Может быть это годится для твоего романа?

— Что-о-о?.. Для романа?..

— Да, для «Княгини Лиговской»... или как ты его вздумаешь назвать...

— Не буду я больше писать роман!..

— Как не будешь?.. Осерчать изволил?..

— Я буду писать картины... Ты, думаешь, я не могу стать вторым Брюлловым?.. Отлично могу!.. Лошадей я пишу не хуже, чем Орловский... А колорит..

Тебе, конечно, кажется, что этот колорит плох?

— Теперь мне ничего не кажется: смеркается... Я удивляюсь, как ты еще кладешь краски... Брось, Мишель, ты испортишь картину!..

— Пьесы мои никуда не годятся... С «Маскарадом» не повезло ты думаешь? Нет, это просто плохо, а цензура тут не причем...

— Мишель, ты сегодня чертовски не в духе.

И Раевский, вздумавши обнять его, кладет на плечи корнета руки, но тот сбрасывает их почти брезгливым движением.

— Оставь это, — говорит он скорее удивленно, чем обиженно, и добавляет вдруг: — наконец, я могу серьезно заняться музыкой... Ты думаешь, что я не в состоянии буду написать оперу.

— Нет, ты поэт, Мишель!.. Нет, тебя не хочу уступать я ни живописи, ни музыке!

Раевский говорит это горячо, но Мишель, нахмурившись вдруг, отзывается зловещим шопотом:

— А-а!.. Ты та-ак?.. Ты не хо-чешь?... Погоди, я сейчас вымажу тебе нос охрой!..

И он двигается на него, протянув вперед кисть, а Раевский с визгом вскакивает на диван, с дивана прыгает на кресло, потом сваливает на пол стул, прячась от Мишеля за фортепиано.

Но отворяется дверь и величавая, очень высокого для женщины роста, входит 64-летняя бабушка Лермонтова и говорит басистым медленным голосом:

— Что это у вас стук такой?.. Упало что-то, Мишель?...

— Это вот он!.. Тянулся в великие по-ы да упал, — отвечает сумрачно Ми-ель.

— Это он, он, крестная, а не я, — с до-счицким оживлением кричит Раев-ий, поднимая стул. — Хочу, говорит, ть Брюлловым, а в полк свой больше одной ногой!..

— У-у, ребята малые, — и рюши бе-ого чепчика медленно движутся три за вниз и вверх. — Да в полк я его и ма не пущу больного, а только что же ты все с красками, Миша?.. Брось уж, глаза не порть... Сейчас обедать будем... А горло как твое?.. Полоскал солью?

— Да вода в стакане холодная... чем полоскать? — ворчит Мишель, обтирая кисть.

— Сказал бы, чтобы теплой дали!.. Отчего же ты не скажешь?.. Где стакан?

Она находит стакан на мраморном умывальнике и добавляет: — Сейчас пришлю теплой, а ты руки вымой пока...

— Он сердит, бабушка, — хочет пошутить Раевский: — Лошади его в какой-то ров должны угодить, а ему их жалко, но совершенно ничего поделать нельзя!

— Вот вымажу тебе за обедом нос горчицей, — шепчет Мишель, а бабушка наклоняется к самому мольберту, рассматривая в разных направлениях картину и говорит с гордостью:

— А ведь хорошо, а?.. Не как-нибудь, а как следует хорошо!.. Так бы и Горбунов, твой учитель, пожалуй не сделал!..

И поцеловав внука в затылок и погладив его сутулую спину, она уходит со стаканом так же величественно, как вошла, высокая и прямая, в белом пышном чепце и в теплой на плечах шали.

— Знаешь, Мишель, Краевского я сегодня встретил на Невском, — оживленно говорит, чуть захлопнулась дверь за бабушкой, Раевский: — Непременно хочет свести себя с Пушкиным на-днях...

Мишель укладывает палитру в ящик, делая это неторопливо и размеренно, но вдруг рассерженно вскидывает голову:

— Я вовсе не просил его меня с ним сводить!..

— Вот так та-ак!.. Ну, это уже глупо, Мишель, — хоть ты меня и не извиняй!

— Глупо ли?... Или ты просто не понимаешь?

— Что же я должен понять?

— Не с чем мне знакомиться с Пушкиным! Понял?.. Он — Пушкин, а я?.. — Кор-нет!.. «Хаджи-абрека» напечатали... и только?... В мои годы Пушкин на всю Россию гремел!..

— Вот не ожидал! — удивляется Раевский. — Как не с чем?.. А дюжина тетрадок твоих стихов?

— Есть у всякого...

— А «Маскарад», «Казначейша», «Измаил-бей»?.. А «Сашка»?..

— Добавь еще «Уланшу», «Гошпиталь»... и прочее...

— Однако же Краевский говорил, что Александр Сергеич где-то видал твои стихи и хвалил их безмерно!

— Чтобы не обидеть Краевского, своего секретаря... Почему же Александр Сергеич не просит их у меня для «Современника?»

— Ну, еще бы просить, — когда ты всем говоришь, что не хочешь печататься!

— Оставь!.. Оставь, ты ничего не понимаешь!

— Не подымай тон, — тебе вредно!.. И вообще ты что-то позорно раскис сегодня!

В это время входит Ваня, молодой камердинер Лермонтова, и вносит стакан на подносе, говоря весело:

— Барыня приказали сейчас же полоскать, чтобы вода не простыла!

Мишель берет стакан и делает вид, что хочет окатить Ваню. Тот проворно отскакивает к двери, но Мишель кричит ему:

— Стой!.. Куда ты?.. Закрой дверь и говори: — Пушкин сегодня на балу у графини Разумовской будет?

— Не знаю... улыбается Ваня.

— Думай!.. Пока буду полоскать горло, — думай!

И закинув голову, Мишель полощет горло так долго, что не выдерживает Раевский:

— Будет! Захлебнешься!.. Что у тебя за легкие!..

Ваня смотрит, улыбаясь, то на Раевского, то на своего корнета и молчит, но очень строг и голос и взгляд Мишеля, когда выплюнув воду, спрашивает он его:

— Ну? Будет?.. Что же ты щеришься, как дурак?

— Почем же он знает, Мишель?

— Не твое дело!.. Говори, Ваня, будет?

— Позволите погадать на пальцах? — улыбается Ваня.

— Пошел вон! — выпихивает его корнет и захлопывает за ним двери.

— А откуда же ты взял, что Пушкин собирается на бал к Разумовской?

— Сегодня утром, когда ты был на службе, Краевский прислал записку.. Но все равно, — я не поеду!

— И не стоит, конечно... Куда тебе с больным горлом?.. Чтобы с бала да в могилу? И ты чорт знает до чего желчен сегодня!..

— У меня тоска!.. Ах, у меня такая тоска! — хватается за голову Мишель.— Что-то случится скверное!.. Ты представить не можешь, какая тоска!.. Ты увидишь, ты увидишь, — что-то случится страшно скверное!..

— Ну вот!.. Теперь уж ты и меня пугаешь!..

— С утра я не нахожу себе места... Встал, и хоть бы лечь опять и с головой под одеяло... Я, кажется, и захрипел с тоски... Не помню, чтобы я простудил горло... Нигде я не мог простудить горла... Мне его просто давит, как арканом... Давно со мной не было такого, — говорю это тебе, как другу... Кому-нибудь другому не сказал бы, постыдился, а тебе ничего... Вот ты увидишь: что-то случится неслыханно скверное!.. Ты увидишь!

— Мишель!.. У тебя даже и в глазах испуг!.. А ты еще хочешь ехать на бал! Нет, я скажу бабушке, чтобы не пускала!

Раевский говорит это, как старший младшему, с упреком и лаской, но Лермонтов вдруг вскидывается весь:

— Ка-ак?.. Ба-бушке скажешь?.. Да я из тебя... душу вытрясу!

И схватив в поясе Раевского, Мишель действительно трясет его с такою силой, что тот не шутя уже начинает кричать, и снова входит Арсеньева и всплескивает руками:

— Батюшки!.. Никак драку затеяли!..

— Он... с ума сошел!.. Душит!.. Бабушка! — выкрикивает Раевский, уже отпущенный Мишелем.

— Миш-ка!.. Ты что же это?.. То он болен, то он человека готов удушить!

Но Мишель подходит к ней, берет в руки концы теплой ее шали и говорит проникновенно:

— Бабушка!.. Ведь у вас тоже бывают предчувствия?

— У кого же их не бывает? Да бог с ними... И зачем они?..

— Я, конечно, тоже думаю, бабушка, что умнее всего предсказывать прошедшее: по крайней мере, тут уж не ошибешься!

Мишель выпускает концы шали и отворачивается к темнеющим окнам.

— Ох, что-то у тебя завелось сердечное! — догадливо кивает головой бабушка и к Раевскому: — Поди, Славушка, в столовую пока, поди, а он мне расскажет...

— Он, кажется, сломал мне два ребра слева, — ворчит, уходя, Раевский, а бабушка, оглянувшись на дверь, таинственно обращается к внуку:

— Ну, говори, не таись!.. А может быть что уж наделал, и того не скрывай: другие начнут говорить, — будет хуже!

— Сказать? — таинственно говорит, обернувшись, Мишель.

— Говори, говори, не таись!..

— Сказать? — еще таинственнее говорит Мишель, подходя к ней вплотную.

— Не Сушкова ли Катишь опять?.. Ведь она скоро, говорят, миллионщицей будет!.. Вот ты какую невесту упустил!..

— Ну, уж и миллионщица!.. Я это слышал, и мимо ушей прошло... Катишь — девица с большой фантазией...

— Не от нее же я слышала!.. Стала бы я девчонку слушать!..

— Да ведь весь Петербург ею взболтан: услышать немудрено.

— Долгоруков-князь, которого казнили...

— Василий Долгоруков... положил будто бы миллион в английский банк, а теперь, за сто лет, процентов наросло сто миллионов!

— Ну, уж сто не сто, а наросло-таки!

— Пусть будет сорок...

— Родство хоть у наследника, у Павла Васильевича, большое, все ж таки Катишь будет невеста богатая из богатых... А вот упустил!

— Бабушка!

— Будто бы с бумагами неуправка: не то сгорели, не то истлели, а вдруг можно будет выправить, как сенатор Кушелев говорил?.. Что ты тогда скажешь?

— Не будем, бабушка, предупреждать события... Миллионов пока еще нет, а Катишь Сушковой, матерой охотнице за мужскими сердцами, пожелаем всякого успеха.

— Э, дружок, а когда у нее миллионы-то заведутся, тогда уж ты ее, пожалуй, и рукою не достанешь... А что же ты мне так ничего и не сказал о своем сердечном!

— Сказать ли?

— Да уж что же от меня таиться?

— Оч-чень, бабушка милая, очень... хочу я обедать!.. У нас что будет сегодня... Дичь будет?..

— Ну, вот, опять ты за пустяки берешься!..

Бабушке все-таки хочется добраться до тайны внука, но неумолимо звучат за дверью молодые голоса Раевского и Краевского-журналиста.

— Куда ты стремишься? — говорит Раевский. — Там теперь серьезнейшее из серьезных...

— Да мне ведь только два слова сказать! — отзывается Краевский.

— Что они там? — недовольно оглядывается на дверь бабушка. — Вот же ведь и поговорить не дадут!..

— Это — Краевский! — обрадованно вскрикивает Лермонтов. — Входи же! Чего ты там!..

И он сам отворяет дверь и впускает Краевского, Андрея Александровича, помощника редактора «Журнала министерства просвещения», секретаря редакции журнала Пушкина «Современник» и редактора «Литературных прибавлений» к газете «Русский инвалид», плотного, бритого, уверенного в себе человека, одних лет с Раевским.

Очень почтительно целует он руку Арсеньевой, говоря:

— Я помешал, простите великодушно!.. Мне два слова сказать Мишелю и надо ехать...

— А обедать с нами?.. Сейчас обед у нас, — напоминает бабушка.

— Благодарствуйте, Елизавета Алексеевна, — никак не могу, и извощик ждет...

— Ну, как знаете... как знаете, коли так... как знаете!

И, недовольная, бабушка величаво уходит, не желая подслушивать, а Краевский говорит Лермонтову, понизив голос:

— Мишель, — я узнал наверное: Пушкин у Разумовской сегодня будет!..

— Это точно?

— Точнее точного... Приглашение ты получил, оно у меня... часов в девять заедешь за мною...

— Гм... Значит надо ехать?.. А я целый день не в себе... Я злюсь, как чорт... и, кажется, никуда не поеду...

— Что так?... Да ты и обвязан даже?.. Горло?.. Когда?.. Как жаль, что так вышло!.. А был бы случай тебя познакомить...

— Мне бы хотелось!.. Мне бы страшно хотелось! — горячо говорит Лермонтов. — Но я вот в каком-то глупейшем волнении весь день... Что Пушкин?.. Как он?

— А что именно?.. Была, кажется, какая-то семейная сцена, но это у него часто в последнее время... Все-таки, Мишель, ты болен или нет, говори правду?..

— Ну, пустяки!.. «Болен!»... Это — выдумка бабушки...

— Вот именно так я и думал... Тогда едем?

— Хорошо... Едем... Я не буду говорить с ним, — я только подойду и пожму ему руку... Не говори бабушке... Я уйду отсюда так, чтобы она не видала... Знаешь ли, мне хочется только посмотреть ему в глаза и пожать руку... Что я могу сказать ему?.. Я теперь насквозь пустой... Я пожму ему руку и отойду...

Входящий Ваня останавливается у двери и говорит уверенно и громко:

— Барыня к столу просят!.. Кушать подано!

Картина вторая

В тот же день, в десять часов вечера, в квартире графини Разумовской, в кабинете, из которого полуоткрыта дверь в сторону шумящего бального зала, сидят и курят пахитосы с длинными соломенными мундштуками два старых друга — маленький и подвижной, пятидесятилетний тайный советник, «архивная котомка», знакомец почти всех европейских знаменитостей, Александр Иванович Тургенев и поэт князь Петр Андреич Вяземский, а рядом с ними сенатор, древний звездоносный старец, зачесавший весьма аккуратно остатки пушистых белых волос снизу вверх на сияющее темя.

Кабинет освещен боковыми бра; шкаф красного дерева с новыми еще непереплетенными французскими книгами; три-четыре картины в пышных рамах.

Продолжая начатый раньше разговор, высокий, курносый, скуластый и значительно лысый для своих, еще не старых, лет Вяземский говорит старцу:

— Итак, барон, проект о повышении сенаторами жалованья с четырех до двенадцати тысяч рублей, по всей видимости, лопнул?

— Ра-зу-меется!.. Вы сказали: лопнул?.. Ра-зу-меется!.. Уже конец января...

И, пожевавши тонкими губами, тонко добавляет барон:

— Конечно, в воле его величества и с февраля ввести новые нам оклады...

— Нет-нет!.. Проект отставлен, — это мне известно доподлинно, — вмешивается Тургенев.

— А жаль!.. Недурной проект! — И Вяземский уже начинает щурить весело серые глаза, готовясь отпустить меткое словцо, но его предупреждает сенатор, понизив голос:

— Этот слух, признаться между нами, был мне о-чень по-до-зри-телен с самого начала!.. Вот!.. Не в таком блестящем состоянии наши финансы, чтобы... да... и притом постройки, предпринятые в этом году государем..

— Гм... Значит, теперь не се-на-тором, а стро-и-телем быть хорошо! — ласково наклоняется к нему Вяземский.

— А когда же плохо у нас было заниматься строительством? — любопытствует Тургенев.

— Но все-таки... все-таки, — поднимает глянцевитый палец барон, — требуется, господа, чтобы новые постройки...

— Не тут же рушились! — подхватывает Вяземский.

Барон, откачиваясь, изображает на бритом красном сморщенном личике восторг и говорит торжественно:

— Вы угадываете мысли, князь, ничуть не хуже знаменитой Ленорман!

И он, согнувшись, трясется от смеха, которым прикрывает давящий его кашель.

— А что, это правда, слышал я, — я ведь болен был гриппой целый ме-

сяц, — будто лейб-медикам Рауху и Крейтону приказал государь подать в отставку? — любопытствует Вяземский.

— Уже и подали!... — подавляя кашель, отвечает сенатор. — Подали...

— После того, как случилось с царем это несчастье в Пензенской губернии, — перелом ключицы, — об'ясняет Тургенев, — государь очень заметно стал раздражителен... хотя нельзя сказать, что и до этого отличался кротостью нрава... Но-о... это создало ему за границей огромное уважение!

— Оре-ел!.. Орел! — трясет головою сенатор.

— Наполеон, как известно, — важно и веско поддерживает Вяземский, — брал уроки у артиста Тальма, как себя вести в должности монарха, а наш царь — в каждом вершке император: — пусть у него поучатся актеры!

— Это хорошо сказано!.. Да... Это... очень здраво сказано! — спешит согласиться сенатор.

Но так как в это время шум в зале становится слышнее, он подымается вдруг и говорит, насторожившись:

— Неужели изволили прибыть великие княгини?

— Очень рано для них...

— Рано... Да, рано... Тогда-а... возможно, — это — граф Адлерберг! — и подняв палец к носу и откланиваясь собеседникам, он говорит с хитрой улыбкой: — Нужно бы мне не упустить, — два словца шепнуть ему по одному дельцу...

И блеснув звездами и голым теменем, он уходит, скользя по паркету согнутыми в коленях сухими ногами, а Тургенев об'ясняет Вяземскому:

— С нового года Адлерберг еще в большей силе, чем был... Нельзя и на месяц уходить из света!

— Что делать, Гримм Гриммович! — разводит руками Вяземский. — После празднования столетия этой ужасной Голицыной, где я чуть не упал без чувств от усталости, и после этой проклятой гриппы своей, я как-то не решаюсь, а ведь нужно бы и мне, — да и лучше нам обоим, — поговорить с Адлербергом.. Я уже внушал ему блестящую мысль разлучить Натали Пушкину с Дантесом...

— Предложить Дантесу для быстроты карьеры перевестись на Кавказ?

— Да... конечно... Месяца два назад этот план не имел успеха у Михаила Павловича, великого князя... Но может быть теперь есть надежда его уломать?.. Это необходимо, — это совершенно необходимо!.. Дело заходит слишком далеко... Мне кажется, что они все трое — и Пушкин, и Натали, и Дантес, — идут ва-банк, очертя голову... И никакой Жуковский тут не поможет больше!

— Странно и непонятно, но-о... вот мое наблюдение: последние дни, сколько я видел Пушкина, — он все был как-то неестественно весел, а?..

И Тургенев вопросительно приглаживает волосы, курчавящиеся над невысоким выпуклым лбом.

Но Вяземский глядит на него удивленно:

— Весел?.. Как «весел»... Наоборот, дорогой Гримм!.. Он неестественно мрачен!

— Значит... он ведет какую-то двойную игру!.. Он что сейчас пишет?.. Может быть, он переживает очень остро своих героев? Играет роль?

— Э-э, роль!.. Он играет, играет, конечно, — роль Отелло, которую ему навязали мерзавцы своими подметными письмами... Клевещи, клевещи, — что-нибудь останется... Раз назвали рогоносцем, надо играть рогоносца... Внушение — это страшная сила... Она сметает его на наших глазах, а мы смотрим!... А что, если сметет?.. О здоровьи надобно думать до болезни, а после поздно... Кажется, тут виновата еще и неудача с «Современником»... Почему-то не пошел журнал, — и «Капитанская дочка» не помогла... Он думал нажить на журнале золотые горы, а вместо того заложил Шишкину все свое серебро... И женины шали впридачу... Вопрос еще, сколько у него долгу?.. Он при мне насчитал до ста тысяч и бросил считать...

— Неужели все-таки сто тысяч долгу?

— Больше!... Гораздо больше!

— Как же он снимет эту петлю при нескольких стах подписчиков на «Современник?»

— Журналы могут вести только Сенковские... Кстати, мою «Старину и новизну» Пушкин советовал назвать «Ста-

рина и новина»... Правильней это или только простонародней?.. Решил при своем остаться... Дмитриеву написал, не пришлет ли чего...

— Для «Старины» или для «Новизны?»

— Для «Новизны», он тоже годится... Он — старик еще очень зубатый... Последний раз как мы с ним виделись, говорит: «Езжу уж на кладбище, приискиваю себе местечко поспокойней, и даже почитай что при-смо-тре-ел!.. С одной стороны у меня будет лежать «титулярный советник Мерцалов, представленный к производству в коллежские асессоры», а с другой — «крепостной человек графа Шереметева Симеон Халюзин»... А в скобках у этого Халюзина на кресте ядовитая приписка: «ныне отпущаеши раба твоего!»..

— Гм... Ирония!.. Как это жандармы не досмотрели!..

— А вчера я узнал, что Бекетов женится все-таки на своей Головиной... Посоветовал ему, чтобы взял в посаженные отцы старушку Шевич — по причине ее почтенной бородки, а в посаженные матери — Вигеля...

— Тоже по причине всем известной!.. Ха-ха-ха!.. Неглупый совет... гм... Не идут у меня из головы эти подлые подметные письма...

И, понизив голос, добавляет Тургенев:

— А не родственничек ли хозяйки, не Уваров ли причастен к письмам этим?.. По крайней мере, это я слышал от...

Но тут Вяземский, сидящий лицом к двери, делает ему предостерегающий знак, потому что в комнату входит Сергей Семеныч Уваров, министр народного просвещения, а на полшага за ним — попечитель петербургского учебного округа князь Дондуков-Корсаков. Продолжая ранее начатый разговор, Уваров веско говорит Дондукову:

— А вот у князя Голицына, старика, на его образцовой ферме, где коровы английские, бутылка молока обходится дороже, чем стоит бутылка шампанского!

— Поразительно!.. Но как часто у нас это бывает, а? — поддерживает начальника Дондуков и вслед за Уваровым здоровается с Вяземским и Тургеневым.

— Чем это вы возмущены так, Сергей Семенович? — спрашивает Уварова Тургенев.

— Не умеют у нас хозяйничать в имениях! — строго смотрит не на него, а на Вяземского сановитый Уваров. — Взять вот хотя бы эти пахитосы... У нас сколько угодно родится прекрасного табаку в Крыму...

— А соломы у нас еще больше, — вставляет Вяземский.

— А мы должны выписывать это из Европы! — доканчивает Уваров строго.

— Подождите, — утешает его Тургенев, — скоро будем вывозить из Америки!... Скоро Америка захватит все рынки в мире!.. Она развивается с быстротой поразительной!..

— Потому что там республика? — иронически спрашивает Уваров.

— Да, в самом деле, почему? — приближает к Тургеневу большое красное тугощекое лицо Дондуков.

— Вы, вечно путешествующий по Европе...

— Пилигрим с котомкой, — вставляет Вяземский.

— ...неужели не замечаете вы разницы между странами с крепкой монархической властью и странами, охваченными анархией?

— В Соединенных Штатах, Сергей Семеныч, — я о них говорю, — республиканский строй, повидимому, столь же прочен, как иная монархия, — уклончиво отвечает Тургенев.

Уваров смотрит на него тяжело и говорит вдруг, обращаясь к Дондукову:

— Положительно, моровое поветрие, духовная зараза!.. В Италии всячески стремятся свергнуть монарха... Пьемонт, Тоскана, Неаполь, даже папские владения — все это кишит преобразователями, и кто же они?.. Докторишки, адвокатишки и, конечно, на первом плане — газетные писаки!.. Они, видите ли, знают, как управлять государством!.. Англия обучала индусов военному искусству, и вот получено известие, что там начинается брожение... А ведь оттуда оно может перекинуться и в Китай!

— Да и в самой Англии основы конституции потрясены, — сообщает Тургенев. — Погодите мы еще будем и, пожалуй, скоро свидетелями борьбы между ториями и вигами!..

— Вот видите!.. История в Португалии у всех на глазах...

— А зачем же донна Мария подписала конституцию, подписанную бунтовщиками? Она могла бы ее не подписывать, — вставляет Вяземский.

— И оставить престол? — спрашивает Уваров.

— Да, вот именно... Что бы она могла сделать иначе? — удивляется Дондуков.

— Защищаться, — отвечает ему Вяземский.

— Англия хотела ей помочь, но почему же она не выступила? — Вопрос! И вот, кучка мерзавцев диктует свою волю кому же? — Королеве!..

Некоторое время он оскорбленно оглядывает и Тургенева, и Вяземского, и даже Дондукова и заканчивает скорбно:

— Об Испании нечего и говорить: там явная анархия... Но в пользу законной власти Англия и тут не решилась ничего сделать... Государь очень раздражен этим.. мировым поветрием, охватившим Европу!..

— Я слышал на-днях, что государь был недоволен на Греча, касаемо плюшаровского словаря, — находит нужным повернуть разговор в другую сторону Вяземский

— Что?.. Греч?.. Словарь?..

Уваров смотрит на Вяземского, стремясь изобразить полное непонимание, но Дондуков подхватывает вопрос литератора и отвечает с готовностью:

— Дело было вот как: когда государь лежал больной в Чамбаре, он прочитал статью в томе пятом о Бонапарте...

— А-а! Да!.. О Бонапарте, — делает вид, что наконец-то припомнил это Уваров.

— А в статье этой при исчислении детей Людовика Наполеона голландского принц Карл был очень расхвален... Государь написал собственноручно против имени принца Карла: — Негодяй!.. — и приказал расследовать, как в словарь попала такая статья... явно нелепая!

Сказавши это, Дондуков глядит на Уварова, стараясь узнать, не слишком ли он был откровенен, и заметив по выражению лица своего начальника, что он им недоволен, князь отступает на шаг и пощипывает рыженькие бачки.

— Да-а... Вообще господа журналисты доставляют много хлопот, — говорит, продвигаясь к двери, Уваров, и следом за ним уходят из кабинета и все остальные, а немного спустя входят Лермонтов и Краевский, и журналист говорит поэту:

— Как хорошо, что я не столкнулся тут со своим министром!.. И хорошо, что мы тут одни... Ну, вот ты видишь теперь — Пушкин приехал!.. Только сейчас он очень окружен... Неудобно говорить с ним в зале... Ты посиди, Мишель, — я залучу его сюда сейчас же...

— Хорошо, я приму мечтательную позу... Но он вошел, кажется, без жены?

— Ни жены, ни свояченицы... Я ведь говорил тебе, — была маленькая семейная история... Но Наталья Николаевна, должно быть, приедет попозже: она не из таких, чтобы пропустить хотя бы один бал!.. Я уверен, она еще явится...

— За то Катишь Сушкова уже здесь!.. Я видел, как она сверлила меня глазами, когда мы сюда входили...

— Иду!.. Ты жди здесь... Приведу непременно! — обнадеживает Краевский и уходя добавляет: — Хотя министр мой и запретил мне знакомство с этим вольнодумцем...

Однако уютный кабинет при бальном зале не для того, чтобы в нем одиночествовали поэты. Только уходит Краевский, как входят в него Даршиак, молодой стройный красивый атташе французского посольства, друг и родственник Дантеса, и Артур Медженис — из посольства английского, печального вида длинноносый человек, которого звали среди дипломатов и в обществе «больной какаду».

Незнакомый с ними Лермонтов, только скользнув по ним нелюбопытным взглядом, отворачивается к стене, на которой картина какого-то фламандского художника, почерневшая от времени, — однако до него доносится оживленный французский разговор вошедших.

— Поэты, конечно, почтенны в каждой стране, — говорит Даршиак вполголоса, — и я даже слышал от кого-то из близких знакомых Пушкина, что его, как поэта, почтил в Эрзеруме глубоким поклоном самый важный из тамошних пашей и сказал будто бы при этом: —

«Поэт стоит наравне с властелинами земли!»... — Может быть... Турки — народ вежливый, даже когда они свободны... тем более обязаны быть вежливы пленные турки... Но всякий взрослый, хотя бы он был и поэт, не освобождается от обязанности отвечать за свои поступки... Ведь он и на вас производит впечатление не совсем... уравновешенного, г. Медженис?

— Да-а, конечно... Ему, хотя он числится в дипломатическом корпусе, очень далеко до спокойствия дипломата, — осторожно отзывается «Больной какаду». — В нем говорят иногда голоса Африки...

— Не слишком ли много валят на Африку? — возражает Даршиак. — Во всяком случае, образован он не меньше нас и хорошо воспитан... И если о Гете пишут, что в молодости он забавлялся тем, что хлопал на площади в Веймаре пастушьим кнутом целыми часами, а от невоздержной жизни в те годы едва не умер, то ведь Пушкин далеко не так молод...

Лермонтов только что обернулся, негодуя, чтобы круто вступить в разговор и срезать слишком рассудительного француза, когда видит,—входит в дверь Пушкин, а за ним Краевский.

И Лермонтов, впиваясь глазами в это безмерно дорогое, дороже всех лиц земных, усталое, бледное, осунутое лицо, делает уже два шага ему навстречу, когда поднимается Даршиак и говорит:

— Наконец-то, вот и вы, г. Пушкин!.. А я вас ищу всюду!..

— Напротив, напротив, г. виконт!.. Это я вас ищу всюду, — оживленно отвечает Пушкин, сверкнув яркой белизною зубов, и добавляет: — Пойдемте же в зал, нам лучше на ходу говорить о нашем деле!

И взявши его дружески за локоть, Пушкин увлекает Даршиака в зал, а Лермонтов тихо спрашивает Краевского:

— Что это значит?

— Дипломатическая тайна какая-то... — бормочет удивленный Краевский: — Но погоди; погоди, — мы еще встретимся с Пушкиным. И ты еще наговоришься с ним, — он знает твои стихи... Ведь он не танцует, и в этот кабинет он будет заходить часто... Подожди, Мишель!

— А ты не знаешь, зачем мог понадобиться Пушкин этому французу? — обеспокоенно спрашивает Мишель.

— Ну, мало ли зачем...

Оставшийся один «Больной какаду» лениво разглядывает картину на другой стене, но в дверях снова показывается Пушкин и таинственно подзывает его к себе кивком головы и веселыми движениями пальцев левой руки, на которых отчетливы нарочно отпущенные большие ногти. Неловко путаясь между кресел, Медженис выходит, а Лермонтов говорит, пожимая плечами:

— Я ничего не в состоянии тут понять!

— Ах, что же тут такого!... Один — атташе французского посольства, другой — английского... Какое-нибудь дело... может быть, ему нужно навесть справку как журналисту... Но тебя он, во всяком случае, хвалил очень... Он говорил: «Далеко мальчик пойдет!»...

— Он так и сказал: «Мальчик»?

— Ну, в этом роде...

— Я вижу, что он ничего тебе не говорил!.. Ничего!

— Однако же он шел к тебе?

— Я видел, что он шел с тобою... Но я не заметил, чтобы он шел ко мне!

— Мишель!

— Одним словом, я вижу, что ты — хороший друг... Спасибо тебе!

И Мишель, церемонно кланяясь, подает ему руку.

— Мишель, — ты действительно мальчик! — отталкивает его руку Краевский. — Ну, на что же ты сердчаешь?

— Какого-то французика он берет под руку... (Правда он его и искал!) А мне даже не кивнул и головою!.. Едва ли и разглядел меня!.. Но я слышал, что этот молодчик говорил о нем, как враг его, и хотел уж потребовать от него об'яснений...

— Какие-нибудь пустые фразы!.. О ком из нас не говорят их за нашей спиной?..

— Может быть и пустые, но пусть бы он не говорил их при мне!

— Э-э... Ты меня начинаешь раздражать, Мишель!

И Краевский отходит от друга к столу и начинает притворно внимательно рассматривать какой-то дорогой аль-

бом, когда показывается оттуда, из зала, против стоящего около раскрытых дверей Мишеля черноокая, пышноволосая, двадцатичетырехлетняя Катишь Сушкова и, полуприкрывая веером лицо, говорит оскорбленно и с упреком:

— Вы уже совсем не хотите узнавать меня даже, Мишель?

— Разве я встречался уже с вами, м-ль? — изумленно говорит Мишель.

— Да... И вы мне не поклонились...

— Неужели?.. Тысяча извинений, м-ль Катишь!.. Значит, меня просто ослепили ваши будущие миллионы!.. Миллионы ведь имеют это страшное свойство ослеплять!

— Вы надо мной смеетесь?

И старается скрыть в белой опушке веера свое смущение Сушкова, но черные выпуклые очень большие для небольшого лица глаза ее становятся еще больше от неудержимо наплывающих слез.

— Кто же смеется над миллионами?— улыбаясь, говорит Лермонтов.

— Миллионы, кажется, останутся в Англии...

И Катишь старается незаметно для него поймать у самых глаз кончиком веера одну и другую слезинку.

— Это плохо, — говорит он.

— Нет, это хорошо, что я буду свободна от всяких миллонов... Сейчас начинают вальс, Мишель... Вы с кем танцуете?

В это время, действительно, слышны звуки подготовляемых к игре инструментов на хорах в зале.

— Вы еще скажете, пожалуй, что вам не с кем уже танцовать, Катишь? — весело спрашивает Лермонтов.

— Я ждала вас... Я всем отказала, потому что ждала вас, Мишель!

— Зачем же?.. Хотите ли вы показать всем, что мы — знаменитые сиамские близнецы, Катишь?

Но она уже видит, что еще одна просьба с ее стороны, и он уступит. Она говорит раздельно:

— Сейчас... начнут... вальс, Мишель!— и протягивает ему руку.

— Но как же вам удалось уйти из-под взоров вашей хищной тетушки, Катишь? удивляется Мишель. — Она не ухватит меня за фалды?

В это время раздается гром музыки, и, с места взявши шаг танца, Мишель Лермонтов и Катишь Сушкова скрываются с глаз Краевского, остающегося за столом над альбомом.

В бальном зале, богато освещенном люстрами, по сторонам, за колоннами, — над которыми хоры, — расположились тесные группы гостей графини Разумовской. Звездами украшенные старцы соединенными силами стараются сделать все прозрачным и ясным в густых дебрях европейской политики; кое-чему научиться, отнюдь не показывая того, кое над кем позлословить, передавая злословье, как возмутительно-вздорные слухи, присмотреться к пестрой карусели служебных и иных успехов чужих мужей, к модам на мнения и платья, к женихам для своих дочек — стремятся пышные матроны... Высокий князь Вяземский виден в дальнем конце залы: он держит руку на правом плече Пушкина и, откачивая круглую голову с крутым затылком, видно, заливисто хохочет... А в ближнем конце Лермонтов сидит окруженный девицами, между которыми нет ни Катишь Сушковой, ни ее сестры Лизы. Здесь Бетси Елагина, Оля Бахтина, Долли Драшусова, юная княжна Тюфякина и бойкая Варенька Кандаурова.

— Как же я могу определить сразу, что такое женщина? — говорит скучающе Лермонтов. — Мне кажется, что женщина — это книга, состоящая из одних опечаток, пропусков и многоточий...

— Ого!—подхватывает Кандаурова. — А мужчина?

— Поступает с нею, как добросовестный критик... Он хватается за голову вот так, — и начинает качать ею из стороны в сторону — вот как... и ворчать таким образом: — Ах, что они наделали... Что они, злодейки, наделали!..

Барышни хохочут, но Долли Драшусова все-таки хочет узнать:

— А кто же эти злодейки?.. По адресу кого он ворчит?

— Большею частью по адресу тетушек... — отвечает Мишель, вспоминая двух теток Сушковой. — Потом он берет красные чернила и начинает все испра-

влять в этой книге с усердием чрезвычайным...

— Как-будто вы только и делаете, что исправляете опечатки в книгах, — замечает Елагина.

— Иногда я это делаю, — скромно говорит Мишель. — Но есть книги неисправимые: это скучные книги... Такие книги очень легко писать, но читать их трудно... Кому охота умирать со скуки? — пристально глядит он в глаза Елагиной.

— Хотите ли вы сказать, что считаете меня очень скучной? — вдруг краснеет Бетси.

— По-смо-трел бы я на того, кто выскажет такие страшные мысли! — делает испуганные глаза Мишель.

Но тут видит он уже около входных дверей кудрявую голову Пушкина, а рядом с нею квадратно-обрубленную золотистую голову Краевского и встает.

— Кого это вы там увидали? — справляется бойкая Варенька.

— Того, кем я болею сегодня весь день, — серьезно отвечает Мишель.

— И кто же эта счастливица?

— Увы, любимая кудрявая голова исчезла в выходной двери! — отзывается Вареньке, не глядя на нее, Мишель.

— Садитесь же!.. Что же вы стоите столбом?

— Странно! — самому себе говорит Лермонтов, садясь.

— Что вам странно? — разом спрашивают и Бетси и Долли.

— Как-будто так уж и нет ничего странного в жизни! — пусто отзывается Мишель и добавляет, обращаясь к Вареньке. — Вам какая опера больше нравится? Я говорю о немецкой опере...

— «Фенелла», — не задумываясь, отвечает та.

— Какое у нас с вами сродство вкусов! — восклицает Мишель. — Правда, белобрысые примадонны немецкие в ней очень пискливы, а тенор Голландер мужчина довольно бравый, но — увы, — безголосый...

— Кто же вам в ней нравится, в таком случае? — осведомляется княжна Тюфякина.

— Пиротехник, — об'ясняет Мишель. — Он с таким искусством делает пожар на сцене, что помещицы из провинции забирают в охапку своих младенцев и бегут из лож спасаться, пока не поздно.

Барышни хохочут, а Мишель подымается снова, чтобы показаться возвращающемуся Краевскому.

— Послушайте, а как... находите вы «Ивана Выжигина» Булгарина? — спрашивает его Оля Бахтина.

— Я даже и не ищу его, — отвечает Мишель.

— Гм... Не знаю, как к этому отнестись... Вы его не хотите читать? — осведомляется Оля.

— Прочитайте нам свое стихотворение в четыре строчки! — предлагает княжна Тюфякина.

— Что вы, княжна, — в че-ты-ре строчки!.. У меня совсем нет времени писать такие коротенькие вещи!.. — отзывается Мишель, встревоженно глядя на подходящего Краевского.

— Чем же вы заняты? — бойко спрашивает Варенька.

— Все стреляю в цель из пистолета... Байрон на 25 шагов попадал в розу...

— Это смотря какая была роза, — смеется Варенька.

— Вы думаете о Розе с большой буквы?..

— Мишель!.. Он уехал... Он говорит, что у него неотложное дело! — говорит подходя в это время Краевский.

На хорах вновь оживают музыканты, готовясь к кадрили, и Варенька шаловливо обращается к Мишелю:

— В кадрили мы с вами, — не так ли?

Но Лермонтов кланяется ей чинно, говоря:

— Нет, m-lle Barbe, — сколь мне ни нравится и ваше имя и кадриль, я должен ехать!.. У меня неотложнейшее дело!.. Простите!

И он уходит поспешно, и даже Краевский не в состоянии его удержать.

Картина третья

В пригороде Петербурга, в Новой Деревне, где в те времена, как и значительно позже, жили оседло цыгане-хористы, в одном из гостеприимных цыганских домов, в ночь под 28-е января кутит небольшая часть «веселой банды» Лермонтова. Тут, кроме самого Лермонтова, приехавший к нему из Новгорода как

раз в этот день — 27 января — лейб-гвардии Гродненского полка гусар Юрьев, его родственник и товарищ детских его игр, и веселый преображенец Булгаков, товарищ его по школе гвардейских подпрапорщиков, весьма известный своими проказами.

Довольно большая, хотя и низкая комната; за столом сидят гвардейцы и пьют вино, а на подмостках в одну ступеньку вышиною хор цыган и цыганок: в расшитых по-венгерски кунтушах, красных и желтых, и в синих плисовых или шелковых шароварах цыгане; в ярких платьях, с монистами из золотых турецких монет цыганки; с гитарой — старый цыган Илья Кудряшов — хозяин и регент хора.

— Мишель! Что у тебя за мрачность в глазах, и даже лоб пошел морщинами!.. — говорит рослый и красивый Юрьев. — Уж ты не простудился ли? Будет мне теперь журчать в уши бабушка, что это я тебя заморозил!

— Какой же мороз теперь? Два градуса? — смеется Булгаков. — Даже жарко было в санях под полостью!

— Постой-ка я пощупаю тебе голову, — не горяча?

И Юрьев заботливо тянется рукою к большой голове Мишеля, но тот отклоняется недовольно:

— Оставь, что ты выдумал чушь!

— Однако бабушка говорила... Да я вижу и сам, ты что-то не рельефируешь... Про-ма-нежить бы тебя у нас на военных поселениях с месяц, — узнал бы что такое Петербург!.. А то ты не ценишь его, не ценишь!.. Я сюда приезжаю, — без вина пьян!..

Булгаков смотрит на него, удивленно таращa глаза, и говорит смешливо:

— Неужели ты вот теперь целый месяц пробыл в своем полку?.. Как непостижимо летит время в этом Новгороде!.. Не я ли провожал тебя туда неделю назад?.. Службисты вы с Мишелем!.. Ты знаешь, почему он в ипохондрии?. Он забыл, несчастный, какого он полка, и никак не может вспомнить!.. Я даже не помню, когда он последний раз был в Царском...

— Га-аспада гусары!.. Споем гусарскую, а? — подходит к гостям Илья, перебирая струны.

— Валяй смелей! — командует Булгаков.

Бородатый важный Илья делает хору неторопливый знак и спевшийся хор начинает модный в те времена романс:

> Гусар, на саблю опираясь,
> В глубокой горести стоял,
> Надолго с милой разлучаясь,
> Вздыхая, он сказал:
> «Не плачь, красавица, слезами
> Кручине злой не пособить,
> А если изменю, усами
> Клянусь наказан быть»!..

Булгаков подпевает нарочно визгливо и с присвистом, Юрьев отбивает такт палашом, но Мишель сидит хмурый и, когда кончают петь цыгане, говорит возбужденно:

— Вот судьба поэта!.. Цыгане поют романс Батюшкова, а сам Батюшков сидит сумасшедший в своей Устюжне!..

— В своем имении под Устюжной, — поправляет Юрьев.

— Разве не все равно?.. А что если бы вдруг с ума сошел Пушкин? Святотатственно, а?.. Но вы представьте только: сошел с ума (с такого блестящего ума) и сидит тихенький, как Батюшков, и жует какую-нибудь суконку!.. Кар-ти-на!

И Мишель смотрит вопросительно то на Юрьева, то на Булгакова, но им обоим только смешно это, и Юрьев вспоминает к случаю и декламирует из Пушкина же:

> Не дай мне бог сойти с ума!
> Нет, лучше посох и сума...

А Булгаков обращается к Лермонтову:

— На 1-е февраля назначен в афишках «Скупой рыцарь» в бенефис Каратыгина... Тогда я за тобою заеду, Мишель... Впрочем, я что-то не помню, есть ли в этой пьеске хоть одна женская роль?..

— Любаша! Еще вина! — кричит Юрьев.

Хор небольшой, — в нем всего только три молодых цыганки, — Маша, Груня, Любаша, — из них Любаша самая красивая, и с большим природным кокетством приносит она к столу две бутылки вина на подносе.

— Выпей, золотой! Выпей, брильянтовый! — склоняет она над Юрьевым манящее лицо, щекоча толстой косой его шею. — За мое здоровье выпей!

— Любаша! — говорит вдруг Мишель. — Ты ведь тоже думаешь, признайся, — что ты самая красивая во всей России?

— Самая-самая? — пугается Любаша.

— Самая-самая, — повторяет Мишель.

— Ого!.. Лучше мене много барынь есть! — качает головой Любаша, смеясь и звеня монистом.

— Как же ты смеешь сдаваться? — кричит Мишель. — А ты сыграй роль самой красивой!

— Ро-оль! — всплескивает руками, перегибаясь в поясе, Любаша. — Все одно, как на тиятре?

И вот уж она подбирает свое гибкое тело.

— Как на театре, да... Сыграй роль первейшей красавицы в целой России!.. Ну?.. Держи голову гордо!.. Вот так!..

— Та-ак?

Любаша откидывает назад маленькую головку с кудряшками надо лбом и сильно таращит и скашивает желтые глаза под густыми длинными ресницами.

— Браво!

— Браво, Любаша! — кричат один за другим Юрьев и Булгаков, но Мишель презрительно кривит пухлые красивые губы, и, заметив это и сразу пристыженная, беспомощно бросает от боков вдоль бедер тонкие смуглые голые руки Любаша и говорит с чувством:

— Нэ-эт!.. Оччинь многа пудра нада!..

Проворно схвативши пустой поднос со стола, она отскакивает к хору, который хохочет так же дружно, как хохочут Булгаков и Юрьев.

— Тебе показать, как нужно играть первую красавицу? — шаловливо вскакивает с места Мишель.

— Покажи, пожалуйста, покажи! — отзывается Любаша...

— Смотри, — сыграю без пудры!

Он быстро стаскивает скатерть с пустого соседнего стола и набрасывает на себя так, что по полу тащится длинный хвост, будто шлейф бального платья, и кричит Булгакову:

— Костька!.. Живо!.. Прыгай на стол!.. Ты будешь кавалергард!

— Вот тебе на!.. — На стол?.. Он уже там!

И маленький, еще меньший ростом, чем Лермонтов, Булгаков не заставляет себя просить дважды, вскакивает на стол, чтобы стать не ниже кавалергарда.

— Так!.. Прими позу!.. Подкрути усы! — кричит Мишель. — Вот подходит к тебе величайшая красавица Европы!

Тут он делает очень гордую мину и медленно и важно начинает подходить к столу, а Юрьев внятно шепчет Булгакову:

— Тай от счастья! Тай!

— Таю! — шепчет Булгаков.

— Я по-до-шла, ты видишь? — томно говорит Мишель. — Ах, все мы, женщины, слабеем телом, когда перед нами кавалергард!.. Бросайся в мои об'ятия, — добавляет он быстро, — или я в твои брошусь!

— Ур-ра! — кричит Булгаков, падая в об'ятия Мишеля и сбивая его с ног.

Небольшие и ловкие оба, они вскакивают с пола быстро, недолго заставляя хохотать Юрьева и цыган, которым Мишель кланяется, поднявшись, как одобренный артист.

— За что ты так сердит на Пушкину, Мишель? — спрашивает Юрьев, когда все сидят за вином снова.

— Я? На Пушкину?.. Какое мне дело до Пушкиной? — удивляется Мишель. — Я даже и на Пушкина не сердит... Но мне надоел уже бесконечный роман Дантеса и Пушкиной... Его пора бы закончить... Вообще, всякий отменно-длинный роман я считаю неудачным...

— Но ведь он уже кончен, чорт возьми! — поправляет Юрьев. — Женился же Дантес на сестре м-м Пушкиной!..

— В том-то и дело, что это — не конец, — говорит Булгаков. — И не дальше, как вчера, я слышал, — Натали Пушкина приезжала на свиданье к Дантесу в кавалергардские казармы!

— Булгашка!.. Это — ложь!.. Это — гнусная сплетня! — кричит Мишель. — Как ты смеешь повторять сплетню?.

— Почему же сплетня? — улыбается Булгаков. — Это очень могло случиться с нашим братом гвардейцем!

— Ложь! — стучит кулаком Мишель.

— Откуда это с тобой, что ты так ручаешься за женщину, Мишель? — удивляется и Юрьев. — А мне кажется, что этот брак давно требует вмешательства Франции!

— И Голландии! — вставляет Булгаков.

— А может быть и русского монарха, как самого могущественного в мире? — вдруг спадает с тона Мишель.

Он сидит некоторое время, перебегая глазами с Булгакова на Юрьева, с Юрьева на цыганку Любашу, и кричит Илье Кудряшову:

— А ну — «Малярку»!

— Скучная, ну ее к чорту! — замечает Булгаков.

— Как раз по мне! Я сам сегодня скучнее скуки... Валяй! — кивает Мишель Груне.

И Груня, более широкая в кости, чем Любаша, затягивает старинную цыганскую песню низким волнующим, как звуки виолончели, альтом:

Тэ Малярыка гей-я эдромэса!
Ах, да Пашка гей-я вэшурэса!..

И в тон печальной песни подхватывает хор:

— Та-ра-ра—ра-та-ра-а—та-ра-ра-та...

А Груня, склонив голову на левый бок и втянув подбородок, начинает жаловаться дальше:

Ай, мэрава, ай, мэйнем Пашка-лэ!
Хасия ошэро Малярка-лэ!

И снова хор — тот же напев без слов, и, наконец, с особенной задушевностью кончает Груня:

Тэнашас, тэнашас, чяйсри, —
Драда тем-нинь-ко да раторн!..

Когда смолкает хор, Булгаков только вздергивает плечами, а Юрьев говорит Лермонтову:

— Сорок раз, Мишель, слышал я эту песню... Правда, очень унылая, а что она значит все-таки не знаю!

— Я тебе об'яснял, но был ты тогда очень нагружен... Слушай, переводить буду... Поссорилась цыганка Малярка с цыганом Пашкой, своим возлюбленным, и бежит от него в другой табор дорогой, а Пашка, чтобы перехватить ее, бежит через лес... Так, Илья?

— Так, барин, так! — весело кивает Илья.

— Бежит она и рыдает: — Ах, умру я сейчас, Пашка! Пропала твоя голова, Малярка! — А голос неизвестного в темноте ее утешает: — Ничего, ничего, бедняжка! Темнота ночная тебя укроет!.. Так, Илья?

— Хорошо, барин, спасибо! — кланяется зачем-то Илья, и цыганам весело, и они улыбаются и кивают головами.

— Когда-нибудь сделаю я из этого хорошие стихи, чтобы пели они про свою Малярку по-русски... А, Илья?

— Вот спасибо, молодой барин, вот спасибо! — чокает языком и кланяется Илья, а потом добавляет, обращаясь только к Мишелю: — «Тэ зэлэн дуба», а? споем?

Хорошо послушать в январе, в снегах Новой Деревни, про «зеленые дубы с золотыми листочками», и под кивок головы Мишеля разливается восхищенный мотив тоже старой цыганской песни:

Тэ зэлэн дуба —
А-а-ах, дуба! —
Тэ дубровушика-э-э!..
А да-йя дубровушика —
Тэ елистерья сумнакунэ...
Тэ зэлэн дуба,
А-а-ах, дуба!..

Но тут с надворья раздается стук кнутовища в ставень окна и чей-то зычный голос: — Эй, отворяй!.. Гостей привез!..

— Что? Гостей?.. Не надо! — кричит Юрьев.

— Гони их к чорту! — кричит Илье Булгаков.

А Мишель только глядит на Илью набрякшими темными глазами, когда он уходит в сени.

В сенях шум от взошедшей толпы новых гостей, и видя, что Илья в замешательстве, кричит Мишель:

— Пусть в другой табор бегут, эй!.. Лесом или дорогой, — как им ближе!..

Наконец, входит снова Илья, и лицо его мрачно.

— Отказалси... Я отказалси! — тычет он себя пальцем в грудь и добавляет вздыхая: — Бальшой убыток мне, гаспада!.. Четыре человек, — богатый люди, — бобровый шапка!..

— А-а! Тебе их хочется? — встает Мишель. — Ворочай, ворочай их, пока не уехали: мы в другой табор пойдем!..

Но Илья пожимает плечами и вытягивает нижнюю губу:

— Зачем так говорить?.. Вы у нас сколько разов, а?.. Этих гости не знаем...

Сиди — вино себе кушай, песни слушай, — обижать не надо...

И точно осененный вдохновеньем, подходит к Юрьеву, отводит его в сторонку и говорит тихо:

— Любашка нравится, а?.. Покупай, много не возьмем...

— А сколько? — любопытствует Юрьев.

— Тридцать тысяч дашь?

— Много!

— Покупай мужичку, — дешевле будет! — обижается Илья и отходит к хору.

— Выпьем за избавление от нашествия галлов и с ним двадесяти язык! — подымает стакан Булгаков и вдруг вспоминает:

— Юрьев! А ты про мою историю с калошами не знаешь?

— С какими калошами?

— А ты, Мишель?

— Мало ли у тебя бывает историй!

— Слушай!.. Лекарство от твоей хандры!.. На-днях было... Неужели я тебе не говорил?.. Шел я в запретных калошах, а навстречу мне наша гроза — великий князь... Я ему бравый делаю фронт, а он воззрился, рыжий, на мои ноги, да как завопит на весь Литейный проспект: — «Ка-ло-ши?.. На гаупт-вахту!..» — Я, конечно: — Слушаю, ваше высочество! — и двинул немедля на гарнизонную... Пришел. Стоят семеновцы в карауле... Вызвали караульного начальника, — и хоть бы знакомый, — так нет же!.. Снимаю с себя калоши, — подаю ему: — Извольте, говорю, принять, — во исполнение приказа его высочества... — Вас принять? — Не меня, а калоши... Сказано было: — Калоши на гауптвахту!.. Извольте их внести в книгу для арестованных... Наличных же сумм при них не имеется и сдавать нечего... — Смеется мой караульный начальник: — Без записки, говорит, принять не могу... — А я ему: — Так как приказ был словесный, то следственно — записки не могу представить.. Калоши же свои оставляю...

— И пошел обратно... Только отошел квартала за два, — катит сам его высочество... Я ему опять щелкнул фронт... И вдруг рык страшный: — Куда-а? — А я: — Ваше высочество! Кало-оши, согласно полученному от вас приказанию, отнес на гауптвахту, а сам иду к месту службы...

— Ну?.. И не попал под сюркуп? — изумляется Юрьев.

— Что же? — любопытствует Мишель.

— Ничего!.. Глаза выкатил да как захохочет... — Молодец, Булгаков! — Рад стараться, ваше высочество!.. — Поехал он дальше, а я, конечно, калоши тут же обратно взял... И сейчас я в них...

— Гм... Сошло здорово! — удивляется Юрьев. — А ты не врешь?

— Великий князь его любит... И вот все счастье для нас, маленьких, если нас полюбит кто-нибудь великий... Дантеса великий князь тоже любит за то, что остер...

— Что у тебя, Мишель, этот Дантес с языка не сходит? — обиженно замечает Булгаков, так как даже не улыбнулся его «калошам» Лермонтов.

— У Пушкина было вчера лицо сумасшедшего, — отзывается Мишель и добавляет: — Вино противное... Свечи воняют... Илья!.. «Казанку»? А?

«Казанка» — плясовая, и, взмахнув платочком, отделяется от хора и выходит на середину лучшая здесь плясунья — Дуняша.

Она притоптывает на месте, запевая лихо:

Вдоль да по реченьке, вдоль да по Казанке
Си-изый се-е-ле-зень плы-вет!

И под озорной припев хора со свистом и шиканьем: —

Ишь-ты, поди-ж ты, что-ж ты говоришь-то,

начинает подмывающе носиться по комнате.

Джала-ла́, джа-ла-ла́,
Джала-ла́, принга-ла́,
Прингала, чупрингала́,
Гей гоп, гай, гара!

Под этот гортанный припев цыган, под дребезг гитары, с бубном выскакивает гибкая Любаша. Она так гикает и летает, едва касаясь пола, и так нижет глазами Юрьева, что он не может усидеть на месте, срывается и со стаканом в руке кидается в пляс, припевая не в общий такт песни:

Чу-виль, мой чувиль,
Чувиль-навиль-виль-виль-виль!
Еще чудо, перво чудо, — чудо родина моя!

Маленький Булгаков взвизгивает тонко и начинает с места бить присядку,

выбивая на-плясу стакан у Юрьева, так что летит стакан в дальний угол...

Широкая в кости Груня, подойдя бодро, хочет сорвать с места Лермонтова, но он сажает ее к себе на колени, подбрасывая в такт песни, а в это время, неожиданно для всех, не слыхавших, как под'ехали к дому новые сани, пройдя сквозь знакомые сени, которые забыл запереть Илья, одетый и густо запушенный снегом входит Раевский.

Он останавливается, щуря глаза, и, разглядев Лермонтова, кидается к нему с криком:

— Мишель!.. А ты знаешь — ведь Пушкин убит!

Лермонтов отбрасывает от себя Груню так, что она падает на пол и вскрикивает от ушиба, разом смолкает хор, стихает пляска и очень отчетливы тихие слова ошеломленного Мишеля:

— Как так убит Пушкин?..

— Пуш-кин? — подхватывает Юрьев.

— Убит!.. Убит на дуэли! — горестно об'ясняет Раевский.

— С кем?

— С кем на дуэли?

— С Дантесом!.. Я вас везде искал... Я потому так поздно... Весь Петербург уже знает, а вы...

Уставясь в Раевского пустыми, очень широкими глазами, Лермонтов медленно опускается на стул.

— Я вызову Дантеса!—кричит Юрьев.

— А я?.. Я тоже! — твердо говорит Булгаков.

— Четвертовать! — весь вздрагивая, неполным голосом, начинает Лермонтов. — Всенародно!.. — повышает он голос. — Через палача!.. На площади! — кричит он исступленно.

И когда его обнимает Раевский, он бормочет ему в лицо:

— Что такое ты сказал, Слава, а?.. Неужели нет уже Пушкина?..

Картина четвертая

В три часа ночи, завезя Булгакова домой, Лермонтов, Юрьев и Раевский стоят во дворе огромного, — на Мойке, близ Певческого моста, — трехэтажного дома княгини Волконской, в нижнем этаже которого — квартира Пушкина.

Снег на обширном дворе подметен к штабелям березовых дров, расположенным в самой середине. Отовсюду на этот двор глядят сонные черные окна. Полная луна позволяет рассмотреть крыльцо квартиры Пушкина, имеющее вид шкафа. Кое-где из-за неплотно пришедшихся гардин в окнах квартиры вырываются желтые клочки света. В одном окне полуоткрыта форточка, должно быть просто забытая в суматохе, т. к. другая — во внутренней раме — закрыта.

В нагольном тулупе, подвязанном кушаком, дворник, с метлою в руках, говорит, обращаясь к Юрьеву, как более видному из трех военных:

— В восемь часов это, стало быть, вышел я на дежурство, — мы поочередно дежурим, — гляжу, — карета!.. Я так подумал даже себе: не иначе — заказ от господ, кому в гости надо отправляться, — подошел постоять, ан тут вон какое дело: подстрелили одного нашего барина!..

— На смерть?.. Наповал? — тихо спрашивает Лермонтов.

— Зачем же-с на смерть?.. Говорили!.. Я сам ихний разговор слыхал... Неужто это другой барин говорили?.. Другой с ними был военный, ну, не особо молодой, не ваших годов... Только что ходить они не могли — наш-то барин — жилец... Вышел лакей ихний, на руки их взял, — понес...

— Значит, живой он был? — спрашивает и Раевский. — А нам сказали: убит!

— Живой, а как же?.. Глядели-с... Вот еще чего не дай господь, — убитый!.. Извозчик, действительно, был не ихний — карета... Я ихнего извозчика знаю месячного... Последние дни большая ему гоньба была: — «И все, говорит, барин этот ездит, все рыскает, лошадь совсем в отделку загонял»...

— Ну, значит, ты видел: живого привезли? — нетерпеливо спрашивает Мишель.

— А, конечно, живого, — что же мне врать?..

— Вот видишь, — обрадованно говорит Лермонтов Раевскому. — А ты говорил: убит!.. Должно быть, в ногу ранен, — вот почему итти не мог... Меня тоже вносили на второй этаж, когда ло-

шадь ногу перебила... Зачем же было так говорить?

— Говорил, что сам слышал... Говорили: убит!

— Боже избави, такому чтоб быть убитым!.. — с чувством отзывается дворник. — У них с барыней там столько ребяток малых, — осыпь!.. И барин Пушкин — хороший барин: изо всех жильцов выделяющий: — негордый... Такой зря пропасть не должон...

— А ты-то знаешь ли, кто он такой, — этот Пушкин? — с торжественной строгостью спрашивает Мишель.

— То-ись как? — пугливо уже отводит голову дворник, и пытливо косвенным взглядом оглядывая этих военных, явившихся ночью, он добавляет тихо и не совсем уверенно: — Известно, — сочинитель-с!..

Тут он зевает украдкой и, перекрестив торопливо рот, отходит не спеша к воротам.

— Положим, что эти ночные охранители отличаются от охраняемых только тем, что спят на свежем воздухе, но в восемь часов вечера он должен же был что-нибудь видеть,—говорит Мишель.— Ясно, он — только ранен, и, конечно, в ногу...

— Наконец, кто нам мешает позвонить в квартиру,—узнать?—предлагает Юрьев. — Узнаем и поедем спать...

— В самом деле, Коля!.. Узнай поди, а мы подождем, — говорит Мишель.

— Пьяному море по колено, — лихо идет на крыльцо Юрьев и скрывается за дверью.

— Ты замечаешь, как тихо в квартире Пушкина? — говорит Раевский.

— Да... Странно... Так тихо, что даже страшно...

— Только бы узнать, куда ранен...

— Кутузов, — помнишь? — приходилось учить? — был ранен в Крыму возле аула Шума турецкой штуцерной пулей около одного глаза, а пуля вышла в другой глаз, — и жив остался!

— И даже Наполеона выгнал!.. Однако я от трех слышал: убит Пушкин! И очень уверенно говорили...

Снова отворяется дверь крыльца, имеющего форму шкафа, выходит Юрьев и говорит вполголоса:

— Не впустили!

— Как не впустили? Кто?.. Ты звонил?

— Дверь там не была заперта... Взялся я за ручку, — открылась... Подымается человек: — Вам чего угодно? — это шопотом. — Я сказал, что желаем узнать... А он мне шепчет: Не приказано барина беспокоить...

— Но, значит, он жив и... спит? — перебивает Мишель.

— Я так и сказал... теми же словами... А он мне: — Спать не спят, но покамест находятся в живых...

— Что же это может значить?

— А что это может значить?.. Я тут же и вышел...

— Вот теперь ты видишь, Мишель? — укоризненно говорит Раевский.

— Но доктора́-то, доктора́ там должны же быть?

— Шуб я рассмотрел на вешалке много...

— Дворник!.. Эй! Где он, дворник? — ищет кругом глазами Мишель, и дворник, выступая из темноты свода ворот, подходит.

— Скажи, кто-нибудь есть у Пушкина?

— Там господ несколько есть, — отвечает тот, — также барыни...

— А доктора́, доктора́ есть?

— Бегали многие туда — обратно, взад — вперед... С вечеру беспокойство большое было... Да вот от них выходят — это не иначе доктор какой: раньше не хаживал, замечать не приходилось...

С крыльца сходит хирург Задлер, оглядываясь на небо и кругом и думая, подымать ему воротник шубы или не стоит.

Его сейчас же окружают все трое, и Лермонтов говорит просительно:

— Послушайте, господин доктор, — как раненый?

— А-а, ви ест товарищ этот самый офицер... Дантес? — строго спрашивает немец.

— Нет, мы — друзья Пушкина! — отвечает Раевский.

Но Задлер слишком взволнован, чтобы равнодушно видеть теперь кого-нибудь в военной шинели.

— Ви ест офицеры... Вам — оружие стрелять в турка, в турка, — а не в такой человек, — нет!..

— Мы все тут — друзья Пушкина, — с силой повторяет Мишель слова Раевского.

— А-а, — ну, тогда другой дело!.. Если друзья, — другой дело... — смягчается Задлер.

— Он будет жив? Скажите! — наклоняется к нему Юрьев.

— Так бывайт всегда: друзья приходят потом уже, потом... — сердито замечает доктор, продвигаясь к воротам.

— Только одно это скажите: опасна ли рана? — настаивает Мишель.

— Рана?.. В нижней части брюха!.. Рана?.. Смер-тель-на!.. Только бог, бог ее лечить может, а не мы, нет!.. Мы этого не можем, господа офицеры!.. Друзья!.. Беречь надо, беречь, а не так!.. Пропускайте мне!.. Там промывание вздумали, а?.. Мучить, мучить его... Зачем?.. Прощайте!..

И он уходит в ворота, унося в руках ящичек с инструментами, которые не принесли никакой пользы поэту.

И едва только он скрылся, и еще стоит ошеломленный этим окончательным и страшным известием Мишель, как оттуда, из таинственной квартиры поэта раздается, вырываясь через забытую форточку, животный вой.

— Что это? — вскидывается Лермонтов.

— Женщина? — вопросом на вопрос отвечает Юрьев.

Вой делается сильнее, гуще, непрерывнее, нестерпимее для слуха, как вой огромного, на смерть раненого зверя, который вкладывает в него все последнее: и сверхсильную боль, и взрыв ярости к виновнику поражения, и страшную тоску по безвременно, в расцвете сил, оставляемой жизни.

И двух минут этого нечеловеческого крика сраженного поэта не в состоянии вынести Мишель. Он глухо вскрикивает сам и, прислонившись к стене, начинает рыдать так, что дергаются плечи.

Картина пятая

29 января, четыре часа дня. Комната Лермонтова. Та же картина «Атака русской конницы» — стоит на мольберте, но Лермонтов не пишет ее. Он в халате сидит за фортепиано и играет «Requiem» Моцарта. У окна стоит и глядит на улицу Аким Шан-Гирей, двоюродный брат Лермонтова, юнкер артиллерийской школы, пришедший проведать его и бабушку. Когда кончает играть Лермонтов, говорит Шан-Гирей:

— У тебя, Мишель, это вышло с большим чувством!.. Нет, в самом деле, — с большим чувством!..

— Когда-то Пушкин грустил, что умер Моцарт... Кстати, не знаю, зачем он заставил Сальери отравить Моцарта, когда Моцарт умер от холеры... Но, впрочем, понятно зачем: нужно, чтобы в смерти гения был виноват кто-то... Не Сальери, так кто-нибудь другой, только не какая-то гнусная холера, с которой нечего взять... И вообще, — было не так, как записано, а так, как хочет поэт!..

Лермонтов берет еще два-три аккорда и добавляет:

— Когда-то Пушкин о Моцарте, теперь пусть Моцарт погрустит о том, что умер Пушкин...

— Почем же ты знаешь, что Пушкин умер?

— Умер, — уверенно говорит Лермонтов.

— А в школе, когда я собирался сюда, говорили, что он еще жив... Тебе кто сказал, что он умер?.. Ты ведь не выходил из дому?

— Разве для этого надо выходить?

Лермонтов встает и, начиная ходить по комнате, говорит как бы сам с собой:

— И вот, это все, чем Россия наградила Пушкина!.. Свинцовой пулей из пистолета международного проходимца!..

— Ты знаешь, между прочим, Мишель, что у нас говорят в школе про этого проходимца? — очень оживляется Шан-Гирей: — Говорят, — что это — сын голландского короля, — с левой стороны, конечно, — а барон Геккерн просто получил приказ его усыновить!

— Чтобы вернуть это добро Голландии?.. Что ж, — это неплохо придумано... — усмехается одними только ноздрями своего короткого и слегка вздернутого носа Мишель. — В этом усыновлении при живом отце и матери, действительно, ровно ничего нельзя понять. Все об'яснения, какие я слышал, вплоть до того, что оба эти мерзавца — урнинги, решительно ничего не об'ясняют...

Ведь женился же Дантес... и даже хотел быть двоеженцем...

— А ты решительно не хочешь выходить к Драшусовым, Мишель?

— Я ведь сказал тебе! — серчает Мишель. — Я не способен теперь смотреть ни на каких толстых дам с их всесторонне глупыми дочками!..

— Неловко все-таки, — как же так!.. Ведь они пришли и... сидят...

— Ну, и пусть сидят!.. Разве я их приглашал?.. Поди ты и любезничай с этой жирной рязанской перепелкой...

Но когда Шан-Гирей, вздернув плечами, идет от окна к двери, Мишель останавливает его:

— Постой, а он арестован?

— Кто арестован?

— Как кто?.. Дантес, разумеется!

— Сидит, говорят, дома... Его ведь Пушкин все-таки успел ранить, только очень легко...

— Сидит?.. Хорошо! Пусть только выйдет!.. Не я, так другой!.. Его убьют, как бешеную собаку, палкой, на улице,— этого голландского наследного принца!..

— Ну, а что же мне все-таки сказать Драшусовой?

— Чорт с ней!.. Говори, что хочешь!..

— Как это «что хочешь»?.. Если я скажу, что болен, — встревожится бабушка...

Он останавливается перед картиной на мольберте и говорит:

— Если я скажу, что кончаешь свою картину и очень извиняешься, то... то, конечно, это будет глупее глупого!

— Я тебе сказал: чорт с ней! — повышает голос Мишель.

— Да не кричи хоть! Что ты! — пугается юнкер и поспешно уходит, а Лермонтов вытаскивает из ящика палитру и кисть, но кладет их на стул около мольберта, а сам снова садится за фортепиано играть звенящий неотбойно в голове мотив из того же «Реквиема».

Но во время игры отворяется дверь и входят: бабушка, ее хорошая знакомая Драшусова, Марья Васильевна, помещица Рязанской губернии, и дочь ее— Долли.

— Ну, вот мы к нему картину его смотреть, а он, оказалось, и не рисует даже! — удивленно, на низких нотах, говорит бабушка.

— Только что положил палитру, — оправдывается Мишель.

Без улыбки он кланяется и целует тяжкую и унизанную кольцами и браслетами руку Марьи Васильевны, без улыбки здоровается с ее дочкой, и глаза его при этом не столько злы, сколько издалека грустны.

— Вот она! — тем временем показывает картину бабушка. — Ну, не правда ли хороша ведь!?..

— Не-ет! Это вы, Мишель?.. Ну, скажите же, как натурально! — восклицает, распуская подбородки, толстуха, не по-питерски румяная лицом, хотя ей уже под пятьдесят, и сверкая брильянтовой стрекозой, усевшейся на проборе еще черных волос, сложно причесанных.

— И ведь сколько же здесь лошадей, боже мой! — продолжает она восхищаться. — И ведь всякую надо отделать во всех тонкостях!.. У вас, дорогой Мишель, талант, талант!.. По-ра-зи-тельно, а?... Посмотри-ка, Долли!

Дочка, пока еще стройная, даже несколько худощавая, но чем-то очень похожая на мать и обещающая современем такую же чрезмерную пышность линий, закрасневшись, говорит тихо:

— Мне очень нравится! — и добавляет, вкось и с любопытством поглядев на Мишеля: — Это вы долго делали?..

— Очень важно было выбрать размер холста, — с большою серьезностью отвечает Мишель. — На это у меня ушло не меньше двух месяцев.

— Будто целых два месяца на одно только это? — взметывает тяжелые руки Драшусова. — Гм... А я ведь даже и не понимаю, зачем же так мно-ого?

— А как же иначе? — начинает серьезно и грустно об'яснять Мишель.—Картина может быть шире или уже, — не так ли?.. Она может быть выше или ниже... длиннее или короче... Вот именно над этим больше всего и думают все художники...

— Ты, Миша, — насколько я помню, конечно, — как набил на подрамок картину, так и начал ее расчерчивать углем, — вмешивается бабушка, но внук смотрит на нее с такою тоской, что она быстро переходит к сути картины, говоря оживленно: — Глаза ли мне изменяют,

а только очень, мне кажется, много в ней жизни, а?

— О-очень натурально! Пре-вос-ход-но! — и медленно трясет шиньоном Марья Васильевна, а Долли осведомляется, глядя вполоборота:

— Вы ее пошлете на выставку, Мишель?

— Непременно! — склоняет он голову. — Событие такой огромной важности, как штурм Варшавы, — ведь это штурм Варшавы я взял, как сюжет для картины, — я думаю, должно обратить внимание его величества, — размеренно и серьезно об'ясняет Мишель, глядя в пол, точно читая невидную книгу.

— Пусть ты даже еще и неопытный живописец, — дополняет от себя бабушка.

— И вдруг, вся ваша карьера лежит вот тут, в этой картине, Мишель! — озаряется внезапной мыслью Драшусова. — Ведь только понравься она государю, — и вы счастливы!.. Дорогая, Елисавета Алексеевна! — Старичка Латугина не знаете ль? — вспоминает она. — В спасском уезде его имение... Приехал он в Петербург хлопотать о гербе дворянском, — это при Павле Петровиче еще, — и прошение свое прямо в царские руки на приеме, и на колени стал... А царь был в хорошем духе и решительно без всякой его просьбы: — Сто душ тебе! — Тот, натурально, земной поклон... А царь: — Что? Мало?.. Двести. Тот от счастья головы не может поднять!.. А царь: Мало тебе?.. Три-ста! Лежит, — вы себе представьте!.. — Еще мало?.. Четыреста!.. Еще мало?.. Пятьсот! — Поднял Латугин голову, на царя глядит, а в глазах слезы от счастья... И что же вы думаете царь? Ведь он шутник был известный... Ну, говорит, умен ты, что пятьсот взять согласился!.. А я уж хотел сказать: Ни одной!.. — Так и получил Латугин пятьсот душ, — ха-ха-ха!.. Теперь у него уж тысяч до двух, — ну, правда, смелых семьдесят лет ему... Вот как было!..

— Даже и картин не писал! — поддерживает Мишель.

— Едва ли и грамоте знал!

— Вот видите!.. Только по полу мог елозить... Ну, а меня, как бы вы думали, мог бы наградить государь за эту картину? — со смиренной грустью в больших глазах спрашивает Мишель.

— Он... Он может подарить вам бриллиантовый перстень, Мишель! — с чувством говорит толстуха.

— Я немножко поэт, — говорит Мишель, слегка кланяясь, — и мне больше нравятся бриллиантовые бабочки, чем перстни... Я мечтаю о бабочке...

— Кстати, — стихотворец Пушкин, говорят, ранен на дуэли! — краснея говорит Драшусова.

Но при этих словах краснеет в свою очередь Мишель и говорит, тяжело глядя в упор в небольшие глазки пышной предводительши одного из уездов Рязанской губернии:

— Нет, я все-таки не сказал бы, что это «кстати»!

— Ну, вот, Миша, — ты-то еще что?.. Кто же сказал, что это кстати, что Пушкина ранили? — вмешивается бабушка, давая понять внуку очень внимательным взглядом, чтобы он сдержался.

— Вы разве не сказали «кстати», Марья Васильевна?.. Значит, мне послышалось! — кланяется покорно Мишель; все такой же каменно-серьезный, и добавляет: — Меня продуло на-днях, и левое ухо мне заложило... Вот почему, кстати, я и сижу теперь дома...

— Однако с вашим заложенным ухом вы хорошо играете, — мы слышали, — слегка улыбаясь говорит Долли, но бабушка понимает, что теперь самый лучший момент выйти и оставить неулыбающегося внука, и поясняет:

— Он ведь у меня с детства учился играть... Учителя его еще с малых лет хвалили... А вот, — что же я? — ведь еще две картинки его у меня спрятаны... Это уж я вам, Марья Васильевна, там, на моей половине, покажу, — пойдемте!..

И они уходят, и бабушка не забывает поглядеть на него укоризненно, а Долли улыбнуться ему простодушно. Он провожает гостей только до двери и, тут же вернувшись, кладет обратно в ящик палитру и кисть и отставляет мольберт с картиной в угол за ширмы.

Потом он начинает ходить по комнате, делая это все быстрей и быстрей, но входят Раевский и Юрьев, и он, круто остановясь, впивается в них взглядом:

— Ну?.. Что?.. Узнали?

— Там очень трудно что-нибудь узнать, — отвечает Юрьев. — Вся Мойка около дома Волконской запружена народом... Большой наряд полиции... Вообще, зрелище из ряда вон выходящее...

— А каков, Коля, старичок этот, — майор в отставке, — вспоминает оживленно, хоть и невесело Раевский: — «Видал я, говорит, государи мои, как сам фельд-мар-шал умирал, — и то такой нетолченной трубы народу не было!.. А тут... со-чи-ни-тель, — и на поди!»... Губы вот так поджал и хлоп-хлоп глазами!.. Не сказал даже от изумления, какого это умиравшего фельдмаршала он видел... А фуражечка ста-аренькая, и козырек, должно быть, собственноручно суровой ниткой пришит...

— А знаешь, Мишель, что я там слышал? — перебивает Юрьев. — Говорили, что это сам Уваров рассылал анонимки на Пушкина!

— Ну, что ты?.. Министр?

— Нет, — вспоминает Раевский, — больше барона Геккерна винят... А один, мальчик еще почти, — студент, — во всеуслышанье говорит: — Если этому голландцу нелетучему окна не выбьют, то на чорта мне тогда и Россия!

— Но сам-то он, конечно, окна бить не пойдет, этот «почти мальчик»?.. — зло спрашивает Лермонтов.

— А я уверен, что в толпе кишат теперь мушары, и кое-кто пострадает от них за свой язык! — отзывается Юрьев. — Там, между прочим, кроме полиции, и жандармы есть...

— Вообще я удивляюсь, как у нас быстро разносятся новости, именно те, о которых в газетах не пишут, — замечает Раевский. — Ну, кто бы мог вообразить такую толпу почитателей Пушкина?

— Ты уверен, что это все почитатели, а не шпионы наполовину? — спрашивает Мишель.

— Или праздношатаи, которым все равно, к какой бы толчее не пристать, только была бы толчея, — поддерживает его Юрьев.

— Собаки ли сцепились драться, Пушкин ли умер, — разве им не все равно? — говорит Мишель.

— А разве Пушкин уже умер? — подхватывает Раевский.

— Мне кажется, прошло уже часа два, как умер, — тихо отвечает Мишель.

— Мы там, на месте, не могли добиться толку, а здесь кто тебе сказал?

— Я ведь послал туда Ваню после того, как вы ушли, — говорит Мишель.

— А-а! Ваню!.. Это другое дело... Как же он узнал, — пусть расскажет... Ваня! — кричит Юрьев, приоткрывая дверь.

— Его еще нет... Он не вернулся...

— Пойми: полицейский наряд стоит у самых ворот и никого без дела не пускает.

— Да вы просто не хотели ничего узнавать.. Какое вам дело до Пушкина? — зло говорит Мишель.

— Нет, у меня даже вертятся в голове стихи ему на гроб, — говорит Юрьев. — Я как-нибудь засяду и напишу...

— Хорошо... Ты пиши стихи на гроб Пушкину, а я буду писать вызов Дантесу...

— Мишель! — говорит Раевский. — У Пушкина ведь есть брат, — ты забыл?

— Брат?.. Лев Сергеич?.. А где он?

— Кажется, на Кавказе...

— Я... Я роднее ему всякого брата!.. Я ему ближе всякого брата!.. И никому не уступлю я чести вызвать убийцу!.. Я первый сделаю это! — подымает голос и голову Мишель.

— А почему он должен будет драться с тобою?

— Почему?.. Потому что перед тем я его оскорблю публично!

— И он получит первый выстрел?

— И не дам ему первого выстрела.

Входит Ваня с кулечком из кондитерской.

— Ага!.. Вот он Ваня!.. Ну? — встречает его Юрьев.

— Скончались!—говорит Ваня, кладя кулечек на стол.

— Ну вот... вот... когда? — тихо спрашивает Мишель.

— Да часа полтора уж будет... Теперь уж там вскрытие идет... Так сказали: — Вскрытие тела идет...

— Не говорил ли я вам? — укоризненно глядит на обоих друзей Мишель.

— А как же ты через полицию пробился? — спрашивает Юрьев.

— Зря я разве плюшек сдобных купил?.. Меня и не пускали, а я:

«Как же так, говорю? Барин мой должен без булок к чаю остаться? — Я булки ему вот несу! — Ну, меня и пустили во двор... А на дворе я уж свободно все разузнал»...

— Значит, умер... Конец...

— Вскрытие идет...

— Ну, ступай теперь...

Когда уходит Ваня, Мишель подходит к фортепиано, пробует взять несколько нот и говорит вдруг Юрьеву:

— Коля!.. Я написал уж стихи на гроб Пушкину, да плохо...

— Написал? Когда? — разом спрашивают Юрьев и Раевский.

— А вот... Когда почувствовал, что его уже нет в живых... Я почувствовал это! — говорит он с силой.

— И сразу написал?

— Да ведь у меня стихи эти вертелись в голове раньше...

И Мишель достает из нотной тетради отдельный листок и подает его Юрьеву:

— Ты хорошо читаешь... Попробуй, прочитай вслух...

— Разберу ли?

— Разберешь... Я ведь не торопился...

— Стань к окну! — советует Раевский, заглядывая в листок.

И Юрьев становится к окну спиною и начинает читать:

НА СМЕРТЬ ПОЭТА

Погиб поэт, невольник чести,
Пал оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и с жаждой мести,
Поникнув гордой головой.
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде, и — убит...
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья? —
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так долго гнали
Его свободный, чудный дар
И для потехи возбуждали
Чуть затаившийся пожар?..
Что ж, — веселитесь: он мучений
Последних перенесть не мог;
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
Его убийца хладнокровно
Навел удар, — спасенья нет...
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво? Издалека,
Подобно сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока,
Смеясь, он гордо презирал
Земли чужой язык и нравы,
Не мог щадить он нашей славы,
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку подымал!..
И он погиб и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности немой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и жизни простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам безбожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?
И прежний сняв венок, другой венок, терновый,
Увитый лаврами, надели на него.
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело...
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шопотом бесчувственных невежд.
И умер он с глубокой жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд...
Замолкли звуки дивных песен,
Не раздаваться им опять,
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать!

Некоторое время и Юрьев и Раевский, потрясенные силой стихов, смотрят на Лермонтова с восторженным изумлением. Молчание первым прерывает Юрьев, восклицая:

— Но ведь это нечеловечески сильно, Мишель!.. Я сейчас же сяду переписывать...

— Мишель!.. Так «На смерть Пушкина» мог бы написать только сам Пушкин! — вскрикивает Раевский, кидаясь обнимать друга.

Отворяется дверь и появляется насупленный и строгий Шан-Гирей и говорит громко:

— Бабушка просила передать, что она очень и очень недовольна твоим приемом гостей, Мишель!

Картина шестая

31 января. Комната в квартире вдовы Пушкина, — бывшая буфетная, — в которой стены окрашены желтой масляной краской. Тело Пушкина посредине, в гробу, поставленном на низкий, в две ступеньки, катафалк. Оно одето в черный поношенный фрак. В сложенных на

груди руках простая деревянная маленькая иконка, на которой ничего по ветхости ее разобрать невозможно. От рук и дальше к ногам тело покрыто взятым из придворной церкви красным бархатом, шитым золотом, и с массивными золотыми кистями. У изголовья камердинер Пушкина, молодой блондин с бакенбардами, часто опрыскивает голову покойного одеколоном. Форточка в окне открыта. Два старых церковных подсвечника стоят в головах и ногах покойного. Перед аналоем жилистый старый большеголовый и большебородый дьячок, с заплетенной косичкой, в черном подряснике, в очках, читает псалтирь. В стороне у стены большой стол, на нем два сундука, а на них устроился с мольбертом академик Бруни и пишет маслом «Пушкина в гробу». Он в зеленом рабочем халате, с густой и длинной полуседой шевелюрой.

Со двора входят в эту комнату через низенькую дверцу на черном ходе и узенький коридорчик, поэтому входящие проститься с телом, даже если они маленького роста, имеют вид весьма согнутый и руки тесно прижатые к бокам. Сквозь открытую форточку со двора часто доносится зычное квартальничье: «Вам к телу Пушкина?.. Вот сюда к телу Пушкина!»..

Кроме Бруни, дьячка и камердинера,— в комнате — публика, человек двенадцать; это больше мелкие чиновники молодых лет, студенты... Они подходят и к запертому шкафу у стены, пытаясь его открыть из любопытства и стараясь это сделать незаметно для других; они подходят к стенному зеркалу, занавешенному простынею, и заглядывают за угол простыни. Иные, подымаясь на цыпочки и очень вытягивая шею, пытаются сбоку заглянуть и в работу Бруни, который часто и недовольно чмыхает носом, так как то и дело голова того или другого из почитателей поэта закрывает голову поэта и мешает ему писать.

Дьячок время от времени вынимает табакерку, нюхает, чихает и утирается огромным красным в белую клетку платком, который потом аккуратно и неторопливо складывает и прячет... Он при чтении то бормочет совершенно невнятно, то на особо нравящихся и известных ему наизусть местах раскатывается отчетливым басом и строго оглядывает публику поверх очков.

Камердинер часто поворачивается лицом к форточке и глубоко втягивает свежий с надворья воздух. На дворе падает ленивый снег, и иные пухлые снежинки, кружась, залетают в комнату.

Дверь в другую комнату отворена, и в нее видно, как две женщины, — горничные, — укладывают из шкафов в ящики посуду, перестилая ее соломой. Это создает впечатление, что не только убит поэт, но и жилище его разорено и запустело.

Входит с альбомом художник Мокрицкий, высокий сутулый человек с черными волосами в скобку и усиками подковкой, — ученик Брюллова и товарищ Гоголя по нежинскому лицею, оглядывается кругом и подходит к телу поэта как раз с той стороны, откуда смотрит на него Бруни.

Бруни ставит ладони рупором и кричит устало:

— Хоть вы-то не мешайте, коллега!

Мокрицкий быстро оборачивается, видит знаменитого художника и подходит к нему, кланяясь:

— Вы, профессор, можно сказать, ушли в самое поднебесье! — говорит он лукаво и почтительно.

— А как же иначе в такой толпе? Ну? Как же? — брезгливо спрашивает Бруни.

— Затолкают!.. Окончательно затолкают, — соглашается Мокрицкий и добавляет, кивая на катафалк: — Какая печаль!.. Какая жалость!.. И кто бы мог подумать даже?.. Дней пять назад был у нас в мастерской вместе с Жуковским... Хохотал как!.. Даже Карл Павлович говорит: — «Вот человек счастливый: так смеется, что аж кишки видно!».. И вот,— боже ты мой! — лежит как и самый обыкновенный из смертных!

Заметив эту беседу художников, дьячок недовольно оглядывает Мокрицкого и пускает гулкое наизусть:

— Окро-пи-ши мя иссопом и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся... Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренные...

Услышав громкое «окропиши», камер-

динер поворачивается от форточки и берется за флакон с одеколоном.

— Что он такое делает? — следя за ним, не может сразу сообразить Мокрицкий.

— А как же иначе? — отзывается Бруни. — Оттепель... а тело уж двое суток лежит...

— В какой церкви отпевание будет?— спрашивает камердинера один из чиновников.

— Мы — Исакиевского собору прихожане, — отвечает камердинер.

Другой же чиновник, средних лет и с лысинкой, об'ясняет в это время сбившейся к нему группе:

— Передавали мне: солдаты-кавалергарды звали раньше Дантеса — Дантистом, а как прибавили ему еще фамилию Геккерн, они и говорят: — Был он только Дантист, а теперь стал еще и Лекарь!

— И подлинно лекарь! — подхватывает другой чиновник: — Вылечил Россию от Пушкина!

— Куда был ранен барин? — спрашивает один из двух подошедших студентов у камердинера.

— В бедро, — скучающе отвечает тот на частый вопрос.

— Ну, вот видишь! — говорит первый студент тоном заправского медика.

— Ничего не вижу! — возражает другой. — Бедро, — что же в этом такого?

— Бедро прикрывает собою жизненные органы очень большой важности для организма, — а если оно пробито... тут студент разводит безнадежно рукой.

— Э-э!.. Просто не сделали ему вовремя операцию! — не сдается второй студент.

— Врачи ведь скоро явились? — спрашивает первый студент камердинера.

— Ну, а как же... Несколько даже врачей...

— Ты слышишь?.. Значит, они хуже нас с тобой знали медицину!..

Мокрицкий устраивается со своим альбомом около одной стены, так что никто не может обойти его сзади, но редки случаи, когда не заслоняют ему лица Пушкина, и он время от времени произносит однообразно:

— Прошу вас!.. Пожалуйста!

Какой-то человек мрачной наружности, взлохмаченный, одутловатый, долго смотрит из-за плеч студентов в лицо поэта и говорит вдруг глухо, но очень убежденно:

— Не приказано было спасать, — вот и все!.. Не приказано, — и отнеслись доктора спустя рукава!.. Вот!.. Все это понимать надо!

Он оглядывает публику вызывающе, но, заметив, что на него обратили внимание, приглаживает волосы и уходит.

Провожая его глазами, раскатывает свой бас дьячок:

— Господи, что ся умножишася стужающи мя? Мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения ему в бозе его!.. Ты же, господи, заступник мой еси и слава моя и возносяй главу мою...

Чиновник с лысинкой, говоривший о Дантесе, говорит в стороне о Пушкине, как о своем близком друге:

— Очень играть в банк любил покойник!.. Скажешь ему: — Саша! Ты ведь так все дары своей музы за двадцать лет вперед проиграешь! — И проиграю! — говорит: — И непременно проиграю! — Выскочит из-за стола к умывальнику, — голову свою под кран (всегда она у него горела, — что будешь делать: африканская кровь!) — и опять к столу...

— Это кто же такой? — тихо спрашивает один студент камердинера.

— В первый раз вижу, — отвечает камердинер.

Из внутренних комнат входят князь Вяземский и Жуковский.

Дьячок, заметив их, возглашает громогласно:

— Яко лядвия мои наполнися поругания, и несть исцеления в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего...

Жуковский, — он во фраке со звездой под лацканом, — замечает Мокрицкого у стены и подходит к нему, — тот почтительно кланяется.

— Вот при нем, при нем были мы у Брюллова с Сашей! — обращается к Вяземскому Жуковский. — Как он просил у Брюллова подарить ему рисунок! Чуть не на колени становился!

— И становился, — вставляет Мокрицкий. — Шутки ради, разумеется, становился...

— Вот!.. А Брюллов не дал!.. Ведь так и не дал?

— Да.. Говорил: — Ведь уж собственность Салтыковой княгини...

— А Кукольнику, — как полагаете? — подарил бы, а? — язвительно спрашивает князь Вяземский.

— Кукольник у Карла Павлыча в чести, — соглашается Мокрицкий.

— То-то, что в чести!..

И Вяземский тянет Жуковского к столу с сундуками, и Бруни по их просьбе поворачивает к ним мольберт.

Тут же собираются сюда плотно и все остальные, и чиновник, называвший себя хорошим знакомым Пушкина, спрашивает учтиво Жуковского:

— А как, — простите, — здоровье супруги покойного, — не могу ли от вас узнать?

— А?.. Здоровье Натальи Николаевны?.. Благодарствуйте, теперь лучше... Удалось вызвать слезы... Прежде была в каталептическом состоянии... Но вот, подвели детей к ней... Долго на них глядела, не узнавала... Наконец... заплакала... заплакала, бедная... И теперь плачет...

И он сам достает платок и вытирает глаза.

— Ну, что же, — нам ведь надо ехать, — напоминает князь Вяземский, и оба, причем Жуковский несколько раз кланяется Бруни и Мокрицкому, уходят снова во внутренние комнаты, а со двора в это время бодрые выкрики полицейских:

— К телу Пушкина? — Вот в эту дверь!.. Написано мелом «к Пушкину»,— видите?.. Сюда!

Входят трое купеческих сынков. Осмотревшись, один за другим, гуськом, они подходят к телу, истово крестятся, взматывая косицами, и целуют, один уступая место другому, покойника. Некоторое время они стоят потом перед телом в созерцании и безмолвно, но просьба Мокрицкого:

— Прошу вас!.. Э-э-э... пожалуйста!— заставляет их отступить, и они также внимательно останавливаются, держась кучкой, перед запертым шкафом, занавешенным зеркалом и «поднебесьем» Бруни.

Двое чиновников уходят, а со двора протискивается пожилая салопница, которая от дверей уже начинает креститься, но подойдя к телу и долго всматриваясь в лицо поэта, подбирается боком к дьячку и спрашивает полушопотом, кивая на покойника:

— Из православных?

— Гм... Вот тебе на! Как же иначе, когда я псалтирь читаю? — строго озирает ее дьячок, и только этим доводом убежденная салопница подходит снова к телу, прикладывается, качает головой, соболезнуя, и отходит.

— Сюда пожалуйте! В эту вот дверку! — указывает квартальный кому-то на дворе, и в комнату входят хорошо одетый средних лет высокий господин и с ним две дамы — помоложе и постарше.

— Что за обстановка? — начинает было дама постарше, оглядываясь близорукими сощуренными глазами, но когда видит гроб с телом, всплескивает руками и восклицает: — боже мой, боже мой!..— и закрывает глаза пальцами.

Дьячок сильно ударяет в голосовой колокол:

— Камо пойду от духа твоего и от лица твоего камо бежу? Аще взыду на небо, — ты тамо еси, аще сниду во ад,— тамо еси; аще возьму криле мои рано и вселюся в последних моря, и тамо бо рука твоя наставит мя и удержит мя десница твоя...

— И что же, он страдал перед смертью много? — спрашивает дама помоложе у камердинера.

— Большую приняли муку! — крутит головой камердинер.

— Кушать уж ничего не мог? — пусто спрашивает барынька.

— Нет... Только уж совсем перед смертью морошки моченой захотели,

— Как? Мо-рош-ки? — удивляется спутник дамы.

— Морошки-с... Какую в лавочках продают-с... Прямо из лавочки принесли горшочек, — сама барыня их покормила с ложечки...

— И что же, — кушал все-таки? — допытывается барынька.

— Ну, сколько же они там скушать могли? — Им уж препятствовало кушать... Не больше как две ложечки соку выпили... «Хорошая, говорят, морошка.. Очень хорошая... А теперь мне уж боль-

ше ничего не надо»... С тем и скончались...

— Сознавал, значит?

— Как же можно, чтобы такой человек память потерял?.. Все время в памяти были, — с гордостью говорит камердинер.

— Детей, детей много ли осталось? — интересуется дама постарше, вытирая глаза.

— Четверо-с...

— Четверо?.. Маленьких?

— Совсем крошечных...

— Батюшки мои! — И дама принимается снова плакать.

Входят четверо рослых гардемаринов.

— Мы, кажется, мешаем художникам, — оглядываясь, говорит спутник дам, но только что он отводит их от тела, тут же тело обступают гардемарины, и Мокрицкий досадливо чешет карандашом бритый подбородок.

Щеголяя выправкой, гардемарины, так же, как перед тем купеческие сынки, один за другим склоняются над телом поэта для целования и отходят.

Они делают круг по этой комнате, деловито оглядывая потолок и стены и, переговариваясь друг с другом, звучно шагают во вторую, где укладывают горничные посуду в ящики из шкафов.

С надворья слышится не столь зычное, более предупредительное квартальничье:

— К телу Пушкина, или же в квартиру Пушкиной вдовы?.. К телу?.. Тогда вот сюда пожалуйте!..

И через некоторое время входит лейбгвардеец, корнет Лермонтов.

Войдя, он останавливается около дверей и с полминуты бегло оглядывает всех в комнате. Дьячок в это время как раз продолжительно сморкается после чиханья и потом складывает свой огромный красный платок, камердинер опрыскивает голову Пушкина. Лермонтов смотрит искоса и на катафалк с гробом, но больше, — так кажется со стороны, — привлекает его внимание странное сооружение, на котором сидит Бруни. Однако к Бруни он не подходит, не подходит и к Мокрицкому с его альбомом. Он становится сзади дьячка и смотрит долго из-за его спины в закапанную воском псалтирь с красными большими заставками в начале каждого псалма. Потом он круто поворачивает и идет в другую комнату, но скоро выходит оттуда и только теперь подходит вплотную к изголовью гроба, так что не мешает ни Мокрицкому, ни Бруни, и долго стоит и смотрит в лицо поэта. Потом он вынимает записную книжечку и карандашом набрасывает несколько линий, но, не окончив наброска, прячет книжечку, так как к нему подходит высокий спутник двух дам и говорит, склоняя приветливо голову и улыбаясь:

— Скажите, пожалуйста, барон Геккерн-Дантес, — ведь это, кажется, ваш одно-пол-ча-нин, или я ошибаюсь?..

— Да, вы ошибаетесь, — отвечает, подымая к нему круглые глаза, Лермонтов, — убийца Пушкина кавалергард.. А я не желал бы быть теперь на месте кого-либо из кавалергардов!..

— А-а! — неопределенно тянет собеседник Мишеля.

— Да, даже если бы был и вдвое выше вас ростом и вдвое...

Он не договаривает слова «глупее», но это видно по всему его раздраженному и болезненно бледному лицу.

Отвернувшись, он быстро наклоняется к лицу поэта, целует его в волосы над большим восковым лбом и тут же уходит.

— Кто этот молодой офицер, а? — спрашивает удивленный и даже раздосадованный спутник двух дам.

Камердинер пожимает плечами и говорит:

— Никогда не приходилось видеть...

Картина седьмая

Тщательно выбритый, круглощекий, плотный, в мундире военного врача высших рангов, модный врач среди знати того времени, лейб-хирург Арендт сидит около дивана, на котором полулежит Лермонтов, под одеялом, в одной рубашке, с осунувшимся бледным, скуластым лицом и горячими впалыми глазами. Тут же и бабушка; она сидит встревоженная и очень внимательно следит за выражением лица врача.

— Ну, что же, батюшка Николай Федорыч, — что же все-таки у моего Миши?.. Не ревматизм ли начинается? — спрашивает она даже с некоторым по-

добострастием, которое в ней явно удивляет Мшеля.

— Нет, какой же там рев-ма-тизм! — машет мягко рукой Арендт. — Просто и ясно: расстройство нервное...

— Да это-то и другой доктор — вчерашний день был — то же сказал... Прописал валерьянку, будто барышне!

— Стыдно, стыдно корнету его величества валерьянку пить, — улыбается Арендт, — а надо, надо... Я бы тоже ничего другого не прописал...

— Теперь ведь и в литературе так, — тягуче говорит Мишель: — Если после прочтения романа не понадобится пузырек валерьянки, то какой же это роман?

— Да, вот... Ты всегда у меня был такой! — пеняет бабушка. — Только хорохоришься зря, а нервы дамские...

— Смотря какая дама... У иной их даже и подозревать ненаучно, — поддерживает Мишеля Юрьев, который тут же, только стоит у окна.

Но задетый упреком бабушки, Мишель подымается на локте и говорит тихо, но раздельно:

— Хотел бы я, бабушка, посмотреть, ваши-то нервы выдержали бы этот ужас, — как кричал Пушкин перед смертью?..

— Разве он кричал перед смертью?.. Не перед смертью, а в ночь с 27 на 28-е, — поправляет Арендт. — А вы разве слышали этот крик?

— Нет, где же я мог его слышать?.. Мне только... передавали об этом, — говорит Мишель. — Но как могла его слушать и остаться живою Наталья Николаевна, — это меня удивляет!

— Да ведь она не слыхала этого крика, — живо отзывается Арендт. — В том-то и счастье ее было, — что как бы в летаргическом сне была она во все эти десять минут крика!.. Ведь она спала в соседней комнате и головой к двери, и одна только дверь ее отделяла, и вдруг, она не слыхала этого крика!.. Можно спать на бивуаках во время перестрелки, но для этого большая привычка нужна, и большая усталость, конечно, — у нее же такой большой усталости быть не могло, конечно... Откуда же этот спасительный сон? Это меня и теперь удивляет... Она проснулась только в тот именно момент, когда больной справился со своей болью, то есть когда пуля на нерв давить перестала.

— Почему перестала давить пуля? — не понимает Мишель.

— Потому что перестал давить на пулю кишечник, — я так об'ясняю это...

— Но она-то как же теперь, эта несчастная жена Пушкина? — любопытствует баубшка.

— На выносе тела она не могла быть — очень слаба была... Что с нею только делалось!.. Можно бы было сказать: это — столбняк... это — смерть!.. Ее сгибали конвульсии... колесом, совершенно колесом!.. Ступни ног затылка касались, — а ведь она — женщина вашего роста... В два дня у нее расшатались все зубы, как от цынги!... Я много видел, — но такого страшного припадка горя не приходилось видеть!..

— Вот что там было, бабушка, — запомните! — говорит Мишель

— Я-то понимаю это, — я — женщина!.. А вот таким, как ты, это не грех бы на всю жизнь помнить!

— Молодой человек! — вдруг торжественно кладет свою руку на руку Мишеля Арендт. — Молодой человек! Не деритесь никогда на дуэли!

— Ты слышишь, Миша? — не менее торжественно говорит бабушка. — А я ему, батюшка, разве не то же самое постоянно твержу?.. Я вседневно твержу ему это!..

— Гм... Иногда удержаться бывает невозможно, — серьезно глядит на них обоих Мишель. — Бывают такие случаи в жизни...

— Вот!.. Вот и весь его ответ! — горестно вздымает и бросает на колени руки бабушка, а круглощекий Арендт больше ей, чем больному корнету, говорит с жаром:

— В тридцати четырех сражениях я был!.. Сколько видел я умирающих? Счета им нет!.. Мог бы, кажется, привыкнуть я к людским страданиям перед смертью?.. Просто и ясно: мог бы!.. Просто и ясно, — не смею я плакать: я врач! А я стоял около его дивана, — вот как сейчас сижу около вашего, — и не мог удержать слез!.. Ведь умирал кто?.. Единственный из единственных, — Пушкин! Сколько генералов видел я в без-

надежности?.. Но генерал... позвольте мне эту маленькую вольность, г. корнет! — Генерал, это — только полковник, произведенный в следующий чин!.. Это делается, — ясно и просто, — по указу его императорского величества: умер генерал, — да здравствует генерал!.. Но даже и самодержавнейший из монархов не может из графа Хвостова, например, который сам по себе почтеннейший человек, конечно, но имеет слабость то-оже писать стихи и раздавать их своим знакомым и даже... станционным смотрителям, если он куда-нибудь едет, — не мо-ожет сделать из него Пушкина!.. Ну-ка, по указу его величества: был ты Хвостов, — стань Пушкин!.. О-он не станет, нет!.. Он не станет!..

И разгорячась, и блистая голубыми глазами, Арендт долго не может успокоиться, раздувает ноздри небольшого носа и потирает с силой одну ладонь о другую.

Мишель любуется им; он отзывается вполголоса, так как воздуху ему не хватает:

— Вот это так!.. Вот это хорошо сказано!.. По-русски!

А Юрьев от окна спрашивает:

— Говорил ли что-нибудь Пушкин перед смертью?

— Много!.. С большой выдержкой был человек... И даже Гречу свое сочувствие просил передать... У Греча ведь сын умер... студент... от чахотки... А как деликатен был к жене своей перед смертью!. При такой ране ведь люди очень капризны бывают: это правило общее... А он... Хочется ему постонать немного, не-пре-о-долимо ведь всем хочется, — ему также, а он... терпит!.. Почему?.. Да жена подошла к двери оттуда, — и он ее чувствует!.. Он смотрит в стену перед собою, а дверь там, и она закрыта, и вот, — он чувствует, что она подошла к дверям, и тут же перестает стонать... чтобы ее, видите ли, не беспокоить! А боль была такая, что он часто спрашивал нас, врачей: — Скоро ли?..

— То есть, скоро ли для него кончатся навсегда мучения!.. А боль была такая, что он (тут Арендт понижает голос до шопота), кажется, застре-литься хотел!.. Уже и пистолет держал в руках, да отняли, конечно...

Это пугает старуху.

— Миша! — говорит она строго. — При Николае Федорыче вот дай мне слово никогда не драться на дуэлях!

— Ну, как же, бабушка, могу я такое слово вам дать, я офицер? — пытается улыбнуться Мишель, и, желая вывести его из затруднения, продолжает Арендт.

— Когда я привез ему записку от государя, что он берет жену и детей его на свое попечение, — как он просиял тогда!..

— Разве он все-таки сомневался в этом? — искренне удивляется Мишель.

— Гм... Он, конечно, знал законы о дуэлях, а ведь в законах о дуэлях нет этого, г. корнет, чтобы царь брал на свои руки семью каждого убитого, — улыбается Арендт. — Ведь даже и такие друзья его, как Жуковский, князь Вяземский, Плетнев, Тургенев, — и те были рады записке государя... Судьба иных гениев была ведь еще печальнее!.. Вспомните Тасса!

— Хорошо, а разве нельзя было его спасти? — вмешивается Юрьев.

Арендт разводит мягкими руками:

— Таких ран мы, глупые люди, лечить еще не можем... А бог не захотел... государь мог бы быть к нему еще более милостив, но бог его взял...

— А я вот что скажу про этого Пушкина, — вдруг раздраженно вступает в разговор бабушка: — Не в свои сани он сел, — вот что, — и лошадьми править он не умел!.. Вот и занесли его в сугроб.. а оттуда в овраг!..

— Нет, он в своих санях ехал, бабушка, в своих! — почти визгливо вскрикивает Мишель. — И никто не умел лучше его лошадьми править!.. Только негодяи ему навстречу ехали, и они не свернули!.. А ему сворачивать было некуда, — да!..

— Пейте валерьянку почаще, — добродушно говорит Арендт, улыбаясь, и тут же продолжает рассказ: — Великая княгиня Елена Павловна очень часто справлялась у Жуковского записочками: — Как Пушкина здоровье?.. — Нет, никто из всей царской фамилии не был равнодушен к его положению... Если бы так кто сказал вам, — не верьте лжи!..

— Однако никто к нему и не приехал на дом, — с упреком говорит Мишель.—

Никто не показался у него перед смертью... А ведь могли бы!

Это замечание молодого корнета кажется уже слишком заносчивым даже добродушному Арендту, и он, качая головой, снова повторяет:

— Валерьянку, — валерьянку, дорогой мой!.. Пейте, пока не успокоитесь совершенно...

И тут же, чтобы замять неприятный острый угол разговора, переходит к умирающему Пушкину:

— Иногда он мне казался Сократом, принявшим соку цикуты, или Сенекой, вскрывшим вены, — такой у него был мудрый вид!.. Он не любил философии, я знаю, но-о... мудрость гения всегда мудрость гения, знает ли он философию или нет... «Скоро ли я умру? — спрашивает. — Пожалуйста, нельзя ли поскорее!»... — «Да, теперь уж скоро», — отвечают ему... А он: — «Ну, вот и хорошо, и прекрасно!»..

— Самоубийца он!.. Самоубийца, — вот кто он! — гневно говорит бабушка. Всегда повторять буду: — Самоубийца!

— Бабушка! — укоризненно обращается к ней Мишель.

— Приходилось и это слышать, — мягко говорит Арендт. — Загадочного, конечно, в смерти его много...

— Нельзя было по-церковному и отпевать такого!

— И это говорили. Много говорили, очень много... Заставлял он людей думать над собою и раньше, когда был весел и бодр, — а когда умирал, еще больше над ним задумались... О себе же самом я сказал бы так: когда сам умирать буду, вспомню, как Пушкин умирал, и, как пишут в казенных бумагах, — спорить и прекословить не буду... Ну-с, а вы, г. корнет, — добавляет Арендт подымаясь, — смотрите, через два дня чтобы писали рапорт по начальству: «здоров и службу его величества нести могу»...

— Ах, уж эта служба его! — не может удержаться бабушка. — Ведь умоляла же я его итти по штатской! — Нет!. Теперь вот еще железная дорога какая-то в Царское завелась!.. Никогда, Миша, по этой костоломке не езди, — даешь мне слово?

— Даю, бабушка, даю! — и садится на постели Мишель.

— Свои лошади стоят на конюшне, слава богу, как звери, — киргизы, — даром овес едят, — и чтобы на этой немецкой выдумке...

— Английской, — поправляет Арендт.

— Ну, хоть бы и английской... уродство себе получать!.. Никогда я тебе этого не позволю!

И она величественно подымается, и Арендт почтительно целует руку, говоря на прощанье:

— Три-четыре хороших приема валерьянки, — уснуть хорошенько хотя бы две ночи кряду, — и здоров будет ваш внук...

Юрьев подходит проститься, а когда бабушка уходит, провожая Арендта, говорит Мишелю:

— В самом деле, Миша, что же это ты?.. Давай-ка сегодня куда-нибудь завернем, кого-нибудь навестим: ведь тебе только разойтись надо... Твои стихи «На смерть Пушкина» везде твердят наизусть... Я бы от радости, кажется, на голове бы ходил, а он лежит!

Мишель бьет себя по лбу ладонью и морщится:

— Вот тут!.. Будто разрезал тут все пополам этот крик Пушкина!... Тело в гробу не так... к этому я был подготовлен... А ты слышал, зачем Пушкин понадобился Арендту?.. Чтобы ему умирать было не страшно!

— Брось, Мишель!.. Всякому свое... Отвезли Пушкина, схоронили в Святогорском... Теперь твердят на память твои о нем стихи... Все идет своим чередом!..

— А Краевский получил уже нагоняй за свой некролог о Пушкине...

Заходил, — говорил: — Не турнули бы со службы!..

— Вот как?... Не знал!

— «В каких таких чинах больших он был?.. Какое служебное поприще проходил? Что он, пол-ко-водец что ли был, этот Пушкин?»...

Вон как они говорят, министры Уваровы!.. Министры про-све-щения, — не чего-нибудь!.. Для них только Дмитриев, — действительный тайный советник, или хотя бы Денис Давыдов, — кавалерийский генерал, имеют право на некрологи!.. Воровским манером, ночью,

выносят тело в церковь, — да не в ту, какая была об'явлена раньше, а в другую, — и жандармов при этом вдвое больше, чем друзей... А потом мчат его под рогожей в розвальнях по ухабам,— марш-ма-арш! — чтобы только поскорее вон из столицы!..

— Значит, дело за малым, Мишель,— улыбаясь говорит Юрьев.

— Как за малым? — не понимает Мишель шутки приятеля.

— Поскорее бы тебе густые генеральские эполеты, — и пусть бы тогда сказали Уваровы, что ты не поэт!

— Чорт знает, какой ты вздор порешь!

— Повторяю твои слова!.. Нет, в самом деле, Мишель, — ты разойдешься и как с гуся вода!.. Катнем-ка с тобой куда-нибудь сегодня, — погода теплая, к цыганам что ли, а?.. И бабушке это будет приятно...

— Уйди от меня!.. Сейчас же уйди!— повышает голос Мишель.

— Ну, да, жди, — так и уйду! Испугал ты меня очень!.. А вот к тебе идет еще кто-то разгонять твою черную меланхолию...

Действительно, в это время входят трое из товарищей Мишеля: Николай Аркадьич Столыпин, племянник Елизаветы Алексеевны, камер-юнкер, высокий, молодой, красивый чиновник министерства иностранных дел, Андрей Черепов, кавалергард, товарищ Мишеля по школе гвардейских подпрапорщиков, и поручик граф Алопеус, однополчанин Мишеля.

Они входят шумно, говоря вперебой:

— Приходим к нему, а от него выходит сам Арендт!.. Так тяжело писать заупокойные вирши!

— Неужели и в самом деле болен?

— С ума сошел, — болеть зимою!.. Жалкая потеря драгоценного времени!

И когда все усаживаются, говорит Столыпин:

— Гремит, можно сказать, на весь Петербург своими стихами, а сам в одной рубашке и на одре!

— Нет, это он не глупо делает, однако! — щелкает пальцами Алопеус. — Надо последовать благому примеру: мы ведь с ним, кажется, месяца два уже не были в полку!

— Да-а!.. На всякий случай не мешает пригласить Арендта! — соглашается Черепов.

— Однако, господа, вид у него и в самом деле больной, — замечает Столыпин. — Или это кажется так от освещения тусклого?.. Да нет же, Юрьев сияет себе как наваксенный сапог!

— Скажи, ты не был на отпевании Пушкина? — вдруг спрашивает его Мишель.

— Ну, вот, как же не быть!.. Мы ведь с ним одного министерства... были, конечно... И в одном придворном звании...

— Значит, был? Расскажи же!

— Вынес, вынес всю тесноту Конюшенной церкви... Вышел с измятой грудью... Тебя интересует это?.. Я только мало что видел... Однако вот что мог бы тебе сообщить... Когда я протискался вслед за другими, конечно, к самому гробу, то, — безобразие, милый мой, как хочешь!.. Можно питать к Пушкину и любовь и уважение, но зачем же было его так уродовать?

— Уродовать? Как уродовать?

— Представь себе, дамы явились в церковь, с... чем бы ты думал?.. С ножницами! И всего Пушкина, мой друг, оболванили неузнаваемо!

— Не понимаю!

— Остригли наголо! Клочьями!.. Всякой хотелось клочок волос на память!..

— Я слышал, — даже и бакенбарды срезали, — вставляет Алопеус.

— И бакенбарды!.. Все, все!.. Пушкина нельзя было узнать!.. И, наконец, — противно этикету, он лежал в гробу в одном жилете, или какой-то курточке...

— Как в жилете?.. В черном фраке он был в гробу! — вспоминает Мишель.

— Можешь себе представить: в жилете!... Фрак на нем был, конечно, но его тоже разрезали на кусочки дамы и унесли!..

— Варварство!.. Дикость! — вскрикивает Мишель. — Но как же позволили это?.. Ведь это — кощунство над мертвым телом!.. За эту уголовщину под суд!..

— Ну, так уж и уголовщина!.. — замечает высокоголовый Черепов. — Есть такая пословица польская: «С медведя и шерстинка приятна»... С медведя —

шерстинка, с Пушкина — волосок... Все равно, земле останется еще много!

— Для земли — большая добыча, — ты прав, — угасает Мишель.

— А вот почему он был во фраке, а не в камер-юнкерском мундире, об этом надо спросить друзей Пушкина, — подымает палец Столыпин.

— Фрак дешевле, конечно, — замечает Юрьев.

— Нет, тут расчет был другой, — и это кое-кто заметил... — загадочно говорит Столыпин. — Я слышал, что государь этим был недоволен.

— Ты прав!.. Будь Пушкин в придворном мундире, на него бы не посягнули дамы! — зло подхватывает Мишель. — А когда будешь умирать ты, умирай в своем камер-юнкерском мундире!.. И волосы обрей!..

— Гм... Надеюсь умереть, по крайней мере, камергером... Еще что тебе сказать?.. Да, вот что... Когда выносили гроб из церкви, гляжу, лежит на земле какой-то длинный штатский ничком и бьется!.. Подняли его, — оказалось, это князь Вяземский исходил всенародно в рыданиях!

— Разве он припадочный? — спрашивает Черепов.

— Нет, это был, как бы сказать, — древне-еврейский показной вид скорби... Не знаю, посыпал ли он голову пеплом... Еще что?.. Да, замечено было, что гр. Уваров что-то был очень бледен... Это, впрочем, немудрено: какие-то негодяи распускают о нем гнусную сплетню, будто это именно он не то рассылал, не то сам фабриковал подметные письма... Дикий вздор, конечно!.. Кто-то желает сводить с ним личные счеты!.. А вот что тот же князь Вяземский и Жуковский положили в гроб Пушкина свои перчатки, когда заколачивали гроб в подвале, — это я знаю, дошло уж до государя... В самом деле, — что это за символический знак, скажи на милость, — класть в гроб перчатки?

— Гм... Я бы мог сделать то же самое, если бы был тогда! — досадливо морщится Мишель. — Пусть это было бы похоже на кукиш в кармане, но все-таки... хоть что-нибудь!

— Бросить перчатку, значит, вызов?.. Но тут кому же вызов? Не мертвому же Пушкину?..

— А живым его врагам! Да!.. Ты догадлив, как всегда! — кричит Мишель. Вызов! Да!.. И я его вызову!

Тут он легко спрыгивает с дивана, надевает туфли и начинает метаться по комнате, повторяя:

— Я его вызову, да!.. Черепов!.. Можешь при свидании с ним передать ему это?

Но Черепов, слегка улыбаясь, говорит размеренно:

— Я слышал, Мишель, другое, как раз обратное... Твои стихи дошли до него, до Дантеса, — ведь ты о нем говоришь, конечно? — И вот, видишь ли, не ты его, а он тебя за эти стихи хочет вызвать!

— Ага!.. И что ж?... И хорошо!.. Мне только этого и надо!

— Мишель, — не говори глупостей!— замечает тоном старшего Столыпин. — В конце концов что же ты имеешь против Дантеса? Что в честной дуэли не он был убит, а сам убил?.. Разве на месте Дантеса ты поступил бы как-нибудь иначе?

— Я? Как я?.. Я, по-твоему, поднял бы руку на Пушкина?

И Мишель подскакивает к Столыпину и говорит ему дрожа:

— Как же ты смеешь... предполагать обо мне такое?

— Постой, не злись!... Ты хочешь сказать, что не принял бы вызова Пушкина? Так что ли?

— Я не до-вел бы его до вы-зо-ва. Нет!..

— Позволь!.. Гр. Соллогуб тоже не хотел доводить его до вызова, однако же, говорят вот теперь, был им все-таки вызван!

— Из-за веселого разговора с м-м Пушкиной на одном балу?.. Я слышал тоже что-то такое, — вставляет Алопеус.

— Пусть так!.. Однако же они не стрелялись!

— Однако же пару «Кухенрейтеров» Соллогуб тогда же себе купил!

— И десяток извинительных писем должен был написать, — добавляет Алопеус.

— А слышали, графиня Закревская,—

мне так передавали, — не знаю, верить ли, хвасталась, что Пушкин своими знаменитыми ногтями исцарапал ей руки из ревности к одному корнету, — вспоминает Черепов. — Недавно, может быть, дня за три до дуэли исцарапал!.. Те, кому показывала руки, говорили, что совсем свежие царапины!..

— На мертвого валить можно, конечно... Но я не хочу, чтобы говорили так о Пушкине в моем присутствии! — раздельно и резко говорит Мишель, подходя к Черепову.

Но тот ласково обнимает его за талию, смеясь:

— Ты совершенно погружен в черную тоску, Мишель!.. Прими мой совет: пересчитай тысячу рублей медными копейками, и ты от нее избавишься!.. Ты знаешь, что сделал юнкер гр. Мантейфель? Захотел наказать кассиршу оперного театра за холодное ее сердце и привез в уплату за ложу-бенуар мешок меди!.. Полчаса, говорит, считала, подлая!..

И он беззаботно хохочет, и ему вторят и Юрьев, и Столыпин, а гр. Алопеус замечает игриво:

— Ох, уж эти мне юнкера!.. И разыщут же где-то красивую кассиршу!

— Между прочим, Мишель, — отсмеявшись говорит Столыпин, — ведь Пушкин готов был, как известно, изменять жене с каждой юбкой, — почему же сам он ее ревновал так бешено к каждому мундиру?

— В конце концов, это дело его жены, изменял он ей или нет, — не так ли? — выкрикивает Мишель.

— Ну, вот-вот: ее дело и было флиртовать изо всех сил с Дантесом! — подхватывает Столыпин.

Некоторое время Мишель смотрит на него тяжело и безмолвно и, обращаясь ко всем сразу, спрашивает вдруг:

— А будут ли судить Дантеса?

— Следствие ведется, — отвечает за всех Черепов.

— А суда не будет! — говорит Столыпин.

— Ты почему знаешь?

— Иностранцы, да притом столь знатные, как барон Дантес-Геккерн, — русскому суду не подлежат, — с весом отвечает Мишелю Столыпин.

— Как не подлежат?.. Хотя и состоят на русской службе?

— Родом француз, по усыновлению — голландец, по русской службе — корнет, — он будет, говорят, просто выслан из пределов России, и только!

— Куда выслан?

— А это уж куда он хочет... Его довезут до границы с фельд,егерем, и с богом! Во Францию или в Голландию, — как захочет он или его новый отец...

— А что же будет тогда с нашими дамами из бомонда? — справляется, делая испуганное лицо, Юрьев.

— Говорят, Идалия Полетика не выходит по этому поводу из состояния истерики вот уже третий день, чем доставляет своему мужу-ротмистру много веселых минут, — говорит Черепов.

— Ка-ак?.. Чтобы он убил нашу славу, нашего гения, и чтобы мы дали ему уйти безнаказанно?.. Нет!.. Этого не будет! — кричит Лермонтов.

— Что это за «мы» такое?.. «Мы» от слова «мы-чать»?.. В России есть власть, а не «мы»! — учительно замечает Столыпин. — Мы с тобой только служим власти... о чем ты, впрочем, блистательно забываешь!

— Мишель! — говорит Юрьев. — Наполеон пришел к нам, нагадил и ушел цел и здоров!.. Дантес пришел, нагадил и уйдет цел и невредим... Это в порядке вещей, Мишель!.. Для этого нужно быть только французом!

— Наполеон оставил у нас на полях свою армию!

— Но и в Египте он тоже ее оставил!.. Это просто была одна из его милых привычек!.. Почем ты знаешь, какие привычки у Дантеса?

— Вообще, Мишель, — снова тоном старшего начинает Столыпин, — в правящих кругах относятся ко всему этому событию го-раз-до спокойнее, чем тебе это представляется!.. Все высшее общество...

— То есть, все эти вчерашние князья и графы?.. Ближайшие потомки подлецов от'явленных!.. Мужиков чухонских!.. Ночных царей!.. — вне себя перебивает Мишель. — Они казнили Пушкина за безобидные эпиграммы, а палача его судить не хотят?.. Хотя бы для вида, чорт их возьми! Хотя бы для приличия!.. Ты это хочешь сказать?.. А вы, кавалергарды,

может быть, еще и проводы ему устроите? — обращается он к Черепову.

— Я к числу друзей Дантеса не принадлежал ведь, но должен тебе сказать, что ты угадал, — несколько смущенно улыбается Черепов: — кое-кто весьма даже часто говорит об этом...

— Вот!.. Ты слышишь?— вплотную к Столыпину подходит Лермонтов.

— Слышу, однако не понимаю, почему это ты ко мне так пристал сегодня?

— А потому, — совершенно вне себя кричит Лермонтов, — что так отнестись к смерти гения русского — это преступление власти!.. Это преступление каждого из нас!.. Это преступление нации!.. Это преступление страны, в которой говорят по-русски!.. Кто не хочет судить убийцу гения, того будет судить история и осудит жестоко!.. Того сам бог судить будет!..

И Лермонтов отскакивает в дальний угол комнаты и вдруг порывисто садится там за стол и хватает карандаш и бумагу.

— Ого!.. Уж не хочет ли зародиться поэзия! — насмешливо кивает на него Столыпин.

— Или проект на высочайшее имя о том, как искуснее казнить Дантеса! — поддерживает граф Алопеус.

Мишель оглядывает их горячим взглядом, ломает карандаш, бросает в их сторону обломки и берет другой.

— Однако... поэзия — это, как видно, занятие очень выгодное для карандашных фабрик, — не может не с'язвить Столыпин, поднимая подкатившийся к нему обломок.

— Хорошо сломано! — берет у него этот обломок граф Алопеус. — У этого злого кор-не-та чер-тов-ская сила в пальцах!.. Я только так когда-то умел ломать карандаши...

И он старательно закладывает обломок карандаша между пальцами и бьет о колено, но обломок этот слишком мал, чтобы еще раз сломаться, и Алопеус бросает его с гримасой: — Чорт! Чуть пальца себе не сломал!

— Вот тебе еще один! — Упражняйся! — кидает в его сторону Мишель еще один сломанный карандаш и тут же начинает писать третьим.

— Это стихи, Мишель, или проект казни? — спрашивает Черепов.

— Не мешай ему, — пусть пишет, — останавливает его Юрьев.

— А что ни говори, — стихи его «На смерть Пушкина» очень, говорят, понравились великому князю... Нет, серьезно,— я из первых рук слышал, — говорит Юрьеву граф Алопеус.

— А кому же они не нравятся? — с гордостью отзывается тот. — Между тем, кажется, уж сорок поэтов почтили память Пушкина своей стряпней... И это в одном Петербурге!.. Однако их стихи— только стихи, а у Мишеля какие-то медные трубы, и фаготы, и виолончель вдобавок... Повидимому, разошлись они в несколько дней в тысячах списков... По крайней мере, мне лично их чуть ли не в десяти домах читали!

— Из этого следует, что даже и стихи на случай имеют свою судьбу! — говорит Столыпин.—Удачный мадригал тоже ранит сердца красавиц... А все-таки, странная, как хотите, была эта парочка: красавица Натали Пушкина и ее муж урод!.. Я был на балу с м-ль Мердер, и вдруг вошел Пушкин... Она положительно испугалась!.. «Боже мой!— говорит. — Кто же это такой урод?»...

И он готовился продолжать о том, как была поражена м-ль Мердер внешностью Пушкина, когда, в сильнейшей степени раздражения, подскакивает к нему Мишель Лермонтов:

— Что ты сказал?.. Что ты сказал об уроде?

— Что бы я ни сказал, твой тон неприличен! — подымается Столыпин.

— Замолчи!.. Или я тебя... сейчас же... выкину вон! — совершенно выйдя из себя кричит Лермонтов.

— Ну, это уж не больной, а сумасшедший!.. И никакой Арендт ему не поможет!..

И Столыпин поспешно идет к двери и из дверей уже бросает Юрьеву:

— Горячечную рубашку на него надень!..

— Что? Дать валерьянки? — серьезно и заботливо спрашивает Мишеля Юрьев.

— Отстань! — замахивается на него Мишель.

— А ну, прочитай-ка, что ты напи-

сал, — прочитай-ка! — ласково обнимает его Алопеус.

— А ты... ты не в стане врагов Пушкина? — подозрительно взглядывает на него Лермонтов.

— Ну, вот!.. Ты уж и меня оскорбить хочешь!..

— Однако ты ведь тоже украшение петербургских балов, как и Дантес, — ты, танцор!.. Не сердись, не сердись!.. Ты любил читать Пушкина,—я вспомнил... Но кто враг Пушкина,—тот мой враг!.. И я не потерплю, нет, — я никому не позволю, чтобы при мне так говорили о Пушкине, как этот... мой дядя одних со мной лет!.. Меттерних будущий!.. Прихвостень Нессельродши!..

В это время Юрьев подходит к столу, за которым писал Лермонтов, и берет листок.

— Что такое? Мишель!.. Ты успел написать столько стихов, пока мы болтали?.. И без помарок!.. — удивляется он.

— Дай!.. Дай же сюда!.. Дай, я сам прочитаю! — и Лермонтов выхватывает у него листок — Это окончание стихов «На смерть поэта».. Это то, чего там не доставало...

Он пристально смотрит в листок и вдруг комкает его и бросает, но Юрьев бросается его поднимать:

— Э-э, Мишель!.. Так нельзя нервничать!.. И я уж все равно успел прочитать первые строчки...

Он разглаживает листок, готовясь прочитать вслух, но Лермонтов снова выхватывает бумажку, крича:

— Постой же, — я сам!.. Хотите слушать?.. Извольте!..

И, весь дрожа и горя, с огромной силой выражения, читает он:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, гения и славы палачи!
Таитесь вы под сению закона:
Пред вами суд и правда, — все молчи!
Но есть и божий суд, наперсники разврата,
Есть грозный судия, — он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед...
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью, —
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Несколько мгновений трое слушателей Лермонтова стоят молча. Но вот первый прерывает молчание граф Алопеус:

— Молодчина, Мишель!

— Браво! — начинает хлопать в ладоши Черепов.

— Дай, я сейчас же перепишу, а то ты еще затеряешь листок, — в сильнейшем волнении кидается к поэту Юрьев.

— И очень хорошо сделает, если затеряет... да так, чтоб никто и не нашел! — говорит вдруг, появляясь неожиданно бабушка.

— Гм... Откуда вы взялись, бабушка? — очень удивляется Мишель.

— Как это так «откуда взялась?..» Да ведь дверь-то не была затворена... Я подошла, ты читаешь... Разумеется, я не хотела мешать тебе, —не входила... Против кого же это ты ополчился так, Мишка?.. Брось эту гадость свою, не надо!

— Почему же не надо? — спрашивает Черепов. — По-моему надо!

— А ты как думаешь? — обращается к Алопеусу Мишель.

— Надо! — коротко и решительно отвечает Алопеус.

— Дай сюда эту бумажонку мерзкую! — требовательно обращается к Юрьеву, в это время очень внимательно читавшему стихи, бабушка.

— Что же вы с ними будете делать, бабушка? — медлит отдавать и торопится вчитаться Юрьев.

— Дай сюда, говорю тебе!

— На-те!.. И что же вы намерены с ним, злополучным, сделать?

Юрьев подает бабушке листок, дочитывая, а бабушка рвет его на мелкие части, приговаривая:

— Вот что я с ним сделаю!.. Вот!.. Вот!..

— По-оздно, бабушка! — с шутливой серьезностью говорит Юрьев. — Я уже все равно выучил эти стихи наизусть... Если даже Мишель их забудет, то я нет!..

— По-хва-стался!... Нашел чем похвастаться!.. О-ох, молодо-зелено, молодо-зелено!..

И бабушка, жуя губами, несколько раз кивает медленно и укоризненно подкрахмаленным белым чепцом.

Картина восьмая

20-е февраля. Очень большая и светлая столовая в квартире Арсеньевой. Накаминные бронзовые часы в стиле Генриха II показывают около часу дня. За длинным овальным столом сидят за утренним чаем поздно вставшие Лермонтов и Раевский, а также только что снова приехавший из Новгорода, уезжавший туда всего лишь на несколько дней показаться, Юрьев.

— Пей чай, Коля, пей чай со свежими сайками, Коля, — шутливо угощает Юрьева Лермонтов, — хотя чай наш сегодня что-то не очень крепок...

— Да, Кронштадт видно! — крылатым словечком того времени отзывается Юрьев.

— Ничего, — ты замерз, как сосулька, — оттаивай и на таком... А дела Мишеля теперь, поздравь его, блестящи! — говорит Раевский. — Жуковскому передал Краевский стихи на Пушкина, — старик был в восторге бешеном... Даже шею себе начал утюжить и по комнате бегать, дрыгая ножками: это уж высшая степень восхищения. — Та-лант, — кричит, — талант!.. Боль-шу-щий та-лант!..— Наследнику их читал, и тот поразился... А за этими двумя, — за наследником да за Жуковским, — Мишель теперь как за каменной стеной!.. Князю Вяземскому Краевский преподнес листок, — и тот наговорил кучу комплиментов!

— А от князя Вяземского получить комплименты, — для этого надо быть о-очень красивой дамой и никак не старше двадцати шести лет, — вставляет Мишель.

— Стихи, можно сказать, гремят по Петербургу! — спешит рассказать Раевский: — По улицам ли идешь, где молодежь гуляет, в кондитерскую ль зайдешь, — где пьют кофе, — только это и слышишь:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов!..

Слова: «надменные» и «подлостью» — с большим произносятся ударением! Даже стихи самого Пушкина не пользовались в Петербурге таким успехом!

— А ты думаешь в Новгороде не твердят этих «надменных потомков», повсюду! — оживляется Юрьев. — Там даже один отставной чиновник решил за них пострадать жестоко!.. Решительно сошел с ума на этих стихах!.. Ходит по улицам днем и вечером и декламирует!.. Но тот особенно упирал на эти две строчки:

Вы, наглою толпой стоящие у трона,
Свободы, гения и славы палачи!..

До того воодушевился, что фонарь при публике кирпичом разбил... За казенное имущество должен был, конечно, будочник вступиться... Он этого будочника сгреб и ну дубасить: — Па-ла-чи, — кричит, — свободы и гения!.. — Думаю, что плохо этому гению будет из-за твоих стихов, Мишель!.. Упрячут!

— Если с ума сошел, то чем же плохо? Упрячут в желтый дом, и только... А вот мне, пожалуй, похуже будет, — говорит Лермонтов.

— Что ты? Неужели что-нибудь случилось?

— Ничего! Пустяки! — успокаивает Раевский. — Это бабушке что-то наговорили, будто до государя эти «потомки» дошли...

— Будто?.. И что же?

— Ездил я вчера к Муравьеву, Андрей Николаичу,— говорит Лермонтов,— просил похлопотать у Мордвинова в III отделении... Он же ему родственник, Муравьеву... Обещал, конечно, но-о... Суть дела в том, что стихи я ему показал без «потомков»... Очень хвалил и ничего такого не нашел... Другие, положим, тоже ничего такого не находили... Бабушка все атакует Афанасия Алексеича и Дубельта... А сегодня хочет к Бенкендорфу ехать... Может быть и обойдется...

— А что же такое обойдется?.. Есть, следственно, что-нибудь?.. Почему вы горячку порете?

— Да ничего, чепуха! — машет рукой Раевский. — Ничем это не может кончиться, если дойдет до государя!.. И Бенкендорф слишком хорош к бабушке, чтобы ей неприятности доставлять...

— А что с Дантесом?

— Говорят, будет разжалован и выслан... И барона Геккерн, говорят, тоже вон из России!.. Вот это и оправдывает Мишеля... Уплатить сто двадцать тысяч долгов Пушкина, пенсию огромную дать его детям и жене, — это что значит? Это

значит, что государь на стороне друзей Пушкина, а не врагов!.. Ничего не будет... А Краевский говорил даже, что Мишель теперь у двора на виду... Признаться, тону и я в лучах славы этого счастливого гусара и, знаешь ли, приятная это штука!.. Как-то зашли мы с Мишелем к Вольфу, в кондитерскую, а там за столиками декламируют и тут же переписывают. — А какая стоит там фамилия автора-гусара? — спрашивают. — Лер-ман-тов. — Я не выдержал: Лéр-мон-тов! — говорю. — Лéр-мон-тов!.. Мишель, представь, сконфузился почему-то и потащил меня на проспект. Идет и бормочет: — Ужасная у меня фамилия. То ли дело был бы я Раевский!.. — Блистательный успех!.. Если бы это было за границей, наверно успели бы уж награвировать портреты Мишеля и выставить в книжных лавках, да и биографию его под портретами напечатать!

— Кстати, не так и длинна! — замечает Юрьев.

— Зато, когда выйдут эстампы «Пушкин в гробу», я непременно повешу один у себя над кроватью... из любви к Пушкину это само собою, но еще больше из любви к Мишелю!.. Нет, это изумительно, ты только подумай, Коля, — сияет Раевский: — Чуть только сошел со своего места Пушкин, Мишель становится на его место одной ногой!.. Для того, конечно, чтобы скоро стать обеими!

— Брось, Святушка, стараться!.. — морщится Лермонтов. — Разве ты не видишь, в каком бабушка беспокойстве?.. Ты уж при ней помолчи-ка, пожалуйста!

— А что если в самом деле, — моя память на стихи принесет тебе несчастье, Мишель? — говорит Юрьев. — Ведь ты сам-то, пожалуй, забыл бы, что написал сгоряча!.. Оно, конечно, хороша горчица к обеду, только если слишком уж крепка, — слезы текут.

— Вдруг призовет царь к себе ночью, как Полежаева, стихи до небес расхвалит, в лоб поцелует, крестным знамением осенит да и пошлет на Кавказ солдатом без выслуги? — медленно и с чувством, улыбаясь одними глазами, отзывается Лермонтов. — Не зря у бабушки уж третью ночь то бессонница, то кошмары... Сегодня вечером думаю поехать в Царское: забыл уж, когда и был в полку!

— Мишель!.. Ты — дома? — вдруг вбегает растерянный юнкер Шан-Гирей. — Вот ведь врут на твой счет изо всех сил!.. Мне говорил юнкер Гвоздев, что ты арестован!..

И он торопливо здоровается со всеми тремя, продолжая:

— Гвоздев!.. Тот, что стихи пишет... Передай, говорит, своему кузену, что я написал стихотворение на его арест!

— Ну, конечно!.. Скоро будут говорить, что я повешен на дворе Петропавловской крепости! — смеется Мишель.

— Ничего! Это — все слава твоя, Мишель!.. — говорит Раевский. — Пусть говорят, что ты арестован и сидишь, — тебе же лучше!

— Фу!.. — отдувается Шан-Гирей. — Я бежал, как сумасшедший!.. Отпросился у дежурного офицера на один только час: соврал, что бабушка больна. — А-а, — говорит, — это та самая, которая как-то сюда в училище приезжала и мне «ты» говорила!.. — Впрочем, без всякой он это злобы, и тут же меня отпустил...

Страдая неумеренным молодым аппетитом, юнкер намазывает густо медом мягкую мучнистую сайку и наливает чаю, а Юрьев желает допытаться:

— Откуда же Гвоздев этот взял об аресте? Ведь не сам же выдумал?

— Будто бы говорят где-то... Он мне даже и стихи свои читал, но я только две строчки запомнил:

> Но ты гордись, младой певец,
> Не расплести им твой венец!

— Что значит юнкер! Он еще горячее меня, корнета! — весело смеется Мишель. — Он, пожалуй, и в самом деле верит в венцы для поэтов!.. Мальчик забывает, как в высшей степени умно сказал сумасшедший император Павел: — «En Russie il n'y a de noble que celui à qui je parle et... tant que je lui parle»!..[1] — Кстати сказать, меньше всего я хотел бы получать венцы за стихи на смерть Пушкина... Я их, конечно, не мог не написать, но вполне можно бы было не раззванивать их по городу. Вон, слышите,

[1] В России знатен только тот, с кем я говорю и... пока я говорю с ним!

как бабушка рвет и мечет?.. С ней давно уже не было такого!

Из столовой полуоткрыта дверь в гостиную, а из гостиной в спальню бабушки, и слышно, как кричит она густым, почти мужским голосом:

— Да поди Андрею скажи... Дарья!.. Куда же ты спешишь бежать, когда я не кончила еще говорить?.. Ку-да ты?.. Куда ты-ы, а?.. Андрею скажи, чтоб лошадей приказал приготовить в парные сани... через час поеду я... Не лотоши, не лотоши языком!.. Вижу я, не слепая!.. Андрею скажи, чтоб Митьку-кучера нарядил, а с Никанором я не поеду!.. А Никанорку этого я выдрать прикажу, пьянчужку!.. Совсем не знает, как подать, и вижу, что пьян сидит... И грубить еще мне смеет: руки ,видишь ли, он отморозил, ждавши!.. Куда ты опять спешишь? А? Ку-да?.. Буланых чтоб запрег Митька, а не серых... Поехала на серых, — и вся кругом в белой шерсти, вся в белой шерсти, как в снегу!.. Я ему, Никанорке: — Почему не чистишь, мерзавец такой? — А он мне: — Линяние, барыня!..— Не линяние это, а лень!.. Лень это твоя и пьянство!.. — Драть, нет, драть его пора, дай приеду!..

Мишель криво усмехается и говорит:

— Вон какие громы-молнии!.. А все дело в этих «потомках»!..

— Барин! Вам письмо! — вносит большой засургученный серый конверт Ваня и подает Лермонтову.

— От кого?.. Или почтальон принес?

— Нет, человек от Муравьевых...

— А-а!.. Вот это лучше всего! — радуется Мишель, и когда он читает письмо, радость эта не может не вылиться в восклицание: — Превосходно!.. Ну, вот!.. Значит, все уладится!

— Ответа от вас не будет? — напоминает Ваня.

— Муравьев пишет, что Мордвинов читал стихи и от них в восторге! — бросает Мишель Раевскому.

— Я тебе говорил, что все пустяки! — отзывается тот.

— Передай ему, Ваня, что я сегодня заеду к Андрей Николаичу... Впрочем, я сам ему скажу!

И Мишель быстро выходит, запахивая халат, а из гостиной входит бабушка и, увидя Шан-Гирея, говорит сердито:

— А ты чего явился?.. Ведь не праздник?.. Или все Мишины изделия по городу развозить?.. Загоните вы, кажется, Мишу в крепость!

И она небрежно сует юнкеру руку для поцелуя.

— Как раз сейчас Мишель письмо получил очень лестное, — пробует утишить гнев Раевский.

— Уж и лестное!.. От кого же?

— Мордвинов стихи читал и от них без ума!

— Мордвинов, бабушка, на моей стороне! — радостно сообщает Мишель, входя.

— Морд-ви-нов!.. Пешка твой Мордвинов!.. Покрупнее Мордвинова за тебя взялись! — кричит бабушка. — Кто Бенкендорфа третьего дня на рауте у Ферзенши осаждал твоими стихами? — Подлая эта доносчица la lèpre de la société — Хитрова!.. Это-де не меньше, как призыв к революции!.. Тут сливки общества, говорит, втоптаны в грязь!..— Где мой мигреневый карандаш?.. Ты к себе не затащил ли, Миша?.. Никак никто не найдет!..

— Нет, зачем же мне такие орудия пытки? — пробует шутить Мишель и, подойдя поближе к бабушке, ласково говорит ей: — Бабушка! А вы знаете, — меня начинают уже восхвалять в корявых стихах!

— Ах, провались все эти стихи! — с чувством говорит бабушка. — Стихи да твое корнетство, — они меня в гроб уложат!.. Как я тебя просила не итти по военной!.. Где письмо от Мордвинова?

— Не от Мордвинова, — от Муравьева...

— От пустоболта этого?.. Тоже утешил!

— Крестная! — пытается выступить Раевский. — Ведь вот же вы сами говорили, как князь Одоевский хвалил вам Мишины стихи!

— Владимир Федорыч-то?.. Му-зыкант этот?.. — презрительно кивает бабушка. — Нашел кого тоже вспомнить!.. Музыканта!.. Устроил у себя орган какой-то во всю стену, — чудовище, а не орган, а в середине должен был человек сидеть, как-то мехи там что ли раздувать... Созвал князь наш гостей, уселся

за орган: — Сейчас мол покажу свое искусство! — Давит-давит на клавиши, — хоть бы тебе что! Даже не пискнуло, а только будто бы храп какой идет оттуда... Разумеется, долго крепились, а потом хохот со всех сторон. — Что-нибудь испортилось, говорит, — я сейчас исправлю. — Открывает он дверцу, и видят, кто ближе пришелся, спит там человек — разлегся и так храпит сладко!.. А это князь наш, музыкант, его туда часа за два засадил... Конечно, в темноте что же ему было там и делать? Поневоле уснул со скуки... Так этого органа и не слышали, зато нахохотались на целый год... Вон какие хвалят!.. А кто посурьезнее, те до времени молчат: что-то царь скажет!

— Бабушка! — вздергивает вдруг голову Мишель. — Допустим даже, что из-за Пушкина и пострадает как-нибудь какой-то там корнет Лермонтов, но разве Пушкин этого не стоит?.. Разве Пушкин это только одно имя?.. И больше ничего не стоит за этим именем?.. Разве та́к нужно было отпеть Пушкина, как я это сделал?.. У меня грома небесного не вышло, конечно, у меня сказались простые слова, однако, они были сказаны не шопотом, а в полный голос!.. Шопотом говорили их по гостиным, по редакциям, студенты говорили, правоведы, юнкера, — и как будто обрадовались все вдруг, что слова нужные сказаны были громко!.. Эпиграммы на лиц, высоко стоящих, расходятся анонимками, а я подписался... Это, по крайней мере, честно!

— Глупо, что подписался!.. Вот умные-то люди так и не делают! — обрывает его бабушка. — Куда развозили стихи эти, а? — обращается она к остальным. — Отобрать листочки эти назад неужели нельзя будет?.. Можно бы людей разослать, дворня все равно без дела болтается... Что же это я? — спохватывается она: — сама вижу, что нельзя этого сделать, а сама говорю...

И она глядит даже несколько растерянно, усаживаясь в глубокое кожаное кресло, но так же растерянно останавливается у дверей входящий в это время Ваня.

— Ты что? — удивляется бабушка. — Тебя кто звал?

— Там, барыня, — вполголоса докладывает Ваня, — явились двое военных, спрашивают: здесь ли жительствует корнет Лермонтов?

— Как? Меня спрашивают? Кто? Незнакомые? — вскидывается Мишель, идя к двери.

— Может, прикажете сказать, — нет вас дома? — таинственно говорит Ваня. — Там полковник и жандармский... не разглядел я, — будто ротмистр...

— Ну, вот! — обрушивает на колени руки бабушка. — Дож-да-лись!

— Нельзя докладывать: нет дома!.. Проси! — говорит Мишель, застегивая халат.

Ваня уходит.

Раевский бормочет:

— Как так жандармы?.. Что-то очень быстро!

— Гм... Дело серьезное, — становится очень серьезным и Юрьев.

— Бабушка! Мне не уйти ли в гостиную? — вполголоса спрашивает Шан-Гирей.

— Сиди, учись! — сурово бросает ему бабушка. — Пришел так сиди!

И она принимает каменный вид, не отводя сердитого взгляда от двери, и когда входят ад'ютант штаба гвардейского корпуса полковник Кривопишин и жандармский ротмистр Зальц, и подымаются им навстречу, как старшим в чинах, Юрьев, Раевский и Шан-Гирей, она сидит ждет, когда подойдут оба эти непрошенные к руке.

Однако, слегка кланяясь от дверей, к руке они не подходят. Они по-казенному холодны и тоже важны, и старший из них, полковник, спрашивает, переводя на всех сощуренные глаза:

— Корнет гвардии гусарского полка Лермонтов здесь?

— Я — корнет Лермонтов! — почтительно кланяется, выдвигаясь, Мишель.

— Прошу сказать, что вам нужно от моего внука? — высокомерно говорит бабушка.

И только теперь Кривопишин, а за ним Зальц разрешают себе общепринятую вежливость и подходят к ее креслу назвать себя.

— Садитесь, — спокойно по виду указывает им на стулья бабушка.

— Мы понимаем, что вносим к вам

в дом беспокойство, — говорит полковник, — но это дело службы... Если бы ваш внук был при своем полку в Царском, мы не стали бы вас беспокоить... Но мы напрасно проездились туда с утра, вместе с начальником штаба гвардейского корпуса генералом Веймарном!.. Согласитесь, сударыня, что это большая честь для вашего внука, когда сам начальник штаба корпуса едет с ним знакомиться!.. — слегка улыбается полковник. — Но мы застали только пустую квартиру, как видно о-очень давно нетопленную!.. Кстати, ящики комода и шкафа и столов тоже оказались совершенно пустыми... Корнет Лермонтов, прошу ответить: вы давно были в своем полку последний раз?

— Я был серьезно болен, г. полковник! — отвечает по-строевому Мишель.

— Очень, да, очень был он болен, — подтверждает бабушка, — и я не могла пустить его в полк, нет, не могла!.. Я приглашала нескольких докторов, чтобы его лечить.. Я и доктора Арендта приглашала...

— В полку точных сведений об этом мы не нашли, — говорит полковник. — Считаю нужным добавить, корнет Лермонтов, что генерал Веймарн остался в Царском именно по этому поводу: выяснить, имели ли вы отпуск, столь продолжительный, или состояли в самовольной отлучке...

— А вы, г. корнет, — обращается ротмистр к Юрьеву, — кажется, не петербургского гарнизона?

— Я — Гродненского лейб-гвардии полка, — поспешно отвечает Юрьев, — и только что приехал из Новгорода.

— Сегодня? —подчеркивает Кривопишин.

— Сегодня утром... Я выехал из Новгорода третьего дня...

— Это мой родственник, — важно говорит бабушка.—Он сегодня приехал,— как же, — сегодня, да...

— Вы пришли навестить больного корнета? — спрашивает Раевского полковник.

— Нет, я тут и живу, г. полковник.

— Ах, вот как!.. Вы тут и живете! — почти радостно отзывается Кривопишин. — А ваша фамилия?

— Раевский... губернский секретарь...

— Вы изволите служить...

— В департаменте военных поселений... столоначальником.

— Это — мой крестник, — вот почему он живет у меня, — говорит бабушка и, предупреждая вопрос о Шан-Гирее, кивает на него: — А это — тоже мой родственник, забежал на минутку из своей школы меня проведать... и должен сейчас же бежать обратно в школу...

— Его мы задерживать не будем, — поспешно говорит Кривопишин, — а что касается вашего внука, мы должны сказать, что он... состоит под следствием, — по приказу его величества, — по делу о непозволительных стихах, им написанных...

— На смерть Пушкина, — договаривает ротмистр.

— Да... И вот, сейчас уже больше часу, — смотрит на старинные бронзовые часы на камине Кривопишин, — а мы с десяти утра ищем вашего внука... Ваши бумаги, корнет Лермонтов, в этой комнате хранятся?

— Нет. У меня есть своя комната... Пожалуйте, г. полковник! — делает пригласительный жест Мишель.

Дотрагиваясь мягко до плеча Раевского, говорит вполголоса ротмистр:

— Вы, г. Раевский, пойдете тоже с нами!

И только тут замечает Раевский не бросившийся ему раньше в глаза об'емистый казенный кожаный портфель в руках ротмистра.

Они четверо уходят из столовой в комнату Мишеля, а бабушка долго, ошеломленно смотрит им вслед, наконец встает готовая и затопать ногами и разрыдаться и говорит горестно, схватившись за голову:

— И зачем же я, дура, на свою беду нанимала этого Мерзлякова учить Мишу стихи писать?!.. Вот тебе и дописался!

Картина девятая

23-е февраля, в главном штабе, в департаменте военных поселений, в строгой высокой комнате сидит за столом следственная комиссия, в составе полковника гвардейской пехоты, жандармского штабс-ротмистра и военного чиновника, аудитора, надворного советни-

ка, а перед столом стоит корнет Лермонтов, арестованный при главном штабе и вызванный для допроса.

Полковник, благодушно настроенный, выхоленный, плотный красивый человек средних лет, играет перстнем, на котором ловит отсветы скупого зимнего луча, и спрашивает, все время глядя на свой перстень и только при последнем слове вопроса на поэта:

— Но все-таки... корнет, — вы нам так и не сказали, каким же образом... эти стихи ваши могли разойтись по городу... Какие для этой цели меры вами принимались?.

— Повторяю, г. полковник, решительно никаких, — отвечает корнет. — Я в это время был болен и совершенно никуда не выходил из дому...

— Хорошо, корнет... Вы были больны, а вас, разумеется, по долгу дружбы, навещали ваши товарищи, ведь так?

— Товарищи, конечно, навещали, г. полковник.

— Ну, вот, — теперь для нас ясно... Они вас навещали, а вы читали им... эти стихи?

— В этом я не мог отказать ни себе, ни им...

— Конечно... Значит это вы признаете, что читали стихи товарищам?

— Эти стихи я читал всего один раз.

— Ну, да... И потом дали им переписать, а они дали другим переписать... так и пошло, — не правда ли?

— Нет, я не давал их переписывать!— торжественно говорит поэт.

— Поэтому они запомнили их с одного прочтения?

— Вероятно это и было так, г. полковник... Иначе это быть не могло...

— Может случиться... Все могло случиться... И кто же были эти ваши товарищи?

— Вот этого я совершенно не могу припомнить, г. полковник, — делая вид, что усиленно вспоминает, говорит Лермонтов.

— Какая же блестящая память у ваших товарищей, корнет, и какая плохая у вас! — язвительно замечает штабс-ротмистр, несколько осклабляя длинное остзейское лицо и щурясь.

— Да, у меня вообще плохая память, а во время болезни, — ведь я был тогда в состоянии, близком к горячечному, — я совсем ее потерял... — упирает в него большие тяжелые глаза Мишель.

— Гм... А скажите, корнет, вот это обращение к государю в начале стихов: «Отмщенье, государь, отмщенье!»... Это, собственно, что такое? — постукивая перстнем по лежащему перед ним листку с «непозволительными» стихами, спрашивает полковник.

— Это — только эпиграф, г. полковник... Это взято мною из трагедии...

— Вы понимали, конечно, что это как-будто ваш совет государю, кор-нет! — цедя слова, замечает жандарм. — Вы написали: «Будь справедлив и накажи убийцу!»... Думаете ли вы, что государь нуждается в ваших советах?

— Повторяю, — это взято мною, как эпиграф... Это из трагедии или даже трагикомедии Ротру «Венцеслав».

Приближая холодящий перстень к выпуклой розовой щеке, говорит полковник мягко и вкрадчиво:

— Значит, вы так именно и диктовали вашим переписчикам, корнет: «Из трагедии Ротру... как вы назвали эту трагедию?»

— «Венцеслав», г. полковник.

— Следственно, корнет, вы даете показание, что так и диктовали: «из трагедии Ротру «Венцеслав», а ваши переписчики...

— Господин полковник! — возмущается поэт.

— Позвольте, корнет! Перебивать вы не имеете права!.. А ваши переписчики были очень невнимательны к вашим словам и написать это забыли... Здесь, как видите, никакого Ротру нет...

И полковник поворачивает листок со стихами так, чтобы корнет мог его разглядеть, но в это время появляется в дверях солдат-гвардеец и вполголоса, но весьма выразительно предупреждает.

— Их превосходительство, дежурный генерал идут! — и широко распахивает дверь.

Полковник командует: — Встать! — Комиссия встает и замирает. Входит генерал-ад'ютант Петр Андреевич Клейнмихель.

Сорокалетний, рыжеголовый, с отброшенным назад лбом, с очень приподнятыми, встопорщенными густыми эполе-

шись лицом к выходной двери, Клейнмихель бросает через плечо полковнику:

— Пусть он напишет подробную об'яснительную записку по этому делу!.. Дать ему чернил и бумаги...

Полковник кланяется верхней частью тела, а генерал-ад'ютант, будущий граф, уходит из комнаты тем же мерным строевым бряцающим хозяйским шагом.

Картина десятая

Середина марта.

На вечер к выпущенному из-под ареста и наказанному переводом на Кавказ прапорщиком в Нижегородский драгунский полк Лермонтову сошлись кое-кто из его приятелей. В столовой, под люстрой, кроме Юрьева и Шан-Гирея, расположились: граф Алопеус, Костя Булгаков, кавалергард Черепов, юнкер Гвоздев. В стороне за отдельным столом Лермонтов и Краевский готовят жженку.

— Как Вагнер в «Фаусте», варю я некое зелье! — торжественно говорит Лермонтов.

— И добавь: как Вагнер не знаю, что из него выйдет! — подхватывает Краевский. — Если бы не я тебе напомнил, ты забыл бы положить даже и гвоздику!

— Это от радости, что новая форма его наконец-то готова! — смеется Алопеус.

— А форма эта как раз уже обношена и видала грозные виды! — вставляет Юрьев. — Расскажи, Костя, что с тобой сегодня случилось!

— Гм... Неужели они не знают? — удивляется Булгаков.

— А что? Что такое? — спрашивают Черепов и Гвоздев.

— Боже мой!.. Весь Петербург уже знает, — а эти — так отстали от века!

— Не ломайся, Костя, — рассказывай!

— Гм... Как это ни скучно, начнем издалека... Всякому, конечно, лестно форму кавказского полка надеть, — не так ли?

— Еще бы!.. Вон Мартынов Коля добровольно на Кавказ для этого махнул! — отзывается Черепов.

— Однако зачем же так далеко, если она под боком?.. А ведь как заманчиво: шапка из черного барашка, шашка через плечо, куртка с кушаком... И сразу боевой вид!.. Зашел я днем к Мишелю, — его нет, а форму портной принес... Конечно, я должен был ее примерить, кстати, ростом мы как два брата... Вижу в зеркале: — эге, — вот он воин!.. И мгновенно на улицу... Крикнул лихача Терентия, — валяй чортом!.. Лечу, красуюсь... Бросаю в стороны монаршие взгляды:— кавказский герой!.. Думаю: «Эх, хорошо бы прицепить белый крестик!».. А где же был Мишель в это время?.. А он, несчастный, со своей лейб-гвардейской формой прощался, — по лавкам шатался... Да возле английского магазина на великого князя и наскочил!.. Мишель, что тебе сказал твой тезка?

— Неужели никто не знает? Весь Петербург знает, — отшучивается Мишель.

— Э-э, — да это просто сочинение двух авторов! — хохочет граф Алопеус.

— Которые не успели спеться, — добавляет Черепов.

— Ну, когда так, сочиняйте дальше за нас, — сочиняйте втроем! — кричит Булгаков.

— Не серчай, Костя, рассказывай! — обнимает его Юрьев и кричит в дверь:— Эй! Чубук-паша! Ваня!.. Давай трубок!..

— Уязвлен я в самое сердце! — делает огорченное лицо Булгаков. — Но раз дело дошло до трубок, — вперед, мои борзые, вперед!.. Встречает тот Мишель нашего Мишеля и начинает грозно: «Ты-ы что это щеголяешь еще лейб-гусаром, когда о тебе две недели назад приказ был?.. Ты — знаешь, что ни-жегородец теперь?.. Сня-я-ять!»...

— Да не говорил он: «снять» — отмахивается Лермонтов.

— Конечно, не говорил: — кричал... Ну продолжай сам, если я вру!..

— Я ему: — «Виноват, ваше высочество, не я, а портной»... — рассказывает Мишель. — Он мне: — «Поторопи портного!»... А разве я его не торопил? Всякий офицер хочет поскорее стать кавказцем... И ведь знал я, что сегодня портной, во что бы то ни стало, а принести форму должен... Говорю: — «Сегодня, ваше высочество, оденусь нижегородцем!»... — «А-а!.. кричит. — Не складно врал и попался! Значит, форма готова?» — А я ему: — «Сейчас же еду к

портному и буду читать ему в уши «Телемахиду» Третьяковского и стихи графа Хвостова, пока не кончит!.. Это — верное средство»...

— На этом они расстались, два Мишеля! — подхватывает Булгаков. — Тот нашему сказал: — Смотри! — и погрозил пальцем. Потом этим пальцем ткнул кучера в спину и двинулся дальше по Невскому ловить преступных гвардейцев... Едет тихо, глядит грозно на тротуары... И первый преступник оказался я!... Только свернул он за Аничковым мостом на Фонтанку, а от Садовой на перерез ему мимо театрального дома выхватываются сани: гнедой рысак, а в санях... драгун нижегородский!.. То есть, ваш слуга покорный... сидит и театральных девиц лорнирует: ведь они, подлые, постоянно к своим окнам носами липнут!..

— И тут ты влип! — догадывается Черепов.

— Ничуть!.. Терентий мой перегнулся, шепчет: — Великий князь! — Я ему: Гони во всю!.. — Как двинул гнедой, — чуть я из саней не выпал... Пошла гонка! Я пригнулся, чтоб великий князь по спине не узнал, и чтоб на сутулую спину Мишеля было как раз похоже: ведь он теперь во всем гарнизоне единственный нижегородец... А великий князь за мной... Лошадка у него, как вам известно, то-оже не из плохих, но гнедой разбойник оказался вне сравнений... Ляжки взмылил, двужильный, а ушел!..

— Но ведь кричал же, должно быть:— А-ста-но-вись!.. — Подражая голосу великого князя, протянул на высокой ноте Алопеус.

— Говорил потом Тереха, будто кричал, но я не ста-рал-ся слышать... Какая же выгода для меня была б такое слышать?.. Я уши уткнул в воротник и только бурчу: — Гони!.. Гони!.. — Три поворота Терешка сделал, выезжаем, наконец, сюда... И вот задача: стрелой надо было соскочить, — и в квартиру Мишеля... Но тут мне повезло: оказалось, великий князь ехал на смотр к измайловцам, — и к ним заехал. Однако только заехал, — сейчас подпоручика Фомина сюда. — «Квартиру корнета Лермонтова знаешь?» — «Так точно, ваше высочество». — «Бери мою лошадь, поезжай и узнай, как сумел он так быстро переодеться нижегородцем, когда за десять минут до того я его лейб-гвардейцем встретил»... И только что успел я переодеться, и как раз на счастье успел вернуться Мишель, — Фомин является. — «Лермонтов, готова твоя форма?» — «Вот она». — «Ты в ней и ехал?» — «В ней и ехал».— «А ты не граф Калиостро и не Пинетти, который может сразу в десять ворот въезжать?» — А Мишель на это грустно: — «Нет, говорит, я обыкновенный кавказец, о чем и донеси великому князю...» — С тем Фомин и уехал...

— Ну, и Костька! — хохочут все. — Чего только с ним не делается!

— Вот же не хотят и тут признать моей доброй воли!.. Чего я, я ни делаю! — кричит Булгаков.

— И что только мне, мне с рук не сходит! — добавляет за него Мишель.

— Однако тебе тоже здорово с рук сошло, Мишель! — замечает граф Алопеус. Имя ты себе заработал своими стихами, и всего только за это на Кавказ прапором!

— А Наполеон сказал: великие имена делаются на Востоке, — вставляет Краевский. — Верю, Мишель, заработаешь ты себе там великое имя!

— Чего доброго!.. — отзывается Мишель. — Хотя мне кажется, что для Кавказа довольно и одного Марлинского, который делает там себе великое имя...

Но тон его приподнят, а юнкеру Гвоздеву «Марлинский» напоминает по созвучию «Марлоу», и он говорит немножко застенчиво:

— У всякого поэта своя судьба... Если бы не был убит в 29 лет Марлоу, — в Англии, пожалуй, было бы два Шекспира....

— Но Судьба догадалась, что двух Шекспиров для одной Англии слишком много, и одного поспешила убрать, — подхватывает Мишель. — Чорт возьми, если бы она всегда была так умна, то понять ее было бы не трудно!

— Но, подлая баба, подлая баба, — до чего же она желает быть умной! — горестно говорит Булгаков и делает такое унылое лицо, что все неудержимо хохочут.

Является Ваня с охапкой черешневых чубуков, длиною каждый аршина по два,

и начинается шумная их разборка, продувание, нанизывание на них трубок с табаком, уже зажженных Ваней.

— А Мартынов, уезжая, аннибалову клятву дал дослужиться на Кавказе, не больше как за пять лет, до генерала, — говорит кавалергард Черепов, — иначе, говорит, зачем же и жить?

— В самом деле, зачем же и жить, если не быть генералом? — подхватывает Лермонтов. — Он и всегда говорил одни только умные вещи.

— А вдруг дослужится? — замечает граф Алопеус. — Была бы протекция, а у него она — лучше не надо: сам Ермолов!

— Все-таки мудрено... Но если повезет, и зеленую лошадь увидишь! — замечает Юрьев.

И взглянувши на него и на Шан-Гирея, вдруг горько говорит Мишель:

— Эх, мальчишник мой, мальчишник, а друга моего Раевского нет!.. Утопил я Раевского!..

— Да брось ты об этом! В который уж раз! — отзывается, как старший, Краевский. — За день до твоих показаний он сам сознался, а ты все о том же!

— И что такое высылка в Петрозаводск?.. Пустяки!.. — поддерживает Юрьев. — В распоряжение губернатора... Ну, и будет у него в канцелярии.. Чистить снег не заставит, не тоскуй!..

— А стихи ты под арестом не писал, Мишель? — любопытствует Алопеус.

— Вот тебе на!.. Чем же там было писать и на чем?... Впрочем, я что-то написал на оберточной бумаге при помощи спички и печной сажи...

— Прочитай! — просят со всех сторон.

— Вертится, вертится что-то в памяти... слушайте:

Восстань, поэт, и виждь и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

— Это — Пушкин! — говорит Гвоздев:

— Неужели?.. Вот странность!.. А я за свои принял.... Свои, значит, я забыл... Зато я там узнал от одного артиллериста, как пушки делают... Аким! Ты, — артиллерист будущий, — скажи-ка как?

— Гм... Разве это нас, артиллеристов, касается?... Наше дело стрелять уметь...

— Ну, рассказывай уж, Мишель!

— Слушайте... дело было так... Обращается уездная барышня на балу в Калуге к артиллерийскому капитану старому: — Об'ясните мне, дорогой капитан, как пушки делают? — А это, говорит, любезная барышня, — очень-с просто-с: возьмут-с дыру-с и обольют ее медью-с! — и по хохочущим кругом гвардейцам Мишель водит скучающими большими глазами и, как будто ничего не рассказывал он, обращается к рядом сидящему Краевскому:

— Завтра непременно буду у коменданта, добьюсь свидания со Святославом.... А если не разрешит, — сам в Петропавловку поеду....

Краевский только пожимает плечами, а Черепов советует:

— Кати прямо к Клейнмихелю: он теперь твой начальник.

— Не могу я с ним говорить об этом!.. У этого аракчеевца какой-то злокачественный нарыв вместо головы, — отмахивается Мишель и, наклоняясь к своей трубке, чтобы утоптать золу, бормочет ритмично, напевно, но совершенно как будто непроизвольно:

И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

— А я заметил, что о Пушкине в обществе перестают уже и говорить, — замечает Алопеус. — О Дантесе, напротив, очень усиленно говорят, особенно дамы....

— Со времен Соломона известно, что лучше быть живою собакой, чем мертвым львом, — живо отзывается Лермонтов.

— Мишель, не обижайся на то, что я скажу, — предупреждает Черепов: — Пушкин имел все, чтобы быть великим, но почему не хотел он добавить к этому личного величия?

— Однако, Андрей! — кричит в двери Юрьев. — Что же нам не несут ужина?

Камердинер Арсеньевой Андрей входит, кланяясь, и говорит поспешно:

— Сейчас-сейчас... Все уж приготовлено, — сейчас-сейчас!.. Позвольте-с, я стол накрою...

А Булгаков, отзываясь на слова Мишеля, говорит весело:

— И только в присутствии императора, как я успел заметить за свою долгую жизнь, десятипудовые сановники бегают, как мальчики, водяночные старцы прыгают, как мячики, нет в природе ни ревматиков, ни подагриков, и только одна бодрость цветет на всех лицах...

— Тебя послушать, страх как ты любишь царские смотры!..

— А что же еще я должен любить? — Не войну же!.. Великий князь только и говорит: «Война... эта война, — она только портит солдат!»...

Появляется лакей с кучей тарелок до подбородка и начинает расстанавливать на столе приборы.

Восстань поэт, и виждь и внемли
Исполнись волею моей, —

нараспев, вполголоса, глядя в то же время на Булгакова, вспоминает непроизвольно Мишель, и поспешно, чтобы загладить это, отзывается ему:

— Чувствую я, что война и меня испортит... Хотя, впрочем, говорят же китайцы: — Из хорошего железа не делают гвоздей, из хороших людей — солдат...

Между тем слышится за дверями какой-то шум, идущий из передней.

— Ну, вот кто-то еще приехал на мой мальчишник, — старается весело перебить себя самого Мишель. — Не Фомин ли, — я приглашал его!

Но отворяет проворно и почтительно двери Ваня, и входит бабушка.

Розовая от холода, она еще в капоре и в теплой вязаной белой шали на плечах, и, войдя, долго жмурится и машет руками.

— Дым! Дым коромыслом! — кричит она. — Ванька! Форточки отворяй все, все, настежь!..

— А у нас мальчишник мой, бабушка! — говорит Мишель, пока все гости целуют холодную руку старушки. — Обручается днесь раб божий Михаил рабе божией чеченской пуле...

— Маркиз де Глупиньон! — улучает время с самым серьезным видом представиться бабушке Булгаков.

— И то похож! — старается улыбнуться бабушка, но дошедшие до нее слова о чеченской пуле вгоняют ее опять в ту неусыпную заботу, которой она поглощена последние полтора месяца.

— Может, мне еще бог поможет, — строго говорит она.

— Я знаю, бабушка, — что после моей встречи сегодняшней с великим князем, — вы — сама не своя, — но я ведь отговаривал вас ездить по моему делу!.. Все равно уж!

— Как же так не ездить?.. Под лежачий камень вода не течет.... Я-то давно вижу, что тебе все равно, то-то ты пулю и вспоминаешь!.. Может, еще царь и решение-то свое изменит... Мне ведь обещались похлопотать...

— Ну, вот... как же изменит?..

— Простит тебе твою глупость, — вот как!.... По твоей младости, по моей старости — возьмет да простит....

— А если Мишель там, на Кавказе, бабушка, в пять-шесть лет в генералы выскочит, — неужели вам будет противно? — вставляет Юрьев.

—И-и, шел бы ты сам в генералы! — серчает бабушка, развязывая и снимая свой капор. — Такому, как Миша, куда уж ему в генералы!

— Не хватает величия! — поддерживает Булгаков.

— Хоть бы жив остался!.. — вдруг плаксиво продолжает бабушка. — Хоть бы до тепла разрешили ему здесь прожить, а не гнали бы зимою...

— Ну, а если разрешат до тепла остаться, бабушка? — обнимает ее Мишель.

— Да уж тогда, так и быть, и я бы с тобой на Кавказ.... и я бы... А то что ж я в деревне... одна...

И вдруг заканчивает, глухо рыдая:

— Ведь один ты у меня, Мишенька!.. Оди-ин ты!..

И так, обнявшись, бабушка и внук стоят среди бравых гвардейцев, которые молчат, потупясь, и дымки из отставленных трубок обвивают их медленными синими кольцами.

Одна радость

Б. Левин

1

Лен почернел. Надо немедленно приступить к уборке. Иначе он сгниет. Останется под снегом. Пропадет. Разговаривать тут не о чем. Надо немедленно. Сейчас же...

А как он рос! Ах, как он рос. Жирный, густой. Он шумел и волновался. как грива льва. Двести гектаров колхозного льна! Когда мимо ехали кулаки, они морды ворочали. Сплевывали. Завидовали.

— Во, как у них уродило.

Колхозный лен хватал их за горло. Свежий, молодой, он рысью забегал вперед. Он колол глаза. Он цеплялся за колеса. Кулаки сильней по лошадям. Но все равно, некуда было деться от большевистского льна. А сейчас они ехали медленно. Останавливались. Подтягивали чересседельники. Мочились.

— Понасеяли, а убрать некому.

— Так у них везде. Разве им что жалко.

— Хозяева! Сколько добра пропадает.

— Чужое забрать — это они даешь.

Ехали медленно. Скрипели колеса. Сейчас беспокоиться нечего. Лен почернел. Лег. Гнил... А как он цвел! Ах, как он цвел. Небо голубое. Жаворонки пели. Воздух голубой. Солнце... Лен цвел такими голубенькими ситцевыми цветочками. И когда товарищ Сморода проходил мимо, сердце радовалось. Он отдыхал. Присаживался у края дороги. Снимал кепку. Закуривал. Просвистывал.

— Цвети, цвети, родной. Это золотые монеты. Это машины.

Сейчас смотреть было тошно. Лен гнилыми зубами торчал во рту у Смороды. Смотреть было больно.

— Чорт возьми, какая досада — пропадает лен.

Дул холодный ветер. Обугленные тучи бежали по небу. Ветер сгонял их в кучу и вновь разгонял. Он издевался над ними, как хотел. Начинал дождь и переставал. Выглядывало солнце и исчезало. Для льна было все безразлично — и ветер, и тучи, и солнце, и дождь.

— Чорт возьми, какая досада.

По расчетам Смороды, сегодня с утра должны были начать теребить лен. В помощь колхозу должен был быть организован субботник и в поле должны были выйти, ну, самое меньшее — полтораста человек. Но в поле нет ни одной души, ни одной собаки.

— Пропадет лен.

Сморода злился.

— Сам виноват. На кого понадеялся? На Лихова. Этот мешок с дерьмом. Наверно он дрыхнет круглые сутки. Ему лишь бы поспать. Ну, а новенький? Гаврилов? Кто его знает, что это за парень. Ведь условились твердо, чтоб сегодня с утра. И вот тебе — нет ни одной собаки.

Дорога была грязная, тяжелая. Почва глинистая. Сапоги вязли. Грязь прилипала ко лбу и засыхала на рукавах кожаной куртки.

— И какого чорта прешь пешком. Надо было взять коня в колхозе. Демократ — я пешечком, а тут тысячи пропадают. Да не демократ. Дело не в том. Ведь лошади все в работе... Какая досада — сгниет лен.

По тропинке соснового леса итти было тише и суше. Чаще выглядывало солнце. Вот лес и кончился. Вдали баранкой сверкнул мост. Пройти мост, подняться на гору и местечко Утечи.

— Как приду, созову бюро. Вечером общее собрание и завтра душа вон, но чтоб теребить лен. Двести, триста человек у меня выйдет в поле. Все на субботник. Ни одной льнины — собаке под хвост. Я покажу им, как надо работать. Он почувствовал себя добрей и увереннуей. Вдруг стало ясно, что лен не пропадет. Безусловно не пропадет. Весь урожай уберем и тогда можно будет обратно уехать в Москву. Хорошо. Теперь обязательно уеду.

Сначала, когда Смороду мобилизовали из Промакадемии на льнозаготовки (он учился там первый год), говорили, что это всего на три месяца. Потом оставили на посевную, потом на уборку. Но теперь уже все. Теперь уж, конечно, уеду. Теперь уже недолго и обратно в Москву. К этому времени приедет Наташа. Хорошо. Пуск завода у них седьмого ноября. Самое позднее приедет числа двадцать пятого. Замечательно. Как долго письма идут. Десять, а иногда и двенадцать суток. За это время можно весь свет об'ехать.

Наташа — это жена. Думать о ней было приятно. Наташа самая красивая и самая умная. Главное, с ней легко. В Москве они часто ссорились. Как стыдно и глупо. Милая Наташа, честное слово, вот увидишь, больше ни разу в жизни с тобой не поссорюсь. Как глупо ссориться. И все, ведь, по пустякам. Чорт возьми, как хочется скорей ее увидеть. Я бы ее так обнял бы. Я тебя так прижал бы. Мне очень хочется тебя видеть, Наташа. Вот скоро уж год...

Подуло теплом и человеческими испражнениями. Сморода вошел в местечко. Грязь была здесь черней и жирней. По сторонам широкой улицы сутулились домики, низко нахлобучив мокрые крыши. Обломанные ставни.

Сморода заглядывал в окна, там сидели красноглазые старухи. Какая нищета! Во многих окнах вместо стекол — фанера или подушка. Через улицу, перепрыгивая лужи, побежала женщина, завернутая в полосатое одеяло. Одеяло мелькнуло радугой. Должно быть помчалась к соседке за утюгом, за стаканом. Навстречу босиком, прямо по грязи, шла, не сгибаясь, крестьянка. На палке, как флаг, она несла свои ботинки. Поспешно открылась калитка и оттуда растрепанная фигура закричала ей вслед:

— Что несешь продавать?

— Хворобу, — ответила крестьянка, не оборачиваясь.

Сморода квартировал в конце улицы. У его дома стояла почерневшая от дождя и от стужи береза. Ветер давным-давно сорвал с нее листья, и у березы остались одни только мокрые розги. У ворот лежала лужа и блестела, как синяк. Сморода перепрыгнул и вошел во двор. Двор кипел в рыжем навозе.

— Вот вы и приехали, — приветствовала его нараспев черноглазая хозяйка, — а вас тут человек дожидаатся вторые сутки.

У колен Смороды стоял старик-карлик, седобородый и широкоплечий. Он был похож на отражение Льва Толстого в выпуклом зеркале.

Хватая Смороду за черные крылья галифе, дедушка бодро крикнул:

— Горе нам, старикам!

И затем быстро в рифму заговорил о том, что ему деться некуда, что старший сын его выгнал, младший сын его выгнал, дочь накормила, но тоже выгнала. В колхоз не берут — там нужны сильные и молодые.

— Горе нам, старикам! Власть о нас не заботится, а есть, пить хочется, — закончил он так же лихо, как и начал, и лиловенькие глазки его зашлепали и заплакали.

— Я тут не причем, — сказал ему Сморода, — обратитесь в сельсовет к товарищу Лихову.

— Каждый друг к дружке посылает, а помочь никто не желает, — вновь приободрился старик.

«И почему они все ко мне лезут, — подумал раздраженно Сморода. — На прошлой неделе какая-то баба пристала — муж ее бросил. Причем тут я».

И почувствовал, что от карлика так легко не отделаешься, он написал Лихову записку, чтоб тот его выслушал. Карлик спрятал бумажку за пазуху и быстро выкатился, стуча сосновой палкой.

Сморода одолжил у хозяйки маленькое зеркало, густо усеянное рыжими веснушками — оно было годами засижено мухами. Отстегнул ремень, прикрепил

его к оконной ручке и стал точить бритву.

В комнату вошел тощий учитель Березкин.

— Я в окно увидал, как ты проходил. Думаю, дай зайду, — сказал он, усаживаясь на табуретке. — Ну как там в колхозах? Убрали? Свезли?

— Кой-где убрали, кой-где свезли, — отвечал Сморода. — В общем на поле мало что останется.

И вдруг, что-то вспомнив, он прекратил точить бритву, повернулся к Березкину и строго:

— Но вот в Учетском колхозе, тут рядом, под нашим носом, гниет двести гектаров льна. Сегодня с утра должен был быть субботник. Почему его нет?

— Ты на меня не кричи, — попросил Березкин. — Это меня не касается. Я учитель.

— Как что, так никого не касается? Ты же кандидат в партию.

— Я за эту осень наверно уж раз пятнадцать работал на субботниках. И надо будет — еще пойду. Ведь не мне же было поручено организовать субботник. У меня есть свои прямые обязанности по школе. Об'явили б субботник, я бы и теперь пошел.

— А разве не об'являли? — спросил мягче Сморода, сбивая кисточкой пену. — Разве Гаврилов не об'явил?

— Ему некогда, он занят был с ванной, — донес учитель.

— С какой еще там ванной?

— А помнишь постановили у доктора из'ять ванну для детского дома. Вот он эту ванну и перетащил к себе на квартиру. В местечке только об этом и разговору. Целый переполох.

— Та-ак, — процедил Сморода, закусывая нижнюю губу. Он как раз в это время брил подбородок.

— Ну, а еще что слышно? — спросил он, намыливая вторично щеки.

— Больше ничего. У тебя махорки нет? В кооперативе опять пусто.

— Возьми там в тужурке.

Закурив, учитель продолжает информировать. Он с каким-то особенным удовольствием сообщал Смороде неприятные вещи.

— Занятия в школах плохо идут. Тетрадей нет. А что будет с дровами? Пока что с дровами плохо.

Он бы, вероятно, еще очень долго продолжал жаловаться, но его перебил Сморода:

— Вечно ты, Березкин, панихидишь. Ванну забрали, тетрадей нет, дров не запасли, махорки нет. И все ты скулишь, а сам, ведь, ни черта не делаешь. Почему не позаботился о тетрадях?

— Я требования писал неоднократно.

— Писал... Неоднократно, — передразнил Сморода. И вечно ты ноешь, ноешь, — говорил он, брезгливо оглядывая учителя и вытирая газетной бумагой бритву. — Почему это? Должно быть это у тебя в крови. Да?

— Ладно, я пойду, — обиделся Березкин.

— Приходи на бюро. Обязательно. Я вот только пошамаю и соберемся.

Сморода умывался во дворе. В этом ему помогала дочка хозяйки. Девочка черпала ковшом из тут же стоявшей кадки дождевую воду и лила в широкие горсти Смороды. Он фыркал, брызгался водой и все время повторял:

— Якше, якше. Больше лей, не бойся.

Девочка не боялась, она очень часто нагибалась к бочке. Ей нравилось, как фыркает и прыгает этот огромный дядя и что ей можно безнаказанно, сколько хочешь, лить воду ему на руки и на голову. Особенно ее веселило, когда вода попадала Смороде за спину. Он тогда смешно подпрыгивал и еще быстрей повторял:

— Якше, якше. Не бойся, девочка, не бойся.

Проходя к себе в комнату, он спросил у хозяйки:

— Пожевать чего не дадите?

— Картошечку, молочка, простокваши, а больше ничего нет, Григорий Иванович. Обед не варило, я не знала, что вы заявитесь...

— Давайте картошечки, молочка, простокваши, — сказал в тон хозяйке Сморода.. — Белье не приносили?

— Приносила. На вашем чемодане лежит, там и письмецо вам. А мыло она опять не вернула. Говорит, что и этого

еще не хватило. Мне думается, Григорий Иванович, что должно было остаться.

— Чорт с ней, не жалко.

В углу комнаты на чемодане лежала горка свежего белья, а сверху серый конверт. Приятно было узнать почерк Наташи — такие длинные, слегка покачивающиеся буквы.

Бывало всегда обидно — письмо ждешь 10—15 дней, а прочитываешь его — Наташины письма на что длинные — за пять минут. В своих письмах Наташа писала обо всем — тут и встречи, тут и разговоры: и кто как выступал на собрании, и в каком положении стройка, и редакционные новости, и о столовой, и о транспорте.

Так он узнал о старшем механизаторе литейного цеха Игнате Малахове. Во время Октябрьской революции ему было семь лет. «Это уж новый человек,—писала Наташа, — из пионеров. И только подумать, еще недавно он носил красный галстук, а сейчас ему подчинены 42 рабочих: мотористы, рычажники, слесаря, кузнецы. И ты бы послушал, Гриша, с какой любовью они говорят о нем и как его слушаются. Это совсем новый умный человек. Я часто хожу к нему в гости. В комнате у него чисто. Живут вдвоем — он и еще один комсомолец. Книги на полочках, чертежи на столе.

По рационализации он внес 16 предложений, из них 14 проведено в жизнь. На стене портреты Ленина, Сталина и фотографии знакомых девушек. Я иногда забегаю к ним, чтобы посидеть и отдохнуть. Ты только подумай, Гриша, ему лишь 21-й год, а за ним уж идут люди выпуска 17-го года...»

И Сморода вместе с Наташей радовался, что на производство уж пришли люди из пионеров. И вместе с Наташей с легкой грустью задумывался, когда рыли котлован и наткнулись на братскую могилу партизан. «И ты, знаешь, когда их откопали, и я увидела на полуистлевшей бараньей шапке красноармейский значок — это было печально и радостно. Даже больше радостно, потому что это оправданная смерть, потому, что этот случай здесь на стройке ярко подчеркнул, что они не зря погибли, что революция продолжается».

Сморода долго смеялся, когда Наташа сообщила, как один левый загибщик выступал на партсобрании и предлагал на стройку принимать только чистый пролетариат, а не идущий из деревни с лошадьми и коровами. «Это в то время, когда на стройке прямо задыхаются от отсутствия рабочих рук и лошадей».

Раз Наташа, возмутившись каким-то липовым энтузиастом, написала с ненавистью целый памфлет. «Кто такой энтузиаст? — спрашивала она. — Ты думаешь, это такой человек с таким стальным блеском в глазах и упрямым подбородком, который говорит басом. Или думаешь такой, который все время бегает. У него из карманов торчат чертежи, карандаши. Не во-время обедает, не во-время спит, всех тормошит и вечно в панике и ширинка расстегнута. Ничего подобного, это все не энтузиасты. Это—приспособленцы, а в лучшем случае неврастеники и мелодекламаторы. Они только мешают работат. Настоящий энтузиаст, настоящий темповик — это прежде всего, человек организованный. Он во-время ест и во-время спит. Это нормальный, здоровый человек. Он опрятен. Он застегнут на все пуговицы. Он любит порядок и учет. Энтузиаст — это, прежде всего, спокойный, организованный человек и умеющий организовывать других».

В другом письме Наташа писала: «Какие изумительные биографии у нашего поколения. Вчера в столовой со мной за столиком сидел невысокого роста такой незаметный человек. По-моему татарин, кажется инженер из рационализаторского отдела. Вот он рассказывал товарищу, что он сегодня в заводоуправлении встретил своего бывшего хозяина. Его хозяин когда-то имел строительную контору, и он служил у него тогда младшим десятником. Однажды хозяин, рассердившись, ударил его по лицу и выгнал со службы.

— «Когда я был в Красной армии, — говорил он своему товарищу, — я долго мечтал с ним встретиться и все не пришлось. А сегодня увидел его в заводоуправлении и только улыбнулся — неинтересно».

А товарищ его сказал: — «Я во-время нашел. Когда мы уходили из Крыма, вож-

зальный буфетчик указал, где моя жена спряталась. Ее белогвардейцы повесили. Я целый год вертелся в окопах возле этого города и одним из первых вошел. Нашел буфетчика и расплатился».

Затем им подали второе — беф-строганов — и они уж говорили о другом. Они говорили о том, что бригада Колоколова по бетонозамесям обогнала харьковских бетонщиков... Сколько таких незаметных людей, Гриша. Мы их и фамилии не знаем, а какие изумительные биографии...»

Иногда она советовалась:

«Вчера я очень возмутилась: на цеховом комсомольском собрании одна комсомолка сказала другой: «Ты лучше рожу не умой, а мотор вычисти. Ты столько не стоишь нам, сколько стоит станок». Это нездоровое явление, Гриша. Надо вбивать в голову, что не человек для производства, а производство для человека. Я думаю об этом написать статью. Как по-твоему? По-моему безусловно стоит»...

И в каждом письме она писала, иногда помногу, иногда по нескольку строчек о своем новом приятеле инженере Эуне. Сморода знал, и что он прекрасный специалист, и что он ударник, и что собирается вступить в партию, и что он в личной жизни беспомощный и неловкий, и что «это такой Чаплин, с такими чаплинками в глазах»...

Сморода отложил письмо, «сначала поем, — решил он, — потом спокойно почитаю»

Сморода любил есть не торопясь и молча. Он макал картошку в соль и деревянной ложкой прямо из глиняного горшка доставал голубую простоквашу. Она была вкусная и хлеб ржаной тоже был вкусен. Сморода наелся так, что даже пришлось расстегнуть ремень на гимнастерке. Затем он из газетной бумаги свернул махорку, закурил и лег на кровать, сапогами на железную спинку. Он распечатал конверт и сказал нежно: «Прочтем, чего ты там, Наташка, опять наколбасила».

Он прочел: «Гриша. Я вот уж давно сожительствую (какое глупое слово) с инженером Эуном. Не писала тебе об этом потому, что вначале думала вернуться и жить с тобой. Скрыть это от тебя мне было б легко и даже доставило б некоторое удовольствие, — ведь ты мне много раз изменял — грубо и подло. Я узнавала всегда случайно и в очень обидной форме. Помнишь, хотя бы тот случай с твоей секретаршей. Но основная причина, конечно, не в этом. Самое главное это то, что мне с инженером Эуном гораздо лучше, чем с тобой. И вот я решила, как поется в романсе «расстаться с тобою навеки». Будь здоров. Н.».

Сморода прочел еще раз — все как в начале. Это был короткий, неожиданный удар по голове. Он почувствовал, как лицо его запылало. Ему стало душно и глаза отяжелели. Он рванул на себе гимнастерку и брызнули в сторону пуговицы.

— Поубивать надо всех этих чаплинов, — произнес он хрипло. — Всех этих котов. — Это уж он сказал, когда вскочил с кровати. — С этими чаплинками в глазах. Какая сволочь!

Ему необходимо немедленно было увидеть Наташу, чтоб оскорбить ее, чтоб... Но до нее шесть тысяч километров. Письмо идет двенадцать суток.

— Какая сволочь!

Он энергично распахнул окно. Ворвался ветер и стало грустно. Сморода закурил и опять лег на кровать. Какой он хороший и как жестоко она с ним поступила. Подумаешь, он ей когда-то изменил. В основном же он любил только Наташу. Вот скоро уж год, только о ней он и думал. Было очень обидно. Просто ей захотелось свеженького. Потянуло на спеца. Знаем мы эти бабские штучки. И опять ему стало душно. Низко навис закопченный потолок, глаза отяжелели. Ему необходимо немедленно увидеть Наташу, чтоб оскорбить ее, чтоб... Пусть она не думает, что она уж такая замечательная. Сколько угодно найду других. Лучше и моложе. Он скрипел зубами и мычал. Необходимо сейчас увидеть Наташу, чтоб как можно больней оскорбить ее.

В комнату без стука вошли Лихов и какой-то неизвестный. Голова Лихова была перевязана полотенцем. Явно опухшая левая щека скривила рот и от этого, величной с полумесяц, клюквенная губа больше свесилась и жалобно улыбалась.

— Ты не спишь? — спросил он. — Мы к тебе на минутку.

— Очень хорошо, что зашли, — сказал Смородa и стал сворачивать папиросу. — Я как раз собирался... Почему не было субботника?

— Собрание не состоялось—никто из жителей не пришел.

— Ладно, поговорим об этом на бюро, — и Смородa тяжело вздохнул. — Надо сейчас же собрать бюро с активом. И посмотрев на Лихова, он спросил:

— А что у тебя со щекой?

— Спал у окна. Надуло... — ответил Лихов и прибавил раздраженно, — некого собирать. Все в раз'езде.

— Надо сейчас же собрать бюро, — не слушая его, продолжал Смородa, — и на сегодня же назначить общее собрание с жителями... Валяй, Лихов, иди скликай людей, а я сейчас же, только переодену белье.

Когда Лихов ушел, неизвестный напомнил о себе:

— Я писатель Околоков, из ВОПК'а, но я не совсем колхозный писатель, я все-таки считаю, что скорее я «кузнец», — сказал он в раздумьи.

— Вот как, — заметил безразлично Смородa, передавая нижнюю рубашку. — Садитесь пожалуйста.

— У меня недавно вышла книжка в издательстве «Федерация», — продолжал сообщать о себе писатель никому неинтересные сведения. — Называется «На верной дороге». Это очерки, но я все-таки считаю, что я скорее беллетрист.

— Вот как, — заметил опять Смородa, думая о том, как подло с ним поступила Наташа.

«Погоди, — думал он свирепея, — попадешься еще мне».

— Не попадалась? — спросил автор.

— Чего?

— Моя книжка — «На верной дороге».

— Как же, как же, — соврал Смородa.

— Верно, ничего? Отзывы были хорошие. В «Вечерней Москве» даже писалось, что мои очерки «На верной дороге» — это столбовая дорога очеркового жанра.

— Вот как!

— Но меня больше все-таки тянет на чистую беллетристику. Я сейчас вот пишу роман. Это будет актуальный, хороший роман, листов пятнадцать. Там у меня проходят две линии— один герой находится на колхозно-совхозном участке, а другой — на крупном строительстве. На крупном строительстве я побывал, надышался и теперь приехал к вам надышаться колхозной жизнью.

— Ну что ж, дышите.

— Попутно я для еженедельников описываю конкретных героев. Хочу вот с вами согласовать, какого героя мне посоветуете у вас описать?

— У нас все герои, — отрезал Смородa. Писатель начинал ему надоедать.

— Тогда это уравниловка, — сострил, улыбаясь, Околоков и стал что-то записывать в блокнот.

— Что вы там пишете? — полюбопытствовал Смородa, одевая кожаную куртку.

— А это я для себя, чтоб не забыть. — И писатель об'яснил: — Слово уравниловка я вставлю в роман. Там один будет говорить, что все герои, а другой ответит, что это уравниловка. Это будет удачное место.

Смородa абсолютно ничего не понял и подумал: много еще чудаков на свете.

По дороге он у него спросил:

— На каком вы были строительстве?

— Я посетил Онекстрой, — ответил важно литератор. — Я пробыл там почти месяц.

— Онекстрой, — удивился Смородa. На Онекстрое находилась Наташа. — Ну и как там?

Писатель охотно рассказывал, еле поспевая итти рядом со Смородой. Он рассказывал о том, какие там бешеные темпы и какая богатая техника. Машины у него были все умные.

Деррик — умная машина. Экскаватор — умнейшая машина. Бетономешалка — умница.

— Там бешеные темпы. У вас здесь по сравнению с тем, что там делается, — дача. И какие там люди! И как работают. Между прочим, там замечательный редактор заводской газеты — Наташа Лебедева. Обаятельная личность. Культурная. Умница. В нее влюбиться можно.

— Вот как, — пробурчал Смородa.

— Ты, понимаешь, надо прямо сказать, — продолжал Околоков, — среди наших партиек...

— А ты разве коммунист? — поинтересовался Сморода.

— Да. Официально с двадцать пятого года, но все-таки я считаю себя коммунистом гораздо раньше... И вот я хочу сказать, что среди наших партиек мало таких, которые, как бы тут лучше выразиться, ну женственны, что ли... Таких, которые кроме того, что они хорошие коммунистки, они еще и полноценны по женской линии... А вот Наташа Лебедева...

— Ты не влюбился ли?

— Это безнадежно, — ответил член ВОПК'а. — У нее там роман с инженером Эуном. Строитель электрической станции. Культурнейшая личность. Крупнейший специалист. Очень интересная фигура, хотя немного странный. Кандидат на орден. Там драма, он ушел от жены. Ну что ж, для такой, как Лебедева, можно уйти не только от жены...

— Хватит тебе трепаться, — перебил его Сморода.

Писатель был удивлен неожиданному грубому окрику. Ему показалось, что он ослышался, возможно из-за ветра. Переспрашивать Смороду ему не хотелось, и он на всякий случай стих. Они молча дошли до сельсовета.

На заседании бюро договорились, чтоб сегодня же созвать общее собрание жителей местечка и убедить их в том, чтоб завтра с утра вышли на субботник тягать лен. Сагитировать их — это не легко. Часть жителей состояла из «посылочников».

«Посылочниками» назывались те жители, которые существовали, главным образом, за счет посылок и денежных переводов, получаемых ими из Москвы, Ленинграда, Харькова, Тулы, Одессы — из тех мест, где служили и работали их взрослые дети. Другая часть жителей — огородники и извозчики. Многие из них на лето, сами ютясь в сараях, сдавали свои домики дачникам. Почти у каждого жителя местечка Утечи был огород, коза или корова. Сагитировать их выйти на субботник — дело нелегкое.

Гаврилов внес предложение и оно было принято: обратиться к пионерам и школьникам, чтоб они постарались вместе со своими родителями притти на общее собрание. Надо создать бригады из трех ребят, это вполне достаточно, которые с этой целью обсшли бы все дома.

— Это я возьму на себя. Сейчас сам пойду по отрядам, — оживился секретарь комсомольской ячейки Беккер.

Он же напомнил тот случай, когда прошлою осенью потребовалась срочно тара, то каждый пионер притащил и сдал в кооператив по мешку.

— У нас ребята боевые. Им только скажи, они все сделают.

Конечно, само собой разумеется, что все комсомольцы и коммунисты, находящиеся в местечке, должны быть сегодня на собрании, а завтра на субботнике.

— А приезжие, командировочные? — осведомился Околоков.

— И приезжие, и командировочные, — подтвердил Сморода.

— Я, конечно, на собрании буду, это в моих же интересах, — но вот на субботник... Я никогда сельскохозяйственным трудом не занимался, — признался член об'единения колхозных писателей.

— Это пустяки. Мы тебя научим. Лен тягать, — дело нетрудное,—ответил ему кто-то...

Когда кончилось бюро, Сморода отвел в сторону Гаврилова и спросил у него:

— Что у тебя там с ванной вышло?

— Ты понимаешь, — смутился Гаврилов. — У меня жена беременная. Ей необходимы ежедневные ванны. Она вот-вот должна родить. И, понимаешь...

— Чего там понимать! — Тысяча баб рожает без всяких ванн, — заметил Сморода.

— Конечно, я с тобой согласен. Понимаешь, чорт меня дернул... Сам не знаю как это вышло... Она, понимаешь, стала плакать, шуметь. Она очень мнительная...

— Все равно, надо вернуть ванну. Это неудобно.

— Я завтра же верну, — согласился Гаврилов.

И потому, что Гаврилову было стыдно и он краснел и волновался, Сморода оглядывал его дружелюбно.

— Ну, а как у тебя с квартирой, устроился? — спросил он у него.

— С квартирой в общем ничего. Но вот баба у меня капризная. Понимаешь, приходится многое терпеть. Жалко ее, беременная. Вот и с ванной поэтому так получилось, а иначе стал бы я... Мне самому ни черта не надо... Ванну я завтра же верну.

— Вот и хорошо.

Сморода возвращался домой и думал о том, как он одинок. Он жалел, что у него нет беременной жены. Он бы тоже о ней заботился. Я один. Совсем один. Раньше хоть письма получал, а теперь и этого не будет.

2

Электричество Онекскому металлургическому заводу даст ГРЭС — государственная районная электрическая станция. Электрической энергии хватит и для каменноугольных рудников и для железорудного района. Старый город Онекск и социалистический город Партизан, и обогатительную фабрику, и железную дорогу Партизан — Астафьево — всех напоит электричеством ГРЭС.

Электричества будет много и дешево. Энергия в отдаленные районы пойдет по двойным линиям электропередач высокого напряжения 115 000 вольт на п-образных деревянных опорах, с подвеской стале-алюминиевого голого кабеля на гирляндах-изоляторах.

Но пока железобетонный каркас главного корпуса еще охвачен клетками лесов. И наверху и внизу круглые сутки идет рев и стук. Круглые сутки работают землекопы, плотники, арматурщики, бетонщики, штукатуры. Работа тяжелая и требует навыка, ловкости и квалификации. К двадцать пятому августа должны быть закончены работы по машинному залу. Здание турбовоздуходувной — десятого сентября. Помещение распределительного щита должно быть закончено пятнадцатого сентября. И проба турбин назначена на первое октября.

Эти жесткие сроки твердо знают рабочие, бригады, десятники и техники. Соревнуясь и подгоняя друг друга, они каждый день идут на работу как в бой. Прилипла к телу рубаха, ломит спину и болят глаза. Тяжело. Как тяжело в котлованах, как тяжело у бетономешалок. А когда работаешь наверху и смотришь вниз, колени дрожат и по спине струйками пробегает сельтерская.

О сроках и предстоящих трудностях ежедневно напоминает рабочим и техперсоналу руководитель строительными работами ГРЭС, инженер Эун.

Сергей Николаевич здесь с самого начала работ. Было много волнений, тревог.

В январе, в шесть часов вечера, обвалились обшивки тепляка насосного отделения. В эту ночь инженер Эун не спал. Таких ночей у него было немало. В январе морозный ветер бритвой резал лицо. Снежные бури с воем и свистом, как черная контрреволюция, налетали на стройку, чтоб все сломать, опрокинуть, уничтожить машины и перебить рабочих. С нагайками и лаем налетали снежные бури.

В январе был решающий момент в окончании сроков и пуска ГРЭС'а. Отставали бетонные работы. Бетонные работы производились способом, предложенным американскими инженерами. Американцев поддерживало начальство из заводоуправления. Этот способ поэтажного бетонирования сводился к тому, чтоб вначале производить бетонировку только в одном этаже, потом переходить к работам на следующем этаже. По американскому способу плотничьи работы, укладка арматуры, установка центрального отделения — производились одновременно в одном этаже. Это создавало пробки, толчею. На совещании планово-оперативной группы Сергей Николаевич предложил итти на сквозных лесах. Например, закончив арматурные работы на первом этаже, вести плотничьи работы на третьем. Так вести работу, чтобы за плотниками шли арматурщики, за арматурщиками бетонщики. Создание такого конвейера давало возможность закончить бетонирование насосного помещения в срок — к первому марта. За предложение тов. Эуна стоял инженерно-технический персонал и присутствующий на совещании редактор заводской газеты Наталия Андреевна Лебедева. Она и напечатала об этом заметку в газете. Американские инженеры обиделись, хотя для них в этой заметке ничего обидного не было. Наташа, не умаляя большого значения американской техниче-

ской консультации, упрекала лишь товарищей из заводоуправления в некритическом отношении к иностранной технике.

Предложение Эуна было принято — пошли на сквозных лесах и пришли не первого, а пятого марта.

Опоздали только на пять дней. Наташа была чрезвычайно довольна. Она подружилась с инженером Эуном. И каждый день, так случалось, что они вместе обедали в заводоуправленческой столовой. Тут, конечно, не было никакой мистики и слепого случая, они просто условливались, в котором часу встретиться в столовой. Им было приятно обедать вместе.

— Вы, Чаплин, — говорила она ему.— Ну, посмотрите, какие у него стоптанные штиблетики и печальные глаза.

Сергей Николаевич краснел и это ей еще больше нравилось. Она часто забегала в контору ГРЭС'а и, слушая, как Эун отдает распоряжения, думала: господи, как он тих и как у него мало фраз.

— Михал Михалыч, — говорит он одному из своих помощников, — так имейте в виду, что этот вопрос серьезный. Имейте в виду, здесь трудней будет.

И не отпустит Михал Михалыча от себя, пока окончательно не убедится, что все понятно, что все будет сделано.

— Значит договорились, Михал Михалыч. Значит вы это сделаете.

Или так говорит он технику:

— Я бы хотел сделать, если можно. Вы запишите, пожалуйста, чтоб не забыть. Запишите, запишите.

Иногда можно услышать и более резкие распоряжения:

— Я давно обращал ваше внимание, мы садимся с этим делом. Будьте любезны, сделайте.

Когда он волнуется, голубая жилка на виске вздрагивает.

— Немедленно распорядитесь, чтоб вода нас не задерживала. Будьте любезны, сейчас же сделайте.

В июне месяце, когда писатель Околоков был на Онекстрое, он решил описать в одном из своих очерков инженера Эуна. У писателя уж давно был задуман заголовок для этого очерка — «Инженер высоких вольт». Ему нравился этот заголовок. Оставалось только написать. Он поймал Эуна в конторе и, вынув свои записные книжки, долго расспрашивал его автобиографию, о ГРЭС'е, а также какие он ввел новшества в ускорении постройки.

— На основании изучения процесса бетонировки пришел к выводу, — рассказывал тов. Эун, медленно и как бы соображая еще сейчас, правильно ли он пришел к выводу, — применить укладку бетона сверху, вместо применяемого до сих пор способа бетонировки сбоку. Этот способ дает увеличение нормы выработки бетонщика до пяти-шести кубометров. Качество не уступает...

— Очень, очень интересно, — одобрял писатель и все записывал. Тут же он заносил в книжку, чтоб не забыть, метафоры, эпитеты и обрывки фраз для будущего своего очерка. Тут было и — «Вот инженер, который действительно по-настоящему умеет подхватить инициативу масс» и «Его вечно озабоченное лицо и поблескивающие глаза».. Тут было все.

— Вот и еще, пожалуй, стоит отметить, — спешил Эун, — что при сооружении тепляка был сделан от тепляка переход на высоту двадцати пяти метров. Таким образом удалось воспользоваться одним бетонным хозяйством, что дало экономию на стоимость бетона.

Он избегал говорить... «мной», «я». Он говорил не «мной сделан», — «был сделан». Писатель Околоков по нескольку раз переспрашивал его, боясь спутать термины, цифры.

Эун хотел как можно скорей отделаться от литератора. Ему было некогда.

Но Околоков не торопился. Поглаживая плюшевую бородку, он пристально оглядывал инженера, ища сравнений и образов.

— Скажите, — произнес он хитро, — вот я краем уха слышал, что вы очень хворали, и вот, несмотря на болезнь, вы, рискуя жизнью... так сказать личное геройство. Это очень хотелось бы подчеркнуть в печати... Сейчас модно...

Сергей Николаевич покраснел. Ему стало стыдно, и не глядя на писателя, он пробормотал:

— Это вас не касается.. Притом не я один рискую жизнью, а еще десятки тысяч рабочих. — И затем прибавил уж

более спокойно: — Я собираюсь вступить в партию.

Вероятно, этим инженер Эун хотел сказать: «Теперь вам должно быть понятно, раз я собираюсь быть коммунистом, так причем тут, чорт возьми, личное геройство».

Писатель Околоков этого не понял. В этот же день, когда он был в редакции и встретился с Лебедевой, он передал ей свой разговор с Сергеем Николаевичем и прибавил:

— Странный человек этот Эун, в конце нашей беседы вдруг рассвирепел и говорит: «Вас это не касается», а потом, должно быть, испугался, буркнул, что собирается вступить в партию. Странный человек, я его так и не раскусил.

Наташа долго смеялась. Вечером дразнила Эуна.

— Скажите-э, товарищ Эун, вот вы, рискуя жизнью, так сказать личное геройство.

— Не сердите меня, Наташа, — просил Сергей Николаевич. — До сих пор не могу себе простить, почему я с этим прохвостом полчаса серьезно разговаривал.

Жена Эуна — Евгения Яковлевна — работала в технической библиотеке заводоуправления. Она была женой его, еще когда он был студентом. На последнем курсе Сергей Николаевич только учился. Жалования Евгении Яковлевны хватало еле-еле (она работала корректоршей) и ей приходилось самой стирать белье. Как приятно ночью стирать белье, зная, что в комнате сидит за столом и чертит Сережа. Оторваться от мыльной пены, подойти сзади, подняв кверху мокрые руки, чтобы не замочить Сережу, и поцеловать его в мягкую, детскую шею. Как приятно ходит по магазинам и покупать для Сережи носки, сорочку. И до сих пор Евгения Яковлевна всячески бережет своего мужа. Когда он поздно ночью возвращается с работы, на столике всегда стакан молока, печенье, конфета. А зимой, когда Сергей Николаевич хворал, кто его выходил? Кто ему ставил горчичники? Кто ему делал гоголь-моголь? Кто не спал по ночам? В выходной день Евгения Яковлевна едет на базар, чтоб купить для Сережи меду, а когда есть — ягоды, яблоки. Пока на Онекстрое еще плохо с квартирой, приходится жить в гостинице и нет плиты, а так бы она давно напекла ему блинчиков. Сереженька любит блинчики с медом.

Раньше заботы Евгении Яковлевны Сергея Николаевича трогали. Возвращаясь ночью усталый с ГРЭС'а и найдя на столе стакан молока, печенье или конфетку, он с благоговением смотрел на спящую супругу. Он пил молоко и, когда она просыпалась, отдавал ей конфету.

— Это тебе, — говорил он.

— Я уже ела. Это тебе, — возражала она.

— Женечка, с'ешь, я прошу...

А сейчас ему все это было противно— он не дотрагивался ни до молока, ни до печенья. Он старался лечь на край кровати, как можно тише, чтобы не задеть жену. С каким удовольствием он бы спал отдельно, но, к сожалению, в комнате не было дивана. Сейчас он радовался, когда ночью вызывали на ГРЭС. Евгения Яковлевна чувствовала, что что-то случилось, но что именно она не знала.

Иногда просыпалась и видела, как ее муж курил и глаза его были открыты:

— Почему ты не спишь? — спрашивала она в тревоге.

— Вот выкурю и засну! — отвечал он сдержанно.

— Ты вчера тоже не спал. Я видела.

— Это тебе показалось.

— Что-нибудь случилось? Скажи мне, Сережа.

— Ничего не случилось. Чего ты пристала. Просто не спится, — говорил он грубо.

— Сереженька, — ласкалась к нему Евгения Яковлевна и обвивала его тонкую шею. — Сереженька, — прижималась она к нему, — ты меня не любишь?

— Что ты? — удивлялся Сергей Николаевич. — Я тебя попрежнему очень люблю.

Он спал с ней и думал о другой. Особенно Евгения Яковлевна раздражала его по утрам. Утром резче обозначались складки морщин по уголкам рта. Морщины, как мундштуки, сжимали вялый подбородок Евгении Яковлевны. Его раздражали вздрагивающие сизые ноз-

ри. «И зачем она ими дышит, как жабрами», думал он с ненавистью.

Иногда ему ноздри казались шевелящими, огнестрельными ранами. И даже глаза — большие, честные, черные глаза теперь были глупыми и наивными.

Глаза ведь это живые свидетели когда-то беззаветной любви инженера Эуна к Евгении Яковлевне.

Было еще рано. Он лежал в кровати, курил и следил, как одевается жена. Вот она прицепляет вишневый галстук к свежевымытой скромной блузке. Он знал значение вишневого галстука, и раньше это казалось исключительной целомудренностью Евгении Яковлевны. Теперь он думал с отвращением: «выбрасывает флаг»...

А Наташа ходила в легких спортсменках, рукава белой блузки до локтя завернуты. И такая она молодая, веселая. С Наташей Сергей Николаевич чувствовал себя свободней и умней.

— Я в вас влюблен, — говорил он ей.

— Как это? — спрашивала Наташа.

— А вот так. Сам не знаю как. Когда вас не вижу, все время с вами разговариваю. Вчера вас искал весь день, хотел вас очень видеть. Вас не было в редакции, нигде. Я бегал, как сумасшедший по стройке. Места себе не находил. Давайте жить вместе, Наташа, — предлагал он.

— Мы ведь и так живем, — отвечала она.

— Я хочу навсегда, на совсем с вами жить. Рядом. Вы такой мой, родной. Вы мой кровный. Я вас люблю, Наташа.

— А Евгению Яковлевну вы так же любили?

— Нет, я ее вовсе не любил.

—Как же, ведь вы с ней жили. Вы верно забыли?

— Возможно, забыл. Мне ее безумно жалко. Я с ней, конечно, разойдусь, но мне ее очень жаль... Потом бросать жену это так пошло и глупо.

— А вы не бросайте. Живите с ней, Эун. Я к вам попрежнему буду хорошо относиться. Мне с вами хорошо. Мне с вами никогда не бывает стыдно. Живите с ней, Эун. Она о вас заботится, любит...

Сергей Николаевич рассказывал, как мучается и страдает Евгения Яковлевна и как он ей врет. Он рассказывал все и даже про галстук.

— Мне ее жалко, — говорил он. — Начала заниматься гимнастикой. Третьего дня в парикмахерской вымыла волосы перекисью.

— Бедная, — жалела ее Наташа. — Я это очень хорошо понимаю. Это старость нагрянула, старость.

— Мне самому ее чертовски жалко.

— Живите с ней, Эун. Лгите, но живите с ней. Все-таки ей будет легче, нежели знать правду. Ведь она вам тоже, вероятно, когда-нибудь изменяла... Лгите, но живите с ней. Брак бетонирован ложью. Все друг друга обманывают, но в этом никто не хочет признаваться, — говорила Наташа.

Евгения Яковлевна раз увидала в заводоуправленческой столовой Сергея Николаевича и Лебедеву. Они сидели в отдаленном углу за столиком и ели. Сергей Николаевич что-то оживленно рассказывал и должно быть смешное, потому что Наташа все время улыбалась.

Со мной он всегда молчит. Может быть подойти к ним. Нет — никогда. Унижаться перед этой...

Евгения Яковлевна немедленно ушла из столовой.

Вечером, когда вернулся Эун домой, она спросила спокойно, пронизывая его глазами:

— Ты с кем сегодня обедал в столовой?

— Я? — переспросил Сергей Николаевич и соврал. — Я сегодня совсем не обедал. Нет ли у тебя чего-нибудь перекусить.

— Так врать, — крикнула Евгения Яковлевна, — надо уметь. Как тебе не стыдно, Сергей! Ведь я сама видала тебя в столовой с редакторшей. С этой... С Лебедевой!

Сергей Николаевич покраснел.

— Трус ты! — наступала жена. Ты мне противен. Я с тобой ни одной минуты не останусь больше. Сейчас же уйду. Куда угодно, но только не с тобой.. Так врать, так врать, — повторяла она и поспешно запихивала в чемодан простыни, наволочки, одеколон.

И Евгения Яковлевна ушла к своей подруге Бакалвиной — жене экономиста планового отдела.

Бакалвина прямо распустила глаза, когда узнала о случившемся.

— Кто мог подумать, кто мог подумать. Сергей Николаевич, да это такой человек. Казалось, что он так тебя любит. Ваш брак мне казался таким идеальным. Вы так друг к другу подходите. Всегда неразлучны. И вдруг. Кто мог подумать, кто мог подумать...

Жена экономиста по случаю таких событий накрыла стол белой скатертью, вскипятила чай и достала плитку шоколада.

Евгения Яковлевна хорошенько не знала, где она будет и как она будет жить. Пока муж Бакалвиной в командировке, можно жить здесь. Ну, а дальше? Она об этом не задумывалась. Все равно где. Да она вообще жить не желает. Она хочет умереть.. Жизнь, это такая подлая штука. Ложь. Обман. Она хочет умереть. Вот она умерла. Она отравилась. Пусть теперь плачет Сережа. Она оставит ему записку, где будет одна только фраза: «Зачем ты мне врал». Пусть теперь плачет Сережа.

Вот он стоит у ее трупа. Он гладит ее мертвые волосы. Он прижал ее руку к губам. Рука упала. Пусть теперь плачет Сережа. Ага, тебе жалко. А так бессердечно, жестоко со мной поступать — тебе не было жалко? Ты думал об этом? В записке еще напишет, что она вовсе не ревнует. Он мог изменять ей, но зачем он соврал. Пришел, рассказал и она бы простила. Она не мещанка. Она понимает. Но зачем он ей врал. Так гадко, так подло. Ведь она ему в жизнь ни разу не врала. И вот она лежит мертвая, вытянутая. Пусть теперь плачет Сережа.

Евгения Яковлевна плакала, думая о том, как она отравилась и как мучается Сергей Николаевич. Ей было себя очень жалко. Иногда она думала убить его. Застрелить. Она сама пойдет в милицию и скажет: «Арестуйте меня. Я убила инженера Эуна».

Сергей Николаевич просил ее вернуться.

— Это же глупо, — уговаривал он. — Правда — моя вина, что я тебе соврал. Ну, прости. Виноват. Но, уверяю тебя, у меня ничего серьезного нет с Лебедевой. Просто товарищеские отношения. Она умная. Она много читала. С ней интересно беседовать и только, — говорил Эун и самому было противно слушать свою собственную ложь.

— Ты в нее влюблен, — отчеканивала Евгения Яковлевна. Но мне это теперь неважно. Увлекайся. Люби.

— Да я вовсе не увлечен, — настаивал Сергей Николаевич. — И никого не люблю. «Люблю» — это глупо. Это смешно. Я хочу только работать.

— Влюбляйся, — не слушая его, продолжала Евгения Яковлевна, — в кого угодно и сколько угодно. Мне это неважно. Но зачем ты мне врал? Рассказал бы мне обо всем и ничего бы не было.

После этого разговора Евгения Яковлевна несколько раз в отсутствие Сергея Николаевича заходила в комнату. Убирала, приводила в порядок книги и раз даже молоко вскипятила. Но вот однажды, это уже было накануне того, когда она решила простить Сергея Николаевича, убирая кровать, она нашла под подушкой сиреневый бюстгальтер. Это забыла Наташа. Чорт его знает, как так случилось. Евгения Яковлевна покраснела. Она зажглась.

— Теперь мне все ясно, — сказала она трагически громко, потрясая бюстгальтером как револьвером.

В это время в комнату вошел Сергей Николаевич.

— Подлец, — крикнула она. — Пошляк! Ты жизнь мою разбил!

«Господи, как это глупо, — думал в отчаянии Эун. — И какие пошлые и противные слова «жизнь разбил».

— Что особенного случилось, — сказал он как можно спокойнее.

— Ведь ты от меня первая ушла.

— Я от тебя первая ушла, — произнесла с содроганием в голосе Евгения Яковлевна и голова ее задергалась. Затем она выпрямилась и сказала гордо: — Да, я от тебя первая ушла. Но ведь только третьего дня ты звал меня обратно. Я на минутку поверила. Но теперь все кончено. Я тебя видеть не хочу. Пошляк! Ты мне противен. Ты мне на каждом шагу изменял и изменяешь. Признавайся, негодяй! — требовала Евгения Яковлевна и топнула ногой.

— Не кричи, — сказал тихо Эун. — Да, я тебе изменил, — сознался он.

— С кем, — закричала она в бешенстве. — С этой... с Лебедевой!..

Она вместо «д» произнесла «ч» и у ее губ вспыхнула пена.

— Вовсе не с ней. Причем тут Лебедева, — пожал плечами Эун.

— Ты уж давно с ней живешь. Об этом все говорят. Я тебя видеть не желаю и оставь меня, пожалуйста, в покое, — прибавила она устало и ушла.

Евгения Яковлевна решила немедленно выйти замуж. За кого угодно. С кем угодно, но скорей с другим — в кровать. Ей было страшно думать об этом. Но все равно, пусть он будет хуже, пусть он будет грубый, ей все равно. Она сойдется с кем угодно. Скорей бы встретиться, закрыть глаза и пусть этот чужой, этот страшный человек делает с ней все что угодно.

3

Пионеры и школьники разбились на бригады. По трое ребят в бригаде. Они заходили в дома и предлагали своим родителям к семи часам явиться в клуб на экстренное собрание. Ребят встречали не особенно нежно. Кое-где их просто выгоняли. Один мальчик, войдя в дом, сказал:

— Все взрослые должны немедленно явиться на собрание и записаться на субботник. И посмейте только не пойти!

Девочка, которая была вместе с ним в бригаде, закричала на него:

— Так нельзя. Нельзя запугивать их. Надо им растолковать, об'яснить, — сказала она про взрослых так, как взрослые говорят о детях.

Мальчик, чувствуя свою вину, настаивал на своем: им толкуй, толкуй, — говорил он, — а они все равно ничего.

И девочка, в десятый раз за сегодняшний вечер, об'яснила взрослым о цели субботника и о значении льна в выполнении пятилетки. Взрослых все это забавляло. Они, смеясь, одевались и шли на собрание.

Некоторые бригады заходили в дома с барабаном. Входили в дом и отбивали барабанную дробь. Затем пионер подымал руку, отшагивал вперед и говорил строго:

— Раз, два, три, четыре, пять. Все на субботник — лен тягать.—И потом прибавлял просто:— А сейчас идите, пожалуйста, на собрание. Очень нужно.

Нередко бывало и так, что дочь умоляла:

— Мама, я тебя очень прошу, иди на собрание, а то мне стыдно будет.

В одном доме, когда мальчик после барабанной дроби поднял руку кверху и произнес официально: раз, два, три, четыре, пять. Все на субботник — лен тягать, его отец, огородник, обиделся.

— Ты зачем, сопляк, — сказал он грубо, — так со мной разговариваешь?

— Папа, не задевай меня, — попросил сын, — я вооруженный. Мальчик хотел сказать, что он при исполнении своих служебных обязанностей, но у него так вышло.

Топая по грязи, прыгая через лужи, накинув на плечи, на голову скатерти, одеяла, клеенки, стянутые со стола, шли жители в клуб на собрание.

В общем они шли охотно — им понравилась затея с пионерами.

Когда Сморода шел в клуб, он слышал, как впереди него кто-то из жителей говорил любовно о детях своему попутчику:

— Вот еще на нашу голову дети у нас очень грамотные растут — мать их так. Эти нам покажут.

— У меня есть мальчик, — пожаловался попутчик, — так если при нем скажешь что-нибудь плохое про советскую власть, лучше уходи из дома — такой он шум подымет.

Смороде понравился этот разговор.

Единственная керосиновая лампа стояла на столе президиума. Лихов открыл собрание и предоставил слово для доклада тов. Смороде на тему «О значении льна в выполнении пятилетки».

В зале еще рассаживались, разговаривали, шумели. Сморода встал и вышел вперед. Сразу стало тише. Смороду уважали в местечке. О нем говорили: он самый беспощадный и самый честный.

— Он такой честный, — говорили про него, — когда он нижнюю рубашку отдает стирать, так у него кожанка на голом теле.

— Он такой беспощадный, — говорили про него, — что ему уж никак не соврешь.

Смородa начал свой доклад вяло. Он всегда начинал вяло. Ему требовалось три, пять минут для разгона. И поэтому вначале, когда он говорил об огромных строящихся и выстроенных заводах, называл цифры, перечисляя все наши крупные строительства, слушатели зевали. Зевали протяжно и громко.

Но вот Смородa взял разгон и слушатели ему подчинились. Он их держал в кулаке, как он любил выражаться. Взять разгон, у Смороды это значит довести тему доклада до конкретных нужд данной местности. Это значит задеть за живое. Он говорил о том, как он сегодня, проходя по местечку, заглядывал в окна и видал, как они живут. Как темно и как грязно в их домах. Он говорил с ненавистью о их клопиной жизни. И тут же он приводил факты и называл местечки и села недалеко от Утечи, где уже год как зажглось электричество и выстроены новые дома. Все это были факты. Об этом знали жители Утечи. Он спрашивал: «Что электричество само пришло в дом? Что динамомашины сами прискакали в эти болота?».. Затем он назвал приблизительно сколько валюты сможет дать двести гектаров льна и какие машины можно приобрести на эти деньги за границей.

— Чем медленней мы будем ворочаться с этими делами, тем дольше ваши окна будут заткнуты тряпками. Дети ваши это прекрасно понимают, они с нами, а вас все надо раскачивать и раскачивать.

И опять ударил по нервам жителей Утечи, обрисовав им нужды и их убогую жизнь, лучше чем они это сами знали.

— Раньше вы жили так, — сказал им Смородa к концу доклада, — нам лишь бы как, а главное — дети. Детей бы вывести в люди. Мы живем для детей, — говорили вы, отказывая себе во всем. Ну, а сейчас? Сейчас уж вам о ваших детях нечего заботиться. Они учатся, они крепнут и наливаются. Они будут инженерами, врачами, летчиками. Вы раньше об этом и не смели мечтать. И все это сделала советская власть. И все это сделала большевистская партия. И вот, когда вас просят притти на собрание — вас ваши же дети должны в этом упрашивать. И вот, когда вас просят пойти на субботник тягать лен, причем не бесплатно, вы ломаетесь. Вы предпочитаете лучше сидеть в своих вонючих конурах, нежели выйти в поле и помочь нам.

— Кто желает высказаться? — спросил Лихов, когда Смородa замолчал.

Вначале никого не было. Наконец из дальнего темного угла раздался чей-то голос:

— Вот, товарищ Смородa...

— Выйди вперед, — крикнули ему.

— Я и отсюда могу. — И этот голос продолжал: — Вот, товарищ Смородa правильно обрисовал нам нашу жизнь. Но вот, слушайте, если я своему коню не даю овса, то я с него не требую — как бежит и ладно. А вы ничего не даете, а хотите, чтоб бежали. Что-то не бежится!

Этот голос принадлежал рыжебородому извозчику.

— Миасу, — выкрикнула какая-то женщина басом.

— Ситчику, — попросила на этот раз писклявым голосом другая женщина.

— Товарищи, берите слово, выходите вперед и высказывайтесь, — предложил Лихов, завязывая крепче узел полотенца на голове.

Долго никто не решался. Потом вышла женщина в мужских сапогах и красноармейской ватной куртке. Глядя с упреком на перевязанную голову Лихова, она произнесла небольшую речь:

— Весной я к нему за керосином пришла. Он хоть лей кипяток под него — нет и нет. А теперь как им плохо, так до нас. Мы не просим мануфактуры, мы просим то, что есть, а нам они ничего.

И вдруг после этого выступления всем захотелось говорить. Всем захотелось излить свои обиды и нужды.

Ораторы говорили коротко и очень многие из них заканчивали так:

— Кто мы? Что мы, кулаки? Какие-нибудь богатыри? Всю жизнь в навозе копаемся. И, конечно, мы не так хотим жить, а иначе. И разве кто спорит против субботника.

Очень громко выступил кто-то из служащих и, ничего не поняв из выступлений жителей, заявил:

— Все те, которые не хотят итти на субботник и помочь колхозу убрать лен, это вредители. Вы действуете на руку чемберленам и Баранову. (Это была фамилия местного кулака).

— Чего ты кричишь, — ответил ему один из жителей. Мы же не против. Мы просто высказываем то, что у нас накипело. Мы-то все выйдем, — поручился он почему-то за всех, — а вот ты-то смотри не сбеги.

В заключительном слове Смороде пришлось говорить немного. Почему нет мяса? Почему нет ситца? Ведь он об этом говорил в докладе. Очень хорошо, что выступавшие граждане высказали все, что у них наболело и очень хорошо, что они охотно готовы завтра пойти на субботник.

Высокая тощая женщина, завернутая в зеленый шахматный платок, подошла к столу и, волнуясь, попросила:

— Запишите меня на субботник. У меня хоть не в рост сердце, но я пойду. (Вероятно она хотела сказать, что у нее невроз сердца). И передохнув, эта женщина громче прежнего с надрывом заявила: — И все должны пойти.

Впечатление было такое, что она сию минуту поняла что-то очень важное.

И сразу стало шумно. И сразу все заговорили и выкрикивали свои фамилии. Секретарь комсомольской ячейки Беккер не успевал записывать желающих участвовать в субботнике. Многие пионеры подводили к столу отцов и матерей и расписывались за своих неграмотных родителей. Записывались семьями. Тут же разбивались на бригады и сговаривались, когда и где встретиться. Сморода уходил последним. Его все время одолевали разными вопросами, уже не имеющими отношения ни ко льну, ни к субботнику.

Одна еврейка советовалась с ним, приезжать ли ее брату из Америки.

— Он портной, — говорила она,— а там безработица, а у него машина. И он хочет приехать сюда. Что ему написать?

— Напишите, пускай приезжает, вместе с машиной, — советовал Сморода.

— А машины не отберут? Нет? Тогда я ему напишу.

Затем к нему толстая девочка подвела большеголового мальчика. У мальчика под опухшим глазом звенел синяк. Девочка об'яснила, что это отец его ударил сегодня вечером, когда он был в бригаде.

— Березкин, — крикнул Сморода, — сейчас же займись этим делом. И обязательно составь протокол.

Сморода чувствовал себя усталым и постаревшим. Он хотел спать. Его догнал писатель Околоков. Он поровнялся со Смородой и доложил:

— Слушай, я завтра не смогу быть на субботнике. Мне некогда. Я должен поехать дальше по колхозам. Я уже договорился с Лиховым и он мне дает лошадь.

— Никуда ты не поедешь, — сказал лениво Сморода.

— То есть как, — возмутился писатель. — Это издевательство! Я об этом напишу.

— Если ты еще тут у меня будешь квакать, — продолжал Сморода также лениво, — и завтра не выйдешь тягать лен, я у тебя партбилет отниму и в баню посажу.

Желтые краги писателя шарахнулись в лужу и бегом от Смороды.

Дома Сморода зажег керосиновую лампочку и вновь прочел письмо от Наташи. И как давеча, опять глаза налились тяжестью и стало душно. До зарезу захотелось увидеть Наташу, чтоб обидеть ее, чтоб унизить. Но как ее достать? До нее шесть тысяч километров. Он сел за стол и написал письмо: «Уважаемая Наталия Андреевна», — начал он, но зачеркнул и просто написал:«Наташа. Твое письмо меня нисколько не удивило. Я всегда ждал и был готов к тому, что вот-вот ты меня предашь. Вероятно, подходящего случая не было, так бы ты это уж давно сделала. То, что ты жалуешься, что я тебя обманывал, подло, грубо — это ты просто для собственного утешения. Мало того, что ты предаешь, но тебе еще надо для самой себя теорийку создать. Ведь ты не можешь просто сделать подлость, тебе еще нужна теория, для собственного благополучия. Дело тут простое. Тебя просто потянуло на образованого. Ну, и катись. А то, что ты писала, что он, этот твой новый, какой это по счету? Иль сбилась? А то, что ты писала, что он «такой скромный, и беспомощный и тебе его жалко», —

это ты всегда любила несчастненьких. Я их терпеть не могу всех этих горбатеньких, скромненьких. Я ненавижу несчастненьких. Мы строим, чтобы у нас их не было.

А тебя все тянет на таких. Ты любишь несчастненьких, а я их терпеть не могу. Я давно в себе убил всякую жалость. Тут-то и разница между нами. Ну и живи с ним. Обнимайся, валяйся с ним, не жалко. Я и без тебя проживу. Этого добра сколько угодно и помоложе и покрасивше.

Григорий».

Он прочел письмо и еще прибавил несколько обидных, грубых слов. Это ему доставило некоторое удовлетворение, но, конечно, все это не то. Вот, если бы ее увидеть. О, тогдда бы он ей сказал!

Утром был туман! На площади у кооператива собрались участники субботника. Прибывшие колхозники отбирали бригады. Потом все, смеясь и шутя, выстроились и пошли. Заиграла гармоника.

Кто-то из «посылочников» затянул любимую их песню:

Здравствуй, здравствуй, тетя Ася,
Ай, ай ай,
Вам посылка из Арзамаса.

Запевала докладывал:

Вам прислали макароны
И флакончик адьеколону".

Все подхватывали и выли: а-а-дьек-а-а-л-о-н-у. Ай, ай, ай.

В одной из шеренг шел и старик-карлик, так похожий на отражение Льва Толстого в выпуклом зеркале. Надувшись, он неистово свистел, заложив пальцы в рот.

И Смородa, — он любил петь — вместе со всеми орал глупые слова этой немножко грустной песни.

Здраствуй, здраствуй, тетя Лиза,
Ай, ай, ай.
Вам посылка из Тифлиса
Ай, а , ай.

Уходящих провожала черная коза. Она шла солидно и покачивала вымя, точно боксерскую перчатку.

4

— Хотят задаром выстроить завод. С четырнадцати лет мотаюсь по постройкам, а такого издевательства не встречал—срезали расценки на тридцать пять процентов. Себе не срезали — спецы. А я не спец!

— Молчи уж.

— Чего молчать. Самокритика. И я по своему делу спец. А что, не спец?

— Жизни не было и нет.

— От охраны труда осталась одна копия. Это тебе не двадцать пятый год.

— Они ж на словах поют — хозяева. Вот мы и хозяева.

— Жизни не было и нет. Пойдем.

— Вставай, пошли...

— Погодите, товарищи. Я хочу с вами поговорить.

— Чего нам с вами разговаривать. Мы вас не знаем. Пошли...

— Я вот стояла тут, читала об'явление и слышала весь ваш разговор. Если, действительно, вот вы, товарищ, мотаетесь с четырнадцати лет по постройкам, то не вам так рассуждать.

— Ну, а как ты мне прикажешь рассуждать — на тридцать пять процентов срезали расценки! Слыхано ли дело?

— Ты не кричи.

— А ты сама не кричи. Пошли. Ну ее...

— Да, не ну ее. Уходите. Испугались. Вот так рабочие! Не из раскулаченных ли вы будете? Таких гнать надо к чортовой матери с постройки.

— Это мы не рабочие! Это мы испугались! Вот тебе мой профбилет. Гляди.

— Это я кулак! Я красный партизан Сибири. Я советскую власть завоевывал, а теперь тут всякая... Ты-то сама кто будешь?

— Я тоже была в Красной армии. И у партизан была—в тылу у Врангеля. Вот и чорт те что получается, когда партизаны рассуждают как враги. Давайте, присядем, товарищи, вон там на бревнах и поговорим.

Наташа Лебедева и трое штукатуров уселись на бревнах. Рабочие закурили. Основная их обида заключалась в том, что им квалифицированным штукатурам снизили расценки одинаково, на такой же процент как и землекопам.

Они с Наташей расставались друзьями.

— Ты приходи к нам в барак, товарищ Лебедева.

— Как-нибудь приду, — отвечала Наташа.

— Ты не как-нибудь, а твердо приходи, — говорил один из штукатуров, — нажимая на о, как на педаль. Сама увидишь никаких лекций, никакого развития. Шинкарство кругом. Ночью не выходи — нож или камень схватишь.

— Я приду. Сейчас у нас как раз проводится кампания — за культурный барак. А про случай с расценками, про эту уравниловку, послезавтра прочтете в газетах.

— Вот и хорошо. Ты взгрей их на высокий пламень, товарищ Лебедева.

Рабочие с Наташей расстались друзьями... Она вернулась обратно в контору ГРЭСа, где в коридоре, ожидая Эуна, она подслушала разговор штукатуров. У дверей ее встретил Михал Михалыч, помощник Эуна.

— Вы Сергея Николаевича? Я сейчас его попрошу, — сказал он.

И опять Наташе пришлось ждать, пока вышел Эун. В сотый раз перечитывала об явления по ГРЭСу. Она уж хотела уходить, когда вышел Сергей Николаевич.

— Простите, — сказал он, — что я вас задержал. Я думал справимся в пятнадцать минут, но тут еще разговору на полчаса, а потом мне надо бежать на совещание планово-контрольного отдела...

— Я на одну минутку. Где вы вчера пропадали? Хотела вас видеть.

— Вчера возвращался домой на рассвете. Думал зайти, но решил не будить. А мне вас очень хотелось, Наташенька, видеть. Горячее время. Материалы задерживают...

— Я сейчас, Эун, уйду.

— Погодите уходить. Поговорим еще одну минуту.

— У меня в семь партсобрание, в доменном цехе... Ну, как Евгения Яковлевна?

— По сведениям выходит замуж за инженера Самойло и уезжает с ним. Я очень рад. Но только обидно, что расстаемся врагами. Все-таки девять лет прожили вместе...

— Не понимаю, почему обижаются, когда разлюбляют.

— Она говорит, что не за это. Она говорит за ложь, за обман. Она называет меня негодяем... А как твои дела, Наташенька?

— У меня все просто. Я напишу Смороде и кончено. Хотя тоже, конечно, не так уже просто, — добавила она.—Почему вы обедать не пришли?

— Опоздал. Вкусный обед?

— Ничего. На третье был крем.

— Жаль, что пропустил. Ну, прощайте, Наташенька. Я к вам сегодня зайду. Можно?

— Обязательно заходите. Я после доменного домой и больше никуда. Голову мыть буду.

— Ну, прощайте, Наташенька...

В доменном цехе было закрытое партийное собрание. Докладчик говорил об общем состоянии онекского строительства за последнюю декаду. Везде было плохо. По земляным работам, по бетону, по кирпичу, по огнеупору, а также по монтажу, везде кривая производительности труда шла вниз. Прогулы увеличились до двух процентов. Выводы докладчика — коммунисты мало вникают в производство и ослабла общественная работа.

Первые, выступавшие ораторы, главным образом, ругали хозяйственников. Темпы общественной работы вовсе не снижены, а вот хозяйственники ни к чорту не годятся.

— Имеем железо и нет заклепок. Что это значит? Работа стоит, вот что это значит. Вот откуда тебе и снижение производительности. А хозяйственники-коммунисты мало об этом думают. Они сидят в своих кабинетах и кресла греют задницами. Надо таких хозяйственников так ударить по хряпке, чтоб они быстрей перевертывались...

— Мы, коммунисты, работающие в цеху, все видим, а вот вы хозяйственники ни черта не видите. Ты приди ко мне в цех, поговори со мной око на око. Мы коммунисты в цеху, а вот вы...

— Это демагогия! — выступила Наташа. Она была взволнована и поэтому очень бледная.

— Кто это вы и кто это мы? — почти закричала она. И продолжала с тем же напряжением: — Мы и вы! У коммунистов нет мы и вы. Если ты сегодня работаешь в цеху, а он работает в кабинете, так это еще не значит, что его надо

бить по хряпке. И что это за хулиганское выражение про своего же товарища! Мы все коммунисты и каждый из нас отвечает за тот участок, на котором его поставили. Сегодня он хозяйственник, а завтра ты можешь сесть на его место. Мы и вы! У коммунистов нет мы и вы.

После этого громового вступления, Наташа заговорила спокойней и по существу. Она говорила в вопросительной форме.

— Прогулы на два процента выросли? Факт? Факт, — подтвердила она сама себе и загнула палец. — Кто в этом виноват? Хозяйственники?

Минут пятнадцать говорила Наташа. После ее высказывались еще многие товарищи. Чаще всего каждый из выступавших рассказывал о своей работе и о своих неполадках. Один молодой рабочий с чудесными синими глазами говорил очень медленно. Его торопили, потому что было много желающих высказаться.

— Я не против хозяйственников хочу сказать, а вот хочу сказать...

— Да ты говори, не тяни! — кричали ему.

— Да вот, значит, что хочу сказать... Я, значит, хочу сказать...

— Говори же скорей...

— Вы меня не перебивайте. Все равно скажу.

— Так говори же...

— Значит вот что я хочу сказать. Я работаю на опалубке и ни одного дня нет, чтоб работали на одном месте. Приходишь утром, десятник посылает ставить контрофорсы. Не успели наладить это дело — отставить, нужно провести лоток. И так все время, или вот — посылают во вторую скиповую яму опускать щиты. Только установили — приходит техник и предлагает немедленно вытащить щиты наверх. Спрашиваем: почему? Потому что подпорную стену нужно двигать на два метра вперед, а места не оказалось и двух сантиметров. Вот что я хочу сказать — нужно так наладить дело, чтоб каждый плотник еще с вечера знал, куда он пойдет завтра работать, что делать и сколько.

Потом ограничили время ораторам. Потом закрыли список.

— Давайте больше не курить — дышать нечем, — попросил секретарь ячейки доменного цеха. — В текущих делах есть важное сообщение. Закройте там двери и сядьте поближе.

Когда уселись, он продолжал:

— Вчера найдена была на участке нашего цеха прокламация. Вот она. — И секретарь ячейки взмахнул бумажкой. — Я вам ее зачитаю. Она очень коротенькая, написана печатными буквами.

— «Товарищи рабочие, — читал секретарь, — каждый день штурм и штурм. А вот устроили бы такой штурм хоть один месяц, чтоб рабочий народ одел бы чистые кальсоны и поел бы маслица, молочка. А то все штурмы и штурмы. Уж сил нет, а дают только талоны. Уберите от нас их, только нервы портят эти талоны. Все мы устали и уж мало кто есть среди рабочих людей без каких-нибудь повреждений. Все подерганы, покалечены».

— Вот и все, — кончил он.

— Какая же это сволочь писала?

— Ты еще спроси его адрес.

— Товарищи, спокойствие, — не затягивайте собрание. Мы сейчас кончим. Кто это писал? Известно кто — враг. Мало ли у нас на стройке пробравшихся кулаков. Мало ли тут темных личностей! Предложения какие будут? У бюро есть такое предложение: завтра, в обеденный перерыв, устроить летучий митинг и прочесть эту прокламацию рабочим. Возражений нет?

— Позвольте, — сказала удивленно девушка в пенснэ. Она работала в заводоуправлении и была прикреплена к ячейке доменного цеха. — Как же так, сразу зачесть. Надо сначала позондировать почву.

Верней написать — позоундировать, так как она и произнесла это слово...

— Чего там еще зондировать, — возражали ей. — Правильно, завтра же зачитать рабочим. Пусть они будут на чеку. Это только усилит их бдительность.

— Правильно.

Было принято предложение бюро.

— Ой, нужен партийный глазок, партийный глазок нужен, — говорила уходя с собрания женщина в красном платочке, похожая на опрокинутый горшок.

— Бдительность, товарищи, бдительность! До пуска завода осталось недолго.

Второй час ночи. Наташа возвращалась домой. Стройка была залита электричеством. Издали электричество волновалось, как урожай. Наташе казалось, что пневматический молот тревожно стучит пулеметом. «Все как на фронте. Вот и на фронте бывало так, выступали бойцы против штабных и товарищей из отдела снабжения», — подумала она, вспомнив свое сегодняшнее выступление.

Болела голова. В комнате у нее на диване крепко спал инженер Эун. Наташа подложила ему подушку под голову.

— Сначала скипячу чай, — решила она, — потом его разбужу.

На следующий день на летучем митинге рабочие доменного цеха, в ответ на прокламацию, организовали пять новых ударных бригад.

В этот же день уезжала Евгения Яковлевна. Вот как это случилось. У Бакалвиной, где временно проживала Евгения Яковлевна, она познакомилась с только что приехавшим в заводоуправление по делам железной дороги Партизан — Астафьево начальником 8 участка, инженером Самойло. Инженер был сед. В брезентовых сапогах и в туго-затянутой ремнем гимнастерке, он казался очень мужественным. Сыздавна инженер Самойло почему-то с лицами женского пола говорил только о природе, хотя он ею сам мало интересовался. И так как у него изобразительных средств было недостаточно для описания красот природы, то он пользовался жестами, междометиями, причмокиванием и свистом. Вечером же он говорил Евгении Яковлевне и Бакалвиной:

— У вас здесь шум, гам. Вот у нас природа! О! гм! га! Это я понимаю. Тайга! Понимаете, тайга! Во! (Широкий жест). Конца края не видать. (Протяжный свист). У нас так красиво. А! О! У!

— Правда? — спрашивала Евгения Яковлевна, глядя на него честными черными глазами.

— Факт, — уверял Самойло. — Горы— уа! Красота! (Между прочим, горы-то он особенно ненавидел. Они больше всех мешали проведению железной дороги. Он их взрывал динамитом и амманалом). В тайге цветы. Такие дикие пионы. Маки. Во-о! (причмокивание). Езжайте к нам, не пожалеете, — предлагал он Евгении Яковлевне. — Работать и у нас можно.

«А может быть в самом деле поехать?» — раздумывала Евгения Яковлевна. Ей хотелось во что бы то ни стало куда-нибудь поехать. Ей хотелось сделать, как она думала, крупный шаг в своей жизни. А в самом деле, может быть поехать? Не понравится — я вернусь.

— Едемте, — настаивал Самойло.—Если вам не понравится — вернетесь, — выразил он вслух, то что подумала Евгения Яковлевна.

— Я еду, — об'явила она торжественно и героически.

— Вот и хорошо,— приветствовал Самойло. — Завтра же вечером с вами на машине и укатим. Вы увидите кругом такую природу. И-и-а-а! — Он качал головой, размахивал руками и свистел.

Евгения Яковлевна сначала хотела сообщить о своем от'езде Сергею Николаевичу, но потом решила — нет, и даже попросила Бакалвину, если он будет спрашивать, не говорить ему, куда она уехала.

— Пусть мучается.

Они выехали вечером. В двадцати километрах от Онекстроя начиналась тайга. Евгения Яковлевна очень хотела увидеть тайгу, о которой так много слышала и читала в книгах. Вначале она увидала горелый лес, который напоминал топографические знаки.

Автомобиль вбежал в настоящую густую тайгу, когда уже в небе шевелились звезды голубыми пчелами и босой месяц плыл над темным лесом. Форд не мог его обогнать.

Самойло, до сих пор молча куривший, неожиданно ближе придвинулся к бывшей супруге инженера Эуна и деловито сказал:

— Вот так-то дела, Евгения Яковлевна. Вот и жизнь прошла.

— Вы еще молоды, — утешила его спутница.

— Я уже двадцать девять лет строю железные дороги, — рассказывал Самойло. — Строил Китайскую, Амурскую, Сибирскую, Турксиб. И вот сейчас здесь. Более трудный профиль мне никогда не

попадался... Вот так в железных дорогах и вся жизнь прошла. Даже жениться не успел, — и еще тесней придвинулся к Евгении Яковлевне.

Она не отодвигалась. И тогда Самойло приободрился:

— Но я еще не сдаю. Я еще крепок, потому что все время на свежем воздухе. И неожиданно, как иногда заявляют дети, произнес: — Я был в Австралии, я был в Африке. Я знаю восточные языки. Самое лучшее место на земле — Цейлон. Это действительно! (и Самойло чмокнул). Там не очень жарко и не очень холодно, — сказал он и обнял Евгению Яковлевну.

Она встрепенулась, покраснела. Ей показалось, что это уж слишком. И она как когда-то еще девушкой-гимназисткой заметила строго:

— Пожалуйста, без рук.

Но руки у инженера были широкие и крепкие.

— Я очень одинок, Евгения Яковлевна, — пожаловался он ей.

Он хотел рассказать ей, что вот несмотря на то, что он много путешествовал, много видал в своей жизни, что он хороший инженер и его ценят в НКПС и что у него много есть учеников и товарищей, но вот близкого человека, который его любил бы, у него до сих пор не было. Он хотел многое ей рассказать, но у него и на это не хватило слов и он сказал фразу, над которой и сам в нормальное время посмеялся бы:

— Я так изголодался по женской ласке, — он произнес это очень искренне. И, нагнувшись к Евгении Яковлевне, поцеловал ее — хотел в губы, но попал в мягкий, вздрагивающий, как желе, подбородок.

Евгения Яковлевна плакала, ей тоже обо многом хотелось рассказать. Ей было жаль и себя и Самойло.

У края дороги горели костры. Возле них сидели люди. Паслись лошади и коровы. Когда машина замедляла ход, Самойло обязательно спрашивал:

— Куда едете?

— На Онекстрой, — отвечали ему незнакомые люди.

— А сами откуда? — кричал он громко.

— Салтонские, — отвечали те, не менее тихо.

— Ага, — успокаивался Самойло и об'яснял Евгении Яковлевне. — Салтонских я знаю, они у меня тоже работают.

Обгоняли обозы. Везли водопроводные трубы, буровую сталь, горючее. В ящиках, обложенных свежей травой, везли взрывчатые вещества, под охраной.

— Это все ко мне, — говорил Самойло Евгении Яковлевне, показывая на обозы. — Это все мои.

Это было не все к нему. Буровая сталь шла в железные рудники, туда же и водопроводные трубы. Только часть взрывчатых веществ шла на восьмой участок.

Но Самойло хотелось себя показать перед любимой женщиной.

Неожиданно исчез месяц и тайга почернела. Запахло порохом и электричеством. Сзади надвигалась туча.

Вскоре они приехали на рудник и слезли у заезжего дома. Дальше, на восьмой участок железной дороги Партизан — Астафьево, надо было ехать лошадьми, машина туда не проходила.

Самойло и Евгения Яковлевна вошли в отведенную им для ночлега комнату, над крышей треснул гром и окно золотым штопором просверлила молния.

Заезжий дом был только что отстроен и в нем не было электричества.

Самойло вначале долго чиркал спичками. Он испытывал какую-то неловкость. Затем он подошел к Евгении Яковлевне, стоявшей у окна в прорезиненном пальто, и хотел сказать что-то новое, необыкновенное. Но получилось обычное:

— Давайте спать, а то завтра нам рано подыматься.

Евгении Яковлевне стало страшно и она также заволновалась, как девять лет тому назад, когда впервые осталась в комнате с инженером Эуном.

— Женя, Женечка, — нежно сказал Самойло.

И руки Евгении Яковлевны сами, по привычке, обвили мужскую шею.

Над железной крышей разорвался гром. Хлынул дождь. Умывались деревья, камни и высокая таежная трава.

5

Смородa приехал на районную партконференцию в семь часов утра. Он медленно шел с вокзала и сожалел, что в этом городе у него нет ни одного друга, к которому можно было бы сейчас притти, умыться, пить чай, курить и говорить о том, что было вчера и позавчера и пять и десять лет тому назад. Вспоминать печальное и смешное и, чорт весть, что. Или просто дымить папиросой и молча полежать на диване у друга. Вот зимой, в двадцать шестом, он был по командировке в Курске и встретил Кольку Ященко. Это парень! Смородa воевал с ним вместе весь девятнадцатый. И вот встретились в Курске. Оба здоровые, живые. Коля Ященко—такой ловкий, смуглый парень. Бывало на лошади едет, как на рояле играет. И шашка сияла и маузер гремел. И вот опять встретились, в Курске. Здоровые. Живые. Уж попили они, уж поели, уж нагрелись. Смородa об этом любил вспоминать: «Понимаешь, Наташка, иду я по Курску и вдруг мне навстречу Колька Ященко. Здоровый, живой. И поел я, Наташка, попил и нагрелся! Вся клетчатка на мне заговорила. Все внутренности заиграли». Когда-то Смородa мечтал в каждом городе иметь по фронтовому товарищу. Вот бы житье! Приезжаешь в Саратов, в Нижний, Самару — на Волгу. В Пинегу, Онегу, Архангельск — на север. В Тифлис иль Ташкент. И всюду—свои. Здравствуй! Ну, как ты, живой? Как видишь—живой. Мать твою так, как я рад тебя видеть. Живой, ведь? Живой. Ну, здравствуй. Ну, здравствуй, дорогой мой, родной, фронтовой мой товарищ. Ты не предашь! У тебя я как дома. Могу и поспать, и поесть, и попить. С тобой мне не страшно. Ты не предашь, фронтовой мой товарищ.

Смородa когда-то мечтал, как хорошо везде иметь по фронтовому товарищу. Но вот в этом окружном городе у него не было ни одного друга. Он купил газету и сидел в садике. Ясное небо и солнце как пиво. Было прохладно. Смородa хотел зайти в пивную, но пивные еще были закрыты.

Смородa любил пить пиво. В Утече есть пиво, но там пить неудобно. Выпьешь стакан, скажут — бочку. И вот терпи, пока не дорвешься до города. А здесь хорошо. Здесь много народу и никто тебя не знает. Пей, пожалуйста.

Иногда Наташа тоже любила притти в пивную и выпить пиво. Наташа любила. Наташа любила. Да, ну ее к дьяволу, эту Наташу.

— Дайте еще одну кружку.

Хорошо бы поселиться в этом городе. Он небольшой, но не особенно маленький. Получить квартиру. Чтоб была б жена. Иметь выходной день. Мыться в бане. Чем плохо? Я куплю кларнет. Я люблю играть на кларнете. Жена здоровая. Жена красивая. Выходной день. К обеду пришел приятель. Разговоры. Чем плохо? Поехал в отпуск. В море купаться. Есть виноград. Чем плохо? Играть в городки. И тут же жена. Жена красивая. Жена здоровая. Жена, жена, жена. Погоди же, Наташка, еще попадешься. Встречусь с тобой, посчитаюсь.

Глаза у Смороды отяжелели, руки налились яростью.

— Получите с меня!

Пошел на телеграф, чтоб молнией, срочной, оскорбить Наташу. Дать телеграмму, как в морду.

Он взял бланк и написал:

— Счастлив больше тобой не жить предателей ненавижу.

Чтобы такое еще добавить, чтобы достать ее, чтобы дошло до стервы. Чтоб она там прочла и перевернулась.

И он добавил пару словечек.

— Гражданин, ругательства по телеграфу не передаем.

Пришлось вычеркнуть.

Смородa ходил по городу и жалел себя.

Ничего у меня нет. Никого у меня нет. И почему, если я коммунист, я должен ходить рваный? В Утече он слышал, говорят: «Смородa честный человек—лишней рубахи нет. Прачка стирает, а у самого под кожанкой голое тело». Это для обывателей. Это вовсе не заслуга. Это временные затруднения. А надо, чтоб каждый трудящийся хорошо оделся б. Хорошо бы ел. Хорошо бы спал.

Это Наташка любит рваненьких, приколотых булавками. Она таких жалеет. А я нет. Мы строим такую жизнь, чтоб не было задрип. Чтоб каждый трудя-

щийся вкусно ел, чтоб сукно бы на нем дорогое, сапоги чтоб блестели. Идет по улице — все внутренности в нем играют. Клетчатка говорит.

Об этом и о многом другом вечером за обедом у секретаря окрпарткома, тов. Савельева, говорил Сморода. Он также жаловался и на то, что вот во многих городах у него есть фронтовые товарищи, а здесь нет.

— Ну, вот, я фронтовик, — сказал Савельев. — Хоть были не в одной с тобой армии, а воевали же за одно. Какая разница? Вот ты у меня и обедаешь?

— Это правильно. Это хорошо. Это я понимаю, — соглашался Сморода и направил свои жалобы по женской линии:

— Бабы стервы. Баба обманет. Баба предаст.

— Чего ты так злишься? Должно насолили?

И Сморода рассказал о Наташе. Ему давно хотелось с кем-нибудь поделиться.

— Обиделась, — закончил он. — Я ей изменял. Ну, а кто не изменяет? Подумаешь, какая обида. Но ведь, в основном, я только ее любил.

— Да, бывает, — сочувствовал Савельев.

А редактор окружной газеты, который вместе с ними обедал, вдруг рассказал неизвестно к чему: «Вот в девятнадцатом я вернулся из германского плена. Правда, измученный, но дома не был четыре года. Приехал в деревню я ночью. Кругом стреляют. Жена говорит: вот ты вернулся больной и мне с тобой еще страшней. Ушел бы ты. И я ушел в ночь. С тех пор и не видал ее».

— А вот я не скучаю, — сказал Савельев. — Моя жена уж неделя как уехала в отпуск и прямо отдыхаю. И ты не скучай, Сморода.

— Я и не скучаю, — сказал хладнокровно Сморода. — Этого добра сколько хочешь.

И пошли интимные мужские разговоры. В таких разговорах очень много лестного для особ мужского пола. Но это только в разговорах. В жизни все гораздо сложней и скучней. И «этого добра вовсе не сколько хочешь». Да и сам Сморода об этом великолепно знал.

— Между прочим, Сморода, я забыл тебе сказать, — вспомнил редактор, собираясь уходить. — Писатель Околоков на тебя жаловался. Ты что его в баню хотел посадить? — спросил он смеясь.

— Да, ну, его в болото. Дурочка.

— Он пришел ко мне, весь в грязи, прямо с вокзала, — продолжал редактор.

— Говорил, что он ночью от тебя утек, еле добрался до станции.

— Ну, его в болото! Понимаешь, тут горячка. Двести гектаров льна еще надо убирать. Тут надо субботник. Рук нет. А ты знаешь местечковых этих граждан. Эти «посылочники», огородники, извозчики. Попробуй—подыми их. А тут этот писатель. У нас постановили, чтоб все коммунисты в поле. После собрания иду, он уцепился за мной—мне нельзя, мне надо ехать. Я и припугнул. А он в штаны... Да ну его в болото!

Сморода остался ночевать у секретаря окрпарткома.

— А ты знаешь, что я тебе скажу,— произнес Савельев, наблюдая как Сморода стягивает сапоги. — Вот ты с льнозаготовками закончишь — уж, конечно сейчас, на время льнозаготовок, мы тебя никуда не отпустим,— а вот как с льнозаготовками закончишь, месяц отдохнешь и берись за торфоразработки.

Сморода кряхтел, стягивая сапог.

— Подумаю, сказал он, тужась.

— Чего там думать,— уговаривал Савельев.— Мне сейчас надо знать. С весны торфоразработки в нашем районе, ты знаешь, какое будут иметь значение. А людей нет... И секретарь, сидя у дивана, на котором уж лежал Сморода, долго говорил про торфоразработки. Из его слов выходило, что именно торфоразработки это сейчас самое главное в советском хозяйстве. Это самое трудное. Самое тяжелое, но и самое важное и самое ответственное. Из слов секретаря окрпарткома выходило, что если не удастся наладить торфоразработки в этом небольшом районе, то это грозит большими неприятностями всему Советскому Союзу.

Сморода неуверенно согласился.

— Но это твердо? — переспросил Савельев. — А то ведь мне придется другого подыскать. Но лучше ты. Ты, я знаю, двинешь как следует это дело.

Значит договорились? — он еще раз хотел убедиться в согласии Смороды.

— Договорились, — подтвердил Смородa и попросил: — Туши свет, я спать хочу.

— Хорошо что договорились, а то я прямо не знал кого, — сказал Савельев и потушил свет.

Секретарь окрпарткома давно имел в виду кандидатуру Смороды на торфоразработки...

Наташа получила вечером письмо, а утром телеграмму. Когда прочла письмо, она не обиделась на Смороду. Она даже его пожалела. Подумала — пускай перебесится, успокоится и я ему напишу. Я хочу с ним дружить.

Но утром, когда вдогонку письму пришла телеграмма, она рассердилась.

— Вот идиот, — сказала она громко. — Вот дурак!

— Кого это ты? — спросил Эун.

— Смороду. Присылает дурацкие письма и телеграммы. Ревнует, вот и с ума сходит. Подлец!

И она разорвала письмо и телеграмму.

Но Сморода уже не ревновал. Чуть-чуть грустно и все. Он возвращался со станции в Утечи. Его вез извозчик, житель Утечи... Иногда извозчик ударит коня и крикнет: «Эй, родлан!». И тогда конь, эта большая пузатая муха, встряхнет хвостом, встряхнет головой, помчится рысью и опять шагом. Вот и лес. Среди темных сосен и елей, нет-нет, вдруг, выскочит береза, накинув на голову рогожу. Сморода свистит и поет: «Ах изменила подружка моя». Ему грустно.

Не грусти, мой друг. Не грусти, Сморода. Ты еще встретишь ее. Конечно, не Наташу. Она ждет тебя. Конечно, не Наташа. Она еще обнимет твою бронзовую шею. Прижмется к тебе. Она мечтает о вас, товарищ Сморода. Конечно, не Наташа. Другая. Она может быть лучше, моложе, сильней.

— Ах, изменила подружка моя.

Не надо, не надо, не надо, Сморода. Этого пошлого вальса не надо. Уверяю тебя — все будет в порядке.

6

Выпал первый снег. Школьникам выдали синие тетради. Они старательно к уже напечатанным буквам Учен прибавляли -ика, -ицы.

В сельсовет принесли московские газеты. Гаврилов развернул, прочел и сказал Смороде, который сидел за столом и что-то такое писал:

— Григорий. Онекский завод пошел. Хорошо. В срок пошел.— И тут же Гаврилов добавил:— В последнее время читаешь газеты и волнуешься. Следишь за совхозами, следишь за новостройками, за выпуском тракторов — и прямо волнуешься. Входишь в азарт.

И Сморода прочел об Онекском заводе и стало радостно. Так же радостно, как когда-то на фронте, когда он был на другом участке и прочел о взятии Царицына. И, сейчас, в сообщении о том, что кроме завода на Онекстрое еще готовы дома для рабочих, здание фабзавуча, фабрика-кухня и новая баня, и клуб, и отдельно театр. Сморода воспринял как тогда же на фронте, когда в заметке о взятии Царицына перечислялись трофеи — танки, аэропланы, снаряды, обмундирование, пленные.

Это была радость. Такая же радость, как и для Наташи, как и для Эуна, как и для Савельева, как и для Гаврилова и для инженера Самойло.

Это была одна радость.

Много радостей еще впереди. Товарищи, нас ждут десятки, сотни, тысячи радостей!

Эшелон с комбайнами

Глеб Глинка и Борис Губер

12 июля.

Когда я стану, наконец, умней и спокойней?.. Еще в Москве расчеты уборочной группы казались мне слишком благодушными, чтобы можно было положиться на них! А сейчас, когда намеченные сроки и впрямь провалились, не могу ни думать, ни говорить об этом хладнокровно. Чорт знает что!

Началось с Симферополя. Я заехал туда поговорить с уполномоченным по Крыму и ожидал, что встречу фигуру вроде сибирского Греймера. Этот семипудовый большевик, весельчак и изобретатель, решительно не выходил у меня из головы. Я представлял себе, как просматривает он столичные телеграммы, напевая «ты спросила сегодня с укором», как между двумя умело рассказанными анекдотами решает сложнейшие оперативные дела, — и задуманная Зернотрестом переброска комбайнов с одного конца страны на другой казалась мне сущими пустяками. Что значит три тысячи пятьсот километров пути и две уборки в году одними и теми же машинами, если над всем этим возвышаются вот этакие непобедимые дяди?

Одним словом, получилось до смешного непохоже.

В темной комнатке, где-то на задворках Крымнаркомзема, я отыскал молодого вихрастого парнишку. С виду он больше всего напоминал гармониста на комсомольской вечеринке. Он восседал за колченогим столом, под портретом Сталина. Перед ним, расставив ноги в запыленных сапогах, торчал худой и длинный краском.

— Ты, Клейман, человек взрослый, и работник, — назидательно гудел он. — Так зачем же ты врешь?

Клейман в ответ только ежился и виновато улыбался. Когда ругатель его ушел (а это случилось не скоро), он вздохнул, рассеянно выпросил у меня папироску, прочитал мандат и сказал как ни в чем не бывало:

— Вот, познакомься-ка с документом.

Он сунул приказ, — и лучше бы уж сразу треснул чернильницей по черепу. Ну буквально каждая строка противоречила московским планам! Вместо тридцати одного комбайна Симферопольскому предлагалось грузить девяносто пять, о том, какая часть их предназначается для Голощекинского, даже не упоминалось, а в заключение, срок отправки переносился с девятнадцатого июля на двадцать первое.

Эта трехдневная отсрочка возмутила меня больше всего, — что за благодеяния из чужой суммы? Даже если мы выйдем девятнадцатого, точно в срок, эшелон может запоздать к казакстанской уборке! А тут — пожалуйте: чушь!

Само собой разумеется, я не удержался от нескольких, подходящих к случаю слов. Клейман выслушал их и лениво ответил.

— Дожди были, парень, потому и отсрочили... А почему девяносто пять — шут их знает, тебе в Симферопольском скажут. Герчиков туда специально ездил, а я его почти что и не видал.

Одним словом, стопроцентная шляпа. Но тогда, разговаривая с ним, я все-таки не думал, что вопрос так окончательно

запутан — это стало понятно только сейчас.

За два с половиной часа проделав с попутной машиной семидесятикилометровый путь от города до центральной усадьбы, я очутился в кабинете директора Симферопольского зерносовхоза Горшкова.

Ну, братцы мои, доложу вам, и тип! Мы пререкались чуть ли не полчаса — так он хоть бы раз за это время улыбнулся или обругался как-нибудь по-человечески. Сидит и смотрит обиженно, а знает еще меньше Клеймана и о приказе Герчикова впервые услышал от меня. Сколько пойдет машин, каким маршрутом, когда, его словно бы и не интересует.

— Какой может быть разговор о Казакстане, не понимаю! Ведь мы еще ни одного дня толком не проработали, — говорил он. — Нам-то самим нужно убирать или нет? Двадцать две тысячи пшеницы стоят под дождем, а вы мне про подготовку...

Говорил — и даже не пытался скрыть раздражения, пристально глядя на меня округлившимися глазами... Ох, и хлопот же бывает с такими круглоглазыми! Двадцать две тысячи га!.. В Голощекинском их больше тридцати, а комбайны должны и туда притти во-время. До пререканий ли тут?

Как видно, предстоит здоровая буза.

На первое время я ограничился телеграфным запросом в Зернотрест. Следовало бы также связаться и со Збарским (он сидит уполномоченным по уборке в Крыму и на Украине, и ему поручено наблюдение за переброской машин с юга на север). Но, подумав, я решил от этого отказаться: Збарский прежде всего отвечает за уборку здесь.

Тишину нарушает только мерная одышка дизеля в механической мастерской.

Бледные одноэтажные дома подставляют солнцу грифельно серые крыши, и солнце скользит по ним, скатывается в далекую ровную степь. Разморенные дневной жарой потягиваются тонконогие акации, зеленые туи топорщат свои петушиные гребни. Косые лучи заката пронизывают склепанную из деревянных дранок бутафорскую арку, она рычит на весь совхоз крепленными наверху глотками двух мощных громкоговорителей. Лихо подхватывает вечернюю передачу столовая, рабочком, каждая квартира и общежитие. Поет, воет, декламирует и бормочет вся усадьба.

Директор Симферопольского Горшков целое утро мыкался по участкам и теперь, едва очнувшись от послеобеденного сна и с трудом разлепив глаза, кривит длинное бритое лицо, как бы собираясь чихнуть или откашляться. Голова его с ершом выгоревших волос тяжело откинута к спинке дивана. Он медленно шевелит пальцами вытянутых босых ног и вспоминает: сегодня в кабинете еще один корреспондент. Лысый, навязчивый... Работаешь тут день и ночь, а они приезжают, треплются попусту, льстят, подбирают каждую мелочь и потом из ничтожных обвинений стряпают целую статью, развязно сообщая, что дирекция Симферопольского зерносовхоза, видите ли, бла-го-ду-ше-ству-ет!

Напрягая крепкие мускулы, Горшков поднимается, расправляет плечи и с расстановкой вслух произносит:

— Дерь-мо!

Сразу делается веселее. Трезво встают заботы о хлебосдаче, которая, надо сознаться, идет уж не так плохо. Зерно вывозится начисто и пока что можно обойтись без бунтов или перевалочных пунктов. Конечно, дальше, когда комбайны станут вырабатывать норму, может не хватить грузовиков, но Союзтранс не подкачает... И Горшков окончательно просветлел.

В открытую дверь видна надежная широкая спина жены. Из-под узла темных густых волос багровеет обожженная шея. Руки тоже багровые. Стряхнув скатерть, она поворачивает тучное, украшенное черными бровями лицо. Шевелится пушок на верхней губе:

— Включи радио, Ваня.

Директор лениво втискивает в штепсель медную непослушную вилку. Вся комната наполняется неистовым маршем.

Через два дома, за отдыхающими на террасах домохозяйками, за холостым общежитием, из простодушных окон которого торчат чьи-то грязные ноги, в своей светлой просторной комнате, отде-

живается «командированный из центра» товарищ Курт. Наголо бритый, он лежит на кровати и под звуки радио перелистывает брошюру о комбайне «коммунар», изредка царапая ногтем отметины на полях или подчеркивая нужные строки. Дым папиросы течет и крутится в вихре охрипшей музыки.

Громкоговоритель внезапно умолкает, одновременно удивляя чету Горшковых, Курта, веселых парней из общежития и всю сразу застывшую предвечернюю жизнь совхоза.

— Слушайте, слушайте, слушайте! — врывается трескучий голос. — Говорит Симферопольский зерносовхоз. Сегодня в клубе состоится вечер агитотряда центрального дома пионеров, после чего будет проведена встреча иностранной делегации. Обмен взаимными приветствиями. В заключение концерт развернутой самодеятельности. Начало ровно в восемь часов.

Пытаясь перекрыть неуемное радио, заливается вечерний гудок, он зовет симферопольцев к ужину.

Длинноногая, гладко причесанная машинистка выходит из столовой. Она медленно через всю площадь несет полную тарелку парного молока. Курт выпрямляется, мельком взглядывает на нее и оборачивается, чтобы посмотреть еще раз.

Часть гаража отведена под клуб. На широкой выстланной досками площадке, перед распахнутой дверью, собралось несколько человек.

Курт подходит к ожидающим, заглядывает в пустой, заставленный скамьями зал и наконец останавливается у группы шумящих о чем-то шоферов.

— Брось, Плавник, все равно не поможет. Зря разоряешься, — унимает разгоряченного черноволосого парнишку более осторожный приятель.

— А что я, молчать буду? — блестя крупными зубами на загорелом лице, кричит Плавник. — Конечно оппортунизм, я и Горшкову скажу! Разве так убирать надо? Мы должны по две тысячи в день снимать, а на самом деле что? И тысячи га не делаем!

— Дай срок, раскачаемся...

— Вот все вы так рассуждаете! — вспыхивает Плавник. — Раскачаемся! Уж пять дней раскачиваемся, какой еще тебе срок? На заправке стоим, в борозде стоим, на элеваторе очередь — опять стоим... А что дирекция делает? Нужно бить по простоям систематически, а они, Горшков хотя бы, приезжают на участок и пустяками занимаются. Да еще других успокаивают — на все одна причина, «дожди задержали». Нет, товарищ, не дожди! Нужно на главное смотреть...

— Вот ты бы на главное им и указал, — недоверчиво прерывает пожилой фрезеровщик из мехмастерских. — Может он еще не разобрался как следует или организовать не умеет.

Плавник вскидывает голову, губы его кривятся.

— А откуда ей быть организации? — говорит он. — Если есть правильная установка, так не беспокойся, все можно одолеть... Растерялся! Это с каждым может случиться, не в этом дело. Разве ты один? Ты в таком случае обратись к рабочей массе, прислушайся к производственным совещаниям... А он, как бюрократ, знает одни приказы: снять с работы! Наложить взыскание!

— А оппортунизм тут при чем? — снова прерывает осмотрительный приятель. — Ты об'ясни...

— Как при чем? Нужно на факты смотреть политически... Мы с такими темпами очень просто на радость кулаку всю уборку провалим! Что это тебе, не политический факт?

В тесно стоящий кружок, раздвигая замызганные комбинезоны, протискивается плотный низкорослый дядя. Вся его круглая фигура налита упругой сытостью, самоуверенные губы толсты и засалены. Рубашка «фантазия» заправлена в брюки, явное брюшко плотно стянуто ременным поясом.

— У нас в Каиндокумакском этого не увидишь, — говорит он, авторитетно качнув стриженой головой, — потому что директор Сазонов всех знает. Он работу спрашивает, за то и ценить людей умеет.

— Какого совхоза? Из каких мест? — рассматривая говорящего, осведомляется Плавник.

— Далекие наши места... Казакстан! — с нескрываемым превосходством, снизу вверх поглядывая на собеседников, по-

ясняет незнакомец. — У нас каждый свое дело знает. Взять, например, кооперацию, или снабжение...

— Да ты по каким делам сюда попал? — прерывает его Курт.

— Я заведую отделом снабжения и сбыта в Каиндокумакском совхозе, — отвечает незнакомец и, грозно прищурившись, добавляет: — комбайны у вас заберу!

— У нас? — усмехается Курт.

— А что, разве вы не здешний работник? — сбавляет тон каиндокумаковец.

— Как тебя?..

— Моя фамилия Кошель.

— Какие машины?

— Десять оливеров нам занаряжено... Я только сегодня со своими слесарями прибыл. Ярышев и Перепелица у меня тут. Никого еще не видал... А вы тоже по отправке комбайнов?

— Ничего не понимаю? Какие десять оливеров? — хмурится Курт. — Их всего-то тридцать одна машина и все для Голощекинского... А впрочем, завтра разберемся — у них тут, видишь, какие делал, вся уборка впереди.

Под настойчивое блеяние колокольчика, публика протискивается в зрительный зал.

На подмостках перед занавесом из розового ситца стоит костлявый старичок с дон-кихотской бородкой, встрепанный и развязный.

— Секретарь нашего рабочкома, — подталкивая локтем сидящего рядом Курта, об'ясняет Плавник.

Кошель, опустив плечи, отчего его спина становится короткой и круглой, садится перед ними и, оборачиваясь, сообщает:

— У нас в Каиндокумакском...

Но старик на сцене вытягивает шею и, подняв указательный палец, рычит:

— Сейчас здесь перед вами...

Он, дергаясь, выталкивает кричащие фразы своего вступительного слова. Умолкший Кошель, оттопырив нижнюю губу, смотрит недоверчиво, как на фокусника.

Среди публики появляются иностранцы, экскурсия рабочих-коммунистов: длинный болгарин в тельнике, с худыми белыми руками, стриженый бобриком бельгиец в голубой сорочке и еще какие-то черноволосые, мрачные, бедно одетые парни. Переводчики в два голоса повторяют на французском и английском языке все, что говорится на сцене.

В самый разгар из-за кулис выходит вожатый и, вытянув руки по швам, провозглашает:

— Товарищи, применительно к вашим условиям и сообразно с вашим временем, программу заканчиваем!

Иностранцы пробираются вперед.

На подмостках вырастает дородный иссиня-черный человек. Резкое кольцо морщин окружает его рот. Непролазные брови подтянуты к самым волосам волнистыми складками коричневой кожи.

— Испанец должно быть? — полный восторженного удивления оборачивается Кошель.

— Ставренюк это, секретарь парткома, — укоризненно шипит Плавник.

...На обратном пути Курта до самой квартиры провожает его новый каиндокумакский знакомый.

— Я железнодорожник, — покашливая с значительными видом и припрыгивая на каждом шагу, говорит он. — Два года работал на железной дороге, она для меня, как ладонь, ясное дело. Уж насчет чего другого, а состав доведем во-время, будьте уверены. Только бы вырвать машины. Мне Сазонов говорит, чтоб я со здешним начальством не церемонился... Лапти вон и ноги кверху!

Усадьба залита солнцем.

У обвитого плющем крыльца отдыхает расхлябанная открытая колымага.

«Ну и чудище, — думает Курт, — прямо довоенная кинушка из американской жизни...»

В парткоме за бордовым столом сидит Ставренюк. Секретарша в туго зашнурованном сарафане возится с папками. Напротив, облокотясь о стул, покачивается райкомовец Шмидт, высокий с острым, может быть чахоточным, лицом. Тут же разбитная обгорелая девица в зеленой кофточке.

Курт здоровается.

— Это ваша райкомовская, там у крыльца? — спрашивает он.

Шмидт, смеясь, отвечает:

— Нам такую для хлебозаготовок дали.

— Действительно, странно, как ихтиозавр...

— Так я пошел, — говорит Шмидт, — пока!

Девица тотчас же подлетает к Ставренюку:

— Частей нет, комбайны стоят, мы посылаем машину, чтоб запчасти привезла, а завгар отдал каким-то бабам!..

Она возмущается, подробно передает кто что сказал и как заведующий гаражом грозился снять с работы запротестовавшего было шофера.

Спокойно расположив бесконечные складки загорелого лица, слушает Ставренюк, с расстановкой приговаривая:

— Да... да...

И дождавшись конца бурной речи, укоризненно смотрит, качает головой:

— Что ж, по твоему простой двух комбайнов дороже стоит, чем тысяча пудов хлеба? Ты, может, скажешь не слыхала, что после дождя пшеница согрелась в бунтах? Мы бригаду женщин на прорыв кинули... При чем тут бабьи разговоры? Поменьше бы ты сплетнями занималась, побольше бы работала!

— Ничего не сплетни, я-то знаю, что значит работать. Кто подписку на заем по всему первому участку провел? Да вот посмотришь как у меня бюллетень налажен... А этим гражданкам только бы себя показать. Подумаешь «домохозяйки-ударницы». Нашли клад!.. Велика подмога!

Синие щеки Ставренюка разрезает скоба назидательной улыбки.

— Давай переведем пластинку, — похлопывая волосатой рукой по столу, говорит он.

— Ты, если умеешь, организуй лучше, — вмешивается секретарша. — Может быть ты всех вовлечешь! А мы двадцать женщин организовали, так и тех разгоняют вот такими разными словами... Бабы!

Ставренюк кивает головой:

— Недопонимаешь ты...

— Ну, я к тебе позже зайду, — говорит Курт.

Он пересекает коридор, открывает дверь рабочкома и на пороге сталкивается с Муравьевым.

— А вот и сам рабочком, — приветствует он мешковатого скрюченного председателя.

Они вместе выходят на террасу.

Походка у Муравьева паралитическая, лицо с огненными усами вахмистра.

— Ты что? — спрашивает он скрипучим голосом. — Поедем с нами на участок?

— С кем едешь?

— С замдиректором, с Фолифоровым. Вон машина идет.

К конторе подкатывает зеленая карета. Влезая в фанерную, обитую изнутри солдатским сукном кабинку, Курт спрашивает:

— Сами легковую соорудили?

— Да, из полутонки переделана.

Они несколько минут сидят молча. Шофер уходит в кооператив за папиросами. Раскрыв брезентовый портфель, Муравьев извлекает оттуда вдвое сложенный «Крокодил», разглаживает страницы и, медленно рассматривая, смакует карикатуры. Восторженно матерясь, он приговаривает:

— Бюрократ-то, бюрократ-то, окопался стерва!..

И, помигав выпученными глазами, начинает снова:

— Это что же, железнодорожник?.. Во, мать его, и трубу сломал!..

Курт лениво соображает:

«Забавный папаша... Видать из породы веселых дураков».

Еще издали видны среди степи высокие гессенские палатки. Но их мало и вся жизнь колонны ютится, по преимуществу, в землянках.

В одной из землянок помещается кухня; рядом, под накинутым навесом, столовая. Контора тоже под землей. Резиновые покрышки, фонари, какие-то шубы свалены на железную койку, под ногами шуршит бумага, пахнет прелой соломой. Вся канцелярия на двух столах.

Курт садится на ящик с консервами и ждет пока Фолифоров об'яснится с учетчиком. Учетчик-татарин уверенно говорит:

— Я их, товарищ Фолифоров, в то же число на центральную отправил. Ты меня зря не путай.

— Врешь, не было вчера сведений!..

— Вот она! — показывая на телефон-

ный аппарат, сурово говорит татарин. — Звони Полюткину!

Фолифоров, через ящики и покрышки, тянется к телефону.

— Ай-я! — кричит он и, настойчиво накручивая ручку, подмигивает учетчику: — Вот мы сейчас установим.

Татарин даже и не прислушивается к разговору, он перебрасывает на счетах какие-то цифры. Курт закуривает.

— Центральная?.. Ай-я!.. Давай бухгалтерию!.. Давай главбуха! Полюткин?

По ступенькам спускается Западинский, начальник второй колонны. С ним заведующий первым участком Зотов.

— Слушай-ка, Фолифоров! — говорит Западинский. — У нас здесь сегодня целая барахолка — инструктор-кооператор отличился, обед запретил вывозить в поле...

Его торжествующим тоном перебивает учетчик:

— Ну что бухгалтерия?

— Ладно! — машет рукой Фолифоров и поворачивается к Западинскому. — Как, ты говоришь? Запретил?

— Категорически!.. Я, конечно, послал его куда следует. Что ты, мол, говорю, хочешь, чтобы они не евши работали? Дураков нету.

— Похабство! — кричит Фолифоров,— Позвать его сюда!

Все вываливаются из конторы. Солнце слепит привыкшие к полумраку глаза. Развязно помахивая руками, подходит кооператор; на голове у него независимо пузырится клетчатая кепка.

— В чем дело? — осведомляется он.

Рядом с Фолифоровым кооператор выглядит малолеткой. Спрятав руки в карманы, он снисходительно ждет:

— Ну?..

Фолифоров качает головой:

— Что ж это ты, брат, запрещаешь? — говорит он со вздохом.

— А вы как, лишнюю кухарку держать предполагаете? — кривится низкорослый кооператор.

Лиловая жила вздувается на шее Фолифорова.

— Лишнюю?.. Ты что, думаешь, производство придаток к твоей кооперации? Нужно быть чеховским чиновником, чтобы так рассуждать!.. Не только кухарку, а если нужно рабочего с ложки накормить, и с ложки накормишь!

Курт уже сидит в автомобиле. С другой стороны лезет Зотов.

Усаживаясь рядом с шофером, Фолифоров страдальчески говорит:

— Вот они гниды рабочего снабжения...

Машина трогает, но из палатки высовывается согбенный Муравьев.

— Ой, ой, подождите!

Он фыркает и, подрагивая рыжими усищами, семенит к автомобилю.

Перед открытыми окнами кабинки налита ровная степь. При каждом толчке машины поднимаются густые волны пшеницы. Фолифоров пристально всматривается — вдали видны сизые силуэты комбайнов.

— Стоят! — взволнованно говорит он, высунувшись из окна считает: — Три, четыре... пять... Похабство!

— Вот еще два, — показывает Курт.

— Где?

— А вон за теми тремя.

— Верно, тоже стоят сволочи!..

— Это они на ячмень переходят, — успокаивает Зотов.

— Как переходят?.. Должны ж были с утра перейти!

— Задержались... Часть уже перешла.

Степь, покачиваясь, плывет навстречу; все больше проясняются туманные очертания полевых кораблей. Они растут с каждой секундой, — уже различима оснастка голубых боков. Неподвижно застыли перепончатые полотна хедера.

Колеса автомобиля шуршат по траве. Проехав по межняку, он останавливается в нескольких шагах от ближайшего коммунара. Дальше три понурых комбайна столпились у заправочной тележки. Мимо вылезающего из машины Фолифорова пробегает комбайнер со шлангом.

— Опять заправка среди дня! — оборачивается Фолифоров к Зотову. — Ведь я категорически запретил, утром и вечером, больше никаких!.. Почему не слушаете?

Зотов молчит. Муравьев, склонившись, с глубокомысленным видом трет на ладони колос и зачем-то нюхает зерно. Все идут к комбайнам.

— Отчего стоите? — спрашивает Фолифоров.

— Грохота регулируем на ячмень! — весело откликается комбайнер.

Перед следующим коммунаром на земле сидит толстый рыжий парень. Между колен у него установлено, вместо наковальни, увесистое грузило с комбайна.

— Бачишь, пооборвались цепи, — отвечает он подошедшим. — Треба клепать! — и подтягивая цепь, сдваивает четкие удары уверенно бьющего ручника.

— Ну, как у вас коммунары работают? — спрашивает Курт.

— Ничего, справляются, — говорит Зотов. — Вот только грохота рвутся, помоему проволока слишком жесткая поставлена. На густой пшенице приводной ремень пробуксовывает, приходится мотор вперед продвигать, а на раме нет добавочных дыр, сверлим сами.

Комбайны оживают, подрагивая на ходу, медленно ползут к ячменю. Муравьев отбился куда-то в сторону и умиротворенно бродит по пояс в пшенице. Сняв кепку, он трет рукавом мокрую лысину. Неподвижно стоит зной, вся степь пропитана горячим солнцем. Раскаленная трель кузнечиков мешается с урчанием моторов.

Зеленая кабинка снова пьяно качается по стерне и, выбравшись на межняк, мчится дальше к вихрастому, путаному, как шерсть нечесанной овцы, ячменю.

— Да, действительно, ячмень у вас... повозитесь с ним! — говорит Курт.

— Смотри, трава-то, трава-то выше колоса вдвое! — тычет пальцем Муравьев.

Ячмень после дождя полег, закручен и поломан, точно через него прогнали стадо. Борозда, по которой только что прошел комбайн, мало чем отличается от неубранного поля. Ножи хедера скрежещут поверх ячменя, не задевая его, либо режут пополам самый колос.

Фолифоров, соскочив с подножки, широко шагает к остановившемуся комбайну.

— Что делаешь? — спрашивает он у комбайнера, выгребающего из барабана зеленое раздавленное месиво.

— Сорняки забивают. Того гляди весь барабан вырвут!

— А ты бы старался пониже резать.

— Рад бы, товарищ Фолифоров, пониже, да руки у меня всего две! И на штурвал и на мотор — как хочешь вертись.

Курт криво усмехается:

— Что же вы хвалились, что без штурвальных работаете? Боком выходит?

— Брось ты еще тут трепаться, — огрызается Фолифоров.

Комбайн дрожит и медленно трогается вперед.

— Стой! Стой! — кричит Фолифоров, но комбайн и без того стал.

— Опять заело...

Едут дальше и на следующем километре упираются в новую поломку — стоят еще два комбайна.

— Зря выходит дело-то, — говорит Курт. — Видать незачем здесь комбайны держать...

Все молчат. С под'ехавшего грузовика соскакивает коренастый человек в ярко синих бумажных штанах. Фолифоров с глубоким вздохом обращается к нему:

— Как же теперь быть, Свиридов?

— Ты у нас инструктор по комбайнам, вот и разреши задачу, — язвит Зотов.

Фолифоров колеблется:

— Может быть штурвальных поставить?

Пронзительно, как кошка на шевельнувшуюся мышь, он смотрит на дрогнувший комбайн, — срывается с места, припрыгивает, цепляясь за ступеньку, и лезет к штурвалу. Высокий, размахивая длинными руками, он секунду балансирует на площадке и хватается за колесо. Комбайн идет спокойно, припадая хедером к самой земле. За ним сквозь взлохмаченное руно тянется начисто пробритая полоса. Зотов, спотыкаясь, бежит рядом.

Об'ехав круг, Фолифоров возвращается к машине. Курт спрашивает:

— Ну что?

— При хорошем штурвальном можно, — говорит Фолифоров и поворачивается к Зотову: — Во всяком случае попробуем.

Защищая окно от назойливого солнца, едва колышется смятая простыня; за отогнутым углом видна выгоревшая степь. Большой стол застелен скользкой клеенкой. Рядом с походной чернильницей белеют прикрытые брошюрой

о коммунаре страницы недописанного дневника.

Голый до пояса Курт склонился над иссеченной лиловым шрифтом тетрадкой папиросной бумаги. Он изучает уоорочный план Симферопольского совхоза.

У того же стола сидит худой с ввалившимися щеками человек. На нем подкрахмаленная тенисная рубашка, в руках блокнот и самопишущая ручка. Это и есть тот самый испугавший Горшкова корреспондент — он, действительно слегка лысоват.

После двухдневного пребывания в совхозе для него многое прояснилось, и теперь, приводя в порядок добытые сведения, он видит не только ошибки совхозного руководства, но и причины, породившие их.

— Нет, нужно точнее, — бормочет он, перечитывая только что написанную страничку и, перечеркнув ее, начинает сначала:

«В обстановке обостренной классовой борьбы, когда страна под руководством партии борется за каждый центнер хлеба, особенно ясен смысл этого оппортунистического отношения к уборке: оно равноценно прямому пособничеству классовому врагу».

Потолок в комнате налит белой устоявшейся тишиной и круто опрокинут над клетчатым пледом постели, над косым глазом немого громкоговорителя, над пыльными плечами березового гардероба.

Курт хмурит растрепанные брови и снова распускает их. Его близорукий карий взгляд перебирает ловкие параграфы, пробегает по столбикам цифр и настороженно западает, когда дело доходит до хлебосдачи.

— Что-то не выходит, — бормочет он и обращается к корреспонденту: — Тебе тоже следовало бы прочесть план.

Тот, продолжая сучить волокна уверенных строчек, кивает:

— Да, да, обязательно.

В беленой вышине жужжат мухи. Они ползают по столу, заглядывают в зеленую бездну чернильницы, трогают на голове корреспондента одинокие волоски, щекочут голую спину Курта... За спиной—закрытая дверь и коридор с масляным скрипучим полом.

«Еще кого-то несет нелегкая», — успевает подумать Курт и в комнату вкатывается запыхавшийся Кошель. Черный помятый картуз с'ехал на затылок. Мигая ошалевшими глазами, он задыхается:

— Ну, начальник, скорее. Там в конторе из Зернотреста приехавший по нашему делу Викторов! Я сам с ним говорил, он из транспортного отдела... Все устроит!..

По лицу Кошеля расплеснута дымящаяся испарина, он красен, как из бани, дышит отрывисто, отчаянным движением срывает картуз и трет им выпуклый мокрый лоб. Корреспондент с изумлением разглядывает его.

— Посмотрим,—недоверчиво говорит Курт, потягиваясь и расправляя лоснящиеся плечи.

Уставившись на его подобранный живот и волосатую грудь, Кошель шумно опускается на стул и, неожиданно переходя на «ты», любопытствует:

— Физкультурой занимаешься, хозяин?

— А что?

— Здоров очень.

— Вам тоже жаловаться не приходится, — вставляет корреспондент.

— Какая в нем сила? Сплошное сало!— ткнув Кошеля в оттопыренный и тугой как футбольный мяч живот, хохочет Курт. — Боров.

— Э, я брат, во! — и Кошель, обнажая короткий жилистый локоть, сжимает кулак.

— Ну давай, давай, нечего! — направляясь к двери и на ходу затягивая кавказский с серебряным набором ремень, говорит Курт.

Корреспондент делает несколько шагов за ним, затем останавливается в нерешительности:

— Я тут посижу над планом?.. А?..

Викторов отыскался в Совхозуправлении. Он стоит у окна сквозного коридора и с виноватым видом об'ясняет Курту, что должен проверить готовность железной дороги к немедленной, в случае надобности, отгрузке комбайнов.

— Я вот никак не могу кого-нибудь из начальства найти, — говорит он, уныло перебирая накладные в своем дерматиновом портфеле.

— Да ты и не найдешь никого, — успокаивает Курт.

Но Кошель не хочет сдаваться и продолжает шуметь о своих оливерах. Курт хлопает дверями пустых кабинетов и вдруг натыкается на выходящего из бухгалтерии замдиректора по производственной части Челпана, молодого низкорослого грека с бледным лицом, наполовину прикрытым марлевой повязкой.

Челпан останавливается, испуганно вращая открытым глазом.

— Ого! Вот мы и посовещаемся! — раскинув руки поперек всего коридора, басит Курт. — Нам всего полчаса — есть?

Челпан конфузливо ежится:

— Пожалуйста, я хоть и дольше. Вот и Фолифоров сейчас подойдет. Я только пообедать схожу, на двадцать минут.

— Ну нет, сынок, обедать потом.

Челпан краснеет, еще тревожней таращит глаз и покоряется:

— Только давайте, товарищ, поскорее, я очень устал, не ел ничего.

— Я тоже не ел, — ухмыляется Курт.

Наполненный людьми кабинет настолько мал, что стены кажутся вытянутыми, привставшими на цыпочки. Два стола сдвинуты по диагонали, в шахматном порядке. В открытую форточку окна прет близкое пыхтение дизеля.

Курт смотрит на форточку, потом на черную, разрезанную пробором голову Челпана и, потушив о каблук докуренную папиросу, поднимается.

— Товарищи, — говорит он, — мне поручено Зернотрестом...

Кошель сидит согнувшись, как на стульчаке, и, отдувая круглые щеки, с уважением косится на говорящего. Викторов одобряюще мигает склерозными веками. У окна прилепился инженер-механизатор Шапиро — краснощекий с обиженными детскими губами, он смотрит исподлобья, хмурится, изредка поднимая на Курта неуклюжий добрый взгляд. У просунувшегося в двери Фолифорова такой вид, будто через минуту ему нужно скакать на пожар. Челпан изумленно откинулся к спинке кресла и на его бледном, желтом лице, у края чистой повязки, как маслина в молоке, испуганно плавает одинокий глаз.

Москва, Зернотрест
Уборочная группа.

...После трехдневных тщетных попыток, сегодня удалось наконец собрать нечто вроде совещания, посвященного переброске машин на север. Я думал, что на нем удастся обсудить основные вопросы подготовки, но ничего не вышло. С первых же слов выяснилось, что совещание делится на два непримиримых лагеря: с одной стороны, получатели казакстанцы, с другой — симферопольцы. Первые стремятся как можно скорее получить предназначенные для них комбайны, а вторые и слышать не хотят о том, чтобы грузить их до полного окончания уборки здесь.

Мне кажется, что даже независимо от переброски машин, в подобном отношении симферопольцев к своим обязанностям перед государством кроется большая опасность. Сегодня они не желают отгружать в срок комбайны, завтра не подчинятся еще какому-нибудь приказу, а послезавтра не захотят сдавать хлеб... Это не только законченная оппортунистическая практика — это прямой путь к буржуазному перерождению и бороться с такими настроениями нужно как можно решительней.

Приемщики голощекинского з. с. еще не приехали. Ответа от вас на мои телеграммы попрежнему нет, и это очень мешает работать.

А. Курт

15 июля.

Только сегодня окончательно установлено куда и как пойдут симферопольские комбайны. Оливеры будут переброшены в Казакстан (двадцать одна машина в учебно-опытный зерносовхоз им. Голощекина и десять в Каиндокумакский), а коммунары—в Башкирию, в Нагайбакский. Так как Голощекинский и Каиндокумакский расположены сравнительно недалеко друг от друга, их комбайны пойдут одним эшелоном. Вместе с ними поеду и я. Отправят их в первую очередь. Коммунары же во вторую, отдельно от нас.

Все это выяснилось на сегодняшнем совещании. Оно отняло у меня все утро.

Остальная же часть дня ушла на поездку с Челпаном по второму участку.

Я думал во время поездки взять в оборот Челпана, чтобы выведать его точку зрения на кой-какие вопросы. Но он оказался наредкость неразговорчивым парнем. Даже увязавшийся с нами московский корреспондент, большой ловкач на расспросы, с трудом выжимал из него сведения для будущих статеек.

— Ну, а почему вы все-таки убираете сначала крымку, а потом кооператорку? — спрашивал соцземледелец. — Мне говорили, что кооператорка легче осыпается. Значит нужно бы делать как раз наоборот?

Челпан молча поправлял повязку на лице и его сухой, рыбий рот крепко смыкался. Он отворачивался, как-то в сторону говорил.

— Поздней вызревает.

Соцземледелец недоверчиво смотрел на черный челпанов затылок, на полосатую сорочку, вроде косоворотки выпущенную поверх брюк (с отложным воротом, но без галстуха), и сомневался:

— А мне передавали что она уже сыплется...

— Это неверно.

Я тоже смотрел на Челпана — и тоже недоверчиво.

Он производит на меня странное двойственное впечатление. Молод он до того, что непонятно — как могли его назначить заместителем директора, но, несмотря на молодость, составленный им уборочный план точен, хорошо продуман и даже, я бы сказал, талантлив. В обращении он тих, застенчив, почти боязлив, но в том, с каким упорством он защищает свой взгляд на вещи, я убедился сегодня утром, споря с ним о комбайнах... И так во всем: с виду одно, а на деле другое.

Глядя на него, я невольно вспоминал Фолифорова. Тот не может пройти равнодушно даже мимо самой пустяковой мелочи — во все сует свой дотошный нос, чуть что начинает орать и материться, лезет на комбайн и сам хватается за штурвальное колесо... Челпан же, наоборот, остается безучастным с виду, и что бы не происходило перед ним, его желтое, как лимон, наискось пересеченное марлей лицо все так же спокойно и неподвижно. Если нужно отдать какое-нибудь распоряжение, он отводит в сторону начальника колонны или инструктора и шепчется с ним, виновато и кротко глядя своим единственным глазом, точно не приказывает, а просит — сделай пожалуйста, ну что тебе стоит... Но странное дело: порядка здесь, на втором участке, гораздо больше чем на первом, за которым закреплен Фолифоров. Вот тут и попробуй, разберись!

Впрочем, секрет здешних успехов раскрылся довольно скоро.

Уже вечером, возвращаясь домой, мы застали на пятой колонне собрание комсомольской ячейки. Руководила им уполномоченная райкома, плечистая толстуха в мужской куртке, по-бабьи повязанная грязной косынкой. Когда мы вышли, собрание уже кончалось, ребята расходились — и она вкратце рассказала о результатах. Чтобы ликвидировать отставание от плана, решено провести штурмовую пятидневку. Т. к. основная причина прорыва — работа без штурвальных, оба досменщика будут выходить в поле одновременно (один за комбайнера, другой за штурвального) и работать без перерыва, сколько позволит роса, — другими словами не меньше в о с е м н а д ц а т и ч а с о в п о д р я д.

Кроме того ребята перевели все нормы выработки с площади на вес зерна. Отныне каждый комбайнер будет знать, что он должен выработать двадцать бункеров в сутки, и эта простая мера позволит тут же на месте определить, какой агрегат выполняет норму и какой не выполняет.

— Замечательно! — в полном восторге потрясал записной книжкой корреспондент. — С гектара на центнер... Ведь именно этого мы и добиваемся!

Секретарь ячейки, потевший над протоколом, с довольной улыбкой подтвердил:

— Конечно здорово — директива райкома. Вчера, например, я работал, и никакого впечатления. Может десять га выкосил, а может пять — разве учтешь? А тут мы вдвоем норму перекроем, как пить дать! Очень просто...

Соцземледелец не переставал восхищаться и после того, как мы покатили дальше.

— Вы слецы, — восклицал он, — на автомобилях раскатываете и ничего у вас все-таки не получается! А тут приходит рядовой партиец с правильной установкой и тащит вас за уши... Эта тетенька, например, откуда будет?

Челпан ответил:

— Это нашего Горшкова жена.

Оторвавшись от обветренного горизонта, солнце медленно всплывает над степью. Пшеница полыхает, как раскаленные уголья. Высыхает роса и ломкое жнивье хрустит под ногами первой смены.

Два малосильных трактора впряжены гусем в тяжелый оливер, голубоватый с красной оторочкой; он оживает и медленно врезается в степь. Уверенно гудит мотор. Грохоча стальными суставами, извиваются цепи.

Откинутый хедер жадно грызет набегающую пшеницу. Густо толпится она у самых ножей, попадает под мотовило и срезанная, всплеснув сухими колосьями, валится на движущееся полотно транспортера. Кипит золотая пена соломы и колоса, взбираясь к окну молотилки; там, прижатая вторым транспортером, она идет в барабан, и ее протаскивает между свирепыми зубьями деки. Зерно сыплется на очистку — равномерным слоем поступает на качающиеся решета. Снизу дует вентилятор. Стучит соломотряс. Элеваторные скребки поднимают чистое зерно в гордую башню бункера.

Окутанный облаком крутящейся половы комбайн уходит все дальше, чутко поводя красным с навешенными дисками хвостом хедера и оставляя за собой волнистый след хлещущей из-под кормы соломы.

На повороте услужливый низкорослый форд, дрожа от нетерпения, причаливает к отяжелевшему оливеру. Приняв хлынувший сверху груз, он отдувает досчатые бока, в развалку уходит по стерне и, набирая скорость, несет зерно по профилированной дороге к дымчатому маяку элеватора.

Маяк все растет и вот уже прет на машину своим оцинкованным корпусом. Грузовик осторожно вползает в бревенчатую приемочную, откинут борт, широко шелестит дымящийся пылью поток. Черные от загара парни ловко взбираются в кузов, скребут лопаты и через две минуты пшеница спущена в шлюз. Глубоким вздохом опадает она в черную бездну. Жадно сосет туннель все прибывающее зерно, волочит его лентой подземного конвейера от загрузочных закромов к элеватору. Ковшевые нории черпают зерно и горбясь ползут наверх, — там распределитель, повинуясь штурвальному колесу, влечет полновесную ношу к люкам силосов.

Хлеб течет неиссякающей лавой.

И уже, грохоча, перекатываются по запасным путям товарные составы. В черноморских портах крепят якоря зафрахтованные суда. Не пройдет и двух-трех дней, как двинутся они в открытое море, убаюкивая загруженную в трюм пшеницу...

И, опрокидывая конкурентов, одолевая пороги таможень, невидимо учтенное на биржах и переведенное в валюту зерно уже превращается в металл, — он кипит в утробах вагранок и мартенов, стынет стиснутый ребрами форм, его обтачивают, сверлят и шлифуют, — и готовые, выверенные механизмы плывут через все моря, чтобы, вгрызаясь в недра Урала, Криворожья, Караганды, скрещиваясь с разумной волей миллионов, воздвигать среди пшеничных степей невиданную индустрию социализма.

Три оливера, выкинув сигнальные флажки, ждут с полными бункерами.

— Вот сволочи,—щуря белесые широко расставленные глаза, негодует начальник колонны Чупиков, — второй день полную норму делаем, а они машины увели... Опять остановка!

Все грузовики с Чупиковской колонны взяты на другой участок, там согрелся хлеб. Взяли их на ночь и не вернули до сих пор, а с транспортом и без того плохо: как только стали подходить к норме, сразу выяснилось, что машин не хватает.

У ремонтного вагончика с утра стоит облезлый холт. Комбайнерка Оксана светловолосая и смуглая, в лоснящемся комбинезоне, тоскуя повертывает желтое мотовило.

— Чупиков пидойди до мене! — нерешительно окликает она.

— Чего тебе?

— Треба йихать, а у мене планки покололись. Доски е, а нема кому дырки проделать, я сама не можу...

— Погоди ты, — сурово отмахивается Чупиков; он уже придумал, чем заменить грузовики и согнув бычью матросскую шею кричит: — Где у вас брезенты?

Механик догадывается с полуслова.

— Наберем! — восторженно подхватывает он. — Своих штук шесть найдется, да еще на участок послать можно.

Через десять минут оживившиеся комбайнеры и трактористы стелют прямо по жнивью серые квадраты брезентов, и комбайны сливают сюда накопленное зерно.

Чупиков со сверлом в руках подходит к холту.

— Ну, девонька, давай теперь дырочки сверлить.

И он терпеливо размеряет доску, намечая карандашом места для клепок.

Смена возвращается в табор к вечеру.

— Лубинец, сколько ункеров сдал? — спрашивает картавый косоротый комбайнер из второй бригады.

— А ты сколько?

— Я? Было б все десять, да цепь опнула, сорок минут стоял. Сдал все-таки восемь.

— А я одиннадцать с половиной... Тоже чуть на простой не влип! Если б не брезенты, и нормы не сдал бы.

От кучи соломы пахнет вечерней сыростью. Смолкли последние перепела. Над лагерем зацветают крупные южные звезды.

— Ну как, ребята, заморились? — встречает Чупиков.

— Есть маненько, — отвечает бригадир.

— А купаться в море будем?

Ребята сразу оживляются:

— Чего делать-то надо?

— Бунты нужно разгрузить... часов до двух поработаем, а завтра с утра машину — и к морю!.. Есть?

Чупиков первый забирает лопату и лезет в грузовик.

В этот же вечер, сидя у себя на центральной усадьбе, Курт слышит вежливый стук в дверь. Отчетливо ступая желтыми начищенными сапогами, входит молодцеватый парень в красноармейской гимнастерке и синих галифе.

— Товарищ Курт? — спрашивает он.

— Я.

— Это вы здесь заведуете отправкой комбайнов?

— Да, именно этим я занят последнее время. Так в чем же дело?

— Я командирован сюда из учебно-опытного Голощекинского совхоза для сопровождения оливеров, которые занаряжены нам в Казакстан.

Курт радостно протягивает руку:

— С этого бы, сынок, и начинал! А я было подумал, что ты мешать приехал... Ну, как хлеб поспевает? Да, постой, ты что один?

— Я инструктор-механик, Нетребов моя фамилия, со мною два слесаря. Мне здешний комендант сказал, что вы по комбайнам...

— Так... А когда у вас убирать начнут?

— Озимые по плану должны с двадцать пятого.... У нас рожь озимая, шесть тысяч га, да яровых тридцать тысяч.

Нетребов садится на диван, кладет рядом смятую фуражку с сохранившейся красной звездой и пытливо смотрит на Курта крупными серыми глазами.

— Давно выехал?—спрашивает Курт.— Ты что, поездом?

Ветребов приглаживает соломенные, откинутые назад волосы и глаза его вспыхивают озорным мальчишеским блеском.

— Тут целая буза получилась! Я ведь сюда не сразу попал, пришлось заезжать в город, — так меня оттуда совсем не хотели пускать...

— То есть, как не пускать?

— Да этот самый Клейман... Сначала он вроде обрадовался — я говорит, сейчас вас переброшу... Ну, вызывает совхоз, требует для нас машину. Кто тут из здешней дирекции с ним говорил, я не понял, только смотрю — сразу закис наш уполномоченный. Ладно, ладно, говорит, и предлагает нам поселиться в городе, общежитие, говорит, дадим. Зачем, спрашиваю, а как же к комбайнам?

Это, говорит, дело неспешное, совсем вам туда не нужно ехать, — дескать, все равно эшелон Симферополя не минует. А как я гораздо приступил к нему, сознался, что дирекция не велит нас до совхозу пускать. Туда, говорит, и без вас народу понаехало и все за комбайнами только работать мешают...

17 июля.

С утра обычный обход: партком, кабинет Горшкова, кабинет Фолифорова, Челпана и т. д. Результаты тоже обычные — либо запертые на замок двери, либо сообщение, что товарищ директор уехал на участок.

У Челпана, за столом инженера-механизатора сидит смазливый юноша в засаленном пиджаке. Спрашиваю:

— А Шапиро?

Прежде чем ответить, он не торопясь принимается разглядывать меня, будто решает — стоит ли вообще со мною разговаривать. Потом — так уж и быть! — говорит:

— Заболел Шапиро.

— Как так? А план?

— Какой?

Здравствуйте!.. Спрашиваю:

— Кто же будет его замещать?

— Замещаю я.

— А кто вы, например, будете?

— Это неважно.

— А все-таки?

Оказалось, персона хоть и величественная, да не больно велика: помзав мастерскими, только что окончивший курс инженер. Фамилия — Орлов.

Начинаю рассказывать, какой план, говорю, что составить его должны были еще вчера, об'ясняю, почему необходимо закончить эту работу немедленно... Он делает вид будто все, о чем я рассказываю, его не касается — зевает и, наконец, начинает даже просматривать какие-то бумажонки. Он далеко пойдет!

Меня прошибает озноб:

— Когда жа план будет составлен?

— А не знаю... Вот Шапиро выздоровеет, может быть он займется.

— А вы?

— У меня другой работы хватает. Это вы, думаете, что самое важное дело комбайны отправлять, а мы, знаете ли, хлеб убираем.

Когда часам к одиннадцати вернулся с первого участка Фолифоров, я передал ему весь этот разговор, а кстати и вчерашний рассказ Нетребова.

Фолифоров так покраснел и заволновался, что я было подумал, — уж не ты ли, голубчик, предлагал голощекинцам «пожить в Симферополе?»

— Странно, странно, — говорил он, пожимая плечами, — да ведь это же чорт его знает... Может врет твой Нетребов? Челпан такого никогда не скажет, я с Клейманом уже месяц не говорил... Горшков разве? Непохоже.. Очень странно!

Я ответил, что ничего странного тут не вижу, и что это ничем не отличается от остальной подготовки.

Фолифоров сокрушенно согласился:

— Верно, на счет подготовки слабо... Да ведь мы, ей-богу же, и без подготовки погрузим! То есть план составить, конечно, нужно, я не возражаю... Но разве план мешает? Дожди все дело спортили. Нам бы хоть мало-мальски самим управиться — все в один день сделаем!

— А комбайнеры? Что ты в один день сделаешь, если комбайнеров не будет? Родишь ты их нам, что ли?

— Комбайнеры это другое.

— А запчасти? А грузчики?

— Это тоже другое... Разве я спорю? Ясно, о конкретном нужно договариваться заранее, для того вас сюда и прислали.

В общем Фолифоров держался дружелюбно и даже, я бы сказал, предупредительно. Дошло до того, что он начал изливаться в чувствах:

— Думаешь я не понимаю, что комбайны нужно грузить? Если б от меня зависело, я бы и слова не сказал — берите! Что нам, коммунаров не хватит? Ведь это похабство выходит, чужую уборку срывать...

Еще вчера он гремел на всю контору, доказывая совершенно обратное. Что за перемена?.. Впрочем, возможно, тут большое значение имеет перелом, наконец достигнутый в уборке. На первом участке, к которому прикреплен Фоли-

форов, дело пошло на лад, да и весь совхоз начинает выравниваться.

— Пробовал крымские первый номер? спрашивает Курт, протягивая корреспонденту вскрытую коробку папирос.

— Что, в здешнем кооперативе такие? — и затянувшись полным вздохом, корреспондент одобряет: — Превосходный табак и недорого... Нужно будет десяточек коробок в Москву захватить.

Они идут под полуденным солнцем мимо общежития и рабочкома.

Перед террасой пестрое сборище — сплошь женщины, пожилые и молодые, в красных косынках, или просто, побабьи, повязанные ситцевыми платочками. Из общего плеска разговоров доносятся отдельные слова:

— Нарочно раньше пообедала...

— Конечно в ботинках! И ты босиком-то смучаешься...

— Ну что же они? Скоро ли?..

Сверкая зелеными бортами, из-за конторы выкатывает полуторатонный форд, внушительно прогудев, он описывает полукруг и останавливается у террасы. Толпа с визгом и смехом бросается вперед, и, подсаживая друг друга, женщины лезут в приподнятый кузов.

За отхлынувшими ударницами обозначается фигура Ставренюка. Бесконечные складки его могучего лица собираются в улыбку.

— Поехали, — сообщает он, потирая руки. — Вот у нас какие домохозяйки!..

Курт кивает ему и обращается к корреспонденту:

— Ну что же ты говорил трактат медицинский написал, так давай уж идем ко мне, чтобы отделаться.

История одной болезни

Симферопольский зерносовхоз болен. Организм его крепок. Надежный костяк из ста десяти коммунаров, оливеров и холтов выдержал бы и большую тяжесть, чем 35 тысяч га уборки. Заминки с тракторами, из-за которых стояли комбайны в самом начале работ, изжиты без всяких осложнений, как легкая и случайная простуда.

Такому богатырю только бы и работать!

Кому же, как не ему, уложиться в точные сроки уборки? А уложиться нужно не только потому, что хлеб может осыпаться, — всем уборочным машинам Симферопольского предстоит отработать еще одну «осень» в Казакстане и Башкирии. Насколько дорога здесь каждая минута, можно судить по решению Зернотреста закончить весь ремонт комбайнов в пути, без единой задержки перед погрузкой.

Что же мы видим в действительности?

Если проследить за недомоганиями совхоза, наряду с «об'ективными» причинами (дожди и нехватка тракторов в начале уборки), обнаружится многое другое, способное отравить хозяйственный организм любого богатыря.

В числе посевов совхоза, например, имеется около 6000 га ячменя. Ячмень в нынешнем году выдался низкорослый, сорный, с высоким травостоем. К тому же после дождей он полег. Сразу было видно, что комбайны тут не годятся, — в крайнем случае можно было поставить для пробы одну-две машины. Но симферопольцы загнали сюда сразу несколько бригад.

Началось форменное побоище.

Скошенная вместе с хлебом трава набивалась под полотнище хедера, а мясистые стебли наматывались на барабан. Недопустимо низко поставленный хедер черпал комья земли, очесы стерни и сорняков, оставшиеся от прошлогодней бороньбы, и все это шло в молотилку, забивая транспортеры, шнеки, грохоты. Комбайны, не выдерживая подобной нагрузки, один за другим выходили из строя.

Неблагополучно с заправкой машин.

Заправщики на колоннах отсутствуют вовсе, трактористы и комбайнеры делают все сами, теряя днем по два, по три часа. Комбайны выходят из борозды и тащатся на базу, вместо того, чтобы заправочные тележки сами под'езжали к ним,—да и выходят не по одному, чтобы заправиться постепенно, а все сразу, создавая бестолковую суету и очереди к каждому шприцу, шлангу, лейке.

Неблагополучно с разгрузкой бункеров.

Несмотря на благоприятные транспортные условия, комбайны ежедневно простаивают по нескольку часов из-за отсутствия в поле автомашин. Чтобы хоть немного облегчить положение, симферопольцы в нескольких местах размещают вокруг загона тракторные тележки. Но и здесь получается нескладно. Комбайны за несколько сот метров подходят к тележке и только тут обнаруживается, что кузов ее уже наполнен зерном.

Чего бы, казалось, стоило отметить такой «бендюг» флажком? Но никто этого не делает, и комбайн идет к следующему, теряет еще полчаса.

Наконец плохо организована и самая косовица.

В чем же причины всех этих организационных неурядиц?

Прежде всего, в неправильной расстановке сил, при которой нет точного распределения обязанностей между старшими рабочими, бригадирами, инструкторами.

Недавно, например, выяснилось, что один из комбайнеров первого участка, студент-практикант, с самого начала уборки не скосил даже гектара пшеницы. Он выезжал в поле словно нарочно для того, чтобы через несколько минут вернуться к табору с очередной поломкой. А все начальство колонны либо смотрело на это вопиющее безобразие сквозь пальцы, либо совершенно не знало о нем.

Был еще и такой случай.

Тов. Горшков, директор Симферопольского, об'езжая участки, наткнулся на целую группу комбайнов, по обыкновению сгрудившихся вокруг заправочных тележек. Он подозвал бригадира и предложил ему ускорить заправку, а в будущем недопускать простоев, заправляя машины в борозде. Казалось бы, бригадир и сам должен был организовать заправку именно таким образом. Но он воспринял слова директора как оскорбление и явную нелепость. Он отошел в сторону и заорал:

— Ребята, гони машины без заправки, директор велел!

Парня, конечно, сняли с работы.

При данных обстоятельствах это было вполне справедливо. Но вся беда в том, что факты безответственности, разгильдяйства, демагогии гораздо более многочисленны, и одними взысканиями да приказами их не изживешь. Нужно действовать иными средствами — систематической массовой воспитательной и культурной работой. Только таким путем можно добиться подлинного ударничества, сплоченности, широкого и активного соревнования. А культурно-массовая работа как раз и отсутствует на уборке, наперекор самонадеянным заявлениям уборочного плана, что она «должна быть и будет приближена к колонне».

Вредно отражаются на организации труда также и плохие бытовые условия, особенно работа кооперации.

Наконец, очень существенное значение имела неправильная организация сдельщины.

До самых последних дней все расчеты на участках производились не с центнера обмолоченного зерна, а с г е к т а р а скошенной площади. Это затрудняло индивидуальный учет и лишало количественные показатели должной простоты, наглядности. Выгоды прогрессивной сдельщины не были достаточно раз'яснены. В учетных листках отсутствовал анализ простоев — почему-то получалось, что все они происходят «по вине хозяйства» и стало быть подлежат компенсации по тарифной сетке. Обслуживающий персонал и бригадиры, инструктора, полевые старосты вместо перевода на сдельщину получали твердые ставки и стало быть не чувствовали материальной заинтересованности в работе своих аггрегатов.

Таким образом, был выхолощен основной смысл сдельщины: она не стимулировала высокой производительности труда.

Итак, неумение организовать уборку— вот что отравляло крепкий организм Симферопольского. Вот почему дневные уборочные нормы выполнялись не больше, чем на тридцать-сорок процентов.

Сейчас симферопольцы уже знают свою болезнь и хотя с опозданием, но начинают лечиться.

Первым врачом — как это бывает чаще всего — оказались передовые удар-

ники. Встречный поток инициативы рухлынул снизу, опережая инициативу руководителей.

Колонна бывшего 8-го участка под руководством выдвиженца Чупикова раньше всех добилась сплоченности своего состава, массового ударничества, правильного использования машин. Еще 13 и 14 июля ее оливеры приблизились к норме, а сейчас одна из бригад, комсомольская, перевыполняет суточные задания почти целиком. На другой колонне (№ 5) рабочие по предложению уполномоченного райкома партии постановили провести штурмовую пятидневку. Они же перевели «для себя» норму с гектаров на центнеры, сведя количественные показатели к бункерам и оповестив каждого рабочего о том, сколько бункеров должен ежедневно отгружать его комбайн. Результаты не замедлили сказаться, и уже на следующий день все двадцать коммунаров колонны работали в борозде, резко повысив выработку и сократив простои.

Руководители совхоза со своей стороны добиваются — и частью уже добились — исправления ошибок в заправке, разгрузке и т. п. Общественные организации налегли на массовую работу.

Симферопольский лечится.

Но болезнь запущена, и перелом только начинается. Общая выработка участков не превышает сейчас 1000—1100 га в сутки, против двух тысяч, намеченных планом. А между тем колонны должны не только достичь этого, но и перевыполнением наверстать упущенное.

Ведь время не ждет! Север должен получить комбайны юга во что бы то ни стало, иначе сорвется и его уборка!

Симферопольский должен выздороветь как можно скорей.

А совхозы, еще не приступившие к уборке, должны запомнить историю его болезни, чтобы во-время заняться профилактикой. Ибо лучшее средство лечения — не хворать вовсе.

На диване под занавешенным простынею окном развалился корреспондент. Он бросает на тумбочку недочитанного «Тартарена» и, обращаясь к Курту, перевернувшему последнюю страницу рукописи, спрашивает:

— Ну что?

— Как тебе сказать... В общем диагноз поставлен правильно. Есть у меня несколько мелких замечаний, да вот всю эту провизорскую терминологию я бы снял, ничего она не поясняет... Здесь не больницей, а контрольной комиссией пахнет.

Курт свертывает в трубку попавший под руку журнал, медленно прицеливается и оглушительным ударом бьет сразу десяток мух.

На столе возле одной из жертв размазывается свежая зеленая капля.

— Не может быть! — бормочет Курт.

Забрав журнал, он сосредоточенно подходит к пришпиленной над диваном железнодорожной карте. Опять резкий хлопок и на меловой стене, под прилипшей мухой, проступает пятнышко зеленых чернил.

— Они, суки, чернила пьют, оказывается, — дивится Курт, — тоже вроде вашего брата писателя.

18 июля.

Вчерашний день кончился тем, что мне пришлось самому приняться за составление плана. Просидел над этим весь вечер и сегодня план уже утвержден—без всяких поправок и изменений.

Это даже подозрительно. Не потому ли так легко согласились с ним симферопольцы, что никто из них не верит в близость погрузки?..

Под конец начали решать — кого назначить ответственным погрузчиком.

Орлов, снисходительно вытягивая шею (она у него длинная, как у удавленника), заявил:

— Боюсь, придется мне самому этим заняться.

Но Челпан, как всегда тихий и молчаливый, поглядев на него, сказал негромко:

— Назначим Свиридова.

Орлов покраснел:

— Почему?

— Он не так загружен во-первых, потом у него опыт, он в прошлом году трактора в Сибирь грузил.

— Странно...

— Кроме того тебе все равно придется наблюдать вместо Шапиро.

Орлов покраснел еще пуще, пробормотал что-то неразборчивое — и мне стало его даже жалко.

Этим я, конечно, не хочу сказать, что погрузку следовало поручить ему. Страх подумать, какой бы получился при этом хай!

Степь попрежнему ровная, солнечная, только ветер, не унимаясь, треплет колосья спелой пшеницы.

«Может, кооператорка уже начала сыпаться, — тоскливо думает Фолифоров. — Это разве перелом?... Ячмень прорастает, а как его уберешь? Нет ни людей, ни лобогреек — придется просить помощи у МТС. Ведь убирать еще не меньше десяти дней! А срок комбайнам истекает через два дня...»

Он круто сворачивает на центральную, мрачно ткнувшись в свой кабинет, застает там Курта и Кошеля, нагло развалившегося в кресле.

— Что ж ты опять пропадаешь? — набрасывается Курт. — Если дал слово, что утром будешь, надо исполнять.

— Брось ты!.. Голова кругом идет, тут знаешь не до обещаний.

— Какие уж там обещания, — язвит Кошель, — прообещалось наше начальство, а мы как дураки слушали... В бараний рог вас нужно гнуть! Теперь не уйдете!.. Лапти вон и ноги кверху!

— Катись ты! — рычит Фолифоров.

— Катался, хозяин, только сейчас оттуда! — и приняв серьезный вид, Кошель задирает голову: — Посмотрим, как запоешь двадцать второго числа. Збарский на этот день состав заказал... Вот и выкуси!

20 июля.

Еще недавно мы радовались, что Збарский заказал состав для наших машин на послезавтра.

Все погибло! только что получена телеграмма — он откладывает погрузку «впредь до особого распоряжения».

Квасов, секретарь дирекции, говорит, что это ответ на молнию Горшкова. Ее передавали в Харьков тайком, в то самое время, пока я спорил с Фолифоровым и Свириловым. Он же говорит, что Горшков просил отсрочку всего лишь на три дня. Но разве можно им верить? Я теперь не верю никому!

Нагруженные зерном форды Союзтранса вытянулись в очередь у семенного сарая, куда, минуя бунты, приказано сдавать хлеб. Рабочих на разгрузке всего четверо и машины стоят уже третий час. Кто-то догадался по телефону сообщить об этом директору.

— Еду, — буркнул Горшков, и через двадцать минут, пружиня тугими рессорами, к сараю подкатил автомобиль.

— Что? Очередь?.. Это, товарищи, не дело, — округлив глаза и озираясь, произносит Горшков.

Он входит в сарай, среди которого стоит разгружаемая полуторатонка, и обращается к работающим парням:

— Что ж это вы?

— Невозможно поспеть, товарищ Горшков, — отвечает вконец заморенный рабочий: он с лопатой в руках стоит под самой крышей, черные пряди волос липнут к его мокрому лбу.

— Давай нам подмогу! — поддерживают остальные.

— Кого же я вам дам? Все на уборке. Работать надо энергичнее. — неуверенно кряхтит Горшков.

— Ты бы хоть шоферов заставил подсобить!

— У них свое дело... Я союзтрансовским не могу приказывать. — пожимает плечами директор.

Он не спеша стаскивает пиджак и, взяв лопату, лезет на машину.

— Вот!.. Вот как надо работать! — приговаривает он и, запыхавшись, все ускоряя темпы, кидает летящее брызгами зерно.

С первого участка тоже звонят на центральную.

Перед стругаными стенами зернохранилища вздымается груда пустых мешков. Ветер не прекращается, он ворошит мешки и рвется потушить осевшее на край земли солнце. Открытые ворота выдыхают жаркий запах солода. Просторное помещение завалено по самые плечи слежавшимся зерном. Воспаление началось в глубине, и если сейчас же не принять мер, то через день вся масса

пшеницы будет охвачена горячей, пряной испариной.

Фелифоров бьется у телефона, добывая на ночь грузовики с соседних колонн, а степенный Ставренюк проворно, как мальчик, бежит к столовой. Взмахнув своей капитанской фуражкой, он, как командир, призывающий в бой, кричит:

— Эй, товарищи, хлеб спасать! Из зернохранилища в мешки... Провернем в одну ночь! Бы-стро!..

На центральной усадьбе чернеют тучи. Гнутся акации, шарят в темной вышине худыми ветвями, считают первые звезды. Окна длинного общежития ярко освещены. В затоптанный коридор доносятся бормотания и невнятные выкрики. Дверь, заномерованная цифрой 20, плотно притворена: это и есть обиталище приехавших за комбайнами получателей. Покрытые грубошерстными одеялами толпятся койки, к одной из них придвинут засаленный и весь изрезанный ножом стол. Жарко.

Кошель красный, как чирий, сидит на кровати и ковыряет банку консервов. Нетребов бултыхает погнутый чайник, цедит в кружку мутное, теплое пиво и обращается к сивоусому дяде, — тот бродит по комнате, мягко ступая шерстяными чулками.

— Садись, друг!

Сивоусый, доверенный Нагайбакского совхоза, только вчера прибыл из Башкирии. Для него предназначены идущие во вторую очередь коммунары. Он жадно ловит каждое слово Кошеля, толстый, с богатырской грудью, расспрашивает умильно, по-бабьи:

— Так мне тоже нужно по этому делу в Симферополь ехать?

— А как ты думал, они сами тебе все приготовят и пожалуйте бриться? — презрительно отвечает Кошель.

Нагайбаковец понимающе кивает намасленной головой:

— Да, да, придется и мне самому... Ну все-таки вы опытные, научите, как мне спервa действовать.

— А вот так и действуй! Видишь, как мы добиваемся?

Нетребов отходит в сторону и с достоинством принимается ковырять впалый диск громкоговорителя.

— Что, не работает? — спрашивает нагайбаковец, солидно утирая усы.

— Слесаря наши его тут пытали, — поясняет Нетребов, — должно быть совсем испортили.

Оставив радио, он тащит из-за кровати длинноствольное ружье: их там шесть штук.

— Зарядим патроны, а завтра пристреливать пойдем. Нужно определить, каков бой, — самодовольно улыбается Кошель. — Я и пороху три кило взял... Не хотели было давать, я, конечно, об'яснил, что являюсь начальником эшелона и должен в полной мере отвечать за сохранность доверенных мне комбайнов. Мне не в первой такое дело... Голову надо иметь!

— Да-а-а! — восторженно тянет нагайбаковец, установившись на торчащие за кроватью стволы. — И ремни на них справные...

Нетребов щелкает затвором:

— Мне-то сколько дашь из шести?

— Что я, для тебя добивался?

— Все равно и нашим ребятам придется караул нести, — настаивает Нетребов.

— Ну, там видно будет.

Кошель поднимается и приплясывающей походкой идет через всю комнату, он наклоняется к стоящему у стены сундучку, отпирает замок и торжественно извлекает новую спецовку:

— Вот тоже в Симферополе добился! Три штуки взял, себе и слесарям. Хороша одежоночка?..

— У нас вот насчет этого плохо! — окончательно подавленный завистливо вздыхает нагайбаковец.

— Разве у вас в Башкирии такого барахла нет? — с независимым видом позевывает Нетребов. — Ты национальности-то какой, башкир, что ли?

— Не-ет, мы переселенцы, в двадцатом годе уехали. Сам-то я из-под Рязани...

— Оно и видать, что рязанский! — язвит Кошель, раскладывая на полу зеленые куски туалетного мыла. — Вот еще, смотри, чего запас. Шестьдесят кусков вырвал и больше нипочем вам не взять!

Жужжат мухи. Потный нагайбаковец отчаянно сопит, мигая выпученными глазами.

— Так это на всех значит? — спрашивает Нетребов.

— Дам, конечно, по куску на человека своего эшелона...

— Так всех-то нас в эшелоне тридцать пять человек, — недоумевает Нетребов. — А остальные куда?..

— За остальными, хозяин, сам в Симферополь поезжай! — огрызается Кошель.

22 июля.

После телеграммы Збарского окончательно заглохла не только подготовка, но и самые разговоры о ней. Челпан молчит и загадочно улыбается. Горшков раз'езжает по участкам или, ссылаясь на дела, отсиживается в своем кабинете за тридевятью замками, как кощеева смерть... Даже Свиридов, единственный из симферопольцев хоть немного готовившийся к погрузке, бросил работу и скрылся с усадьбы неизвестно куда.

Неужели они не видят об'ективного смысла всей этой волынки? Впору рисовать для совхозной многотиражки карикатуру: Горшков, пожимающий руку недобитому казакстанскому баю!

8 часов.

Только что узнал от Фолифорова: Герчиков говорил вчера по прямому проводу с областным комитетом, просил установить, когда же, наконец, смогут крымские зерносовхозы действительно отгрузить комбайны.

ОК очевидно нажал со своей стороны на директоров: в другом разговоре Фолифоров обмолвился — рассказал, что Горшков волнуется и даже предлагал бросить на пшеницу лобогрейки.

Рассказывая, Фолифоров крепко потирал кулаком небритый подбородок, глядел исподлобья и заключил так:

— Не понимаю я этих его заскоков... Ведь умный же мужик! И умный и администратор хороший, а другой раз такое ляпнет, просто страм. Помнишь, ты мне про Клеймана говорил, как ему отсюда звонили, будто вы нам работать мешаете? Я нарочно спросил: не ты ли, говорю, Иван Васильевич, начудил? Оказывается, он самый. Так я ему битый час доказывал, что нельзя таких вещей делать — не желает понимать да и только...

Москва, Молчановка.
Т. С. К-ой.

Итак, я близорукий делец и вообще ничего не смыслю в задачах революции и классовой борьбе.

Узнаю тебя в полной мере — и отлично узнаю те самые твои идейки, из-за которых нам уже немало пришлось повоевать. Или быть может ты просто встала с левой ноги в тот день, когда взялась отвечать на мое письмо? Сознавайся-ка, ирод! Может быть не совсем удачно идет твой последний роман с каким-нибудь очередным юношей, не по уму ударившимся в политику? Ты ведь любишь людей, «критически воспринимающих действительность», и я, слава тебе господи, не забыл, как шлялись к нам на Молчановку эти самые «критики», еще в то время, когда мы были способны жить в одной комнате... Я отлично все это себе представляю — как ты наспех штопаешь чулок на коленке, гладишь платье, разогрев на примусе анны-петровнины утюги, и бежишь потом, размахивая руками, как солдат, к трамвайной остановке... Очаровательная картина! Право, у меня до сих пор чешутся руки от желания спустить вот такого очередного балбеса с лестницы,— простить себе не могу, что ни разу не сделал этого!

Впрочем, я, конечно, шучу, если обиделась — прости. Но откуда, скажи на милость, этот странный словарь? И почему ты, собственно говоря, называешь мою точку зрения деляческой?

Давай разберемся.

Из-за того, что Коммунар, единственный пока завод, выпускающий у нас сложные уборочные машины, не выполнил своей программы, комбайнов не хватает даже на нужды зерносовхозов. Чтобы выйти из положения, предстояло на выбор: либо приобрести комбайны за границей, заплатив за каждый по пяти-шести тысяч рублей золотом; либо разделить наличное количество ма-

шин между всеми совхозами и, по крайней мере, наполовину разоружить их; либо же, наконец, воспользовался климатической разницей в положении южных и северных совхозов и нагрузить комбайны двумя уборками за одну осень.

Зернотрест, конечно, избрал последнее. При этом все отлично понимали, что перебросить несколько сот машин за тысячи километров — дело сложное, громоздкое и трудное. Но, с другой стороны, переброска позволяла нам выкрутиться собственными средствами, а раз так, отказываться от нее только потому, что она трудна, было бы просто недостойно большевиков. Да и невозможно было от нее отказаться, это противоречило бы логике нашего развития... Или может быть нужно доказывать тебе, что за счет достигнутой экономии создаются новые источники накопления, ускоряются темпы строительства и в конечном итоге крепнет дело всей мировой революции? Ведь, перебрасывая комбайны из южных совхозов в северные, мы экономим миллионы рублей — стоимость, скажем, 30—40 МТС, а это, в свою очередь, обозначает реконструкцию целых районов, укрепление сотен колхозов, коренную переделку крестьянской психологии недавнего единоличника и победу над главным нашим сегодняшним врагом — кулаком и его присным. И ты называешь это отсутствием перспективы!

Дальше, о сроках. Все сроки рассчитаны точно — нужно только не чесаться, а работать как следует, тогда все будет в порядке. Ведь симферопольцев снабдили комбайнами с избытком, чтобы как можно скорей закончить здешнюю уборку, а они запаздывают вдвое, да еще почему-то уверены, что все машины должны оставаться здесь, до самой последней минуты. В одном Симферопольском работает 109 комбайнов, а они цепляются даже за те 30 машин, без которых зарез двум казакстанским совхозам!.. У кого же, в таком разе, «деляческий подход»? Да и только ли деляческий?

Поразмысли над этим последним вопросом как следует, — тогда нам, быть может, не придется спорить по поводу второй половины твоего письма. Ты вон пишешь, что я хулю друзей, забывая о врагах, — дальше по этому поводу следует такая околесица, что я просто не узнаю тебя. Нельзя же, в самом деле представлять себе классовую борьбу только в виде непосредственных схваток! В Крыму в основном закончена сплошная коллективизация, и враг не настолько глуп, чтобы выступать в такой обстановке открыто — он знает, что это не пройдет, и меняет тактику, приспосабливая ее к новым условиям. Да и вообще сейчас, в 1931 году, мало видеть врагов только в Рамзиных, мечтающих о министерских портфелях, или в Тит Титычах с обрезами под полою. Сейчас, когда социализм побеждает, все гораздо сложней и тоньше. Но тем внимательней нужно присматриваться к окружающей нас действительности. Нужно бдительно следить за мелочью и распознавать враждебную тактику как бы и в чем бы она не проявлялась — будь то уравниловка в зарплате, распределение колхозных доходов по едокам, или обезличенный тракторный парк. Нужно помнить, что враг замаскирован и что он предпочитает действовать окольными путями, — сплошь и рядом довольствуясь оппортунистической практикой тех, кого на первый взгляд можно причислить к «друзьями». И если врагу выгодно, скажем, сорвать переброску машин из Крыма в Казакстан, для него совершенно не обязательно разбирать полотно железной дороги, чтобы остановить поезд, — он сначала поглядит, не постарается ли за него какой-нибудь «друг».

На этом давай и кончим — и так у меня получилась целая статья. Отвечай поскорее — я надеюсь через несколько дней убраться отсюда (конечно, вместе с эшелоном), и если задержишься, твое письмо может меня уже не застать.

Будь здорова. Поклонись Арбату, Молчановке, Новинскому бульвару. Помнишь ли ты камни, на которых мы с тобой пожирали соленые огурцы с ситным? Помнишь, как галдел тогда Смоленский рынок, какой был туман?.. Камни сейчас должно быть уже убра-

ли, — я не был в тех местах четыре года. С той поры много утекло воды и, честное слово, я не жалею, что наши дороги разошлись. Но многое я отдал бы, чтобы вернуть то утро, услышать еще раз, как пробираются по листьям тяжелые капли, увидеть твою наспех заштопанную коленку и эти милые печальные морщинки вокруг твоих глаз. Прощай, ирод!

А. Курт.

23 июля.

Утром на кооперативной машине поехал в город, с твердым намерением обратиться к крымским организациям — попросить, чтобы они со своей стороны нажали на симферопольцев.

Однако, случилось иначе. Клеймана я в Симферополе не застал. Он еще позавчера уехал в Феодосийский совхоз. Но зато секретарь показал две только что полученные телеграммы Островского (заместителя Герчикова). В них точно и недвусмысленно приказывается отгрузить оливеры 23 июля, т. е. сегодня.

Я решил, что нужда в «посторонней» помощи отпала, не медля отправился на вокзал и к двенадцати был уже в совхозе.

Первым попался мне здесь Ставренюк. Смущенно потрагивая свои стриженые усы, он подтвердил, что телеграммы Островского ему известны.

Спрашиваю:

— Ну, а что же вы думаете делать? Состав заказали?

Он неопределенно шевелит бровями, глубокие складки то вдоль, то поперек возникают на его лице.

— Не можем мы отдать машины, — говорит он наконец с видимым усилием. — Пропадем без них. На четвертом участке вон того и гляди кооператорка потечет...

— Да ведь у вас семьдесят шесть коммунаров останется!

Он строго смотрит поверх моего плеча: — мало нам коммунаров.

— Погоди, — пробую убедить его я, телеграммы эти—приказ?

— Приказ.

— Так как же вы ему не подчиняетесь? Керенщину разводите?

Он неторопливо и мрачно усмехается.

— Насчет керенщины брось, не выйдет. А приказы... что ж, приказы разные бывают. Бывает, что и отменяют их! Может там, в Москве, нашей обстановки не учитывают, а мы учитываем! Вот вернется Горшков...

— Откуда вернется?

— Оттуда... Или ты думал, мы без крымских организаций пойдем на такое дело, что ли?

Он оставляет меня посреди улицы и, расправив плечи, вразвалку, шагает к конторе. Я смотрю ему вслед. Горшков сделал тот самый ход, который собирался сделать я, и мне нечем крыть. Тепер я даже не могу драться тем же оружием; если опровергать его доводы, все равно понадобится несколько дней для споров и разбирательств.

Размышляя над тем, что же нам остается предпринимать, иду к Фолифорову.

Он долго петляет и говорит разные хорошие слова, но в конце концов сознается: Горшков решил задержать машины до 28 июля — чем бы это ни грозило и какие бы ни сыпались приказы от Зернотреста.

Спрашиваю:

— Ну, а если с милицией придут отбирать? Отдадите?

Фолифоров оглушительно во всю глотку хохочет:

— Окажем сопротивление!

Они встречаются у кооператива и вместе идут к конторе. За аркой виден горбатый степной горизонт, над ним чуть проступают контуры гор.

—Только сейчас на почте узнал, вот она у меня тут, списана! — говорит Кошель, никак не попадая в ногу с Куртом.

— Молния, говоришь?

— Категорически! — на ходу роясь в записной книжке, волнуется Кошель. — Вот она, хозяин, слушай. Биюк-Онлар...

Курт выхватывает у него бумажку и читает вслух:

— «Молния, Биюк-Онлар, Зерносовхоз Горшкову. Приказываю однодневный срок отгрузить тридцать один оливер нашему наряду. Готовьтесь отгрузить пятьдесят два коммунара двадцать

восьмого. Исполнение молнируйте. Островский»... Здорово!.. Ты катись, я на Челпана нажму.

— Я с тобой...

Курт колеблется.

— Идем...Но что б у меня не хамить!

— Я помолчу, мне только посмотреть, как он завертится.

Челпана встречают в коридоре.

— Во-первых, здравствуй, — говорит Курт, — а во-вторых отвечай, получили телеграмму?

— Какую?

— Из Зернотреста, подписанную Островским? Молнию?

— Молнию получили, — потупившись, подтверждает Челпан.

— Что же теперь будете делать?

— То есть, как это, что будем делать? Убирать будем.

— А телеграмма?

— Телеграмма за нас работать не станет.

— Так когда же грузить?

— А вот погрузим.

— В однодневный срок сказано! Значит завтра?

— Не знаю.

— А кто же будет знать?

— Горшков знает.

— Приказа не хотите выполнять?

— Нет мы выполняем.

— Где же выполняете, если до сих пор у вас ничего не готово? Ты, скажи, оливеры будут завтра работать?

— Наверное будут...

— Так ты что, смеешься?.. Кому же вы, в конце концов, подчиняетесь?

— Начальству подчиняемся, — говорит Челпан, делая шаг назад. — Ну, я пойду.

— Под суд норовите? — не выдерживает Кошель, высовываясь из-за плеча Курта и, понизив голос до шопота, добавляет: — Гады...

Челпан бескровно улыбается:

— Я и то сухари сушу...

24 июля.

Чем кончилась вчерашняя поездка Горшкова в Симферополь? Даже Фолифоров, единственный кто посвящает меня иногда в здешние тайны, не желает об этом говорить.

— Ну что ты пристал? — ворчит он. — Спрашивай Горшкова.

В голосе его звучит почти неприкрытое торжество, — очевидно обман удался. А чтобы хоть чем-нибудь об'яснить свое поведение сейчас, когда уже нельзя больше ссылаться на дожди, симферопольцы придумали новую «об'ективную» причину, нехватку рабочих рук, из-за которой, дескать, невозможно пустить достаточное количество лобогреек.

Затруднения с рабсилой действительно имеются во многих местах Крыма. Вокруг них идет жестокая борьба: проникшее в колхозы кулачье всеми средствами старается мешать отходничеству. По одному только нашему району можно назвать десятки случаев, когда семьи отходников исключались из колхоза, а их самих чуть ли не силой снимали с работы, чтобы вернуть «по месту жительства». Но в том-то и задача, чтобы сломить очередной кулацкий маневр! Дирекция же совхоза со своей стороны решительно ничего не предпринимает. Ею не только не развернута вербовка новых рабочих, но даже не использованы полностью заключенные еще весною договора, в счет которых здешние машины работают в целом ряде коммун и артелей: оппортунистическая практика перекликается с новейшими маневрами классового врага.

И все же, несмотря ни на что, положение с уборкой улучшается день ото дня. Выручает хорошая погода и ударники, работающие с каждым днем все злей и упорней.

Одним словом, поразмыслив и посоветовавшись между собой, мы решили обратиться в райком. Поехал туда Кошель. Он говорил с секретарем и в ответ (если верить ему) услышал буквально следующее:

— Пока не будет закончена уборка, ни одна машина отсюда не уйдет. Мы берем ответственность на себя.

Так постепенно сложилась целая цепь: совхоз—райком—Симферополь. Положение получилось почти безвыходное, — нам остался один путь, в Москву. Им мы и воспользовались, отправив телеграмму сразу в три адреса: ЦКК Андрееву, Нар-

комвем Яковлеву и Зернотрест Островскому.

Вот текст телеграммы:

«Симферопольский зерносовхоз окончательному приказу Зернотреста должен был 23 июля грузить 31 комбайн совхозам Голощекинскому Каидокумакскому. Приказ не выполняется чему покровительствуют местные парторганизации. Все меры воздействия исчерпаны предвидим задержку двадцать девятого срыв уборки получателей. Необходимо решительное вмешательство».

— Нет, в самом деле! Продвигаются обеими колоннами к станции — вот уже где косят.

Подняв линейку, Челпан водит ею по карте. Курт сердито вдавливает в пепельницу окурок:

— И что ты все крутишь, не понимаю. Все равно тракторов у вас не хватает... Вам и без оливеров, только-только пропорцию выравнять!

В открытое окно просовывается усатое лицо Горшковой. Она деловито хмурит густые брови и, увидев собравшихся, кивает головой.

— Челпан, лобогрейки пришли! — сообщает она.

— Ну как на вашем участке дела идут? — осведомляется Курт.

— Еще целую колонну удалось набрать. Всех согнали — пожарных милиционеров...

— Вот это правильно!

— Мы не сдаемся, — самодовольно улыбается она. — Я сама вторую ночь не сплю.

Кошель, позевывая, выходит в коридор, — там за дверью в нерешительности переминается нагайбаковец. На его ногах поверх белых шерстяных чулок надеты сандалии, пиджак застегнут, в руках растопыренный картуз.

— Ты чего здесь делаешь? — изумляется Кошель.

— Друг, помоги! — бьет себя в грудь нагайбаковец.

— Да в чем дело?

— В Симферополь я собрался... Что покупать-то не знаю, все из головы ушло. Где ты винтовки брал? Может веревки, либо проволоки... Ничего не знаю, надоумь!

— Эх, — вздыхает Кошель, — все равно ничего не добьешься!

— А может расстараюсь, — стонет нагайбаковец.. — Не томи!

25 июля.

Назначенное на сегодня бюро, на котором должен был стоять вопрос о погрузке машин, не состоялось, — Ставренюк на рассвете, вместе с Горшковым, уехал на второй участок.

— Нарочно смылся! — злорадствовал Кошель. — Я говорил, они самокритики боятся... Уж я бы их вздрючил.

Не знаю, как именно собирался он «дрючить», но если вспомнить разговоры со Ставренюком, или хотя бы вчерашний ответ районного комитета, надо полагать бюро не дало бы ничего нового. Нам сейчас остается одно: ждать.

Но легко это говорить—ждать! Ведь уже двадцать пятое, по плану голощинцы должны начать сегодня уборку!

Правда, начнут они с озимых и справятся с рожью, в крайнем случае, собственными силами. Но сколько дней передышки это даст? Самое большее—декаду, затем, т. е., скажем, к 5 августа, созреют и яровые. Нам же, чтобы добраться до Казакстана, понадобится по расчетам Зернотреста девятнадцать суток, — стало быть приедем не раньше 15 августа.

Это будет самая настоящая катастрофа. — я знаю, что это такое, когда постепенно, на твоих глазах доходит хлеб и, наконец, наступает время, когда колос больше не держит зерна. Если взять такой перезревший стебель и взмахнуть им по воздуху, зерно, как дробь, осыпит землю, — достаточно бывает одной ветреной ночи, чтобы к утру в поле осталась одна только солома... Голощекинские оливеры — это двадцать одна машина, а каждая машина делает 40 га за двухсменный рабочий день. 850 га в сутки!.. И, главное, сейчас уже нельзя ничего сделать, — ничего!

Время упущено, и единственный наш шанс — дорога. Вместо девятнадцати суток, мы должны прорваться в восемь. Тогда (если нас все-таки отгрузят в течение ближайших трех дней) мы добе-

ремся до места к 5-6 августа и все будет спасено.

Но опять-таки, легко говорить — вместо девятнадцати суток в восемь! С такой быстротой, пока что, не продвигаются даже ударные эшелоны Магнитостроя...

26 июля.

Утром, сразу после завтрака, прибегает перепуганный Кошель: из Симферополя приехал партследователь, взял в работу Горшкова и еще нескольких человек.

— Это все наша телеграмма!—возбужденно воскликнул Кошель, бегая по комнате на своих коротких ножках. — Раз к Андрееву попала — каюк! Будет теперь дело...

Он ушел и через час прибежал опять: получено известие, что сегодня в совхоз приезжает Збарский.

Через просторную бухгалтерию вход в кабинет Полюткина. Окно там рядом с террасой, выходит к под'езду — на солнце. Полюткин среди диаграмм, таблиц, сведений, за лакированными шашками счет, закован в напряженное спокойствие и с подчеркнутой честностью фокусника раскрывает перед Куртом цифры косовицы и хлебосдачи. Солнце щедро, как театральный прожектор, освещает его.

Курт, вскинув озабоченные глаза, вытягивается к окну.

— Что? — гордо, как на стременах, поднимается Полюткин.

— Зборский приехал.

— Любопытно! — потирает руки Полюткин и по его губам скользит саркастическая улыбка.

Курт быстро проходит бухгалтерию, коридор и в дверях на террасу встречается с Збарским:

— Здорово!

Збарский кивает черной кудлатой головой и удивленно смотрит лошадиными глазами.

— Не узнаете меня?

— Нет, что-то не припоминаю.

— Я сюда командирован Зернотрестом. В Сибири мы встречались в Борисовском совхозе.

— Возможно... Да, да. Что вы хотите?

— Мне нужно с вами поговорить!

— Хо-ро-шо! — твердо окая всеми тремя гласными, говорит Збарский и входит в кабинет директора. — Хо-ро-шо! — повторяет он и кажется, что холодные выпуклые «о» вертятся в остановившемся воздухе.—Вот сюда. Что нет Горшкова?.. Найдите его немедленно, — обращается он к суетящемуся тут же Квасову.

— Сейчас пошлю за ним...

— Ну что у тебя? — поднимает Збарский длинные ресницы.

Курт беспокойно поглаживает свою бритую голову:

— Собственно говоря, мое задание чисто информаторское... Как я уже говорил, меня прислало сюда правление. Мне поручено постоянно держать в курсе здешних дел уборочную группу, сообщая, как о здешней уборке, так и обо всей подготовительной работе по отправке комбайнов в Казакстан. Я буду сопровождать первый эшелон и давать сводки с пути... Смысл, понимаете, в том, чтобы быстро использовать первый опыт — конечно и недостатки, и достижения — и на ходу передать его другим эшелонам, которые пойдут позже нас... Это первое. Однако, попав сюда, я очень скоро понял, что одной информации мало. Пришлось взяться вплотную — раз'яснять, спорить, составлять планы, одним словом, драться! У них тут такие дела...

— Какие такие дела? — перебивает Збарский.

Курт пристально смотрит на него:

— Что ж, давай, буду рассказывать...

Збарский слушает молча, лишь нередка вставляя свое твердое: «Хорошо!» Курт добирается уже до приезда партследователя. Тут с треском распахивается дверь и в кабинет вламываются Кошель и Нетребов.

— Что скажете? — холодно спрашивает Збарский.

— Мы насчет отправки!.. Я из Каин-докумакского совхоза, а вот товарищ Нетреба из Голощекинского!

Збарский сдвигает брови.

— Вам бы совсем не следовало давать оливеры. Сколько машин вы думаете получить?

— Всего-то тридцать один комбайн...

— Нет, тебе в Каиндокумакский?

— Мне? Десять машин.

— Не дам я тебе отсюда десяти. Возьмешь семь. Остальные три добавим из Феодосийского — видишь здесь уборка не кончена.

Лицо Кошеля обвисает, вытягивается — он начинает путано пояснять, что конечно и коммунарами мог бы в крайнем случае обойтись Каиндокумакский.

— У вас другое дело, — обращается Збарский к Нетребову, — у вас учебно-опытный... Должны получить полностью двадцать один комбайн.

Удивленным взглядом он окидывает жадно увивающуюся около стола фигуру Кошеля и добавляет:

— И вообще все лучшее пойдет голощекинцам.

Снова оставшись наедине со Збарским, Курт спрашивает:

— Когда же погрузка?

— Посмотрим.

В комнату входит Горшков. Губы его подобраны. Он как бы не замечает Курта и, здороваясь со Збарским, произносит:

— Во время приехал, много к тебе накопилось дел.

Курт встает:

— Я пошел. Всего!

— Хорошо, мы еще увидимся... Я пришлю за вами.

Небо завалено тучами. Доносятся первые раскаты грома.

Добравшись до своей комнаты, Курт опускается на кровать. Он курит одну папиросу за другой. За потемневшим окном опрокидывается сплошной захлебывающийся дождь. Пронзительные молнии чаще и чаще освещают крупные осколки падающей воды. Ливень сечет досчатую уборную напротив.

Курт закрывает глаза. Ему представляются огромные буксующие колеса застрявшего грузовика.

«Вот так и мы движемся к Казахстану», — думает он.

Москва, Молчановка.
Т. С. К-ой.

Ты должно быть здорово возомнишь о себе, ирод. За две недели целых четыре письма! Но можешь не задаваться — я пишу только потому, что выдалась свободная минута и ее некуда девать.

А как бы ты думала, откуда я пишу? Из Симферопольского, после очередной баталии с Горшковым? С дороги, под'езжая с казакстанскими оливерами к Харькову?.. Ничего подобного: из Евпатории, самого что ни на есть курортного курорта! При желании можно даже вообразить, что мы с тобой опять околачиваемся в Гаграх,—ты обучаешь очередного партнера правильному заплыву на тысячу метров, а я, оставшись в одиночестве, размышляю о тщете супружеского счастья. Не угодно ли?

Сижу в кафейне на набережной.

Попал я сюда довольно неправдоподобным образом: я сделал глупость, достойную мальчишки, и даже две.

Дело в том, что история с нашими комбайнами продолжает тянуться. Ею уже заинтересовалась контрольная комиссия и, насколько я знаю, Горшков и еще кое-кто получат по заслугам. Для того же, чтобы заставить симферопольцев подчиниться московским приказам, на место происшествия пришлось выехать члену правления Збарскому.

Я тебе, кажется, уже писал о нем — мне с первых же дней почему-то взбрело в голову, что он покрывает симферопольцев своим авторитетом. Это была глупость № 1. А когда Збарский приехал и заставил, наконец, Горшкова приступить к погрузке, я сделал вторую.

Он предложил с'ездить с ним в соседний зерносовхоз, Евпаторийский, а я воспринял это как нарочитое отстранение меня в самую последнюю минуту от погрузочных дел. Понимаешь? Вместо того, чтобы об'ясниться на чистоту и в крайнем случае даже поскандалить, я, как идиот, уселся вместе с ним и с Челпаном в машину и поехал, бросив все дела на Кошеля и Нетребу.

Мы не успели доехать до Сак, как уже выяснилась вся нелепость моих предположений. Збарский проявил себя с самых лучших сторон, — но не возвращаться же мне было с полдороги обратно! Пришлось делать веселое лицо при плохой игре, что я и стараюсь исполнить на совесть, занимаясь писани-

ем писем и глазея на полуголых девчонок вместо того, чтобы работать на погрузке. Симпатичное зрелище, ежели кто понимает.

Глупо, нелепо, унизительно!.. Всю вчерашнюю ночь и весь сегодняшний день я ни на минуту не могу забыть о погрузке. Я вспомнил за это время тысячу вещей, которые необходимо бы сделать сегодня, чтобы не опростоволоситься в пути, — а сделать их некому, значит опростоволосимся обязательно... Но несмотря ни на что, я все же не жалею, что поехал: ни каждый день бываешь в таких совхозах как Евпаторийский.

Ах, Таня, что это за место! Меня не удивишь образцовым хозяйством — я видел их десятки. Но о Евпаторийском, хоть ему и далеко от образцовости, я мог бы говорить целые сутки. Он так необычен, что мне не с чем даже сравнить его, — разве только с девятнадцатым фронтовым годом; но ты не видела фронта и все равно ничего не поймешь.

Когда-нибудь в Москве, мы еще поговорим об этом. Я расскажу тебе о Майорове, маленьком евпаторийском директоре, спящем не больше двух часов в сутки; о замечательном парне Крайнике, щеголяющем в соломенной тюбитейке и организовавшем хлебосдачу так, что ни одна автомашина не простаивает и четверти часа в смену; о комбайнерах Титкове, Урицком и Выпирайленко, изо дня в день перевыполняющих нормы; о лучшем бригадире совхоза Казаченко; о блестящем организаторе и массовике Биткове и о многих других... Но все это — потом. А сейчас мне поневоле приходится сворачивать лавочку: солнце заходит, а мы и так задержались в Евпатории на целых два часа.

Будь здорова. Пиши мне по адресу: ст. Тогузак Пермской ж. д., учебноопытный зерносовхоз им. Голощекина. Надеюсь, что мы доберемся туда не позже чем через две недели.

А. Курт

Кошель возвращается из столовой. Его налитое брюшко подпрыгивает мягко, как на рессорах. По всему лицу, как круги по воде, расходится самодовольная улыбка. Он пытается приплясывать, но лужи еще не просохли и обремененные новыми калошами ноги скользят и раз'езжаются.

— Буксуешь, друг? — окликает его Нетреба, смело хлопая по лужам желтыми сапогами и окончательно забрызгивая брезентовые, крашеные чернилами туфли идущего рядом Шапиро.

— Стой, стой! — кричит Кошель и, балансируя обеими руками, поспешает к ним.

Глядя на него, Нетреба усмехается:

— Видать поехали?..

— Вы куда направились-то? — спрашивает Кошель.

— В склад идем, запчасти подбирать к нашим оливерам.

— Ты смотри там, что б себе лучшего не цапать! Все равно я проверю, — с жадным беспокойством предупреждает Кошель.

— Не волнуйся, не так, как ты — по честному разделю.

— Оно так-то, так... А все же идемте вместе, я тоже взгляну, что там есть.

И Кошель обращается к Шапиро:

— Ну, хозяин, как списки наших комбайнеров, утверждены?

— Плохо получилось со списками, — отдувая и без того толстые губы, сипит Шапиро.

— А что?

— Представил их Горшкову на утверждение, а он всех бывших трактористов вычеркнул — себе, говорит, нужны. Значит опять полной смены не набирается.

— Горшков? — возмущенно переспрашивает Кошель. — Мало мы ему хвост крутили! Опять треплется, окаянный дух!.. Ну это ему так не сойдет, — ты, Нетреба, один там разделаешься, только смотри, чтоб не того, а я ему выскажу все сполна.

Взмахивая локтями и тяжело поднимая облепленные глиной калоши, Кошель поворачивает к конторе.

Он так обозлен, что даже не вытирает ног и со всей грязью вкатывается в кабинет, — с полного хода останавливается перед сукном стола. Под холодным взглядом директорских глаз его охватывает робость.

— Чего тебе? — сухо, как береста на огне, коробится голос Горшкова.

— Я, — заглатывая слюну, говорит Кошель, — насчет списка комбайнеров...

— Список у Шапиро, можете обратиться к нему, — зловеще потрескивают слова директора.

Кошель набирает воздуху и сразу, с отчаянием человека с зажмуренными глазами бросающегося в драку, выпаливает:

— Нет! Не пройдет этот номер!.. Всех вас под суд отдадим!.. Засели тут чиновники! Бюрократы!

Он задыхается и, услышав свой собственный визгливый голос, испуганно слабнет. И тут, как шрапнель, с треском разрывается над ним начальнический окрик Горшкова:

— Молчать! Можете оставить кабинет!

Очутившись в коридоре, Кошель плотно прикрывает за собой дверь и облегченно громоздит трехэтажную мать.

Через минуту, столкнувшись на террасе с симферопольским завхозом, длинноруким, как шимпанзе, Барашкевичем, он весело подмигивает:

— С вами, хозяин, только матом разговаривать... иначе не понимаете... Покрыл сейчас Горшкова, так он у меня шелковый... Что, приготовил консервы?. То-то! Я, как начальник эшелона, всех вас под суд отдам, если не обеспечите продовольствием. Понял?

— Как не понять! — ядовито улыбается Барашкевич. — Скорее бы унесла вас отсюда нелегкая...

Над горизонтом подымает погнутый хребет омытый дождем Чатырдаг. В разреженном воздухе горы видны ясно и кажется, можно разгадать на них путаный рисунок теней. Солнце всерьез взялось за просушку усадьбы, оно свертывает заскорузлую грязь, сгоняет лужи и безжалостно калит обтянутые черной спецовкой плечи Кошеля.

На дверях кооператива продавец навешивает тяжелый замок, но, приплясывая и буксуя. Кошель добирается к нему и, взяв за плечо, говорит:

— Рано запираешь!.. Давай консервы!

— На обед закрыто, — отвечает продавец, — после двух приходите.

— Ну, ну, нечего!.. Мне с вашим обедом считаться не приходится. У меня, знаешь, заботы другие. Через двадцать минут мне машину дадут, на станцию ехать, завтра комбайны отгружать. Отпирай скорее.

— Все равно я вам больше двух банок не могу выдать без записки Барашкевича, — неохотно отворяя дверь, предупреждает продавец.

— Что? Барашкевич? Извиняюсь... Иди сам за ним, мне по этакой грязи гулять некогда. Я всего-то десять банок возьму, а Барашкевич мне еще четыре сотни сам привезет на Биюк. Вот как, хозяин!

27 и ю л я.

Из Евпатории выехали на закате.

Днем было условлено, что в Феодосийский Збарский поедет с Биюка поездом. Но сейчас до отхода поезда оставалось часов пять, и мы перестроили свой маршрут: вместо того, чтобы двигаться прямо в совхоз, решили сначала заехать с Симферополь, забрать у Клеймана почту.

— Если все благополучно, погрузку уже начали, — сказал Збарский.

Челпан недоверчиво ухмыльнулся:

— Раньше утра не начнут.

— Почему?

— Так, — ответил Челпан и перевел разговор на другое.

После его слов вспомнилась плохая подготовка, Кошель, умеющий только бесплодно суетиться и грубить, — конечно, мне не следовало уезжать...

В Симферополе Клеймана разыскать не удалось. Шофер, ездивший на другой конец города к нему на квартиру, вернулся ни с чем. Выходило, что зря потеряно целых три часа, и, пустившись в обратный путь, мы решили, не заезжая на центральную усадьбу, свернуть на Биюк.

Ехали молча. До поворота оставалось уже не больше десяти километров, и вдруг — именно вдруг — из-под колес нашей машины п л е с н у л а в о д а! Это было так неожиданно, что мы не сразу поняли, в чем дело. После двухсот ки-

лометров отличной сухой дороги — лужа, и автомобиль буксует, точно мы завязли в болоте. Ерунда!.. Но через минуту не осталось никаких сомнений: непролазная грязища, сквозь которую с трудом удавалось пробиться на второй, а то и на первой скорости, и налитые водой колеи не могли сохраниться со вчерашнего дня. Это были следы сегодняшнего дождя — ливня, прошедшего всего несколько часов назад, в то самое время, когда над Евпаторией сияло безоблачное небо.

После долгой борьбы, напряженного рева мотора и почти беспрерывных толчков, кидавших нас из стороны в сторону, выбрались на «американку». Машина пошла легче.

— Ну, теперь застряли, — пробурчал Челпан.

— Вылезем!

— Мы-то вылезем, а вот комбайны...

Как бы в подтверждение его слов, свет наших фар тут же вырвал из темноты какую-то бледную громадину. Она маячила сбоку, за кюветом, на тракторной дороге, — оливер, прицепленный к хартпару, неподвижный и брошенный людьми. Впереди виднелся второй; когда мы поровнялись с ним, отчетливо и бесспорно стали видны его увязшие на треть, облепленные грязью колеса.

— Готов! — насмешливо сказал Збарский.

Все новые и новые комбайны и хедера оставались позади нас, — я насчитал восемь или девять машин... Еще три машины торчали за поворотом к Биюку.

Молча, в тягостном напряжении, пробивались мы к станции. Было понятно, что комбайны застряли прочно, по крайней мере до утра, — но какую часть их застиг ливень? Ведь по плану машины должны были передвигаться на Биюк побригадно, и значит первые бригады могли благополучно достичь места погрузки!

Станционный поселок уже спал, светился только элеватор. В об'езд, чтобы миновать улицы, разбитые больше, чем любая проселочная дорога, пробрались к вокзалу и, перегоняя друг друга, ринулись на платформу.

Тишина, безлюдье и низкая полоса пустых платформ на дальнем пути сразу разрешила все: погрузка не начиналась.

Заспанный дежурный, по-домашнему, тут же в кабинете выдавая Збарскому билет, рассказывал:

— Состав еще утром подан, а машин ваших нету и нету... Разве им пройти? Ливень был, что и не видывали такого — потоп-потопом.

Он же сообщил, что здесь, на станции, «комендант эшелона».

— Какой еще комендант, где?

— А в теплушке. Напротив дверей стоит, на третьем пути.

Конечно, за коменданта себя выдал Кошель.

Спрашиваю:

— Что же не грузитесь?

Он безнадежно машет рукою:

— Хоть бы завтра начать!.. К трем часам должны были подвалить машины, а их чуть не с полпути назад поворотили, в борозду.

— Кто заворотил?

— Кто же еще? Известно Горшков. Пускай, говорит, до вечера поработают — а в четыре гроза началась... Зря только машины уродуют по грязи.

В комнате полная тьма. Духота кажется осязаемой, клейкой. Кошель ворочается на диване, потеет и шумно вздыхает. Ему не спится — то кажется, что кусают блохи, и он чешется громко по-собачьи, то вспоминаются всяческие неотложные мелочи... И едва начинает белеть повешенная на окне простыня, как он тянется одеваться.

«Им что, — со вздохом думает он о Шапиро и Орлове, с которыми должен ехать на станцию. — Наплевать им на нашу погрузку... Только на мне все и держится! Этот Курт тоже дрыхнет. А я всю ночь не спал и опять готов работать до вечера... Им этого не понять».

Будить Курта он не собирается: пускай выспится, сговорчивее будет. Забрав башмаки, он бесшумно выходит в сени.

Курт спит еще часа четыре и даже опаздывает в столовую к завтраку.

Барашкевич, весь разморенный, морщит круглый лоб.

— О машине справляться идете? — догоняет он Курта у гаража.

— Да нужно перебросить барахлишко... И мне уже пора. Главное, ребята там наверняка голодные. Ты так и не переправил хлеб? Можно было с Кошелем отослать... Проспал?

— Шепелевский грузовик здесь, он все и захватит, — говорит Барашкевич, — только с консервами, понимаете ли, у них трудно добиться толку. Я было распорядился, а кооператоры наши говорят, обязательно за наличный расчет.

— Что за ерунда! Ребята все на станции, где же с них деньги соберешь?.. Мы это сейчас уладим.

Они вместе направляются в кооператив. По дороге Барашкевич, мигая линялыми глазами, жалуется:

— У нас здесь никаких порядков, одна ругань. Фолифоров кричит: «Бросай все дела, готовь можары!» Я целый день убил, снарядил ему семь штук. «Не надо!» Вот тебе раз!.. Ты же сам требовал? «Отстань, отвечает, пускай подождут»... А то взбрело ему: «Подай немедленно опрыскиватели!» А когда сделано — пусть стоят... Сейчас с вилами канитель. Сначала людей не было, вилы стояли, двадцать пять штук, — теперь люди есть, так вил не хватает, опять Барашкевич виноват — подай уже сто штук! Сами виноваты, а дойдет до дела, все на Барашкевича свалят.

В кооперативе Курту приходится долго скандалить, но наконец вопрос улажен. Забрав полсотни банок и хлеб, он валит продукты в под'ехавший грузовик.

Машина ползет мимо общежитий, мимо окон Горшкова — и сам Курт с проклятиями таскает многочисленное кошелево имущество.

— Ну, поехали! — говорит он, с облегченным вздохом, пихнув между чемоданами увесистую банку зеленого мыла. — Как будто все.

У конторы еще на минуту задерживается машина, принимая пассажиров: круглолицую комбайнерку и какого-то мрачного, волосатого парня. Затем форд бойко мчится по профилированной дороге, утрясая полные кошелевы сундуки. Курт ловит покатившиеся под ноги жестянки, усаживается поудобней и искоса смотрит на раскрасневшуюся девушку — комбинезон обтягивает ее бедра туго, — как купальный костюм.

Чем дальше, тем заметнее следы вчерашнего дождя. Солнце пахнет баней. Конвейер дороги несет под грузовик зеркала успокоенных луж; разрезанные колесами, они оживают и с шумом стелют по сторонам поднятые на ребро зазубренные ножи. За канавой неподвижно белеют комбайны.

С полкилометра не доезжая до станции, нужно сворачивать с американки на проселочную. Тут сплошная грязь; подминая ее под широкие гусеницы, ползут катерпиллары. Они гудят, как шмели, и упорно волокут за собой оливеры с затонувшими колесами. Хедера прицеплены сзади и стелются вплотную к земле.

Перед грузовиком вырастает бронированная башня элеватора.

— Эх, не проедем тут! — говорит Курт.

— Придется тебе по грязи вещички таскать! — ухмыляется комбайнерка.

Грузовик вздрагивает, ошалело крутит на месте бессильные колеса. В свалившейся сразу тишине перекликаются кузнечики. Но еще несколько отчаянных усилий и, круто свернув в сторону, мягко оседая на траву, полутонка пробирается полосами без дороги. Почерневший поселок дымится испариной и тоже погрязает в лужах. Однако удается проехать почти к самому полотну.

Навстречу бегут оголодавшие ребята.

— Кто здесь из симферопольского начальства? — спрашивает Курт запыхавшегося Кошеля.

— Только Орлов и Шапиро, да этот, как его — ответственный погрузчик-то... Сверидов!

Курт осматривается. До самого семафора растянулся плоский состав платформ. Вздымаются бункера шести уже погруженных оливеров. Они подставляют солнцу сверкающие бока, облепленные глиной колеса напоминают о пережитых мытарствах.

— Красавцы! — кивает Курт и, обращаясь к Кошелю, говорит: — Таскай вещи в теплушку, я, брат, потаскал, будет!

На погрузочной площадке стоит размашистый гул. Подкатывают по две платформы сразу. На первую, с грохотом, набрасывают здоровенный трап. Маленький, двадцатисильный катерпиллар урчит, пятится и, зацепив колыхнувшийся комбайн, тащит его на подмость. По трапу он взбирается на платформу, подтягивая передок машины к самому борту. Затем один из грузчиков отнимает сцепку. Тракторист, молоденький парнишка с болезненным лицом, морщась от дыма зажатой в зубах папиросы, на месте волчком поворачивает свою машину и медленно сползает наземь. Грузчики враз нажимают плечами, двое энергично разворачивают ось и вся громадина на секунду повисает у самого края, готовая сорваться, — но люди, дружно гикая, с разгона тащат ее по шпалам, устланным поверх буферов, на следующую платформу.

Угрюмый, бородатый дядько время от времени закидывает за буфера валек и двумя конями гонит прочь скопившийся поезд. А там за стрелкой уже идет увязка машин проволокой; колеса крепят деревянными, намертво прибитыми плашками.

Руководит работой усатый и рябой председатель артели, но заметнее всех другой — высокий, узкогрудый, с торчащей щетиной давно небритого подбородка. Он работает наравне с другими, но его первым слышно в хриповатых окриках, за которыми свирепой волной наваливаются голоса остальных.

— Вот идет!.. Еще идет!.. Пошла-а...

— Круче!.. Стой! — зычно орет председатель.

На привокзальную площадь подходят все новые машины. Принимает их оживленный и помолодевший Нетребов. Ребята выгребают полову. Тут же полыхает своими ослепительно синими штанами похудевший Свиридов. С тревогой в глазах он хлопочет, мечется, но сам плохо понимает в чем, собственно, состоят его ответственные обязанности.

— Как с запчастями? — спрашивает Курт.

— Устроим, устроим! — успокаивает Свиридов. — Немного разберемся и до них дойдет черед.

— А где тряпье для обтирки комбайнов?

Вместе с Перепелицей перетаскав весь скарб на запасные пути, в пахнущую конским навозом теплушку, Кошель садится отдохнуть. Обе рубашки на нем промокли.

— Только бы дождя не было,—вздыхает Кошель. — Ну, ты тут запрешь? Вот замок, да смотри аккуратнее, а я пойду проверю, что сделано, — говорит он бойкому Перепелице.

Состав погруженных машин все растет.

— Куда девать транспортеры?—спрашивают ребята, обращаясь к симферопольскому начальству.

— В приемник суйте! — приказывает Шапиро.

— Ну, в приемник нельзя! — возражает Орлов. — Будет дождь засекать. Пробуйте под комбайн куда-нибудь.

Кошель идет, покачиваясь, начальническим оком оглядывая состав. Добравшись до грузчика, который увязывает комбайны, он кричит:

— Сволочи!.. Куда проволоку цепляешь? Разве за эти детали можно вязать? Вяжи за колесо!

— Я тебя не знаю, кто ты таков есть, — огрызается грузчик.

— Я начальник эшелона. Понял?

— Много тут начальства ходит... Всех слушать, так работать некогда будет...

На погрузочной площадке, в стороне от работающих, среди пустых ящиков и каких-то бочек, расположились завтракать ребята. Рядом с белозубой кудрявой еврейкой в мужском картузе сидит та самая комбайнерка, что приехала вместе с Куртом. Кошель, заметив их, расплывается в игривой улыбке.

— Что, девочки, оголодали? — говорит он, подсаживаясь, и, обернувшись к проходящему Нетребову, лукаво подмигивает.

Курт озирается:

— Где Кошель?

— Вон к девчатам под'езжает! — показывает Нетребов. — Разве он у нас за главного поедет?

— Ничего не знаю. А что?

— Да так... Он из начальника эшелона таким каптером станет — во! Мясо

будет забирать, а потом арестуют его за то, что уж очень прыток.

28 июля. 9 часов утра.

Погружено одиннадцать платформ: семь комбайнов и четыре хедера. Грузят пятый.

Это гораздо лучше, чем можно было ожидать. Но сколько вместе с тем ненужной суеты, путаницы, всяческих неувязок! Каждый норовит непременно руководить, и в результате Орлов говорит одно, Свиридов другое, Шапиро третье... Пытался кричать и командовать даже Кошель, окончательно возомнивший себя «комендантом», и мне с трудом удалось охладить его неуместный пыл.

В общем разнобой ужасный. Происходит это потому, что никто не желает считаться с планом. Но с другой стороны обнаружились грубейшие ошибки и в самых расчетах. Например, мы все были уверены, что удастся грузить по два хедера на каждую платформу, а оказалось, в неразобранном виде едва-едва умещается один... Еще глупей получилось с грузчиками. В плане имеется пункт, предусматривающий «доставку на станцию неработавших в последней смене комбайнеров и трактористов для участия в погрузочных работах», — на самом же деле со всей погрузкой свободно справляется союзтрансовская артель в 10—12 человек.

Воображаю, что получилось бы, если бы сюда действительно согнали две полных смены. Сейчас тут не больше двадцати ребят, но и им совершенно нечего делать. Они решительно никому не нужны и в то же время срочная работа стоит. Нужно отнять от бункеров зерновые элеваторы, очистить машины от грязи и пыли и т. д. А кого поставить на эту работу? Среди комбайнеров нет ни одного «нашего». Те двадцать человек, что сопровождали комбайны, их подсменщики: сами они собирают в дорогу барахло и прощаются с женами. Доверить же разборку кому-нибудь кроме них невозможно. Спутаются части, затеряется какой-нибудь паршивый болт или шайба, и вот этакая мелочь и разрастается потом в целую катастрофу.

...Прибегает потный, разгоряченный Кошель, вопит не своим голосом:

— Огнетушители поснимали, ни одного не осталось, что же это за такая-то мать!

Действительно, огнетушители сняты со всех комбайнов, хотя я давно согласовал с Фолифоровым, что их оставят по одному на каждые две машины. Должно быть это начальники колонн.

Посылаю Кошеля об'ясниться с центральной усадьбой по телефону, а тут новая напасть: все мелкие и наиболее ходовые запчасти — всяческие шурупчики, заклепки и гайки, неот'емлемые от комбайна, как своеобразный индивидуальный пакет, остались на участках. Их, видите ли, «забыли захватить!» Нет также и многих инструментов — плоскогубцев, ключей... И какая это сволочь старается?

Каждую минуту прибывают все новые и новые облепленные грязью машины. На тесной станционной площади ни на минуту не утихает содом. Гудят трактора, гудят моторы, проходящие последнюю проверку перед погрузкой. Кто-то кричит, чтобы ему дали дорогу, кто-то истошным голосом зовет на помощь, и оказывается, что посреди невысохшей еще улицы, прямо в грязь с'ехал с транспортной тележки чей-то злополучный хедер. Грузчики с уханьем раскачивают захрявший на под'еме зад комбайна...

10 часов 40 минут.

Мелочи, мелочи, — то наседают комбайнеры, требуя работы, то выясняется, что забыли запастись медикаментами, и Кошелю, еще недавно проявлявшему чудеса пронырливости, приходится втолковывать, что можно купить готовую аптечку тут же, в Биюке... Эти пустяки наседают, как слепни, мешают сосредоточиться, — чтобы спрятаться от них, я ухожу в вокзал к дежурному по станции.

Мы закуриваем и говорим о вчерашней грозе; потом я просматриваю еще раз погрузочный план. Удивительное дело, как это много значит — спокойно посидеть пять минут! Я прикидываю, о чем нужно думать в первую очередь, и сразу становится легче.

Нужно:

а) Очистить станцию от лишних людей и ускорить доставку «наших» комбайнеров.

б) Позаботиться, чтобы немедленно доставили запчасти, обтирочное тряпье и продовольствие.

в) Ознакомиться в процессе погрузки с машинами и приняться за приемо-сдаточные акты.

г) Оборудовать вагон-мастерскую.

д) Оборудовать предназначенные под жилье теплушки.

Кошель разыскал меня у дежурного: оказывается Фолифоров отказался с ним даже разговаривать.

Грамматиково. Зерносовхоз. Збарскому

Симферопольцы снимают комбайнов огнетушители молнируйте Горшкову Курт.

В станционном буфете поймал Шапиро и Орлова. Распаренные и осовевшие они пили за стойкой последнюю бутылку нарзана. Я изложил свою программу. Шапиро немедленно вызвался с'ездить на центральную усадьбу — устроить там все, что нужно, и предупредить, чтобы не присылали никого, кроме наших комбайнеров.

— Этих тоже отправим — действительно, только под ногами путаются. Перебросим сюда запчасти, пускай с той же машиной и едут.

Он расплачивается с буфетчиком и почти бегом бежит к двери.

На ходу напоминаю еще раз: кроме запчастей нужно так же все остальное, особенно продовольствие.

— На колонны тоже придется с'ездить, — мрачно говорит Орлов и припускает вслед за ним, беспокойно ворочая головой на длинной шее.

Кричу им вслед:

— А когда акты составлять?

Они точно не слышат — с такой поспешностью садятся в свою полутонку, будто скрываются от врага. Видать обоим здорово хочется удрать отсюда! Я тоже рад — по крайней мере избавились от лишнего «руководства».

11 часов.

Жара, ослепительно сверкают рельсы, гудит в ушах от крика людей и рева моторов... Маленькая, ничем не примечательная степная станция, на которую и не взглянет проезжающий мимо курортник, изменилась мгновенно, точно на нее надвинулся смятый прорывом фронт. Так бывало только в девятнадцатом, в двадцатом году. Безлюдно, тихо — по путям, купаясь в песке, бродят куры, в вокзале одиноко тикает телеграфный аппарат, да изредка продребезжит звонок, — а на утро все пути забиты составами, чуть не лезущими друг на дружку, чтобы пропустить вперед громыхающий облезлый броневик; связисты ведут телефонную линию, закидывая провода рогатками поверх вагонных крыш; из вагонов выводят оседланных коней, осторожно перебирающих ногами по трапам... Крик, песни, рубленые слова команды, паровозные гудки...

12 часов.

Пишу каждые полчаса, — даже самому смешно. Но это здорово помогает работать: напишешь какие-нибудь полстранички, а глядишь, успел за это время оглядеться и собраться с мыслями.

Сейчас полдень, пятый час погрузки. Все постепенно налаживается: Нетребов взял на себя оборудование мастерской, Кошель — жилых вагонов. Бездельничавших до сих пор комбайнеров приспособили подтаскивать койки и готовить для них доски. Прибыла часть «наших» ребят (главным образом с Чупиковской колонны) — и они разыскивают свои машины, осматривают их, помогая друг другу, скатывают полотнища с хедеров; некоторые приступили к разборке элеваторов.

Погрузка тоже идет полным ходом. Готово уже больше тридцати платформ, — при таких темпах погрузка будет окончена засветло, — конечно, если не застрянут где-нибудь в дороге еще не прибывшие на станцию машины. А застрять они могут вполне: на горизонте сгущаются и синеют зловещие грозовые тучи.

Жарища адова. Все мы поминутно бегаем в буфет, но отвратный тепленький квас, и вкусом и запахом напомина-

ющий туалетное мыло, только увеличивает жажду.

Приехал Полюткин с кассиром выдавать зарплату и командировочные уезжающим комбайнерам. Но тут новая беда: об'явлено, что никто не получит ни копейки, пока не сдаст спецовки.

Это дикое требование, — многие из ребят сняты буквально с борозды, без всякого предупреждения. На некоторых нет ничего, кроме комбинезонов.

Полюткин, как всегда, расчесанный и принаряженный, соболезнующе пожимает плечами:

— Распоряжение дирекции.

3 часа 15 минут.

После долгих попыток соединиться слышу фолифоровское «ай-я». Начинаю приводить резоны, просить, потом материться, — а в ответ телефон изрыгает все одну и ту же фразу:

— Спецодежда — собственность предприятия, а не рабочих.

Кричу:

— Да пойми ты, что мне с этими людьми работать придется! Ведь ты их на саботаж толкаешь! Будут они нагишом работать или нет?

— Насчет нагишом не загибай. Поработают в собственных портках.

Что тут будешь делать? Тут впору бить по мордам!.. Кончилось же тем, что Фолифоров пообещал приехать на станцию «разобраться» и бросил трубку, ссылаясь на грозу:

— Убьет к чорту!

Симферополь.
Зернотрест Збарскому

Приказом Фолифорова комбайнеров эшелона отбирают спецовку тчк грозит полный срыв ремонта и массовой работы пути Курт.

5 часов.

Приехала шепелевская смена. Теперь в сборе почти весь состав эшелона — недостает только трех человек, в том числе одного из голощекинских бригадиров Колесникова.

Погрузка закончена на 80 процентов. После дождя, хоть он и прошел мимо Бинока, работа двигается уже не так споро. Новые машины поступают с перебоями, — должно быть сидят в грязи. Шапиро, только что приехавший, наконец, с центральной усадьбы, говорит, что ливень захватил все участки, в оврагах и балках текут реки, дорога непролазная, — он насилу пробился на своей легонькой полутонке.

11 часов 20 минут.

Перед сумерками, часов в 8, приносят телеграмму из Симферополя:

«Приказ Фолифорова отменить спецовку уезжающим комбайнерам оставить Збарский».

Вооружившись телеграммой, я немедленно вместе с Шапиро пустился на центральную. Но доехать удалось только до Ленининдорфа. За этой деревней, выстроенной в голой степи евреями-переселенцами, бежал широкий и быстрый поток. Все население, от мала до велика, сбежалось на берег. Кое-кто пытался цеплять вилами проплывающие мимо копны хлеба и сена. Долговязый парнишка в трусах забрался в воду по колено и весело кричал оттуда:

— Прибывает! Все время прибывает!

В общем пришлось заворачивать обратно.

На станцию вернулись как нельзя более кстати: у элеватора столкнулись с легковой машиной, а в ней директор Феодосийского Аникин и Збарский.

Спрашиваю:

— Ты откуда?

— Из Феодосийского.

— Как же ты телеграмму прислал из Симферополя?

— Какую?

Об'ясняю. Збарский смеется:

— Должно быть Клейман догадался послать. Молодец!

Узнавши, что в совхоз не проехать, он решил ограничиться телефонным звонком Горшкову. Я пересел к нему и пока добирались до почты, успел рассказать обо всем, что случилось за день. В ответ — сочувственный мат. Но и не только: после десятиминутного телефонного

об'яснения, добрая половина наших дел оказывается устроенной.

Он вешает трубку и улыбается, зубастый, курчавый, как негр:

— Ну вот... А ты плачешь!

Мы прощаемся с Аникиным и идем к эшелону. В конечном итоге все устраивается благополучно. Но уехать раньше 9—10 часов завтрашнего утра не удастся. Драгоценные ночные часы пропадут зря, а расплачиваться за них предстоит опять-таки нам. Каждую здешнюю задержку придется наверстывать в пути: мы должны быть в Казакстане через восемь дней, не позже 6 августа.

Это предельный срок, но Збарский смеется над ним:

— Брось ты хвастать! В две недели доедешь и то спасибо.

К вечеру станция стихает. Над дверьми вокзала зажигается желтый фонарь. Облупившийся перрон принимает тени тополей. Ущербная луна слепит сухие крыши; заслушавшись далеких всхлипований гармоники, она льет белую ртуть на трепетные рельсы. Круглятся на стрелках чуткие огни. Семафор пялит зеленый глаз.

Молчаливый состав комбайнов разрезает широкая тень водокачки. Вдоль свободных путей, далеко за перрон движутся гуляющие. Народу много, но все чинно, почти бесшумно. Журчат невнятные разговоры. Изредка всплеснется смешок или стыдливо взвизгнет девичий голос и опять все тихо.

Теплушку перегнали в самый конец состава, дверь ее отворена и луна освещает наваленные горой мотки веревок. Кошель сидит на полу, болтает в воздухе свешенными ногами и с завистью поглядывает на гуляющую молодежь.

— Нетреба, а Нетреба!.. Спишь? — взывает он.

— Что тебе? — отвечает из темноты вялый голос.

— Чего дрыхнешь попусту? Пользуйся случаем... Хороши здесь пташки. Смотри, постановочка какая, эх!

— А сам что не пользуешься? Или на тебя не польстится никакая? — позевывая, говорит Нетребов. — Ты, скажи на милость, зачем этого дерьма сюда навалил? На такой веревке удавиться и то нельзя... Все гнилые, только блох разводить. Я тебе по совести говорю, брось их под овраг.

— Ладно, спать мягче будет. Матрацев-то никто не заготовил.

— Да я лучше на кирпичах буду спать, чем на этих канатах! Смрад от них, как на свалке... У тебя видать на сто процентов чутье потеряно.

К теплушке подходят Курт и Збарский.

— Здесь помещаетесь? Хорошо!

— Вы почему в темноте? — спрашивает Курт. — Разве свечка догорела?

— Кабы я не экономил, давно бы догорела. Как поели, так сейчас же потушил. Что нам вшей давить, что ли? — развязно отвечает Кошель, но, разглядев, что позади Курта стоит Збарский, сразу меняет тон. — Вы, товарищ Збарский, к нам? Я сейчас! — Он суетится, перебрасывая веревки: — Вот у нас какой международный вагон...

— Ты огня зажги, пожрать чего-нибудь надо, — взбираясь в теплушку, говорит Курт. — Лезь сюда, сейчас сорганизуем ужин.

Пламя свечи борется с крутящейся пылью, оно освещает высокий некрашенный стол и целую гору мохнатых веревок, из-под которых чуть виднеются железные спинки коек. Кошель откуда-то из темноты извлекает стул:

— Вот два стула купил, а то бы и сидеть не на чем было. У нас в Каиндокумакском все уйдет... Садитесь, товарищ Збарский.

— У тебя удостоверение какое-нибудь имеется? — говорит Збарский, обращаясь к Курту.

— Конечно есть.

Он протягивает свой мандат. Склонившись над столом, уверенным почерком набрасывает Збарский несколько косых строчек.

— Я думаю достаточно? — поднимает он тяжелые ресницы и читает: «Товарищ Курт назначается начальником эшелона комбайнов, следующих из Крыма в Казакстан. Член правления Зернотреста Збарский».

— Отлично, — кивает Курт.

— Значит, ты у нас за главного? — восторженно спрашивает Нетребов.

Кошель молчит — он застыл, держа

одной руке банку бычков, в другой — нож.

— Ты о чем мечтаешь? — усмехается Курт и, взяв у него консервы, вскрывает жестянку.

Несколько минут проходит в молчании. Курт ест жадно. Збарский, поковыряв рыбу и дожевав хлеб, вытирает губы носовым платком. Позевывая, смотрит на браслетку:

— Мне до поезда осталось ровно три часа. Я у вас тут вздремну.

— Вот на эти веревки ложитесь, — оживляется Кошель, — как на перине уснете!

— Конечно, ложись, а я пойду на вокзал, — поднимаясь, говорит Курт.

Бункера стоят длинным строем; под луной они кажутся белыми — только темнеют красные полосы, и на хедерах застыли, как поднятые весла, планки мотовил. Курт идет медленно, оглядывает каждую машину. Впереди слышно легкое постукивание и лязг железа. На одном из комбайнов сонно торчит человеческая фигура.

— Ты чего тут? — окликает Курт.

Комбайнер поворачивает голову:

— Боязно, как бы чего не уперли.

В помещении вокзала на пыльной скамейке сидит Збарский. Вид у него подмосковный, дачный: через плечо перекинуто резиновое пальто.

— Ты откуда? — удивляется Курт.

— Блохи, — поеживаясь и поднимая отяжелевшие веки, говорит Збарский. — Я уж тут посижу.

В теплушке свет. Барашкевич из мешка вываливает на пол консервные банки. Кошель считает папиросы, раскладывая их стопками по десять пачек.

— Что же ты, хозяин, — упрекает он Барашкевича.

— Говядину для вас жарили... Нужно было все заготовить.

— Заготовить! — передразнивает Кошель. — Не завхоз ты, а баба. За тобой няньку надо посылать, где тебе самому хозяйством ведать...

— Да уж, конечно, не в Каиндокумакском.

— Ступайте с Нетребой на вокзал, там вас кассир ждет с деньгами для ребят, — говорит Курт. — Да, что б завтра же не было тут этого тряпья! Понял?.. Убрать веревки к чортовой матери!

29 июля.

Нет восьми, но уже жарко. Солнечный синий день, влажный песок на путях, — Крым!

После вчерашнего шума и оживления сегодня почти затишье. Все машины, за исключением одного хедера, застрявшего неизвестно где, погружены, и союзтрансовцы пререкаются под навесом со Свиридовым.

— Ты нам заплати за простой, а не агитируй! — кричит верзила в клетчатой кепке. — Мы из-за одной платформы не можем целый день терять, не дворяне.

Ребята, ползают вокруг своих комбайнов, но тоже не могут как следует приняться за работу — нет обтирочного тряпья. Только наиболее усердные отковыривают грязь с колес и заново подкручивают проволоку, которой увязаны машины. Несколько человек под руководством Нетребы укладывают кое-как брошенные грузчиками наклоны хедеров. Другие таскают распиленные пополам шпалы и подкладывают под рейки транспортных тележек, чтобы предохранить хедера от прогибов... В общем время проходит зря, в мелкой возне — правда, тоже нужной, но такой, что ее вполне можно было бы совместить со вчерашней погрузкой.

Уже сейчас видно, что раньше полудня отсюда не выберемся — нет пикапов и запчастей, не оборудована мастерская, не составлены акты...

Обнаружили пьяного — и это даже не комбайнер, а б р и г а д и р, тот самый Колесников, что явился вчера на станцию позже всех, на целый день оставив свою бригаду без призору.

Мы шли с Нетребой вдоль состава, проверяли, в каком порядке расположены голощекинские и каиндокумакские машины, и увидели его еще издали. Он двигался нам навстречу, разряженный не хуже Полюткина, в пиджаке, в манишке, с галстухом — и едва держался на ногах, цепляясь руками за платфор-

мы. Когда Нетреба окликнул его, он не в состоянии был ответить, только мычал, бессмысленно скаля зубы... И это на глазах у ребят, за несколько часов до от'езда, когда дорога каждая минута!

По-настоящему, за такой проступок следовало бы немедленно «списать на сушу». Но Нетреба вступился, говорит, что Колесников лучший бригадир шепелевской колонны, и мы решили его оставить, — с тем, чтобы на первом же общем собрании устроить нечто вроде показательного суда.

12 часов.

Пришел последний хедер. Но кто бы мог думать, какой ценой!

Тракторист честно доставил его до самой станции. Когда крикнули, чтоб под'езжал ближе, этот маленький сутулый паренек с удивленным детским лицом послушно развернул машину и заново подвел ее — точно обрезал. Но слезть с седла он уже не мог: попробовал и, как застреленный, сел в грязь, даже не пытаясь подняться.

Конечно сбежался народ, его повели к навесу, накормили, — вскоре он оправился. Вот его рассказ:

— Мени дождь в самом степу застав. Змок я скризь, а тут кажуть нельзя на Лениндорф проихать, дюже глыбко, мотор залье. Поихал я зараз кругом. Грязюка — во! — буксуе мой хартпар, та буксуе. Ночь заходе. От фары свету вовси нема. Шо будешь делать? Проихал я ще маленько — якийсь дядько иде. «Дозвольте, кажу, спытать, як мене до станции пробратися?» Вин зараз остановився, пытае: «С совхозу?» — «С совхозу». «Ой, хлопец, нема тоби тут дорози, буде тут балка, утопнешь в ей. Треба, каже об'ихаты — тут у переди сверток, так тим свертком». Ну ж, думаю, яки добри люди е на свите!.. Завернул, як вин казав — и думки не маю, що то за шкода... До той поры доиздился, забуксовал и трактор с места не иде. Бачу тогда яка така свертка — у болоти сижу! Злякався я. «Ну, кажу, смерть моя, треба тикать», — бо дюже холодно мокрому, не стерпеть. А як тут утичь? То ж куркуль — вернется, та вредительству яку зробит, трактор сламае. Так до свиту и прождав. Плачу, та сижу, та зубами ляскаю...

Босой, в мокром летнем комбинезоне, всю ночь караулил он свою машину и утром сумел-таки вывести ее обратно на дорогу! Он поехал прежним путем, убедился, что никакой балки нет и в помине, и выбрался на совхозную «американку» в пятнадцати километрах от Бнюка.

Паровоз заказан на четыре часа.

2 часа 30 минут.

Только что приезжали на станцию Ставренюк, Фолифоров и Муравьев. Они собирались провести с комбайнерами прощальный митинг, но побоялись тучи, опять нависшей со стороны усадьбы, и удрали. Единственная польза от их приезда: удалось окончательно оформить треугольник эшелона. Парторгом утвержден голощекинский бригадир Шандалов, профуполномоченным Золотонос.

С Фолифоровым я здорово поругался из-за огнетушителей, — симферопольцы, несмотря на вчерашние посулы Горшкова, так и зажулили их. Однако нам скоро надоело кричать, так что расстались мы довольно мирно. Прощаясь, я спросил:

— Сознайся хоть напоследок, ведь кончите через неделю?

— Еще бы не кончить, нам бы нужно тогда всем головы поотрывать.

4 часа.

Все готово. Погружены остатние запчасти, заготовлены накладные. Даже приемо-сдаточные акты подписаны, — хотя за недостатком времени и пришлось отказаться от подробных описей на каждую машину, ограничившись общим перечнем наиболее типичных поломок и неисправностей.

Итого на погрузку затрачено 34 часа. Часть нужно сбросить на осложнения и задержки, вызванные ненастьем. Но все же это вдвое больше, чем требовалось. При мало-мальски сносной организации мы могли бы выехать еще ночью, уместившись в 15—20 часов. План, план и

план!.. Правда, другие совхозы учтут наш опыт — моя информация Зернотресту была для этого достаточно подробной. Но для нас это плохое утешение, ведь Казакстан не ждет.

Если бы только удалось добраться за восемь суток!

Пришел паровоз — безобразно толстый, похожий на гусеницу «Ф».

Зачищаем последние хвосты. Грузчики заново перекладывают тросы от сцепок. Барашкевич сдает Золотоносу и Перепелице мешки, привезенные вместо постельников. Ходят смазчики, осматривая буксы. Ребята развешивают лозунги на пульмане и на нашей штабной теплушке.

Нетреба тем временем наряжает первый караул — бригаду Шандалова.

Ребята деловито, точно им действительно предстоит большая пальба, разбирают винтовки, клацают затворами. Каждый получает по два патрона. Потом Нетреба инструктирует самого Шандалова.

Тот говорит:

— Ладно, и так запомнил.

Он в выутюженных суконных брюках, в синей блузе, расстегнутой вроде пиджака, с галстуком-бабочкой на смятом воротничке. Лицо у него снисходительное и опытное, словно он хочет сообщить: «Эх, и много же я их, девок этих, перепортил, страх сказать!»

Москва Зернотрест
Уборочная группа.

Отбыли Биюка 17 часов двадцать девятого тчк. Джанкое должны соединиться двумя комбайнами отгруженными Феодосийским сопровождении каиндокумакского инструктора Ярышева Курт.

Хриплый паровозный гудок ложится грубо и неуверенно. Никому не верится, что сейчас поедут окончательно. Но вот лязгают буфера и, слегка попятившись, теплушка дергается, — медленно ползут мимо потные головы провожающих.

— Не поминайте лихом! — распуская толстые губы, говорит Шапиро и лицо его плывет в счастливой улыбке: избавился!

— Поехали! — облегченно вздыхает Курт, провожая глазами красную башню водокачки.

В стуке колес нарастает уже новый ритм, он мотает и трясет теплушку, гонит навстречу степи, раскинутые, как крылья парящей птицы. Обе двери в теплушке отодвинуты. Поперек поставлен высокий стол. В каждой половине помещается по три железных койки, прикрытых голыми досками. На косо запавших полках громоздятся буханки хлеба, перекатываются консервы. Несмотря на бодрый ход, воздух висит неподвижно.

Нетребов садится на стул, кряхтя стаскивает свои желтые сапоги.

— Ты что, спать? — спрашивает Курт.

— Нет, ноги малость замокли! — весело откликается Нетребов, стряхивая отяжелевшие портянки.

Кошель развертывает постель. У него и подстилка ватная, и одеяло, и даже, хоть грязные, но все же простыни. Нетребов советует:

— Брось суетиться, смотри на кого похож, запарился совсем. Отдохни, Кошелка!

— Вот готово, теперь можно и отдыхать! — говорит Кошель, прямо в ботинках заваливаясь на одеяло, — ух, взопрел!..

Не проходит и минуты, как он снова приподнимается, охая стягивает рубашку, растегивается.

— Ты что, как Адам в раю хочешь ходить, — усмехается Нетребов, закладывая под голову руки. — Вот это действительно — лапти вон и ноги кверху...

Гладкое, покрасневшее брюшко колышется. Кошель, как новорожденного младенца, осыпает себя пудрой. Коробка с изображением красавицы дымится белой пыльцой.

— Мне без этого никак невозможно, — серьезно с задушевной грустью говорит Кошель, — все преет начисто и кожа слезает. Только присыпаниями спасаюсь.

— Это от похабных мыслей у тебя, — задумчиво утверждает Нетребов.

Теплушку мотает, раскачивает, косые лучи солнца пронзают ее навылет. Впереди и сзади идут, как флагами украшенные красной оторочкой, подрагивающие оливеры. Хедера плотно прилег-

ли к платформам. Одутловатый паровоз пыхтит и отчаянно накручивает километры.

Тяжеловесный пульман вздрагивает. Над отодвинутой дверью бьется лента развернутого плаката.

Поперек, от одной двери к другой, так же как в теплушке, тянется стол. Койки теснятся и уходят в темную глубь вагона, ребята прилаживают к ним доски. Кое-кто уже обуютился и блаженно растянулся отдохнуть. У самой двери сидит побледневший Колесников. На нем опять старый комбинезон. Он медленно разглаживает на подушке свой пострадавший костюм.

— Спортив нову одежину, — говорит он, с сожалением качая головой.

— Не грусти, дяденька! — подмигивает Демин, с поджатыми ногами усевшийся на соседнюю койку. — В Джанкое опохмелимся.

— Ни, больше пить не буду, — хмуро отвечает Колесников.

Он выдвигает из-под кровати крепко слаженный сундучок, отперев его, аккуратно прячет костюм и опять сидит, уставившись куда-то осунувшимся взглядом.

— Сам нализался, а нет того, чтобы другу поднести, скупой пес! Сундук-то полон накопил... Он у нас, братва, жених с приданым! — не унимается Демин.

— Оставь его, — вмешивается Лубинец, комбайнер из бригады Шандалова, — все же страдает человек с давешнего.

В Джанкое эшелон принимают на третий путь: комбайны отрезаны от станции молчаливым товарным составом. Коренастый маневровый паровозишко, подхватив две платформы с комбайном и хедером, бегом тащит их на проверку габарита.

Кошель, на ходу подтягивая ременный пояс, торопится поспеть за Куртом. Они сталкиваются с железнодорожным начальством. Тут молодой инженер-татарин, начальник движения района и начальник станции.

— Думаю, габарит выдержит, — дружелюбно кивает форменная фуражка начальника.

— А вот посмотрим, что проверка покажет, — говорит затянутый в морской китель инженер, показывая на хедер. — Вот эта штука меня смущает...

— А как Феодосийский эшелон? Далеко?.. Нам с него два комбайна причитаются! — волнуется Кошель.

— Нет, его не дождетесь. Часов через шесть или семь не раньше прибудет. А вас мы через двадцать минут отправим.

— Как же наш Ярышев?

— Не дурак твой Ярышев, с феодосийцами доедет! Что ж нам действительно из-за двух машин полсуток стоять? — пожимает плечами Курт.

Дотронувшись пальцем до горизонтальной планки мотовила, начальник движения глубокомысленно шевелит бровями:

— Вот эти крылья торчат, как бы они не помешали...

Курт, улыбаясь, слегка поворачивает мотовило. Планка опускается, вторая еще не дошла и поперечный габарит сразу сократился.

— Только и всего.

— Задача вроде колумбова яйца! — соглашается инженер. — Только привязать крепче придется, чтоб не моталась.

Из-под вагона выныривает засаленный железнодорожник.

— Прошли безо всякого, — докладывает он.

— Чаю успеем выпить? — спрашивает подоспевший Нетребов.

— Да, минут пятнадцать осталось еще

— Пошли скорей, — торопит Курт.

Вместе с Кошелем и Нетребовым он направляется к буфету.

Рыжий Золотонос бежит запыхавшись. Его забрызганное веснушками лицо раскраснелось, мигая розовыми ресницами, он кричит:

— Товарищ начальник!.. Вас спрашивают!

— Кто спрашивает?.. Где?..

— Там скорый подошел, из мягкого вагона... Курта, говорит, мне немедленно позовите.

У вагона Збарский в белоснежной косоворотке, улыбающийся.

— Ты откуда взялся? — изумляется Курт.

— Что ж мне в Симферополе сидеть? Пора в Харьков. Видишь, как раз и

встретились. Как у тебя дела? Все благополучно?..

— Сейчас вслед за скорым пойдем. В Харькове распорядись, чтобы нам обед приготовили. Потом хорошо бы для ребят папирос подешевле устроить, нас в Симферепольском только дорогими снабдили.

— Хорошо, обязательно! Пройдем сюда поближе, — говорит Збарский, влезая на ступеньку, — второй звонок уже. Извещай меня в Харьков, как продвигаетесь... А с папиросами и обедом, лучше всего сейчас же нашему уполномоченному телеграмму отправь, от моего имени.

— Есть! — кивает Курт.

Вагон мягко снимается с места.

— Не застревайте! — кричит Збарский. — Чтоб через две недели доехать!

Наплывают сумерки, темнеет Крымский полуостров.

Издалека набегают валы вечернего моря. Там за серым расплывчатым горизонтом в глухих трюмах судов качается симферопольское зерно.

Над соленой глубиной, над взволнованной пеной прибоя, над плечами горных вершин поднимается и повисает ущербная, желтая луна. Она гонит смятенные тени, и сумерки прячутся, западают смрадным Сивашом, стынут недвижной скользкой поверхностью. И тревожные, как отголоски двадцатого года, набегают ветры. Под напором двенадцати баллов снова уходит в море коричневая, гнилая вода, затаив дыхание, широко и бесшумно шагает через Сиваш история великого боя. Тяжелый серный запах клубится призраками, но Крым чист и плодороден. И растянув под луной квадратные башни, над покоем густой воды победно громыхает состав неведомых орудий.

Ночь качается над бункерами, в грохоте перепуганных колес сплетает пролеты Чонгарского моста...

Утро приходит сразу — вместе с солнцем, с серебряной дрожью тополей, с чистым перроном Мелитополя. Обрызганные росой открываются припухлости абрикосов, пушистые щеки персиков. Над полными корзинами склоняются нечесанные головы комбайнеров. Карманы замасленных комбинезонов отдуваются.

— Тетенька, почем за ведро?

— В кепку сыпь!

— Вишня-то! Вишня! — захлебывается Золотонос.

Фрукты сманили и караульных — дивятся торговки на вооруженных парней, проворно шнырящих по станционному базару: винтовка за плечами и полный картуз смуглых, глянцевитых вишен.

Кошель взарез торгует полное ведро абрикосов.

— Обдираловка! — кричит он. — Что тут, и десяти килограммов не потянет.

— Як надо — купуй, а як не треба, иди соби... Чего причепився? — машет на него руками дородная хозяйка.

У состава собираются любопытные. Напомаженный голенастый Шандалов поясняет назначение машины, отвечает на вопросы.

Почесывая седой затылок, вылезает вперед согбенный хлебороб, осторожно осведомляется:

— Шо ж вона и вязать може?

— Чего вязать-то дедушка? — криво усмехается Шандлов. — Ведь это комбайн!

Он останавливает бегущего мимо приятеля:

— Пенов, чего купил, дай-ка сюда!

Остроносый, с чубом расчесанных кудрей на лбу Пенов сует пару крупных персиков.

— Комбайн чистое зерно дает, — продолжает Шандалов. — Вон, видишь, вышка, башня-то самая — бункер называется. Прямо в этот бак идет очищенное зерно. А это жнейка, режет и подает в молотильный барабан.

— Ловко!

— А скольки вона за день сможе убрать?..

— В среднем, сказать, два гектара в час делает, — и Шандалов победоносно закусывает сразу половину персика.

— А шо це вони таки грязны? — тыча пальцем, дивится подошедший парень.

Грозно наваливается внезапный гудок. В смятении, как всполошенные куры, разбегаются стоявшие на полотне слушатели, и, грохоча огненной одышкой, на миг прерывая импровизированную лекцию, вкатывает на соседний

путь курортный, стремящийся к морю поезд.

В открытых окнах теснятся головы пассажиров и тотчас же из всех вагонов высыпает разношерстный люд. Среди слушателей появляются белые, жадно закинутые к солнцу лица. Веселые обитатели жестких вагонов, вооруженные чайниками, сразу забывают о кипятке. Они скопом напирают на Шандалова, наперебой задают вопрос за вопросом:

— Что это за машины?

— Куда везете?

— Сколько гектаров могут убрать в сутки?

— Как называется вон та красная фиговина?

На помощь парторгу приходит Курт.

— Комбайны перебрасываются из Крыма в Казахстан, — поясняет он. — Хлеб в Казахстане поспевает позднее, значит нужно этим воспользоваться и убрать его теми машинами, что освободились на юге...

Неожиданно и тревожно раскалывается двойной удар колокола.

Народ, как отходящая волна, возвращается к поезду. Там на верхних полках и под скамьями втиснуты чемоданы, баулы, корзинки, — среди белья и легких блузок таятся в них трусы, купальные костюмы, мохнатые, готовые обнять намокшие плечи полотенца.

— Это уже юг? Правда? — по-детски раскрывается чей-то грудной голос.

А завтра — нетерпеливо к морю, на соленый пляж Евпатории, Ялты, Алупки, вплотную к неузнаваемым, коричневым, — опуститься на раскаленный песок, среди диких одетых в загар людей, всем своим еще застенчивым и бледным, как подземные ростки, телом...

30 и ю л я.

Ночь отрубила нас от прошлого — от того, чем жили мы последние дни. Бесконечные ожидания в Симферопольском, тревоги, хлопоты и споры, пестрая и утомительная суета погрузки — все это было и все это уже никогда не повторится. Начинается новое: д о р о г а. Что ждет нас сегодня? Где встретим мы завтрашнее утро? Какими печалями и радостями обернутся для нас три с половиной тысячи километров, протянувшиеся от Бинюка до Тогузака?

Придет время, и все это мы узнаем, увидим — и втиснем в жесткий распорядок плана, и наработаемся вдоволь, и уж конечно пошумим. Отличное дело!. Но это потом. А сейчас все впереди, неизвестное, неиспытанное — и такая счастливая легкость в теле, точно тебе семнадцать лет.

Двери нашей теплушки раздвинуты настежь. С обеих сторон бегут поля. Дымит среди желтых ометов соломы труба паровой молотилки. Малютка-Фордзон тащит пять можар, высоко нагруженных снопами. У самого полотна работают пестро одетые бабы, складывают в копны скошенный лобогрейками хлеб — и, оборачиваясь к нам, размахивая руками, кричат непонятно что...

Чтобы подготовиться к назначенному на вечер общему собранию, я созвал наш комсостав. Прежде всего нужно было организовать самый эшелон: во избежание обезлички сохранить деление на голощекинцев-каиндокумакцев и в то же время извлечь все выгоды от объединения их. Для этого мы приравняли эшелон к батальону, колонны — к ротам, а бригады — к взводам. «Роты» сохраняют полную независимость друг от друга, подчиняясь своим командирам Кошелю и Нетребову, в распоряжение которых попадают «комвзводы» Золотонос, Колесников и Шандалов. Вместе с тем каждый несет нагрузку и в «батальонном» масштабе: Нетребе поручается караульная служба по всему эшелону, Кошелю все хозяйственные дела и переговоры с ж.-д. начальством, Шандалову и Золотоносу — массовая работа. За мной как за «комбатом» остается общее руководство.

Покончив с распределением обязанностей, наметили «устав» для караула, выработали краткие правила внутреннего распорядка и, наконец, установили предварительный план работ: завтра и послезавтра обтирка, а затем постепенный переход к ремонту.

Темнеют сплошные бока товарных вагонов. Станция опять где-то за составами. Оттуда встает зарево огней. На

путях перекликаются короткие гудки. В конце эшелона, вплотную к земле, запал фонарь, он поднимается и, раскачиваясь, плывет к следующей оси. Равнодушный смазчик пахнет мазутом, его брезентовая фигура движется размеренно и спокойно.

— Сейчас отправляем, — сурово отвечает он караульному.

Теплушка закрыта и закручена проволокой. Кошель, Курт и Нетребов направляются к пульману; там тусклый мигающий свет.

В полумрак и тишину, к столу, где сидит над книгой чернобровый зеленоглазый Штоль, пачками вкатываются вернувшиеся со станции ребята. Над столом склоняются веселые лица комбайнеров. Они теснят друг друга, пытаясь продвинуться ближе к свету, и оттертый от фонаря Штоль со вздохом закрывает книгу. Пенов втыкает в намасленный чуб безукоризненную роговую расческу, внимательно рассматривает только что купленную бритву — дышит на зеркальное лезвие и пробует скоблить свою волосатую руку.

— Что, хороша?

— Всего накупили ребята! — с мальчишеским любопытством пробивается посмотреть Нетребов.

Светится рыжий пух на слащавом лице Золотоноса. Он поскрипывает упрямой кожей нового бумажника. Звонарев с детской радостью примеряет коричневый переплетик к своему комсомольскому билету. На ближайшей койке расположился, с пахнущим свежей краской фанерным чемоданом угрюмый Приб.

— Братва на последние гроши бумажников накупила! — ухмыляется Демин. — Насчет Казакстана наживаться собираетесь?

— Сам-то ты чего купил? — спрашивает Звонарев.

— Я-то, парень, о душе больше всего забочусь, — презрительно говорит Демин. И пошарив в карманах своего широкозадого комбинезона, он с торжеством вытаскивает запечатанную колоду карт. — Гадать буду на судьбу: если кто о женитьбе сомневается, ко мне обращайтесь, утешу за целковый... Ну, и конечно очко поставим на должную высоту, — подмигивает он, — глядишь, оберу ваши бумажнички.

— Это ты дураков поищи, с тобой играть!..

— На деньги не будете, в козла сыграем на щелчки. Я знаешь, как щелкану, света не взвидишь!

Курт громко стучит по столу карандашом.

— Начнем, товарищи! — кричит он.— Время позднее... Считаю собрание открытым. Я сейчас скажу кое-что по общим вопросам. Прежде всего — ремонт...

Свеча в фонаре дрожит, расплывается, ее щуплого света не хватает на огромный вагон. Пульман стоит во главе состава. За стеной лязгают буфера. Прицепляют паровоз.

Внезапный и резкий толчок прерывает Курта.

Рвануло сразу, с такой силой, что ребята валятся друг на друга. В глубине вагона дико стонет разбивший лоб Котенков.

— Эх, как, — весело ржет Демин и, оборачиваясь в конец вагона, кричит:— Вот тебя, парень, без козла щелкануло!..

Вагон грохочет. Приходится напрягать голос до крика. За дверью проходят огни, мелькает последняя будка и раскрывается сплошная звездная ночь.

Курт стоит, опершись широкими ладонями о стол. Его плечи мерно покачиваются над мелкой жестяной дрожью фонаря, поднята бритая голова и под растрепанными бровями ничем непримечательного лица остро перебегает внимательный взор. В дверях на черном ночном фоне вырисовывается лохматая голова комбайнера. Он, свесив ноги, сидит на самом краю, и Курт, продолжая говорить, тревожно косится в его сторону:

«Сорвется, стервец...»

На предложение высказываться, первым подает голос Котенков. Он стоит, подняв огромный козырек мятой кепки, почесывает ушибленный лоб.

— Это зачем же обтирать его нужно? — недовольно спрашивает он. — Или еще, вы говорите, колеса должны быть очищены от грязи. Мы ведь не на парад комбайны везем, опять в борозду

ставить... Так что внешний вид, я думаю, значения не имеет.

— А это тебе не парад? — нападает Шандалов. — Через весь Союз машину везешь! Митинги устраиваем, поясняем значение комбайна для страны, а он, этот самый комбайн, на платформе стоит, как свинья грязный... Да и тебе какая цена, если ты за своей машиной ходить не умеешь?

— Правильно! — гудят голоса из темноты.

— Надо, чтоб, как во флоте, до блеска, вот вопрос! Потому что, не что нибудь, а на штурм полей едем, — сверкая маленькими антрацитовыми глазками, кричит сидящий у стола Лубенец.

Свечка в фонаре совсем заплыла, при каждом толчке все шире расползается растопленный стеарин. Еще и еще встают из темноты молодые голоса: одни солидно и рассудительно, другие развязно.

— Почему вот, если два чупиковца,— обиженно кривит извилистые губы Сергеев, — я, скажем, и Герман...

— Да ты громче, — перебивает его Нетребов, — кричи смелее!

— Два чупиковца, говорю! В Симферопольском совхозе мы на одном комбайне работали, посменно, я, например, и Герман... Содержали свою машину, что надо. А теперь нас обоих послали в Казакстан, ему наш, как новенький шестой номер достался, а мне дрянь дали, который у студента был, весь загаженный. Какая же мне теперь охота его отчищать?..

— Брось, парень, — энергично двигая челюстью, вступается Пенов. — Меня тоже, посмотри, на какую лахудру поставили, а я не плачу! Если взяться как следует, лучше чем у Германа сделаешь.

Долговязый Курковский просит слова и подробно начинает перечислять все недостатки своего комбайна. Курт прерывает его:

— Ты сейчас погоди, обо всем этом доложишь своему бригадиру. Завтра специально разберемся. А пока нужно еще успеть о карауле... Вали Нетреба!

Браво и громогласно Нетребов отчеканивает:

— Устав караульной службы состоит...

Его прямые соломенные волосы откинуты назад и за каждым словом проглядывает еще так недавно пережитая и навсегда полюбившаяся военная служба.

— Только ты без особых подробностей, — вставляет Курт, — на сегодня самое основное давай.

Когда беседа закончена, он спрашивает:

— А Кошель куда девался?.. Ведь только сейчас здесь был?

— Он еще на том, на первом разъезде после Лозовой соскочил, — поясняет Шандалов.

— Жаль... Я хотел, чтоб он по хозяйственным вопросам высказался. Нужно нам организовать какой-то порядок. Пусть каждая бригада выберет раздатчика, чтоб он один приходил получать продукты, папиросы и так далее, а то каждый по отдельности идет. Им же выдадим для всех командировочные удостоверения.

— Зачем они нам, бумаженки-то? — усмехается Демин, — разве, что с помидоров да огурцов кого проймет очень, тогда понадобится.

— Ну, это не скажи! — авторитетно отвечает Золотонос. — А что если где-нибудь на остановке отстанешь? Тебя без документа моментально заберут.

— Да, ребята, имейте в виду, не отставать! А если будет такое дело, являйтесь с этим удостоверением к дежурному, он вас на пассажирском устроит.

— Вот лафа! — подхихикивает Демин. — Где-нибудь на природе можно пропустить пол-литровку, а потом проспался и на скором догоняй бесплатно.

— О пьянстве у нас особый вопрос, товарищи, — говорит Курт. — В пути один разговор: каждого пьяного я буду немедленно сдавать в ГПУ. Запомните хорошенько.

Демин лениво почесывается и сквозь позевоту равнодушно дивится:

— Где же и пить, как не в дороге?..

Ребята заметно устали. Приб лег на койку и повернул к столу сутулую спину.

— Последний вопрос, товарищи! — кричит Курт. — Мы должны поговорить о Колесникове, который оказался пья-

ным на погрузке. Может быть ты нам сам расскажешь, что об этом думаешь?

— Он у нас тут весь пол в вагоне облевал, — весело подхватывает Демин.

Колесников виновато приподнимается и робким голосом рассказывает:

— Тай не знаю, як це случилось. Я никогда не пив раньше, уси скажут. И тут тильки одну чарку... А все через Шепелева, он мини унизив... Всегда чепае! Я торопився на погрузку, а вин нарочито задержав, — уже уси хлопцы на машине пов'езжали, а меня пришлось на тракторе йихать, ось, как горько було!.. На Биюке свата встретив. Вин каже: «Ты бригадир, а чего же после усих йидешь?» Мени так узяло за сердце, не стерпив, выпив чарку, шо сват предложив... Каже: «выпей, усе пройде».

Всем становится неловко.

— Значит, даешь слово не пить больше? — потупившись, спрашивает Курт.

— Я до цего не пив, а теперь и не гляну на нее... Як вспомню, яка вона гирька, тошно стане. Як пив, думав справду полегчае, а бачь шо вышло...

Вспыхивают и плывут огни, шипят тормоза.

— Давай до дому! — трясет Курт задремавшего Нетребова.

— В теплушке лишнее место имеется, нельзя ли туда Пенова перевести? — спрашивает Шандалов. — Он у нас без койки остался.

— Конечно, какой разговор.

— Я только за барахлом слетаю, оно у меня на комбайне, в бункере, — весело говорит Пенов.

Под ногами скрипят мелкие камешки, пахнет мазутом. Звезды заметно побледнели.

— Эти ребята, Пенов и Лубинец, оба дважды премированные — первый раз еще на курсах, а потом на уборке за перевыполнение норм, — оживленно рассказывает Шандалов.

31 июля.

Харьков позади — сворачиваем на восток. Мокрые жнивья, осклизлые дороги, ветер. Дождя уже нет, разорванные тучи быстро несутся над самой землей.

В половине седьмого на станции Рогань выдали консервы и хлеб; «взводные» раздатчики приходят к нам, как в каптерку. Караульные сдают винтовки, и Нетреба ругает их всех по очереди за плохую службу: он только что поймал пацана, спавшего в приемнике одного из комбайнов, да еще три зайца слезли сами с дальней площадки.

Через остановку все разбредаются по платформам.

Я тоже лезу на ближайший тормоз: сейчас решится, можно ли вообще работать на ходу.

Поезд идет под уклон, платформу раскачивает. Вдоль нее громоздкий оцинкованный корпус молотилки умещается довольно свободно — по концам остается пространство метра в полтора. Но зато поперек — в обрез: между бортами и боком комбайна едва-едва можно пробраться плашмя. А между тем обтирку и ремонт нужно начинать именно сбоку, где больше всего грязи и где расположены шестерни и зубчатки, с натянутыми на них цепными передачами... Нужно быть циркачом, чтобы работать в таких условиях!

Комбайнер, которому предстоит сдавать экзамен на акробата, возится тем временем с инструментом. Он расстелил в уголку свой рваный засаленный пиджак и раскладывает на нем ключи, молотки, отвертки. Я помню его по вчерашнему собранию, — прикидывая кого из комбайнеров можно включить в ударное ядро эшелона, я остановился на нем чуть не в первую очередь. Это молчаливый, внимательный парень из крымских немцев, по фамилии Штоль. Вчера в Лозовой, пока остальные хвастались покупками, он, пристроившись к фонарю, читал отлично изданную книгу, памятную мне с детства — «Маленькие дикари».

Я слежу за его медлительными, аккуратными движениями. Он снимает с головы кепку и опускает в нее пригоршню гаек, заклепок и прочей мелочи. Затем поворачивает ко мне бровастое лицо с умными желто-зелеными глазами и говорит:

— Обтирать нечем.

— Как нечем?

— Тряпья нет. Инструктор сказал, забыли погрузить.

Сразу вспоминается Барашкевич, его

загорелая, окаймленная редким пухом лысина, путаница, которую он создал на погрузке... А я так и не проверил, доставил ли он в конце концов обтирочный материал!

Как же теперь быть?

— Цепями придется пока что заняться, — говорит Штоль.

Новеньким перочинным ножом он откалывает от обрезка доски несколько лучин, поразмыслив, отдирает от пиджака кусок подкладки и, спокойно ступая грязными босыми ногами, пробирается между бортом и комбайном.

Платформу шатает, проволока, которой увязана машина, поскрипывает. Штоль держится одной рукой за проволоку. В другой у него лучина, он принимается соскребывать ею с шестеренки густую грязь, — масло, смешанное с пылью и затвердевшее, как замазка. Движения его попрежнему аккуратны, неторопливы... Он берет лучину в зубы и начисто протирает очищенную шестерню тряпицей. Нет, этот не сорвется!

Я по буферам перебираюсь на следующую платформу. Идут подряд три хедера — здесь никого нет. Зато на четвертой платформе я застаю Золотоноса. Разглядывая продырявленный грохот, он говорит комбайнеру:

— Нужно заплатку... Снеси вечером в мастерскую, там сделают.

— Где Нетреба? — спрашиваю я.

Он лаконически отвечает:

— Не видел.

Поезд останавливается и избавляет меня от дальнейшего путешествия по буферам. Нетребу я нахожу в самом хвосте. Он подтверждает, что тряпье действительно не погружено, и мы решаем пустить на обтирку часть мешков, выданных вместо постельников; другого выхода нет.

Затем мы идем в теплушку-мастерскую.

Здесь темновато и тесно от раскрытых ящиков с запчастями и двух коек, на которых спят голощекинские слесаря. К остаткам наполовину разобранных нар прикреплены тисы. Ближе к стене тщательно рассортирован инструмент. Вдоль всего вагона тянется похожий на водосточную трубу зерновой элеватор, смятый и согнутый точно его жевали: это передовой комбайн зацепился за протянутый через улицу Биюка электропровод и искалечился прежде чем оборвать его и очистить дорогу остальным.

— Ну, как же нам его чинить? — удрученно спрашивает один из слесарей, высокий, молодой парень в комбинезоне. — Нужно карцы менять, доску новую ставить, а пусть бы хоть рубанок был или пила... Ножом строгать, что ли?

Столярный инструмент действительно отсутствует, хотя набор его и был включен в список наравне с тряпьем.

Опять и опять симферопольская подготовка!..

12 часов.

Идем все время вслед дождю, мокрыми безлюдными полями. Ветрено. Однообразные меловые холмы провожают нас. Овраги, пески, лозняк вдоль линии... Дядько, бросая лошадей, слезает с далекой подводы, размахивая кнутом, бежит к нам — смотреть. Он останавливается у самой насыпи, задирает голову и кричит:

— Куда везе-е-те-е?

В Валуйках удается организовать обед. Усатый начальник станции предупредительно помогает нам — суетится, бегает на кухню. Официантки в грязных халатах носятся, как угорелые, огрызаясь на прочих пассажиров:

— Видишь — военный эшелон!

Не хватает ложек, хлеба; из-за этого одновременно могут обедать не больше пятнадцати человек. Остальные облепили буфет, жадно хватают из рук буфетчицы бутылки с квасом, уходят нагруженные пряниками, огурцами, крошечными не больше кулака дыньками...

В три часа возобновляем работу.

Сейчас уже хорошо можно разобрать, как неровно продвигается обтирка. Штоль, наравне с другими получивший целый мешок, уже покончил с одной стороной, вернув оцинкованному железу кузова первоначальную искристую голубизну, и надраивает другую, — а на соседнем комбайне до сих пор не обита даже грязь на колесах... Таких как Штоль мало, нерях же — сколько угодно. И все-таки — отлично! Главное

большинство ребят освоилось с теснотой и чувствует себя в узких междугалках не хуже чем где-нибудь в благоустроенном гараже. Блеск!

Я бы, пожалуй, и вовсе успокоился за судьбу ремонта, если бы не случай с комбайнером колесниковской бригады Деминым.

Он тоже запомнился со вчерашнего собрания. Мне показались подозрительно-навязчивыми его остроты и неприкрытое стремление потешать товарищей. Такие добровольные шуты попадаются чуть ли не в каждой артели, бригаде или красноармейской части, — словом, везде, где соберется десятка три здоровых и любящих похохотать парней. Они неизменно пользуются популярностью, изредка даже полезны, но чаще всего — вредны.

В остальном Демин мог бы произвести довольно хорошее впечатление. Я думаю, какой-нибудь ретивый художник с удовольствием изобразил бы его на картине, озаглавленной «Тракторист» — белобрысого, в лихо сбитой набекрень фуражке, в сетке на голое тело, с обильной татуировкой: на руках женские имена и боксеры в трусах, а на груди — огромный колесный трактор и кривые буквы «и н т е р».

Когда я перебрался к нему на платформу, он лежал на брюхе, подперев кулаками угрястое лицо, поплевывая через борт. Рядом валялся изгаженный мешок. Видно он, скомкав его, так и возил по залитому маслом кузову. Комбайн с крупной надписью «Демин» на бункере был грязен как ассенизационная бочка.

Увидев меня, он сел, поджал ноги и стал вертеть папиросу. Затем начался следующий разговор:

— Сидишь, сынок?

— Сижу.

— А работать, например, кто будет? Дядя?

— Пускай хоть и дядя.

— А денежки тебе?

— А денежки мне.

Он говорил лениво и снисходительно, с вызовом поглядывая на меня, — затевалось симпатичное дельце! Я переменил тон и сказал как можно суше:

— Погляди, что ты с мешком сделал. Не мог на куски разрезать?

— Другой выдадите.

— Другого мы тебе, товарищ Демин, не выдадим... И добро бы хоть комбайн чище у тебя стал! Разве это обтирка?

Тут он вскочил на ноги и заорал:

— А ты что мне указываешь? Я сам всю весну бригадиром был, другим инструкции давал!

— Плохо, сынок, давал.

— Да уже получше тебя! Ты куда меня посылаешь? Голову ломать? Сынок!.. Дураков нету — ты сначала сам полезай.

Словом, случилось именно то, чего я боялся весь день. Конечно, этот парень не обязан рисковать, но я никогда не поверю, что он трусит, это буза. Если не оборвать его сейчас, назавтра забузит еще десяток человек. Вместо колонны работоспособных машин мы привезем в Казакстан изломанный в доску ассенизационный обоз... Разрешите, товарищ Курт, поблагодарить вас на этом!

Я сажусь на борт и думаю: в конце концов на фронте рисковали большим, — а как поступали тогда с дезертирами? Демин тоже дезертир и стало быть враг. Вот он сидит — татуированный, угрястый, с щелками вместо глаз, с белыми, пыльными какими-то ресницами... Как одолеть его? Взяться самому за тряпку?.. Это было бы слишком дешево, да и все равно не поможет — разве прошибешь такого? Нужно иначе.

Большое село, обернувшись задами к железной дороге, рассыпалось по гребню длинного холма. Под холмом в неестественно зеленой низине вьется черная никелированная на изгибах речка. Вдали, за поворотом — башня водокачки.

Остановимся мы здесь или пройдем «на проход»?

— Папаша, — ворчит Демин, — подумаешь...

Мы гремим по мосту, поезд, подтягиваясь, ползет мимо пакгаузов и крашеных станционных домиков. Паровоз подгадывает к колонке — значит будет брать воду, остановка по крайней мере на десять минут.

— Пойдем, — говорю я, спрыгивая наземь.

Демин спрыгивает тоже. Он не понимает, в чем дело, и тревожно озирается.

по сторонам. Перед нами как бы поставлен на ладонь грязный, с черными подтеками корпус молотилки. Срамота! Я нарочно долго разглядываю его, потом говорю:

— Хорош... И расписался ты на нем кстати. По крайней мере все будут знать чей.

Демин не отвечает. Мы идем вдоль состава очень долго, потому что состав растянулся больше чем на полкилометра. Паровоз уже управился: слышен гудок, и мы едва успеваем взобраться на платформу Штоля.

— Видишь? — опрашиваю я.

Комбайн белеет и искрится, как новенький. Штоль растянулся наверху у штурвала и, свешиваясь вниз, очищает от грязи последние шестерни.

Демин хмуро отворачивается.

— Разве мой ототрешь? — говорит он. — У него весь бок в масле, его бензином нужно... Сами бензином запрещаете!

— А почему Штоль без бензина? Ты вон бригадиром был, а он не был.

— Захочу, так мой еще чище будет.

— Захочу!.. Может на коленки перед тобой стать, захоти пожалуйста?

Демин сразу наливается кровью и свирепеет — это точно накатывает на него.

— Ты меня не задирай, — кричит он, матерясь, — что я тебе, нищий что ли?.. Ты меня другими не тычь, я не таких положил... Ударники!

Он лезет на буфера и ловко пересигивает на соседнюю платформу, кричит оттуда еще раз:

— Ударники, так-распротак... Ногтя моего не стоите!

Ночь, ст. Острогожск.

Только что вернулся с собрания.

На этот раз обошлось без деминских острот, — он вместе со всей бригадой Колесникова в наряде. Зато отыскался достойный заместитель — Котенков из кошелевой «роты».

Этот подросток в глубокой не по голове кепке с измятым козырьком затеял длинное препирательство по поводу караула:

— Путаете вы нас, путаете, а зачем сами не знаете. Ну что тут караулить? Хедер унесут, что ли? А нам из-за этого ночи не спать...

Его поддержали человека три. Нетребов отлично справился с ними, так что мне даже не пришлось выступать. Но список бузотеров все растет...

1 августа.

Третий день пути. Мы насквозь прорезали Крым, оставили за собой Украину и давно пробираемся степями ЦЧО. Но все те же нивы плывут нам навстречу. Они светлеют до самого горизонта, вздымаются по склонам холмов, сбегают в лощины. Их не отличить одну от другой. Границы районов стерты сплошными массивами пашен. Повсюду, куда не взглянешь, распростираются эти одинаковые, не знающие межей поля.

Подсолнечник в полном цвету, озимые скошены. Яровые доходят и кое-где принимаются уже и за них... Осень! На каждом километре этого созревшего хлебного царства ощущается приближение ее — страдная, рассчитанная на часы и минуты уборочная пора.

Да, уборочная — короткое газетное слово. Термин, удобный для сводок и телеграмм, знакомый каждому из нас. Но стоит только задуматься, глядя на эти вот новенькие жнейки, на возы с зерном, запрудившие двор элеватора, на тракторные следы, вдавленные в колеи дорог, — и сразу раскроется смысл примелькавшегося слова. За ним в полный рост встанет не утихающая ни на миг борьба — за двухсменную молотьбу, за сдельщину, за каждого нового колхозника. Среди сплошных обобществленных полей ты еще раз столкнешься с врагом и под новой личиной узнаешь все того же недобитого кулака, перегибщика, оппортуниста. Ты увидишь самозабвенный труд лучших и рядом с ним ленивую прохладцу шкурника. Ты увидишь красные обозы с хлебом и кулацкие поджоги, колонны МТС, работающие круглые сутки, и груды обезличенного лома перед воротами тракторных мастерских... Точно лежишь в цепи, в ожидании перебежки... И нет ничего веселее, как вспомнить среди боя, ради чего ты лежишь под огнем: не о том, что нужно выбить врага и одо-

леть его, а о другой, более далекой и самой заветной цели.

Отличное дело, друзья, знать свое место в цепи!

Но время идет — и рядом с далекой целью снова встают заботы сегодняшнего дня. Приближается станция. Поезд, скрежеща, замедляет ход. Кошель, всю ночь воевавший с железнодорожным начальством и заснувший только утром, ошалело вскакивает с постели. В теплушку карабкается потный, измазанный маслом Нетреба.

— Эй ты, бисова кошелка, — кричит он, — на девятом номере у хедера колеса нет!

Кошель испуганно моргает:

— Врешь?

— Крепче вязать нужно.

Кошель торопливо натягивает пиджак и лезет под кровать за фуражкой, но нас начинают осаживать назад, ставить на запасной путь, и вместо того, чтобы бежать к девятому номеру, приходится итти узнавать в чем дело.

У дежурного, перебирая в сумке путевые бланки, сидит главный нашего эшелона.

Сам дежурный, худой и небритый, как из больницы, раздраженно кричит в рупор телефона:

— Да прибыл же, тебе говорят, чорт!.. В десять сорок три... Что?

Он бросает трубку и склоняется над ведомостью. Затевается нудная перебранка, — я пытаюсь доказать, что получасовая задержка поезда погубит казакстанский урожай, Кошель ссылается на договоренность с диспетчером, а дежурный ничего не желает признавать.

— Плевал я на вашу договоренность! — пришептывает он, глядя на нас злыми, измученными глазами. — Вас здесь сотни, на мою голову... Какая тут договоренность, если он сам же дает скрещение с двести четырнадцатым?

Кошель составляет на давно заготовленном бланке акт: «Я начальник эшелона, сопровождающий комбайны на уборку в Казакстан, составляющий акт в нижеследующем»... Но разве от этого легче? Начиная с Лисок, нас держат чуть ли не на каждой станции: то скрещение со встречным, то какая-нибудь хитроумная комбинация диспетчера.

Подписав акт, я возвращаюсь к составу, — нужно воспользоваться стоянкой, чтобы обойти платформы и посмотреть, что делается на них.

Мы с Нетребой перелезаем от одного комбайна к другому. Ребята разбрелись кто-куда, из комбайнеров работает только Пенов, Щербина и вчерашний бузотер Котенков. Попадается несколько совершенно законченных машин с вытертыми насухо цепями и металлически сверкающими зубчатками. Но таких немного. Остальные выглядят в достаточной степени паршиво. Есть экземпляры, у которых едва-едва обтерт один только мотор. В среднем очистка продвинулась процентов на пятьдесят и совершенно очевидно, что массовый ремонт удастся начать не раньше чем послезавтра.

Я с нетерпением жду, когда наконец будет платформа Демина, — сделал ли он хоть что-нибудь? Но нам не удается дойти до нее: мы сталкиваемся с Колесниковым и тот молча протягивает Нетребе пачку **ремонтных рапортичек**.

Под этим пышным названием (а иногда для успеха работы важно и название) скрываются довольно грязные листки, вырванные из самого обыкновенного блокнота. На них отдельно по каждой машине выписан предстоящий ремонт и перечислены необходимые для него запчасти. Такие рапортички я поручил составить всем бригадирам, но никто до сих пор не сделал этого. Колесников — первый, хотя он дежурил ночью и по нашим правилам имеет право отдыхать со своим взводом до обеда. Мы не зря захватили его с собой.

— Когда же ты успел? — удивляется Нетреба.

Колесников смущенно отвечает:

— Я ще в Крыму все их неполадки на заметку взяв...

Мы перебираем листки, убеждаясь, что ремонт предстоит не слишком сложный: смена износившихся и поврежденных частей, выправка решет и — больше всего — переклепка транспортеров. Тем временем подходит встречный: дежурный тотчас же приносит нашему механику жезл — и приходится откладывать

осмотр остальных машин до следующей остановки.

В общем работа пустяковая. В условиях хотя бы даже полевой мастерской ее можно бы закончить в два-три дня. Но на ходу поезда совсем другой коленкор, тем более, что у нас нет нужного инструмента и многих мелочей, без которых вообще невозможно обойтись. Как, например, менять планки на транспортерах, если во всем эшелоне нет ни одной заклепки?.. Чушь!

Демин кричит еще издали:

— Проверять пришел? Проверяй, проверяй, все равно чище моего нету... На три бога!

Я подхожу — и действительно, его комбайн чище всех. Он до того чист, что не остается никаких сомнений: это бензин, самое большое преступление нашего эшелона — за ним пожар и гибель. За обтирку бензином полагается единственное наказание — под суд.

Стараясь сдерживаться, говорю:

— Спалить машины хочешь?

Он, перегибаясь, по-собачьи оскалив зубы, подмигивая, отвечает сверху:

— А ты видал?

Отлично: не пойман, не вор. Но я тебя, товарищ Демин, все равно припру к стенке, будь спокоен.

Станция Родничек. Подъезжая к ней, видим бегущую вдоль линии профилированную дорогу и рядом — следы катерпиллара. По одним этим признакам сразу можно сказать, что недалеко отсюда зерносовхоз. Шофер ожидающего у переезда СПА кричит нам его название, но за грохотом ничего нельзя разобрать.

В теплушку вваливается торжествующий Кошель.

— Ты что же мне про девятый номер брехал? — говорит он Нетребе. — На месте колесо, я проверил. Нарочно ходил.

Нетреба клянется и божится, что утром колеса не было.

— Вы же его на платформе из запчастей сперли! — вдруг догадывается он.

Если судить по двусмысленному виду Кошеля, это очень похоже на правду. Но вместо того, чтобы заняться немедленным «расследованием», я вспоминаю прошлогодний разговор между заезжим московским писателем и директором Борисовского зерносовхоза Косько. Москвич, еще не успевший толком освоиться с совхозными порядками, возмущался тем, что трактористы во время ремонта таскают друг у друга части, и называл это воровством. А Косько, улыбаясь, отвечал:

— Что вы, какое воровство! Просто частей не хватает, а рулевой заботится о своей машине... Вы заметьте — всегда получается так, что лучший таскает у худшего, а наоборот — никогда!

Самара зернотрест

Эшелон комбайнов следует крыма казакстан тчк просим доставить самара вокзал крайне нужные ремонта двтч топор пилу ручную рубанка два заклепок девятимиллиметровых шайбами простых и трубчатых медных по четыре кило ушивальников сыромятных полтораста штук тчк прибудем третьего начэшелона Курт.

9 часов. Ст. Балашов.

Безнадежно торчим на каком-то двадцатом пути, с обеих сторон заставленные вереницами вагонов, платформ и цистерн.

Прибыли еще засветло и сразу же, на примере соседей, поняли, что дело швах. Соседи — эшелон союзтрансовских грузовиков. Их, как и нас, перебрасывают с юга на север, куда-то в Заволжье.

Напротив наших дверей оказалась новенькая амовская машина. Вся она до последней спицы приспособлена под кочевое, хорошо обжитое жилье. В кузове гнездо из сена, прикрытое сверху фанерным навесиком. На радиаторе развешаны для просушки только что выстиранные подштанники. На подножке — кружка с чаем и нарезанный ломтями хлеб.. Тут же, над бортом платформы, поливая из чайника, мыл ноги простоволосый парень, с круглой наспанной рожей — из тех, о которых сказано «кирпича просит». Он весело пожаловался, что их состав идет от Харькова пятые сутки, и рассказал — по этому

поводу сегодня уже послали телеграмму Калинину.

—Тут успеешь и детей народить! — закончил он, подмигивая — и как бы в подтверждение его слов, из-за автомобиля бочком пролезла стриженая помужски девчонка с накрашенными губами, скинула с себя модное пальтецо, оставшись в одном комбинезоне с закатанными штанинами, уселась пить чай.

Потом подошел начальник их эшелона, бородатый неряха в темных очках.

— Ну как, Эдя, — ухмыляясь, спросил кудрявый, — к утру отправят?

Эдя уныло махнул рукой:

— К утру не к утру, а часов пять еще простоим... И вам то же раньше ночи не уехать, — злорадно прибавил он, обращаясь ко мне.

Его слова оказались почти пророческими: начальник станции на все наши доводы отвечал, пожимая плечами:

— У всех срочно. Три состава наливных, два скоропортящихся, автомобили... Нужно же хоть какую-нибудь очередь соблюдать!

Только с помощью линейного зернотрестовского уполномоченного, который провели нас к диспетчеру, удалось добиться преимущества перед остальными. Но и тут нам дали стоянку в три часа, назначив отправление на девять сорок.

Правда, уполномоченный уверяет, что трехчасовой простой небывалая удача и что «здесь дожидаются по двое суток», — но это разговорчики для бедных. За один сегодняшний день мы потеряли на стоянках восемь часов! Мы спустили все, что нагнали в начале пути и наша средняя скорость уже не выше максимальной коммерческой. Что же будет дальше?

Да и отправят ли еще нас в назначенное время? Мы успели накормить ребят ужином в железнодорожной столовой, расставить караул, проверить увязку на всех платформах, — а нам до сих пор не подали даже паровоза.

В хвост нам прицепили две теплушки с рабочими, навербованными в Таджикистан.

Солнце стоит высоко. Шандалов ныряет под прогретый товарный вагон и довольный идет вдоль состава, бережно придерживая обеими руками полную кепку вареных яиц.

— Почем за десяток? — окликает его Нетребов.

Перед теплушкой прохаживается какая-то девица. Ее короткое обдрипанное платье одето прямо на голое тело и, как ночная сорочка, липнет к подвижным бедрами, руки обнажены до самых плечей.

Пухлые и белые груди ежеминутно готовы выплеснуться навстречу удивленному взгляду Шандалова. Ноги босые, совсем белые, у колен перетянуты круглой грязной резиной. Лицо вызывающее, с желтыми стрижками прямых, не прикрытых волос.

Она нагло смотрит на обомлевшего Шандалова, поднимает руки, потягивается...

И Шандалов, не выдержав, отвертывается.

— Вот еще какая, — испуганно шепчет он Нетребову.

— Это из задних, прицепленных к нам вагонов. Там законтрактованные, в Сталинабад на работу едут, — поясняет Нетребов, втаскивая в теплушку полный мешок мелких зеленых яблок. — Долго еще в этом Сердобске простоим? — опрашивает он склоненного у стола Курта.

— Не знаю, Кошель там воюет, — говорит Курт. — А ты что, в мешочники заделался?

— Да нет, — застенчиво жмется Нетребов, — что ж из Крыма пустой являюсь... У меня жинка фруктов ждет.

Состав внезапно и злобно дергается, затем, как бы сразу обессилев, поскрипывает и медленно развертывает отяжелевшие колеса.

Кошель несколько секунд бежит рядом с теплушкой, широко расставляя короткие ноги и наступая на концы не в меру длинных штанов.

— Давай, давай! — кричит Нетребов.

Он наклоняется, хватает протянутую руку и сильным рывком втаскивает отчаянно барахтающегося Кошеля.

— Вот и поехали! — вздыхает Кошель, вместе с обильным потом стирая с лица испуг. — Повозился и с этими гаврилами... Подумай, у нас такое дело: воинский эшелон, спешный маршрут, а

они себе простенько забирают паровоз и на маневры его! Ну, я их допек все же. «Акт, говорю, извольте подписать, тогда не только на маневры, а хоть навоз на нем возите»... Этот начальник у них с гонором: «Я, кричит, распорядился и никаких актов подписывать не желаю!» Не желаешь? Не надо — другие подпишут. Механик и главный подписали. Он и туда, и сюда, — никого не признаю. А сам, видать, перетрусил изрядно...

И Кошель гордо закидывает голову:

— Вот мы как действуем, и двадцати минут не стояли!

— Так-то оно, так, — говорит Нетребов. — А в Самаре все-таки третьего не будем... В Балашове простой, в Ртищеве тоже...

— Все равно по этой нашей телеграмме толку не будет, — говорит Кошель. — Нужно бы туда толкача со скорым, тогда бы вышло дельце!

— А что, это мысль хорошая, — одобряет Курт. — Кого бы только послать?.. Разве из комбайнеров кого-нибудь потолковее?

— Пенова можно, — предлагает Шандалов; он стоит на койке чисто выбритый, причесанный, в одних трусах, и его волосатые, худые ноги покрыты сухой и, как кажется Курту, несмываемой грязью.

— Теперь половина первого, — соображает Кошель, — а скорый нас обгонит не раньше вечера, в Пензе наверно будем его пропускать. Тогда и отправим.

Небо заволакивает серая пелена, навстречу бегут пески, сухой ветер гнет прутья ивняка. Опять станция, с крашеным вокзалом и вялыми тополями. К самой теплушке, прямо под замаслившийся взгляд Кошеля, подплывает едва прикрытое тело стриженой красавицы.

— Дяденька, дай водицы испить, — говорит она, подняв вверх на все согласные влажные глаза.

— Вы что опоздали, — струится сладкий голос Кошеля. — Вместе бы квасу выпить успели...

— Я, дяденька, возьму ведро? Може успею воды принести — на следующей станции верну...

Кошель совсем уже готов передать ей ведро, но Нетребов сердито хватает его за руку:

— А мы что без воды будем делать?

Состав медленно трогает и, дрогнув томными веками, девица кидается к своему вагону.

— Похабник! — ругается Нетребов. — Размахался с ведром. Это может к тебе ничего не пристает, а мы еще дорожим здоровьем...

— Да брось ты, чего привязался, — отмахивается Кошель, — почему не оказать внимания молоденькой девчоночке?..

На следующей станции Шандалов приводит Пенова.

— Поедешь в Самару? — спрашивает Курт.

Пенов босиком, всклокоченный и грустный.

— Так я без премии останусь... Если ехать, отстану от других. У меня только деки отрегулировать — глядишь, выскочил бы на первое место.

— Это мы учтем.

— Да еще у меня одно приключение вышло... — мнется Пенов.

— Что случилось?

— Заснул я там у комбайна, а штиблеты рядом поставил — коричневые у меня, недавно купленные были. Проснулся — нет моих коричневых! Поперли значит. Обидно показалось... Жали они маленько, зато новые были.

И тряхнув чубом, он бодрится:

— Босиком прохожу, зато жать не будут!

— В Самару-то босиком ехать не приходится, — почесываясь, говорит Кошель. — Я тебе мог бы свои сандалии на время одолжить. Ну, конечно, не сейчас, а ближе к вечеру, когда собираться будешь... А я, так и быть уж, в ботинках похожу.

Теплушка снова трясется по хлебным пензенским краям. Под ее размеренный стук покачивается на койке голова задремавшего Курта. Дымно колышутся сумерки. Комбайны идут молчаливым, чуть вздрагивающим строем.

От платформы, где очищенный от грязи и масла красуется оливер Пенова, крадучись пробираются два темных человеческих силуэта. Они ловко на ходу

перелезают на следующую платформу и оттуда, перегнувшись, заглядывают вперед. Один, с длинным ружьем за плечами, показывает рукой и что-то взволнованно шепчет другому, вихрастому, остроносому. Оба замирают. Это Пенов и Звонарев: они охотятся за самовольно севшими на предыдущей станции пассажирами.

— На том хедере Данилов стоит в карауле... Что же он?

— Значит слабо! — отвечает Пенов. — Я сам видел. Один в кителе и в белой фуражке... Вот мы им в Пензе покажем!

— Только бы не упустить, — азартно шепчет Звонарев.

— На месте возьмем, вот увидишь. Ты справа забегай, а я прямо ударюсь. У меня не отвертятся!

— А как же бы без винтовки и босиком? Тебя самого за бандита примут?

— Только накрыть, а там с полным почетом доставим.

Через три платформы от них у хедера спокойно расположились зайцы. Они сидят, свесив ноги, и весело болтают о своих делах. Обескураженный Данилов уже десятый раз заново поднимает бесполезный разговор:

— Как же вы сели?.. Я же вам говорил — нельзя.

— Раз сели, значит можно.

— Добром прошу! Слезайте пожалуйста...

— Да уж если на станции не сошли, на ходу сигать не будем, — говорит белая фуражка.

Другой, молодой и самоуверенный, в новеньком синем костюме, пренебрежительно останавливает его:

— Брось, Костя, не связывайся... Если он у нас будет вякать, мы его самого вместе с винтовкой отсюда спустим.

Обиженный Данилов молчит, уныло опершись на фроловку.

«Что с такими хулиганами поделаешь? думает он. — Не стрелять же в них на самом деле...»

В Пензе три станции: первая Пенза, вторая и сортировочная. На первой из этих остановок и накрыли зайцев.

— Нет, не пойдешь! — грозно говорит Пенов, остановившись перед белым кителем.

Звонарев в двух шагах свирепо лязгает затвором. Данилов тоже заразился их воинственным духом, берет ружье наперевес и, зайдя с другой стороны, сурово сообщает:

— Вот доигрались! Что я вам говорил?

— Держи их, ребята, на мушке, если шевельнутся — бей прямо в морду! — распоряжается Пенов. — А я доложу начальству.

Босой и возбужденный, он мчится вдоль состава к теплушке.

Нетребов надевает фуражку, туже затягивает ременный пояс и бравым шагом направляется к арестованным.

— Здесь всего три минуты стоим, — кричит вдогонку Курт.

— Необходимо их доставить... Догоним! На сортировочной все равно продержат долго.

— Тут и пешком пройти можно, — говорит нетерпеливо Пенов...

— Вперед, марш! — командует Нетребов, не слушая умоляющих об'яснений. — там разберут.

...Ночь. Эшелон переведен на сортировочную.

Выбравшись из-за бесконечных товарных составов, Кошель рассказывает, что отправил Пенова на скором. Нетребов с жаром вспоминает, как взяли в оборот «интеллигентов».

— У них даже документов не оказалось!..

Вдали гудит город. Свистки, голоса, огни.

3 августа.

Обе колонны полностью перешли на ремонт, поэтому сегодня особенно много дела Нетребе и бригадирам. Я тоже не схожу с платформ: нужно с самого начала установить основные недостатки, чтобы не позже как завтра организовать все набело.

Утром, в Кузнецке, делаем наряд. Выбираем по рапортичкам только то, что вполне доступно при наших ресурсах. Каждый получает на руки необходимые для его комбайна запчасти. Каждому дается точное задание на день.

Сначала работа разворачивается довольно гладко — так, по крайней мере, кажется мне, когда я на одной из стоянок прохожу вдоль эшелона.

На всех платформах идет оживленная возня. Вытянувшись в узком междугалке, присев на карточки, согнувшись в три погибели, или ползком забравшись под машину, так что наружу торчат одни только ноги в продранной и засаленной спецовке, комбайнеры возятся с шестернями, элеваторами, шнеками и грохотами. Тут косоротый, худой, с голодными глазами Поддубов, Штоль, буэотер Котенков, круглолицый и всегда как бы удивленный Звонарев — большой любитель ходить в караул, захватывающий с собой на работу винтовку — маленький задира Сергеев, Курковский, Демин... За время дороги я узнал их всех — двадцать восемь человек, не считая слесарей и бригадиров. Плохо конечно, ведь нужно с'есть пуд соли с человеком, чтобы узнать как следует! Но для работы годится. Я делю их вдоль и поперек. Вдоль на голощекинцев и каиндокумакцев, а поперек — на ударников, середку и бузотеров. Кроме того существует прежнее деление, на шепелевцев и чупиковцев, есть категория партизан, — и еще одна категория, врагов, которых ни на минуту нельзя упускать из виду... Одним словом, трудно рассказать. К каждой частице нужно подходить по особенному, на работе так, а на собрании — этак. Это требует большой выдержки, и очень увлекательно — точно стреляешь по подвижным мишеням: высунется на полминуты и исчезнет, а пуля летит в белый свет, как в копеечку, пока не научишься.

Окончив предварительный обход, я взобрался на ближайшую платформу — комбайн № 16. Здесь тяжело, по-медвежьи ворочался Вильгельм Приб, правофланговый колесниковского взвода. Это угрюмый верзила, работающий с таким медлительным упорством, что его постоянно хочется подтолкнуть сзади — и тем не менее сумевший закончить обтирку еще позавчера, третьим по эшелону. Его обогнали только Пенов и Штоль.

Пятясь, показывая аккуратные заплатки на заднице, он слезает с штурвальной площадки и протискивается вперед, к мотору. Мне не видно, что делается там, но весь механизм молотилки приходит в движение — медленно ползут цепи, вращаются зубчатки, и я понимаю, что Приб поворачивает своими могучими лапами барабанный шкив. Затем он заходит к машине с другой стороны и с головой лезет в приемник.

Я заглядываю в блокнот. Там для номера шестнадцатого отмечена регулировка дек и смена двух распущенных зубьев барабана. Пока что здесь все благополучно.

Но уже на следующем номере, двадцать седьмом, появляется первая трещинка.

На двадцать седьмом работает Лубинец, дважды премированный в Симферопольском парень, молча, без всяких вызовов и договоров соревнующийся с Прибом — только потому, что они соседи и весь день на виду друг у друга. Сейчас, растянувшись на платформе хедера, он возится с режущим аппаратом — отнимает остатки обломанных пальцев, чтобы поставить на их место новые.

Увидев меня, он поднимает потное, буграстое лицо с глубоко вдавленными под лоб глазами и обиженной скороговоркой выпаливает:

— Без инструменту работать, так конечно всегда последним останешься, на моем комбайне все было, другие пользуются, а я голыми руками должен... Ключей и тех нет!

Он неопровержимо уверен в своей правоте. Во время погрузки многие комбайны пришли на станцию почти без инструмента, а у других, в том числе у Лубенца, был полный набор. В этом лишний раз сказалась небрежность симферопольской подготовки, и еще тогда, в Биюке, было много шуму. Кошель обвинял Шапиро в том, что инструмент отобрали нарочно, чтобы оставить его на участках, а Орлов, перебивая, кричал: «Врешь, врешь, все врешь!» Конечно, шум не помог, и в конце концов пришлось довольствоваться тем, что есть. Тогда каждый поступил сообразно своему характеру. Кошель оставил у своих ребят все, с чем кто поехал, и взял с них расписки на специально составленных инвентарных описях. Нетреба же, наоборот, собрал весь инструмент в мастерскую, чтобы каждый по мере надобности мог пользоваться каким-нибудь

дефицитным ключом или пробойником. В этот общий фонд попал и комплект Лубенца.

Я еще не знаю, чья система лучше — инструмент понадобился нам сегодня чуть ли не в первый раз. Поэтому я говорю осторожно, ориентируясь «вдоль», на голощекинца, и «поперек» — на ударника. Я спрашиваю Лубенца, легче ли было б ему, если бы в его ящике зря валялись ненужные в данную минуту клещи, а в то же время другие комбайнеры его же колонны мучились бы как раз без этих самых клещей.

Он пытается увильнуть:

— Так я же лишнего ничего не прошу! Мне самое необходимое...

— А может быть необходимый-то инструмент и другому нужен?

— А я нянька о других думать? Они рты разевали, а я за них страдай?

— Ну вот... а если и другой так будет думать, что тогда получится? Раз иначе выхода нет, нужно по очереди, сначала он, потом ты.

Поезд с грохотом проносится по мостику над узким ручьем с белыми песчаными берегами. Ребятишки по колена в воде удят рыбу, тут же мирно плавают утки. Я говорю о соревновании: нужно не топить того, с кем соревнуешься, а тащить отстающего за собой. Но Лубинец по всей вероятности не слушает — склонившись на платформе, он молча работает и один за другим швыряет на пол обломки отнятых наконец пальцев.

— Ну вот, видишь, — говорю я, — плачешься, плачешься, а дело-то идет...

Он порывисто приподнимается и прижимает к груди грязный кулак с зажатым в нем тройником.

— Идет! — кричит он. — Я, может, зубами буду железо грызть — так ведь на это время нужно, товарищ Курт! Время трачу, от других отстаю, вот вопрос... Я, может, Приба на буксир хочу взять, а кончится, он меня возьмет. Вот вопрос!

— Он тебя или ты его, это полбеды. А вот если бригада Золотоноса вашу потащит?

Лубинец, широко распуская буграстое лицо, переспрашивает:

— Золотонос? Нас?

В общем благополучно и здесь.

Я в последний раз смотрю на согбенную спину Лубенца, на его цепкие грязные руки и отправляюсь дальше — к Звонареву.

Тут меня ждет нечто совсем неожиданное: мы отложили починку транспортеров, пока не получим затребованные из Самары заклепки и сшивки, а Звонарев, усевшись под нависающим жерлом соломовыбрасывателя, преспокойно развернул свой большой полотняный транспортер и переклепывает планки!

В моем блокноте значится: № 25 — ремонт колосового шнека и предохранительной муфты с заменой шайбы трещотки.

Спрашиваю:

— Ты что, товарищ Звонарев, муфту закончил, что ли?

Он невинно откликается:

— Муфту? Нет. А что?

— Тебе по наряду назначено муфту ремонтировать, а ты транспортером занялся.

— Транспортер тоже нужно.

— Мало ли что... Прежде всего нужно исполнять приказания, когда дойдет дело до транспортеров — скажут.

— А я сам разве не вижу?

Ну что ты будешь делать! Насмехается он или и впрямь не понимает?.. И потом, откуда у него заклепки?

Спрашиваю, как можно строже:

— Заклепки где взял?

Он хитро подмигивает и вынимает из кармана полную горсть; трубчатая медь блестит и отливает, как новенькие пятаки.

— Одним словом, взял! Неужели я без заклепок поеду? У меня, брат, все есть, полный запас... А, думаешь, у других нету?

Вполне довольный собой, он весело хохочет, и я тоже не могу удержать улыбки. Нет никаких сил распекать его! Да и некогда: подходим к станции. В конце концов Косько может быть был и прав, когда говорил, что это не воровство.

Говорю:

— Сворачивай-ка свою хламиду, берись за муфту. Нечего тут...

Он снисходительно соглашается:

— Ладно, вот только эту планку кончу.

Я соскакиваю на подплывающий перрон, иду, отставая от Звонарева. Его все-таки нужно было пробрать — и уж по всяком случае не смеяться же вместе с ним!.. Наперекор этим соображениям, встает круглая, как бы удивленная рожа — ее приятно вспоминать, в ней есть что-то детское, напоминающее беспризорного. И тут же всем этим мыслям приходит конец: по перрону, прямо на меня несется Котенков.

— Что же это, — задыхаясь, плачущим голосом вопит он, — мне французский ключ нужен, у них есть, а Беспалько не дает!

Новое дело. Подходит Нетреба, подтверждает, что один ключ действительно остался. Я пишу записку Беспалько, чтобы выдал. Котенков, размахивая ею, бежит к концу состава, к мастерской.

— Зря это, — недовольно говорит Нетреба. — Кошель свой инструмент по рукам роздал, а теперь здравствуйте? Пришла коза до возу!.. Сдали бы в мастерскую, всем бы хватило.

Я не отвечаю, потому что Нетреба прав — со своей точки зрения, как Лубинец. Но, с другой стороны прав и Котенков — ведь ключ все равно лежал зря!.. Из всего же вместе взятого ясно одно: с инструментом неблагополучно, и здесь придется что-то предпринимать.

Вслед за этим отчетливо проступают еще два недостатка: во-первых, все та же «партизанщина», с которой мы боремся уже пятые сутки, а во-вторых, недостаточная квалификация комбайнеров для сколько-нибудь сложного ремонта.

Партизанщина приводит к тому, что даже лучшие ребята, подобно Звонареву, не желают считаться с нарядом и вместо намеченной работы занимаются совсем другой. Иным эта «своя» работа кажется более важной, другим — более легкой. Но результат одинаковый: о плановом ремонте при таком подходе не может быть и речи.

Еще более плачевны результаты неопытности и низкой квалификации, хотя винить в этом комбайнеров и не приходится. Многие не могут справиться самостоятельно даже с подтяжкой дек или с шатунно-кривошипным механизмом хедера. Они околачиваются зря в ожидании бригадира, а бригадиры при всем своем желании не могут разорваться на части: пытаясь помочь всем своим ребятам сразу, они не успевают помочь никому... А тут еще, как нарочно, целое происшествие: на одной из станций отстал Колесников, и его бригада осталась окончательно беспризорной.

12 часов.

Ветер, пыль, все те же зрелые, наполовину убранные поля.

Тащимся, как проклятые. С самого утра мешает шестьсот двадцать восьмой. Он идет впереди и, останавливаясь буквально на каждом полустанке, задерживает нас. Обогнать же его невозможно — там скоропортящийся груз, который пользуется одинаковыми правами с нашим эшелоном... Хоть бы скорей Самаро-Златоустинская дорога!

Сейчас обеденный перерыв. Кошель и Нетреба умываются перед раскрытой дверью, ругаясь из-за инструмента.

— Ты мне голову не морочь, — шипит Кошель, тряся намыленной рожей, — ты полную обезличку устроил, людей разлагаешь...

Нетреба хладнокровно отвечает:

— Ладно, ладно. Молчи лучше — завхоз! Много ты в этом деле понимаешь... Обезличка! У нас в мастерских все станки закреплены, а и то инструмент в инструментальной держат. Тебе каптером быть, а не ремонтом заведывать!

Ст. Батраки.

Только что догнал нас Колесников. Он обратился к дежурному по станции, и тот бесплатно устроил его на почтовом. Отстал он из-за ключа: хотел сесть на ходу, а ключ все время вываливался из кармана комбинезона. Колесников подымет его, добежит до тормоза — и только станет садиться, как ключ снова падает.

— Вот чудак, — смеется Нетребов, — кинул бы его на платформу и все!

Колесников растерянно хлопает глазами:

— И верно, було б кинуть...

Приехал он во-время, — пора в караул, а сегодня как раз его дежурство.

Снова Демин, снова буза, и уже не партизанщина, а самый настоящий раз-

вал. И, главное, во всем виноват Кошель это жирное безмозглое животное, не имеющее даже представления, как держать себя на работе!

Буза началась еще до нас — мы с Нетребовым шли мимо пульмана и услышали гвалт, точно в вагоне целое побоище.

Конечно полезли туда. Там в проходе сгрудились обе бригады — каждый орал как только мог, стараясь перекричать соседа.

С трудом, но нам все же удалось протолкаться вперед. Сразу, как по команде, стало тихо, и я увидел растерянное лицо прижатого к столу Колесникова, а рядом — белобрысую, угрястую ряшку Демина.

Спрашиваю:

— В чем дело, товарищи? Соревнуетесь, у кого глотки крепче?

Комбайнеры возбужденно молчат, — смотрят то на Нетребу, то на Демина, то на меня.

Потом сзади раздается чей-то хорошо мне знакомый, звенящий голос:

— Бардак развели! Насажают всяких шмар, а мы отвечай!

Нетреба, опережая меня, кричит в ответ:

— Что за голос из провинции? Выходи сюда и говори! Какие шмары?

Толпа вокруг нас шевельнулась, но никто не вышел вперед.

— Караул треба наряжать, — потупляя глаза, пробормотал Колесников, — а Демин каже не пиду, зараз каже дивки посидают...

— А думаешь, мы пойдем? — тотчас послышался тот же звенящий голос и теперь я узнал в нем Сергеева. — Мы что тебе, дураки, сдались за всякую сволочь отвечать?

— Сами караульте! — крикнул еще кто-то.

— Она может магнето свистнет, а я отвечай?

Снова поднялся гвалт — опять кричали в двадцать глоток сразу и ничего нельзя было разобрать.

— Да тише вы, черти! — рявкнул Нетреба. — Банда у нас, что ли? Смирно!

— А кто банду устраивает? Ты скажи, кто?

Вперед, к нам, протиснулся Поддубов. Его худое, косоротое лицо дергалось, он бестолково размахивал руками и бормотал, заглатывая слова:

— Мы уда очешь пойдем, мы дисциплину всегда поддержим...

И вдруг закричал бешено:

— Сами банду устроили!.. Сами!

Тянуть эту волынку дальше было невозможно. В общем крике смешивались все — Штоль и Демин, Сергеев и Звонарев... Нужно было во что бы то ни стало дисциплинировать эту толпу, — и я сказал, воспользовавшись минутной тишиной:

— Вот что, товарищи, нужно разобраться по порядку... Какие банды? За кого отвечать? Так ничего не поймешь, давайте порядочек... Давайте садитесь, товарищ Лубенец, товарищ Поддубов!

Я называл по фамилиям ближайших. Они нехотя проходили к койкам. За ними потянулись остальные. Всего несколько человек остались стоять в проходе. Толпа распалась на части, и я снова видел и чувствовал этих людей, размежеванных вдоль и поперек, знал, на кого опереться.

Как можно торжественней, я провозгласил:

— Собрание ударной колонны, следующей из Крыма в зерносовхоз имени Голощекина, считаю открытым. Прошу высказываться по порядку.

Лубенец, сидевший ближе всех к столу, сказал с места:

— Что тут высказываться, и так весь день говорим. Нужно в караул заступать! Станция, а машины без охраны...

Я прервал его:

— Ты что, слова просишь? Говори как следует.

Он встал.

— Могу и сказать... Дело, товарищи, ясное, только время теряем, тень на белый день. Ну, произошел инциндент — разве нет у нас профорганизаций, чтобы разобраться спокойно? Все мы члены профсоюза, а ведь хуже неорганизованных, вот вопрос... И парторганизация у нас есть, что она не может призвать администрацию к порядку, когда нужно? А вместо этого мы поднимаем целый крик, как на базаре, а машины брошены на произвол... Правда, ребята, чего там! Предлагаю собрание закрыть и караулу

итти по местам. Пусть Демин обращается по инстанциям, а на следующем собрании спросим — доложат какой результат.

Демин, беспокойно молчавший до сих пор, крикнул:

— Пускай кто хочет идет, я все равно не пойду!

— Как же это ты, товарищ Демин, не пойдешь? — спросил Нетреба.

— А потому что никакого караула не может быть! Какой может быть караул, если тот ваш, брюхатый, как его, комендант, или кто, если он сам нарушает? Я расскажу... Пусть все слышат, мне к профорганизаторам ходить нечего, все равно они друг дружку поддержат. Мы сами, по-рабочему...

— Заткнись, гад! — негромко и раздельно сказал Лубинец.

— Сам ты гад! Рот замазываешь? К третьей премии подбираешься?.. Все равно скажу! Я работаю, а он со своей шмарой залезает ко мне на тормоз и начинает ее лапать, как на бульваре, а я должен молчать? Это называется администрация?.. С нас взыскивают, чтобы посторонних не было, а сами на работе бульвар разводят?.. Так он мало что ее по платформам водит — дал ей винтовку и пошел! Тут остановка, народ смотрит, а она играется себе с винтовкой, с заряженной... Я ей говорю: отдай винтовку, а она меня же посылает!

Он выкрикивал все это, кривляясь как в балагане. Мне вспомнилась эта похабная девчонка, весь день вчера и сегодня вертевшаяся подле нашего вагона. Кошель несколько раз принимался с ней заигрывать... А сегодня он действительно брал с собой винтовку, деловито приговаривая, что «перегон опасный» и нужно, дескать, «присмотреть»... Все это было, а я ничего не видел! Как я мог проглядеть, не заметить, не принять мер?

В общем мерзко. Я чувствовал, что многие из ребят целиком на стороне Демина и чуть ли не вся наша работа за последние дни — собрания, шандаловские политчасы, беседы — идет прахом.

— Вот что, товарищи, — сказал я, — Демина каждый знает, как облупленного. Мы все работаем, а он только и ждет, где бы затереть бузу...

— И Кошель работает?

— Да, товарищ Сергеев, и Кошель... Его поступок в данном случае безобразный, — я это дело расследую и можешь быть спокоен, даром ему не пройдет. Но разве дело в Кошеле? Товарищ Лубинец был прав в своем выступлении — он рассуждал как настоящий ударник, которому дороги интересы производства. У нас есть партийная организация, профессиональная, наконец, каждый день собрания — разве нельзя было поставить вопрос организованно? Но Демину это невыгодно, ему нужно побузить, сорвать работу... А кому кроме Демина это нужно? Вот вы сами, товарищи, подумайте, кому польза, если наша работа сорвется? Кулаку, вот кому! Баям, которые там, в Казакстане, только и ждут, не провалится ли зерносовхоз имени Голощекина... Демин действует на руку кулаку, а вы попадаетесь на эту удочку. Вот ведь что получается! Тут товарищ Поддубов насчет дисциплины говорил, что Кошель ее нарушает. Правильно, нарушает, и мы его за это взгреем. Ну, а с вами как быть? Сами-то вы что с дисциплиной делаете? Эшелон идет на военном положении, а вы отказываетесь итти в караул! Неужели же вы и на фронте так стали бы поступать?

Я помолчал несколько секунд и комбайнеры тоже молчали. Тогда я сказал:

— Товарищ Колесников, немедленно собирай первую смену — пусть получают винтовки и становятся на посты. А с тобой, товарищ Демин, вот как: или подчиняйся нашим порядкам, или я тебя высажу здесь же на станции и можешь отправляться на все четыре стороны... Понятно? Собрание считаю закрытым.

Все кончилось благополучно — Нетреба выдал караульным винтовки и сам развел ребят по местам. Вместе с остальными пошел и Демин. Он ни словом не ответил мне. Но кто может поручиться, что он сегодня же или завтра не начнет все сначала?

12 часов.

Мост через Волгу.

В Батраках задержались до полуночи, так как состав принимала начинающаяся отсюда Самаро-Златоустинская железная дорога. Впрочем, на этот раз про-

стой был даже полезен. Уделось переделать целую кучу дел — удачно повоевали с местными бюрократами, которые во что бы то ни стало хотели разделить наш эшелон на две части, и, наконец, провели заседание треугольника, совместно с начальниками колонн.

На этом совещании мы подвели итог и после долгих споров об инструменте и пр. нашли как будто способ устранить все сегодняшние недостатки. Для этого (по предложению Нетребы) организуем с завтрашнего утра три скользящих бригады — по числу «взводов». Каждая будет состоять из бригадира и слесаря, а третьим к ним будет вливаться тот комбайнер, над чьим комбайном бригада работает. Таким образом, весь дефицитный инструмент сосредоточится в одних руках, неопытность комбайнеров отпадет, а самой работе будет возвращена необходимая плановость.

Если ремонтировать каждой бригадой в день по 3—4 машины, мы как раз уложимся в срок. Ребят, которые отделаются в первую очередь, можно будет перебрасывать на другие платформы, так что с каждым отремонтированным комбайном темпы будут все возрастать и возрастать.

Завтра перед нарядом раз'ясним смысл этой новой перестановки. Кроме того еще раз нажмем на воспитательную работу и, в частности, возьмем таких, как Поддубов или Сергеев, в индивидуальную обработку... Об этом и о баньке, которую мы закатили Кошелю, нужно бы написать подробней, но нет сил — так измотался за день, что буквально валюсь с ног.

Таджикистанские теплушки удалось отцепить.

4 августа.

Пенов встретил нас в Самаре с пустыми руками. Его поезд сильно опоздал, большинство складов оказалось уже на замке и удалось раздобыть только полтораста штук сшивок.

Это серьезный удар. Без топоров и рубанков мы можем обойтись, — у кого-то из отцепленных вчера таджикистанцев был с собой кое-какой плотничий инструмент и наши слесаря, «по-соседски» воспользовавшись им, успели сделать все, что нужно. Но без заклепок — гроб. Почти все машины нуждаются в ремонте транспортеров, и что мы будем теперь делать, просто не представляю.

Есть и еще одна неприятность: в Самаре отстало от поезда человек шесть наших ребят. Среди них, вторично, все тот же злополучный Колесников.

Чтобы выйти из положения и выполнить вчерашние наметки, на место Колесникова пришлось стать Нетребе. Таким образом все три бригады работают полностью — и, откровенно говоря, получилось даже к лучшему: Нетреба, оберегая свой инструкторский авторитет, лезет из кожи вон, а Золотонос и Шандалов всеми силами стараются доказать, что их квалификация не ниже нетребовской. Блеск!

Еще больший под'ем среди комбайнеров — особенно, если они видят, что бригады еще не скоро доберутся до их платформ. Даже «середка» норовит закончить ремонт своими силами, раньше чем ей начнут помогать, а о лучших нечего и говорить.

2 часа 50 минут.

Под'езжаем к Бузулуку, к самому сердцу хлебного Заволжья. Вокруг, насколько хватает глаз, желтеет горячая, выцветающая степь. Дыхание осени доносится и сюда: спелые поля, скирды, буднично запыленные машины. Все та же страда уборки, которой охвачен Крым, Украина, ЦЧО — и все те же сплошные колхозные нивы.

Безветрие, зной. Вдали дрожат прозрачные потоки марева. В них плывут как бы повисшие в воздухе кривые придорожные ветлы, какое-то подобие дома — и пока разберешь, что это не дом, а забытая на глухой меже плуторская будка, уже надвигается новое. Сбегая по склону к самому полотну, сверкнет на солнце шарами арбузов бахча, и древний старик с зеленой бородой смотрит на нас, приложив к глазам дрожащую руку. А там, за золотым квадратом подсолнечника, опять залоснится, побежит до самого горизонта кое-где уже скошенная пшеница.. Юг! И тут же, не ус-

успеешь оглянуться, возникнет вдруг среди солнечной, разогретой равнины нежданная роща. Пойдут мелькать тоненькие белые стволики берез или протянется по песчаному косогору среди низкорослых сосенок совсем подмосковная дорога — и точно возвращаешься полднем, вдоволь настрелявшись, с тетеревиной охоты...

Ст. Погромная.

Идем так хорошо, что впервые за все последние дни вспоминаются Южные дороги — путь от Джанкоя до Харькова. К нашему эшелону относятся не менее внимательно, чем там. Никаких споров, никаких лишних простоев, — и если на Украине нас сопровождал контролер движения, то здесь едет от Бузулука один из диспетчеров, прикомандированный к нам до Ново-Сергиевской.

Ремонт тоже сильно продвинулся за день — закончено начерно 13 машин (из них 5 приходится на бригаду Нетребы), с отделкой которых комбайнеры справятся теперь без всякого труда. Кроме того набело, без чьей бы то ни было помощи, отремонтировано еще два комбайна, Пенова и Штоля. Это настоящая победа, тем более что Пенов потерял на поездку в Самару целый рабочий день и все-таки вышел на первое место.

Между прочим, по дефектной ведомости за ним значатся неисправности самоподавателя и соломотранспортера. Спрашиваю:

— Как же ты вывернулся? Ведь заклепок у нас нет?

Он пожимает плечами:

— А много ли их нужно? Восемь штук? Столько-то у меня было, даже осталось несколько, я их Лубенцу отдал.

В общем удача за удачей. Но, как водится, даже и здесь не обошлось без досадного происшествия, испортившего всю музыку: на одном из комбайнов (№ 11) свистнули манометр.

Комбайнер этой машины Данилов, самый тихий и неумелый во всем эшелоне, обнаружил пропажу в конце дня и сразу же прибежал к нам.

— Вчера утром был, — испуганно рассказывал он, — я мотор обтирал, видел, а сейчас нету... Не виноват я!

И действительно — как винить этого паренька? Виноваты мы сами: нужно было на время дороги снять арматуру, все обошлось бы тогда благополучно.

Исправляя ошибку, я распорядился немедленно снять манометры и отстойники с остальных машин. Но от этого не легче, — главное, непонятно, как это могло произойти. Чтобы отвинтить манометр нужна известная сноровка, да и не всегда отнимешь его голыми руками. Значит валить вину на караул и ночных «пассажиров», как делает Кошель, нелепо. Скорей всего — кто-нибудь из комбайнеров. Но кто?.. И интересно знать, что сказал бы в этом случае Косько?

Впрочем Косько умнее нас: посылая в прошлом году за тракторами в Гигант, он при мне наказывал механику снять и отправить почтовыми посылками не только манометры, но и магнето... Странно, что я не вспомнил об этом в Крыму.

В дверях теплушки сидит, свесив ноги, Курт. Рядом с ним — узкогрудый подвижной человек в очках. Оба курят и смотрят в безветренную вечереющую степь.

— И часто вы так катаетесь, как сейчас с нами? — спрашивает Курт.

— Приходится... Дело, знаете ли, новое, прощупываем во всех положениях.

— Ну что вы новое. По-моему лет пять, не меньше...

— И пять лет немного... Это же, батенька, наука! В Америке ее наизусть знают, а на наших дорогах всего-то года три. Американцам все-таки не уступаем...

— Ну это ты, сынок, загнул!

— А вы нагрузку на парк учите...

Курт щелчком отбрасывает окурок, норовя попасть в верстовой столб.

— Что-то я не очень разбираюсь, — говорит он, — какая собственно разница между вашей работой и начальниками станций?

— Совсем же разные вещи!.. На нас лежит оперативная работа. А начальник станции что? Он знает обслуживание составов — принял, отправил. Ну конечно есть план, сколько должен пропустить поездов. А мы за всем участком следим сразу, тут беспрерывные комбина-

ции получаются! Вы в шахматы-то играете?

— Предположим...

— Так вот, посложней шахмат. Там думай сколько хочешь, а нам приходится решать сразу. Ошибся, задержал предположим состав, дал ему скрещение не во-время или еще что-нибудь — а там и пойдет... Эти десять минут к концу перегона часами обернутся.

— Да, хитрая механика,— позевывает Курт и оглядывается в потемневший вагон. — Нетреба, крымский сюрприз еще не весь сожрал? Выбери нам с диспетчером парочку, поспелее...

— А иногда наоборот выгодно бывает задержать, не только на десять минут, а и на полчаса. За это время так расчистишь линию, что он не только наверстает — вперед уйдет!

— Тоцкое сейчас? — лениво спрашивает Курт.

Как дымное облако наплывает средне-азиатский поезд. Он всего на минуту останавливает рядом с комбайнами свои белые вагоны: они грузно оседают на низких колесах и под торопливый удар колокола уходят в бесшумную вечернюю даль.

Но эшелон все еще отгорожен от маленькой степной станции бесконечным строем сутулых цистерн. Их тупые профили четко очерчены на темном небе. Тишина обвевает остывшие оливеры. Из теплушки вылезают Шандалов и Золотонос. Они направляются к пульману проводить беседу.

— Нетреба, давай винтовки, наш караул сегодня! — кричат подошедшие к вагону комбайнеры.

Сонный Нетребов просматривает затворы и сует в протянутые снизу руки длинные фроловки.

— Патронов больше давай.

— Хватит с вас по две штучки,— позевывает Нетребов,— самые опасные места проехали.

По ту сторону цистерн плоско налит слабо освещенный перрон, прогуливаются красноармейцы, а дальше, за деревянным вокзалом, сплошная степь с роящимися огнями военного лагеря.

Курт идет с диспетчером к начальнику станции. Выясняется, что придется постоять некоторое время. Диспетчер по селектору вызывает район.

— Саша, а Саша! — кричит он, — когда до Ново-Сергиевской нас доведешь?

Где-то рядом стучит телеграф, за окном скрипит состав движущихся цистерн.

— Ты не задерживай, Саша! — опять кричит диспетчер.— Значит отправляешь через пять минут?..

Курт выходит из душной станции. Пути уже свободны. При тусклом свете редких фонарей белеют комбайны. Перед одним из них собралась группа красноармейцев. Нетребов и забывший про беседу Шандалов наперебой делятся своим опытом с собравшимися.

Слушают напряженно. Из толпы выделились двое, они внимательно, по порядку, задают вопросы. В руках у некоторых появляются клеенчатые книжки, карандаши. Записывают наспех, с трудом улавливая слабый свет отдаленного фонаря. Еще и еще подбегают слушатели — образуется тесный сосредоточенный круг.

— Он за две смены гекторов сорок убирает,— говорит Шандалов.— Посчитай-ка три вагона в сутки! Сколько пришлось бы руками канителиться? С ума сойти! Сколько людей освобождается! Сами знаете, — нам каждый человек дорог, нам нужно колхозников вербовать для промышленности.

— А могли бы мы без комбайна гиганты-зерносовхозы развивать? — яростно подхватывает Нетребов.— В нашем голощекинском полторасто тысяч га, тут с лошадьми не суйся!

Он разошелся, кричит во все горло...

Короткий, крепкий гудок обрывает его на полуслове. Столпившиеся красноармейцы вместе с перроном уплывают в конец состава.

— Благодарим, товарищи, за беседу! — несутся оттуда приветливые голоса.

А Нетребов с Шандаловым, вскочив на ближайшую платформу, провожают жадными глазами огни далекого лагеря.

— Эх, я многое еще не успел раз'яснить! — вздыхает Нетребов.

— А мне ты и вовсе не дал говорить! — обижен Шандалов.— Туда бы к ним, часика на три... Можно бы такую лекцию загнуть, в развернутом виде!

5 августа.

Пропало еще два манометра — оба с комбайнов Кошеля. Одновременно Колесников, вместе с другими ребятами догнавший эшелон, обнаружил, что у него украли чемодан.

Для Колесникова это настоящий разор. Он не имеет в Крыму ни дома, ни родных и вез с собой все свое имущество. А уж можно себе представить, как велико оно, если умещается в одном чемодане! Там был праздничный костюм, белье, отрез сукна, полученный в виде премии, бритва,— рассказывая о пропаже, Колесников подробно перечислял каждую мелочь. И все же он мужественно перенес несчастье, разве только стал скучней, молчаливей, чем обычно.

Зато Кошель совсем взбесился, бегал на остановке вдоль состава, визжал, что манометры украдены голощекинцами, что все они воры и т. д. — жалко и отвратительно было смотреть.

Я боялся, что эта истерика заразит других и вызовет новую волынку. Но получилось иначе. К Кошелю присоединился один Котенков. Остальные молча, недоуменно переглядывались. Только после того как я, ссылаясь на вчерашний приказ, спросил, почему не сняли манометры заблаговременно, а Котенков завопил в ответ: «Какой приказ, не было приказа! Своим шепнули, а нашим нарочно не сказали»,— поднялся шум:

— А почему я свой снял?

— Шо ж мы, ширмачи яки сдались?

— В Крыму работали, никакой шкоды не знали!

Золотонос, старательно разглядывая мозоль на ладони, крикнул:

— Караулим, товарищи, плохо, вот что! Разве убережешь, когда каждую ночь полон эшелон зайцев едет!

Для каждого из нас не могло быть никаких сомнений, что это вздор, что ворует кто-нибудь из «своих», не могли же зайцы забраться в переполненный народом пульман! Но тем не менее все обрадованно, не глядя друг на друга, загалдели:

— Ясно!

— Тут такая шатия садится — что хочешь сопрут.

Вскоре эшелон тронулся, ребята торопливо разбрелись по платформам, и с тех пор о чемодане и о манометрах никто не упоминает ни словом.

День тусклый, серенький, после жары, мучавшей нас последнее время, кажется довольно прохладным.

Вместе с погодой изменился облик степи. Она уже ничем не напоминает о ЦЧО или Поволжьи. Нет и сплошных зарослей пшеницы, что провожали нас вчера. Поля перемежаются с залежами и целинными угодьями, они уныло ржавеют на десятки километров. Часто попадаются балки и голые невысокие холмы. Селений почти не видно. Судя по карте, преобладающие тут казачьи станицы расположены по берегам Урала и Сакмары, а наша дорога пролегает как раз между этими реками. Мы лишь изредка приближаемся к их ярко зеленеющим уремам.

На солнечные равнины, оставшиеся позади нас, эти пасмурные места похожи только тем, что и здесь осень. Колосовые скошены больше чем наполовину,— невозможно спокойно смотреть на рыжие обнаженные жнивья с темнеющими копнами и валками. Ведь по прямой на север отсюда до Голощекинского километров четыреста, до Каиндокумакского самое большее двести,— а на таком расстоянии не может быть разницы в сроках уборки! Неужели все труды напрасны и мы приедем слишком поздно?

Чтобы не думать об этом, я соскакиваю на ходу, — цепляюсь за подплывающий тормоз звонаревской платформы.

Звонарев, в ватной фуфайке и штанах, помогает слесарю устанавливать колосовой элеватор.

— Жми, Ванька, на всю железку! — кричит он, разгибая спину. — Кончаем!

Впереди, у мотора, возится со свечами Колесников. Угрюмо сцепив широкие челюсти, он взглядывает на меня и отводит глаза. Штанины его комбинезона аккуратно подвязаны внизу веревочками. На груди из кармана торчит головка тройного ключа,— и я вспоминаю, как он отстал от эшелона из-за того, что не догадался кинуть ключ на платформу. Потом вспоминается утро погрузки, влажный песок на путях и сам Колесников в новом пиджаке, пьяно

мычащий какие-то неразборчивые слова... До чего же не везет этому парню! Может быть нужно поговорить с ним, как-нибудь утешить?

Но я не умею утешать и не решаюсь даже спросить, сколько машин отремонтировано бригадой за день.

День действительно прохладный, несколько раз принимается накрапывать дождик,— ветер не дает ему разыграться. Ребята, не имеющие теплой одежды, зябнут в легкой летней спецовке. Но и они работают, ни на минуту не покидая платформ,— в этом упрямом ожесточении наощупь чувствуется уже близкий конец.

Я прохожу насквозь весь состав и убеждаюсь, что бригады вполне оправдали себя: ремонт на исходе.

Кроме Пенова и Штоля, собственными силами справился с работой один только Лубинец. Его мечта исполнилась, и он взял таки на буксир Приба. На остальных комбайнах бригады либо уже побывали, либо работают сейчас.

Нетреба говорит, что начерно закончено 19 машин. Однако перебросить, как было намечено, комбайнеров на другие платформы не удалось. Почти все они занялись сегодня транспортерами, работой, на которую мы после неудачи в Самаре совсем было поставили крест. Оказалось, что у большинства ребят, точно так же как у Пенова и Звонарева, имеются целые тайные запасы! Они берегли все эти заклепки и шайбы «про черный день», скрывая ото всех, чтобы не пришлось ни с кем делиться... И смех, и грех!

6 часов.

Черный Отрог. Стояли 3 ч. 15 мин., послали телеграмму директору дороги. Есть нечего, а до Кувандыка, где нас ждет заказанный утром обед, еще ехать и ехать.

Ст. Сарташ.

Уже совсем ночь, станционный буфет закрыт и в помещении его какое-то железнодорожное собрание. Но Кошелю удалось, проникнув с заднего хода в кухню, выпросить несколько буханок хлеба и 10 кило отличной копченой колбасы. Ребята, не евшие весь день, ждали на платформе обозленные, готовые к бузе, и чуть не повалили Кошеля с ног, расхватывая жратву — с гиком и топотом понесли к вагонам делить... Живем!

6 августа.

В четыре часа утра нас будит дежурный по эшелону Золотонос: Кувандык.

Выхожу из вагона. И точно, под'езжая к Кисловодску, остановились в Бештау или на Лермонтовской. С обеих сторон вздымаются едва видные в темноте горы. Гулкий перрон, белые нарядные здания, деревья за оградой. И крепкий запах цветущего табака, и тот же удивительный горный воздух, которым никак невозможно надышаться досыта... Чудеса!

На станции худенькая черноглазая буфетчица, кутаясь в пуховый платок, ласково говорит:

— Задали вы нам работу — с вечера не спим, все ждем, как женихов каких, право... Хорошо хоть дежурный предупредил, успели подогреть.

Две другие девушки уже разносили по столам ложки и тарелки с хлебом... Обед был приготовлен на славу, в давно невиданном изобилии, но сказывалась колбаса: ребята ели нехотя и ограничились главным образом тем, что выпили к великому удивлению буфетчицы все наличное ситро.

Сейчас холодный облачный рассвет. Медленно ползем — впечатление такое, будто взбираемся все выше и выше. Мимо, поворачиваясь то одним, то другим боком, движутся каменистые голые горы, кое-где чуть тронутые кустарником. Они уже не кажутся такими высокими, как давеча, но попрежнему напоминают Большое седло или Березовую балку.

Кошель, лежа на кровати, говорит таким тоном, будто все горы сделаны им собственноручно:

— Это еще что... Вот под'едем к Губерле, там действительно горы! Там, хозяин, и золото есть.

— Прощай юг, страна родная! — кутаясь в одеяло, бормочет Андрющенко.— Холод-то какой...

— Да, юг — каюк! — развалясь на койке, ухмыляется Демин.

— Горы-то не то, что у нас в Крыму..

— Самый Урал идет, богатство... Тут и медь, и железо, и золото,— задумчиво говорит Штоль.

В пульмане просторно. Ребят мало — большинство на платформах. У стола, согнувшись, тычется Колесников, его худая спина выгнута, он старательно полынным веником выметает окурки и бумажки.

— Ты что поздно чистоту наводить вздумал? Теперь, наверно, скоро приедем, — говорит Поддубов.

— Ну еще до приедем далеко,— возражает Демин,— видишь скорость какую машинист припустил, километров по двенадцать в час ковыляем... Да и торопиться некуда, хорошего, братва, в Казастане не жди!

Поддубов шмыгает перекошенным лицом:

— Чего тут хорошего, если до места доехать не успели, а у Колесникова уже чемодан свистнули... Да у Пенова щиблеты.

— В этих делах Казакстан не виноват,— повертывается стоящий у двери Золотонос, — ближе смотри.

— Хоть бы дверь прикрыл, холодно! — скулит Андрюшенко.

— К станции подходим! Вон и базар тут, — высовываясь, кричит Золотонос.

За перроном, чуть ли не во всю ширину его, торжественно взбирается на откос деревянная лестница. Наверху повис каменный угрюмый вокзал. Свежий ветер несет напрерывные тучи. На перроне вытянулись в ряд торговки, закутанные в пуховые платки. Перед ними в корзинах яйца, захолодавший творог, ватрушки.

Курт взбегает по лестнице. Вдоль нее, облокотясь на перила, разместились продавщицы оренбургских платков.

— Пуховый желаете? — сдержанно предлагают они свой товар.

— Вот у меня настоящий, возьмите!..

Курт нерешительно оглядывается, хочет итти дальше, но вдруг круто повертывается к торговке и спрашивает цену. Его окружают со всех сторон — переливается на бойких руках пышная и мягкая шерсть.

Курт растерян, товар весь одинаковый, а цены разные.

— Не понимаю я ничего в них,— улыбается он сконфуженно.

— Эх, это мы сейчас устроим!— подкатывается Кошель.— Что, жене или приятной дамочке? — любопытствует он.

— Ты платок подбери, если действительно понимаешь... А кому носить, посмотрим.

— Я, хозяин, повидал этих платков, у меня жена их сама вяжет...

И, отмахиваясь от расторопной торговки, Кошель кричит:

— С этим, тетенька, отваливай подальше, дурачков поищи. Мы не из мягкого вагона!

— Почему ты? — удивляется Курт.

— Разве не видишь — пряденый он, на бумажной основе и сверху для близиру шерстинкой окручен... Вот настоящий! — выхватывает он платок.

— Тише ты, дьявол, изорвешь...

— Изорвешь тебе этакую,— подмигивает Кошель. — Этот сученый, настоящий оренбургский. Только цену она втрое запрашивает...

Демин допиват третью крынку молока. Он облизывается, оглядывается по сторонам и беспечно подходит к Колесникову, одиноко жующему сухую ватрушку.

— Я тебя, браток, понимаю... Жалко имущества,— говорит Демин и, поколебавшись, хватает Колесникова за руку, пытается сунуть бумажку в его сжатый кулак: — Ты забудь несчастье... я тебе помочь хочу! Возьми мои тридцать рублей...

Отстраняя его, Колесников вздыхает:

— Ни, мини цих денег не треба... Як нажил, так сам и пользуйся.

9 часов.

Стоим в Орске и такая заваруха, что до сих пор не могу опомниться.

Еще на ст. Губерля, когда нам заявили, что «Орск не принимает», потому что там пробка, стало понятно — проскочить благополучно, как до сих пор, не удастся. А когда Орск все-таки принял, и мы, простояв с полчаса перед семафором, вползли в дебри всевозможных составов, занявших буквально все пути, даже хорохорившийся до последней минуты Кошель начал бормотать, что здесь

всегда канитель, а к утру «как-нибудь все равно выберемся».

У дежурного узнали: кроме обычных грузов, на станции скопилось несколько первоочередных — скот, горючее для Магнитостроя, фрукты (часть которых к тому же не в ледниках, а в обычных вагонах),— паровоз же на все поезда один.

Дать нам преимущество перед остальными дежурный отказался наотрез:

— Завтра к вечеру отправим, и то ладно... И не просите!

— Да ведь у нас уборочный,— взмолился Кошель,— нам же хлеб убирать!

— Какие там уборочные — вы вот на них поглядите, у них помидоры, скотина голодная, а они уже сутки ждут.

«Они» — целая толпа народу — сразу придвинулись к столу, размахивая руками и, грозясь, начали доказывать, что именно их груз должен быть отправлен в первую очередь.

— У меня может груши гниют! — хрипло вопил мордастый парень в брезентовом плаще.— Я в Совнарком телеграмму подам, как за вредительство, у меня одних кабачков два вагона!

— А моя скотина подохнуть должна, да?— перебивал его красноносый седой старичок, из самых ехидных на свете.— А циркуляр НКПС на что?

Спорить с ними было нечего,— мы кинулись к начальнику.

Тот встретил нас как личных своих врагов, пытался даже выгнать вон из кабинета. Только с помощью моих московских мандатов удалось его немного успокоить.

Я принялся доказывать, что суточный простой эшелона обойдется в 850 га пшеницы или худо-бедно в 40 тысяч пудов экспортного зерна.

— Это подороже гнилых кабачков!— перебивая меня, наваливался Кошель.

Начальник, все больше и больше уступая, с отчаянием в голосе твердил:

— Да поймите же, не от меня это зависит!.. Ну что я могу сделать? Говорите с диспетчером.

Мы не отступали и, наконец, после новых доводов о политической стороне дела и о том, какой козырь даст гибель хлеба в руки классового врага, он сдался — вздыхая, пошел к селектору.

При гробовом молчании дежурного, мордастого парня, ехидного старичка и всех прочих, он выложил диспетчеру все, чем донимали мы его только что:

— А если машины опоздают и хлеб погибнет, тогда что? Ты за это будешь отвечать?.. Ага! А какую агитацию на этом кулачье разведет?

Он кричал в рупор с азартом новообращенного, — это был положительно лучший начальник из всех, каких мне только приходилось видеть до сих пор! Но и у него результаты получились плачевные. Диспетчер продиктовал приказ — составить сборный маршрут из живности, овощей, погруженных в обыкновенные вагоны, и 15—20 платформ с комбайнами. Другими словами, поблажкой могли воспользоваться только 14 вагонов Кошеля, которому и так ехать на сутки меньше нас!

Пришлось начинать все сначала.

— Да что же вы предлагаете, чорт!— яростно взмолился начальник. — Ну что я еще могу?

— Вы нас с пассажирским до Теренсая отправите, — высунулся Кошель, — шестьдесят километров. Должен потянуть!

Начальник, страдальчески морщась, сунул в рот папиросу, чиркая спичками и ломая их, спросил:

— А сколько останется на Троицк?

— Побольше половины останется,— ответил Кошель, поспешно поднося зажженную спичку,— сорок три платформы, два вагона простых, один четырехосный — девяносто четыре оси.

Начальник затянулся, закашлялся и бросил папиросу на пол.

— Девяносто четыре не выйдет... У меня же ледников восемьдесят осей!

— Да ведь порожняк почти! — взмолился Кошель.— Значится платформа, а на ней один хедер — что в нем весу, тонны не будет!

Начальник с ненавистью взглянул на него и, вдруг наливаясь кровью, заорал:

— Пра-шу меня не учить, не учить!.. Я вам, товарищ, не мальчишка, чорт!

— Моя скотина, например, тоже пить-есть хочет, — придвигаясь к столу, забормотал старичок.

— Кабачки гниют! — полез с другой стороны мордастый парень.— Помидор одних шесть ледников!

Начальник схватился за голову — и снова придвинул к себе аппарат.

— Специальный циркуляр НКПС...— начал было старик, но Кошель так злобно ткнул его локтем, что он тотчас умолк, снова стало до тошноты тихо.

— Диспетчер?.. Говорит Орск, С. Вот что, диспетчер, ничего у меня с твоим 147 не выходит... Ты погоди, тут другая комбинация... Да погоди же, говорю! Слушаешь? Тут комбайны двумя маршрутами, один Теренсай, другой Троицк. Понятно? Теперь слушай дальше — живность идет Карталы-Магнитная, а скоропортящиеся опять-таки Троицк. Чуешь? Значит имеем один сквозной до Троицка — девяносто четыре оси комбайнов и восемьдесят две скоропортящихся... Ничего, комбайны с недогрузом (он оторвался от рупора и прошипел:— Сколько тонн? — на что Кошель, выпучив глаза, брякнул: — Четыреста!) — четыреста тонн... Так? Значит один набрали. Теперь дальше — остальные комбайны отправляем до Теренсая ночью, с почтовым, а живность добавим к наливным на Магнитную... Так?Значит Троицк в первую очередь, Теренсай с почтовым, а остальные завтра. Все.

Дежурный принял приказ и волынка кончилась: мы выиграли сутки времени или 40 тысяч пудов зерна.

Старичок, тряся, как козел, седой бороденкой, побежал на почту, посылать телеграмму в НКПС, его мордастый конкурент гогоча затопал следом, а Кошель и Нетреба занимаются сортировкой вагонов и составлением нового эшелона.

Уже совсем темно, это здорово мешает работе. Паровоз, маневрируя, возит нас взад и вперед по лабиринту заставленных путей. Бегают сцепщики и кондуктора с фонарями. Комбайнеры-каиндокумакцы таскают с наших платформ на свои все те же гнилые веревки, на которых спал в Биюке Збарский, и прочее, что досталось на их долю при дележе совместного имущества — винтовки, койки, остатки папирос... Запчасти решено не трогать; проезжая через Теренсай, мы сгрузим их там, а чтобы «что-нибудь не вышло», Кошель оставляет своего слесаря Перепелицу.

7 августа.

Ночью подолгу где-то стояли, но было так холодно, что я не мог понудить себя вылезти из теплушки. Только на рассвете, когда под'езжали к Теренсаю, пришлось волей-неволей вставать.

Ветер гнал над степью низкие рваные тучи, под ногами скрипел мокрый песок. Вдали, за кривой речкой, отчетливо виднелись расставленные по косогору беленькие домики и длинные хозяйственные постройки каиндокумакского. Типовая усадьба, точь-в-точь похожая на Симферопольскую, Борисовскую и на многие другие, созданные в течение двух лет среди диких равнин Казакстана, Башкирии, Сибири.

Пока Нетреба с помощью Перепелицы и караульных спускал на землю тяжелые ящики, я пошел на станцию позвонить директору — разузнать, как с уборкой и попросить хлеба. Но не пришлось: дежурный уже нес навстречу мне жезл.

— Сейчас отправляем,— крикнул он,— а то дадут скрещение, потом пропускать почтовый из Орска — часа на три... Говорят, с почтовым комбайны для нас идут?

Я подтвердил, что это действительно так, и назвал Кошеля. Он закивал головой:

— Как же, как же, Кошель, знаю — он тут агентом-экспедитором работает.

Агент и завхоз — что ни говорите, а здесь есть некоторая разница!.. Но в конце концов это не так уж важно. Спрашиваю:

— Ну, а убирать-то здесь начали?

Он с удивлением переспрашивает:

— Убирать?.. Недели две уже работают, вот только вчера дождик подкачал.

Две недели! Мы ждали всего, но не этого... Главное, ремонт уже закончен. За исключением двух машин, требующих сварки или станочной обработки поврежденных деталей, вся колонна может немедленно становиться в борозду. Значит каждый час промедления целиком отнимается от уборки.

Единственное, что меня немного успокаивает, это вид полей, мимо которых тащится наш эшелон. Трудно поверить, что на триста километров южней, или на

западе; за Уралом, уборка перевалила за половину. Здесь то и дело попадаются участки совсем зеленого овса, а недавно мы видели даже целое поле неубранной ржи. Может быть терексайский дежурный просто путает?

Не выразишь словами, какая тревога и тоска!

В нашем вагоне холодно, неуютно. На полу ошметки грязи, с окон течет. В углу, с головой укрывшись одеялом, спит Шандалов... Противно смотреть на это сумрачное сырое логово, противно ощущать на себе мокрую резину плаща, противно писать,— сейчас бы заняться каким-нибудь шумным и людным делом. Но каким? Придумать сверхсменную регулировку или смазку машин? Этому мешает дождь, с небольшими перерывами он моросит весь день. Ругаться с железнодорожниками? От одной мысли об этом начинают чесаться мозги и ныть зубы... Если бы был Кошель, можно бы стравить его с Нетребой, или затеять спор о том, чьи комбайны лучше отремонтированы — шуму и ругани хватило бы до вечера. Но и Кошеля нет, он, небось, уже дома, удивляет каиндокумакцев брехней о крымских боях и дорожных приключениях...

4 часа.

Началось с того, что на остановке к нам прибежал парень, сопровождающий ледники,— просунул в щель красную гладкую рожу и злорадно крикнул:

— Дрыхнете, черти?.. А братва ваша перепилась в доску, главный хочет агента вызывать. Ей-богу!

Конечно, мы с Нетребой не медля пустились к пульману. Еще издали услышали нестройное пенье: ты лети, лети мой конь и т. д. А подошли ближе, и того хуже: двери вагона раздвинуты настежь, на столе и рядом на койках расселись наши ребята и впереди всех, с винтовкой между колен, бросивший свой пост Сергеев.

В полном смятении вслед за Нетребой лезу в вагон.

— Свадьбу гуляете? — мрачно спрашивает Нетреба.— Или может вашей церкви престол сегодня?

В вагоне становится почти тихо. Я вижу перекошенный рот Поддубова, круглое лицо Звонарева, глубоко ушедшие под буграстый лоб глаза Лубенца — и он здесь!

Сергеев слезает со стола, медленно заливаясь краской, говорит:

— Что ж нам теперь и погулять нельзя?

— Почему нельзя?— изумляется Нетреба. — Для таких, как ты, героев все можно! На дисциплину наплюем, пускай хоть все ремни с транспортеров пообрежут, — сядем песни спивать... Бойцы!

— Да я ж только взошел!— бормочет Сергеев.

Но Нетреба не слушает, строго кричит:

— Товарищ дежурный, кто у тебя в третьей смене караулит?

Из глубины вагона, где лишь в самом конце, у окна, пристроился с газетой Штоль, да маячит среди коек силуэт Приба, выходит Колесников. Он уныло перечисляет: Сергеев, Курковский, Демин — и, следуя за его взором, я тотчас замечаю Демина, с папиросой в зубах развалившегося на постели. В вагоне нет одного только Курковского.

— А-а, и ты, товарищ Демин, здесь!— ласково тянет Нетреба.— Подушку свою караулишь?.. Или, может, Батраки вспомнил?

Демин выплевывает папиросу и срывается с койки, точно его подкинуло.

— А ты меня одел?— хрипло вскрикивает он. — Ты меня, сука, накормил?

Он надвигается на нас вплотную и колотит татуированным кулаком по груди:

— В этой спецовке я должен караулить, да?

— Верно, товарищи, — слышится чей-то нерешительный голос,— дождь ведь...

Но тут же другой голос — Звонарева — насмешливо перебивает:

— А куда он фуфайку дел? А пальто его где демисезоновое?

Нетреба протягивает руку и тащит с койки черную долгополую одежонку:

— Это что ли?

Он потрясает ею, как старьевщик на барахолке, чтобы все видели, кидает обратно и поворачивается к Демину:

— Вот что,— говорит он,— ты нам Лазаря не пой. Ты лучше скажи — сколько ты водки сегодня выпил?

— А ты меня поил?

— И так видно — за сто метров, как из шинка несет.

— От меня?

— Нет, от Пушкина!

Демин щурит глаза и презрительно цикает сквозь зубы длинной слюной.

— То-то и есть, что от Пушкина... От меня несет, а от них нет?

На столе, где попрежнему сидит человек шесть, кто-то смущенно матерится. Потом Поддубов мрачно подтверждает:

— Чего там, все пили.

Наступает долгое неловкое молчание,— только Демин, засунув руки в карманы, пытается независимо насвистывать. Рядом, за стеной вагона, оглушительно ревет паровоз, толчок и лязг буферов. Сергеев, оттопырив винтовку, молча спрыгивает наземь.

Длинная рябая от дождя лужа плывет мимо дверей.

Я говорю:

— Правила нашего распорядка помните? Что полагается за пьянку в дороге?.. Забыли?

— Я не пил!— испуганно вскидывается Данилов.— У меня и денег нет, вы их нарочно спросите!

Он пытается протискаться вперед, но огромная, грязная ладонь Лубенца упирается в его цыплячью грудь.

— Погоди ты,— говорит Лубенец и, сбычившись, исподлобья смотрит на Демина.— Вот он на нас указывает, что мы тоже пили. Правильно, пили, две литровки — вы уж нас, товарищ Курт, простите!

— Я не поп, чтобы прощать.

Лубенец досадливо отмахивается:

— Да не к тому я! Простите — это я к слову сказал, я про другое, про Демина. Он на нас указывает, правильно, мы дисциплину нарушили. Но все ж таки, пусть он нас с собой не ровняет. Вот вопрос!

— Я и сам с тобой не хочу равняться! — кричит Демин и кричит все громче.—Я бригадиром был, ты передо мной Ванька из деревни! Ты в июне курсы кончил, а у меня квалификация, захочу так могу шофером газовать, понял?

— Сметви, из комбайнеров бы не погнали! — отвечает Лубенец, и, перебивая его, со всех сторон раздается:

— Все равно погонит!

— Ширмач твоя квалификация!

— Пусть он скажет, куда манометры дел!

Шум возникает сразу, точно рухнули какие-то подпорки, — и я не успеваю понять, почему: из сумрачной глубины вагона вырастает огромная фигура Приба.

Не торопясь, Приб поднимает руку, собирает в горсть на груди Демина комбинезон и толчком осаживают его к двери, за которой крутится степь и мелькают мокрые телеграфные столбы:

— А туда... хочешь?

Все скрещивается на одной секунде — запрокинутое, искаженное лицо Демина, неуловимое движение Нетребы, одергивающего руку Приба, почти женский испуганный вскрик. И опять начинается шум, в котором ничего нельзя разобрать. Кричат про караул, про манометры, про какую-то гармошку, и только отдельные голоса вырываются из этого кагала:

— Скажи спасибо уехал, а то Чупиков...

— То же я гляжу вин гроши сує!

— У него брат, не доезжая Оренбурга, живет!

Лубенец, перегибаясь ко мне, прячет глаза:

— Мы между собою еще вчера обсуждали, в виду чемодана. Для нас давно ясно... Да ведь как об этом скажешь? Всему Крыму позор. На штурм полей едем, вот вопрос!

— Да тише вы, мать! — надрывается Нетреба.

Я молча киваю Лубенцу: его слова выражают все, что было недоговорено сегодня, вчера, третьего дня — и внезапную злобу Приба, и мои тягостные мысли... Мы понимаем друг друга до конца.

Как только удается угомонить ребят, я начинаю:

— Вот что, товарищи, у нас опять получается буза...

Поддубов, перебивая, с искаженным лицом кричит:

— Какая буза, он весь эшелон задержал!

— Получается буза, — повторяю я —

Разве не так? Едем мы последние сутки, а вы точно с цепи сорвались... Кому нужна эта партизанщина? Нужно действовать организованно. Доедем до места и разберемся — спокойно, без всякого крику...

Поддубов молчит. Но теперь мне не дает говорить Лубенец:

— Правильно! — кричит он, срываясь с места. — Я тоже так считаю, что сейчас обсуждать нечего. Раз случился инциндент, нужно разобраться как следует... Не дома, товарищи! Что об нас железнодорожники подумают? За нами может еще сто эшелонов пройдет, а из-за одного Демина им всем получится позор! Сами вчера говорили...

— Валандаться с ним тут, — ворчит Поддубов.

Но все уже кончено. Приб медленно уходит в глубину вагона. Ребята молчат. За дверьми, среди разорванных туч, синеет и все растет холодный чистый просвет.

Демин лежит на койке, отвернувшись к стене. У изголовья его торчит длинный ствол ружья.

Говорю:

— Товарищ Нетреба, передай мне винтовку... А ты, Колесников, имей в виду: Демина в караул больше не назначать. Кто у вас заступит на его место?

Со всех сторон ко мне тянутся руки ребят, и я отдаю ружье Звонареву.

— Что-то не видать Карталов, — говорит Курт, смотря на мелькающую траву, на ровную идущую навстречу степь.

Телеграфные провода режут серое дождливое небо.

— Хорошо идем! — радуется Пенов.

— Да, припускает гаврила, — позевывая, соглашается Нетребов.

Как бы стараясь угодить, все ускоряя ход, поезд летит вперед скачками, как заяц. И вдруг сразу ложатся тормоза. Пенов валится на койку. Нетребов сшибает ведро и только ухватившись за стол остается на ногах. Курт, высовываясь из вагона, кричит:

— Что случилось?

С соседней тормозной площадки свесился главный. Он машет красным флагом, и поезд окончательно останавливается.

— Да что такое? — волнуется Курт.

— Вот что такое! — снимая фуражку, говорит кондуктор и показывает окровавленный висок. — Видал? Тормоза спортить можно! Этакий толчок!

И он деловитым шагом направляется к паровозу.

Остановка затягивается.

— Должно быть, ругаются, — смеется Нетребов. — Здорово его стукнуло!.. Жаль Кошеля нет — вот бы кувырнуло.

— От Кошеля одно зеленое мыло осталось, — говорит Курт, показывая на пол, где лежит загустевшая жирная куча с торчащими лезвиями битого стекла. — И то хотел забрать, удивительно как забыл...

Опадает небо и под ним настороженная степь крепко держит клокочущую станцию.

По каменным полам бессоных коридоров развозят осклизлую грязь ржавые сапоги комсомольцев, сопровождающих ударные маршруты из Ленинграда, новые калоши московского литейщика, стоптанные башкирские коты и добротные гамбургские башмаки на белой подошве... Сиреневый немец в набухших над шерстяными икрами штанах выбирается из брезентовой толпы грабарей и бетонщиков и выходит на перрон. Его бритые щеки обдает пульверизатором дождя. Ветер наносит душный паровозный дым. Журчат и плещут водосточные трубы.

Половодье составов нависает нетерпеливо, как озеро над плотиной, непрестанно стекая в русло единственного рукава, чтобы насытить могучую утробу гиганта. В запломбированных вагонах стиснуты пухлые связки ватных фуфаек, бочки голубого цемента, изогнутые прутья арматуры, звонкий как стекло огнеупор, ящики с гвоздями, лапшей и мармеладом, тугие кули с солью, мешки, кадки и цыбики. С открытых платформ обдают смолой отвесные кручи теса. Назойливо пахнет рыбой. Блеют овцы, просовывая морды сквозь решетки. Поднимают острые плечи прикрытые чехлами механизмы. Темнеют чугунные тяжести маховиков. Белые буковые ящики заляпаны жирными клеймами американских фирм.

Перебираясь через тормоза платформ, ныряя под цистерны и ледники, выбирается на свободную колею гурьба вооруженных лопатами девок — и с визгом перебегает дорогу подкатывающему эшелону... Бледная цепь комбайнов, звякая, ложится в клокочущую тесноту.

Небо осело к самой земле. На выходной стрелке проступает заплаканный огонь фонаря. Он стелет под колеса свой мутный свет, мелькает в пролетах вагонов, и ленинградский маршрут первым уходит в сырую обветренную степь.

Влажными километрами пшеницы и целины грохочет ударный груз. Холодные длиные рельсы уносят его к железным склонам Атача — там над пятью баснословными вершинами, в зареве ни на минуту не утихающего труда, медленно плавится ночь...

Утро холодное и ясное. Пульман просыпается, фыркая, позевывая. С дрожью выбираются из-под отсыревших одеял растрепанные комбайнеры.

— Последний нонешний денечек, — потягиваясь, говорит Демин.

— Як дождя не буде, завтра на борозду. Осточертила дорога, скорей бы вже до дила...

На станции Золотая Сопка пусто. Базара нет, буфет тоже закрыт. Ветер сушит густую грязь. У стола, перед маленьким золотевшим зеркалом, сидит на сломанном ящике Пенов. Он размазывает морозное взбитое мыло по острому подбородку. Новая бритва сверкает и с треском рушится на вставшую дыбом щетину.

— Ты и мне потом дай побриться, — просит Шандалов.

Состав не задерживается и через четверть часа хрипит гудок отправки.

Нетребов, стоя у дверей, видит бегущего к нему парня с раскосым скуластым лицом, в ватной шапке.

— Нетреба, сажай меня!

— А, Бултукеев! — протягивает руку Нетребов, — лезь скорее, сейчас трогаемся.

Взобравшись в теплушку, молодой сутулый казак оглядывается:

— Нам комбайны везешь?

Нетребов, не слушая, кричит:

— Пшеницу начали убирать?

Курт, Шандалов и Пенов смотрят, не мигая.

— Поспел хлеб, — кивает казак, — дожди держали, ну пшеницу не начинал еще... дня три только рожь косил.

...Подрагивают тяжелые оливеры, треплются мотовила на хедерах. К некоторым машинам прилепились ребята, поспешно обмахивают и без того чистые бока комбайнов. Вдали клубятся тучи. Короткий приземистый паровоз старательно пыхтит и все прибавляет ходу.

Шандалов связывает вещи. Нетребов снял спецовку и, снова облеченный в синие галифе, торжественно натягивает свои желтые сапоги.

Застегнув гимнастерку, он бросается к двери:

— Вот наши поля!

Курт становится рядом с ним.

— Может быть вам у нас не понравится, — застенчиво вздыхает Нетребов, — а я ни на что свой Учебно-опытный не променяю... На две пятилетки я закрепился в Голощекинском! — говорит он торжественно. — Вон и наши оливеры стоят... Видишь? Сейчас поселок будет, Веселый Кут, там показательная станция... Жена у меня живет в этом поселке.

Курт переводит близорукий взгляд с белеющих на горизонте машин к толпе аккуратных мазанок.

Сидящий на койке казак с доброй улыбкой смотрит на ошалевшего от восторга Нетребу.

— На свой совхоз приехала, — подмигивает он.

А Нетребов, по пояс высовываясь в дверь, выхватывает из кармана и высоко в воздух кидает непочатую пачку папирос.

— Держи, братишка!.. Крымские! — неистово вопит он.

Моска Зернотрест
Уборочная группа.

Колонна прибыла тогузак 14 часов восьмого разгрузка закончена ремонт доступный условиях пути выполнен сто процентов Курт.

Встреча нового года

Е. Габрилович

●

Человек средних лет вышел утром тридцать первого декабря в коридор номеров Брызенского горпо. Он был в рубашке, в синих штанах со спущенными подтяжками. Он шел, шлепая туфлями, барабаня себя по животу, опоясанному полотенцем. Он икал, кряхтел, бормотал, пел, прихлопывая ногой все то, что лежало на полу: вчерашний кинобилет, тесемку, плевок, коричневый след галоши.

Пройдя светлую часть коридора, человек, мой герой, остановился. Он снял рубашку и начал утреннюю физкультзарядку. Он присел на корточки, приподнял правую ногу и вновь опустил ее. Затем он начал вертеться вправо и влево, вперед и назад, жужжа про себя марш, морщась, щурясь, глядя в раскрытую комнату номерантов, где рослый номерант, присев на кровать, стаскивал с себя, кряхтя, сапоги.

Коридор был темноват. Лишь наверху, сквозь щель, бил свет. Вчерашний папиросный дым плавал здесь с осторожностью. Прошла номерантка, взмахнув подолом, дым грохнулся вниз, приподнялся, сжался в комок и вновь рухнул на пол,— туда, где лежал мой герой, подостлав пиджак и приподняв обе ноги, морщась, мигая, глядя в номерантскую комнату, в которой рослый номерант, сняв сапоги, чесал теперь одну ногу об другую.

Затем мой герой прошел к умывальнику. Это был умывальник, похожий на все умывальники всех гостиниц горпо нашего Союза. Кран загнутый вверх, желтый графин на бачке, круглое жестяное дно, чья-то мокрая пуговица посредине. Герой мой положил несессер и банку с ваксой на бачок, одел рубаху и взглянул в зеркало. Наклонившись, подпирая языком щеку, сдвигая брови, оттягивая и опуская губы, он начал утренний осмотр лица. Он увидел все то, что видел ежедневно: желтые волосы, малиновую кожу, упрямство, алчность, благородство, трусость, презрение к опасностям, хитрость и гордость. Ночь не принесла новостей. Сон отсосал лишь лицо к глазам и к скулам, все смешалось. Родинки помещались там, где вчера были морщины. Глаза ушли вглубь, огромные бугры сала, волос, жил, костей и крови висели там, где вчера были благородство и трусость. Все то, что нравилось моему герою в себе самом: короткий нос, кривой лоб, ссадина под глазом — все покосилось, едва не падая. Плюнув, герой мой взялся за несессер.

Это был плюшевый несессер, купленный героем моим по случаю. Желтое дно его было обвито серебряными расшивками. Здесь помещались ямки для ножей, ножниц, зубных щеток, пилок, стаканов, ароматных вод, писем и притираний.

Как всякая вещь несессер этот имел приключения.

То были даты потерь, приобретений, краж, куплей, продаж, толчков и ударов — жизненное тряпье, суета-сует, скрывавшая вялый, едва шевелившийся процесс трения, отмирания, облупливания. В 1924 году несессер был привезен в Семипалатинск, висел на стене, лежал на комоде и продан был за два рубля Степану Пыренкову, моему герою.

Теперь несессер был ржав. Из всех предметов, помещавшихся на нем, остался один лишь раздвижной металлический стакан, но и у него откололся ржавый и кривой верхний сегмент. Стакан был всунут в дыру, предназначенную

ему. Сегмент же болтался повсюду, ударяясь о склянки, путаясь в расшивке, прилипая к мылу.

Однако несессер не пустовал. Герой мой грузил и грузил в него холостые свои заботы. Он поместил в ямах и в извилинах, предназначенных для щеток, пилок и притираний, — картуз табаку, обломок подковы, банку с зелеными мухами, коробку с пуговицами, мыло, сарайный замок и кожаные ботиночные заготовки. И, вдавленные некогда с огромным трудом, вещи эти сместились, расширились, утряслись, согнулись где надо, являя собой формы смешения щеток с подковой, пилок со щетками, наперстков с мухами — формы, замкнутые в одно обобщающее смешение — в совместную жизнь несессера и моего героя, жизнь долгую, счастливую, вместившую в себя две сущности: героя и ящика с принадлежностями.

Пыренков расстегнул несессер и вынул мыло. Повертев мыло в руках, Степан вновь спрятал его в несессер: он не любил умываться. Он засучил рукава, расстегнул ворот, подошел к умывальнику и расставил ноги. Подготовившись таким образом, он полуоткрыл кран, пробуя не холодна ли вода. Вода была тепла и это разозлило Пыренкова.

Он пнул ногой ведро и ткнул кулаком бак умывальника. Затем он принялся плескать себе воду в лицо, стараясь одновременно уклониться от струй.

Это ему удавалось. Он плескал воду куда-то вверх, вниз, вбок, к ногам, к потолку, к шпалерам, издавая те кашли, фырканья и клекоты, которые издает при умывании всякий здоровый человек его лет и его корпуленции. Он кашлял, фыркал, плевал, рычал, сморкался, отдувался и клекотал, мотая по сторонам сухим лицом, по которому сверху вниз, застревая на выбоинах, текла узкая, наболевшая, как мозоль, небольшая вода.

Умывшись, он принялся вытираться. Вытираясь, он подошел к окну. Окно выходило на двор; у самого подоконника висела клетка с канарейкой. Некоторое время Пыренков вытирался молча, затем канарейка заинтересовала его. Он просунул палец в клетку и сказал: «пой». Канарейка не двинулась. Степан просунул руку сквозь клетку и посадил канарейку в изгородь, где лежали конопляные семена. Канарейка встрепенулась. Затем она притихла. Степан дернул клетку и сказал: «пой». Канарейка моргнула своими пленочными бельмами. Тогда Степан принялся щелкать пальцами, подмигивать и напевать, стараясь ввести канарейку в свойственный ей ритм, тембр и заставить ее очнуться. Он пел нечто тонкое, переходящее в гортанный свист. Он щелкал, чмокал и делал трели. Канарейка смотрела на него, не отрываясь. Он щелкал и щелкал. Увлекшись, он закрыл глаза и чмокал и свистел, дергая и трепя побуревшую свою глотку. Прошло три минуты. Он пел и пел. Прошло пять минут. Он пел. Затем опомнившись, он открыл глаза. Был серый денек. Туман полз по земле и по крышам. Лошади, избы и овцы были черны и скользки. Канарейка, полуоткрыв клюв, глядела на Степана. Неизмеримая злость охватила Пыренкова. Он шваркнул ладонью клетку наотмашь, плюнул в изгородь и пошел к себе в номер.

Это была комната шириной в метр, хранившая в себе паршивый цвет и паршивый запах.

Стены были выкрашены в зеленый цвет. Дыры и трещины виднелись вокруг, создавая своими контурами долину, дверь, человека, потерявшего шапку, облако и рояль.

Вверху цвет был ровен, внизу он переходил в записи мыслей и поучений — в торопливый дневник людей, валявшихся на кровати, думавших, нашедших нужные слова и лезших писать их на стену. Запах был плох. Это был известный всем запах общежитий, созданный десятками людей, приносивших сюда хлеб и мясо, оставлявших консервы на окне, снимавших сапоги, чесавшихся здесь и спавших.

Круглая плевательница стояла в углу. Она была бесплотна, эта плевательница — вода и микробы—но если бы можно было прочесть плевки, читатель увидел бы в них в интенсивнейшей степени все то, что записано было на стенах — хрипы любви и окрики мыслей: плевательница стояла недалеко, не надо было лизать карандаш, ворочаться, подниматься, чтобы плюнуть в нее вздох или поучение.

Простыни были грязны. Виднелись клопы. На кровати валялись исподники и книги. На подоконнике пылили остатки ужина, на столе была краюха хлеба.

Пройдя в комнату, Пыренков принялся одеваться. Он надевал, поправлял, застегивал, но бормотал и сердился. Что-то угнетало его. Он разбрасывал вещи, мял ремни, терял пуговицы. Он разбил стакан. Гнев охватил его. Он хрястнул ногой по комоду. Лопнул наличник. Неизмеримое бешенство рвануло Пыренкова. Он подошел к письменному столу, опрокинул чернильницу, сломал ручку и расплющил перо так, что оно распоясалось надвое. Он разорвал рубаху и выбросил за окно нож. Он расколол тарелку. Он разрезал скатерть.

Поболтавшись так с полчаса, он решил, наконец, уяснить, обдумать, понять — что его так беспокоит. Он подошел к столу.— Служба? — сказал он сам себе. — Нет, — отвечал он, — на службе все благополучно. — Двор, который я видел из окна, когда умывался? — Нет, и там не было ничего особенного. — Соседи? — Нет, соседи спокойны. Он метался по комнате, ища причину, толкая, ломая, ругаясь. Он выбежал в коридор, заглянул в комнату номерантов, спустился вниз, оглядел сор, пыль, хлебные корки. Он вернулся в номер, посмотрел за зеркало, полез под кровать. Он топал ногами. Он плевал. Наконец, присев на кровать, он понял, что причиной его беспокойств, внутренней занозой, не дававшей ему покоя, было пенье его перед канарейкой. Он вытер пот со лба. — «Ну и характер, вот так характер», бормотал он, закуривая.

Затем он спустился в столовую, чтобы позавтракать. Он нес в руке баул. Спросив чаю, Пыренков раскрыл баул. Все в бауле обличало в Пыренкове человека, привыкшего к странствиям: здесь были всевозможные ножи, складные тарелки, спиртовка, термосы, два чайника. Сбоку лежали лекарства—бинты, аспирин, иод, ревень, мигреневый камень, вата. Внизу помещались продукты — шпроты, колбаса, обрывок окорока, семга, курица, осетрина. Продукты были завернуты в газеты и бесчисленная пестрота газетных наименований тоже изобличала неустанного странника в моем герое. Здесь были газеты киевские, воронежские, саратовские, харьковские. Иные продукты завернуты были в газеты узбекские — испещренные резкими черточками и клиньями, иные — в мордовские—круглый шрифт, овалы, общая мягкость, иные — в газеты немцев Поволжья. Здесь виднелись районные газеты, напечатанные на двух полосах, пестревшие резолюциями, газеты выездных редакций—на одной полосе, предназначенные для расклейки. Здесь были газеты центра, областей, ведомственные журналы, иллюстрированные ежедекадники, юмористические и толстые журналы. Здесь были заводские многотиражки.

Пыренков развернул нож, масло, колбасу и принялся ждать чая.

Чаю ему не подавали. Он ждал и ждал, стуча по столу ножом и оглядываясь по сторонам. Он осмотрел стойки, столы, чайники, плакаты. Затем взгляд его упал на картину, висевшую у самой двери. От нечего делать, Пыренков осмотрел и картину. Он увидел папортник, странную сухую ветку и дыру в холсте с левой стороны. Прошло пять минут, но чаю Степану не подавали. Делать ему было нечего. Он взглянул в окно. Была странная для этих мест и для этого времени года оттепель. В сизом мокром утреннем свете увидел Пыренков главную Брызенскую улицу — деревья, сарай, магазин, баню, аптеку, почту, трех пешеходов. Делать Пыренкову было нечего. Ворочая головой, он увидел бабу, хлопотавшую за соседним окном в одной рубашке, человека с разносной книгой в руке и девку, стиравшую, наклонившись, белье. Так прошло десять минут. Чая Пыренкову не подавали.

Безмерная сердитость охватила тогда Степана. Он принялся стучать по столу ножом, стаканом, вилкой. Прибежал служитель. Степан крикнул: «Заведующего». Служитель замешкался. Тогда, вне себя, Пыренков заорал: «жалобную книгу!». Люди высыпали из-за столов и из-за буфетного прилавка. Наступила тишина. Степану принесли жалобную книгу. Тут он опять обнаружил себя человеком, много странствовавшим. Он вписал свою жалобу со знанием дела, отделив ее чертой от предыдущих записей, проставив месяц и число, спросив фамилию

служителя, начав жалобу словами «спеша по делам» и заставив двух, трех свидетелей расписаться.

Выпив чаю, Пыренков пошел, кряхтя, разыскивать инженера Свешева. Свешев ехал на завод «Электрическая сталь», оказался попутчиком Степану и обещал взять его с собой.

Степан нашел Свешева на дворе. Инженер разглядывал двух лошадей, которых седлали. Он был худ и желт. «Спешите», — сказал он Пыренкову, — «мы едем».

Пыренков, тяжело дыша, побежал наверх, в номер. Он оставлял этот номер за собой, оставлял в номере чемодан свой и вещи: ему предстояло вернуться в Брызню через декаду. Он вытащил из-под кровати один лишь рюкзак. Побегав по комнате и позлившись, он положил в рюкзак колбасу, три банки консервов, складной нож, сахар в жестянке из-под какао, иод, пять облаток хины, кальсоны, рубаху, мыло и розовый пластырь. Затем он подошел к кипе книг, лежавших на подоконнике, и оглядел их, затрудняясь — какие из них взять с собой. Подумав и повздыхав, он взял «Происхождение семьи» Энгельса, «Почему мы боремся с религией» Арабекяна, «1871 год» Маркса, «Хаджи Мурат» Толстого, «Как устроена десятирядная сеялка» Остроумова и «Пушкин и Белинский» Писарева.

Сложив припасы и книги в рюкзак, он связал его, взвалил, крякнув, на спину и вышел на двор.

Был дождь. Лошади, избы, овцы были черны и скользки. Подчас начинался снег. Туман расползался тогда. Видны были полыньи и дороги. Шлепала по двору баба, считал табуретки мужик. Затем шел новый дождь.

Инженер и Пыренков должны были ехать верхом: дорога расползлась, нельзя было пробиться ни в санях, ни в телеге. Инженер никогда не ездил верхом. Седел не было. Путникам дали две подушки. Путники положили их на конские спины и, сняв с животов своих ремни, привязали подушки накрепко. Пыренков крикнул: «Эй, милая»—и с разбега сел в подушку. Конь качнулся под ним и брызнул пеной. Инженер остался один на твердой земле. Лошадь его не брызгала пеной. Это была черная крестьянская лошадь, привыкшая к долгим пробегам и к долгому еканью селезенки. Она щипала траву, вздрагивая и мотая гривой. Инженер дал портфель свой Степану и полез на лошадь. Он лез с трудом, оглядываясь, размахивая ногами. Он прополз лошадиный бок, перекинул ногу в подушку и сорвался.

Опять он был один на твердой земле. Шел туман. Гарцевал и гикал Пыренков. В ближнем сарае работали триера. Было утро, но было темно. Белесый парень подошел к фонарю у кооператива и потянул спичку наверх.

Ругаясь, Пыренков слез с лошади. Он подставил инженеру плечо. Инженер сел ему на плечо и взобрался на подушку. Лошадь переступила с ноги на ногу, но инженер удержался.

Степан крикнул: «эй» и всадники выехали за ворота. Город исчез понемногу. Виднелись поля. Дымные телеграфные столбы быстро дрожали в них. Холодело. Вправо от путников бежал дым. Он пробежал холмы, речку, прогалины. Затем остановился. Пробило два звонка.

Инженер плавал в своей подушке. Руки его прыгали, ляжки скользили по чепраку. Пыренков горячил коня. Он скакал вправо, влево, летел вбок, перепрыгивал канавы. Инженер не горячил своей лошади. Но лошадь его, привыкнув к единству свадьб и обозов, следовала за Степаном, не отставая ни на шаг. Инженер бился о ее живот, падал с размаху на ее гриву. Он кричал и кричал, прося Степана помедлить.

Наконец Пыренков попридержал своего скакуна. Дул ветер. Степь смерзалась на глазах. Начался снег. Путники ехали бок-о-бок. Степан рассказывал инженеру историю боя под Касторной. Он перечислял храбрецов по имени, отчеству. Операция, вся сущность которой состояла в стремительном боковом ударе, представлялась ему настолько отчетливо, что он чертил карту боя в воздухе и на чепраке. Карта тут же исчезала. Горячась, Пыренков чертил опять. Пропащий труд!

Прошло полчаса и Пыренков задумал показать инженеру касторнский бой наглядно, как в театре. Он от'ехал в сторону, спрятался в кусты и крикнул инже-

неру: «атакуй!» Инженер атаковал его. Атаковав, он слез с лошади. Дальше ехать он не мог. Боль в ляжке была нестерпима. Бедра ломили. Кости жгли.

До «Электрической стали» оставалось версты две. Поболтавшись около инженера, побегав и посвистав, Пыренков взял под уздцы инженерскую лошадь и ускакал, обещая прислать телегу. Худой инженер остался один. Он сел на дорогу. Ляжки его вспухли. Штаны были протерты. По ногам текла кровь. Он не мог даже сидеть.

2

Степан Петрович Пыренков был раз'ездным лектором, читавшим лекции по вопросам науки, культуры и искусства. Он ездил из области в область, из края в край. Он читал лекции в краевых клубах. Затем культотделы профсоюзов давали ему путевки в районы. Он читал лекции в районах. Потом райпрофсоюзы слали его в село, на стройки, на заводы.

Он читал лекции по всем вопросам. Он читал астрономию, биологию, политику, семейный быт, опалубку, динамомашину, метеорологию, воспитание, литературу, скорую медицинскую помощь, химизацию страны, культчас, организацию труда в колхозах. Он из'ездил Союз вдоль и поперек. Не было пути, которого он не изведал бы. Он ездил в поездах, в санях, на собаках. Он трясся в телегах. Он плыл на пароходах. Он шел.

Он готов был остановиться. Но должность гнала его. Новая и новая дорога предстояла ему каждый час. И едва столкнув чемодан под кровать, едва скушав борщ и разговорившись с соседом, он должен был вновь ехать, вновь болтать, вновь видеть, вновь добиваться гостиницы, билета, верхней вагонной полки — крича, грозя, заискивая, льстя и разоблачая.

О, дорога, дорога. Как удивительна, как прекрасна и как длинна ты, дорога. Дряхлый вагон, ночь, храп, арбузная корка. Вперед, вперед! Дрожат ноги в чулках, стучит чемодан, шуршит под скамьей обмасленная, набитая куриной кожей газета. Проснись, читатель! Круглая свеча, клеенчатые стены, черные окна. Тишина. Только скажет спросонья старик, да черный парень в серых штанах спустится вниз, вынет корзину со спрятанными в ней петухом и, проверяя — не украли ли, ткнет в бок петуха, обмершего от страха, готового вскричать и погибнуть.

Встань и открой окно, Пыренков! Чернота. Белые пятна летят в темноте назад — знак стремительности, поспешности, бега. Мост. Огромный воздух ползет под тобой внизу, — там куда ты мог бы упасть, бросить шапку иль плюнуть. Гудок. Это идет пароход. Он идет, освещенный, лишь там, где каюты, похожий как всякий ночной пароход на пароход без мачт, без трубы, без палубы. Он едва ворочается. Он путается в черноте, дымит, вязнет и, погудев, исчезает. Мост кончен. Последний пролет. Яркий свет. Дрова, колодец, собака, огород, будка, стол. Ты пересек Волгу.

Ложись спать, Пыренков! Печальный сон не приснится тебе. Нет, не увидишь ты во сне ни матери, ни брата, ни деда. Не надо будет тебе во сне тащить на себе кровать, самовар, стакан, чтобы собрать семью — бесценную, но мигающую и удивительную. Не надо будет тебе во сне искать улицу, шкаф, столы, чтобы окружить ими мать, чтобы добиться поцелуев ее и ласки.

Нет. Ты ляжешь, заметишь дорожные стены, закроешь глаза. Ты повернешься на спину, на бок, опять на спину. Затем ты увидишь во сне тот шкаф, ту жизнь, ту бессонницу, о которой мечтал всегда и, задрожав, успокоишься. Ты будешь спать на спине. Ты побледнеешь. Ты опустишь руку. Ты не вскрикнешь ни разу. Спи, путешественник Пыренков!

Пыренков приехал на «Электрическую сталь» в полдень. Лекция его назначена была на два часа. Времени было много. Пыренков решил осмотреть завод. Сначала он осмотрел углеразработки. Кладовщик выдал ему лампочку и шахтерку. Пыренков вошел в клеть. Дежурный дернул три раза веревку; круглый молоток ударил о буфер, подвешенный к потолку. Клеть начала опускаться. Она рванула сразу. Не видя ни зги, Пыренков увидел полет всем телом — все внутренности хлеснули ему вдруг к горлу. Он летел в совершеннейшей тьме. Клеть прыгала, дергалась; капли и брызги падали Степану на воротник.

Он прибыл вниз. Стволовой раскрыл клеть, Пыренков вылез наружу и увидел узкий штрек, заваленный крепежным лесом, освещенный редкими лампочками. Он двинулся вперед. За поворотом свет исчез. Пыренков очутился в совершеннейшей тьме. Крохотная шахтерская лампочка болталась у него в руке, освещая мимолетом всякую чепуху: лоскут, гайку, лапоть. Пыренков прошел еще два-три поворота и остановился. Теперь он не знал, как итти назад. Воздух был прохладен и влажен. Стояла тишина, над Степаном висел пласт земли, толщиной в 250 метров. Подземный ручей журчал вверху равномерно и глухо, без всхлипов и переливов. Эта вода, повисшая над гловой, была так удивительна и непонятна, что, заслышав журчание неподалеку, человек подтягивал штаны и сапоги, хотя следовало бы подтягивать шапку. Степан двинулся к клети. Была тьма, он не мог найти клеть.

Степан сказал себе: «мужайся» и задрожал. Он дрожал сначала незаметно для самого себя, дрожал там, где скрыты самые ребяческие, самые пугливые наши чувства: в почках, в сердце, в селезенке. Затем дрогнула у него спина, дрогнул живот, дрогнули руки и, вздрогнув, он понял, что дрожит целиком.

Он пошел назад, торопясь и спотыкаясь. Все те же лапти, те же окурки попадались ему на пути. Но теперь они говорили ему: ты погибнешь около меня, ты умрешь неподалеку от меня. И этот внезапный переход окурка от чепухи и дряни к явлению, которое лезло в душу, чтобы стать вещью, осмысленностью, и даже местообозначением был так страшен, что Пыренков принялся кричать. Цепь огней мелькнула невдалеке. Это шли со смены шахтеры. Пыренков присоединился к ним. Он вышел из шахты.

Был час, оставался еще час до лекции. Пыренков прошел в литейный цех. Огромная канава прорезала цех. Пол был завален железной рухлядью, бочками, стальными слитками, шлаком. Электрические плавильные печи были приподняты на второй ярус. Они похожи были на крутлые жбаны. Три графитовых столба — электроды — пробивали каждую из них.

Шла рафинировка. Время от времени поднималась, гремя, печная дверь. Пыренков видел тогда вольтову дугу. Это было сиянье, блеск, радуга, опущенная в щелкающую, кипящую, жужжащую сталь. Бригадир, надвинув на лоб широкую войлочную шляпу, засовывал в печь штангу с поперечным поленом. Он снимал со стали шлак, как повар снимает пену мутовкой. Инженер брал пробу. Огромной ложкой тащили ему сталь. Сталь кипела, расплескивалась, рыжела. Ее несли в лабораторию.

Прошло полчаса и плавка была закончена. Инженер свистнул в свисток. Мостовой кран, гудя, поднес к печи ковш. Печь начала наклоняться. Сталь рванулась в ковш. Она лилась треща как бревно под напором. Багровое зарево хватило цех. Люди внизу, казалось, были невелики и розовы, но тени их покрывали полы, лезли на потолок, гнулись в канавах. Печь наклонялась и наклонялась. Непередаваемый жар охватил помещение. Волосы, приподнятые теплым воздухом, тихо шевельнулись. Пот на лбу, слизь на губах, незаметная мокрота в углах глаз — все испарилось мгновенно. Настала страшная сухость. Но инженер стоял у самого желоба, но трое рабочих наклонялись к печи, гнали сталь короткими штангами, помогая ей трещать и литься.

«Социализм будет построен», — подумал вдруг Пыренков.

«Социализм будет построен», — подумал он тут же вновь, осмысливая внутри себя всю тяжесть и значительность слов, пришедших к нему. Он вскинул голову. Глаза его сияли.

«Ну что», — думал он далее, глядя на немца-туриста, приоткрывшего рот и ковырявшего в зубах, — понимаешь ли ты то, что видишь. Строится новый мир. Что привез ты в этот новый мир? Спесь свою и пару зубочисток. Ах, толстое семя! Нам трудно и тяжело, но мы близки. Пройдет года три и мы найдем твою спесь, как бы далеко ты ее ни запрятал».

Он глядел и глядел на немца. Они стояли друг против друга эти два смертельных врага. Один — Блекмер Стифенсон, доцент Плимутского университета по кафедре начертательной геометрии, путешествовавший по свету, везший с

собой жену, ребенка и чемоданы, имевший отца и мать в Ринксдорфе, бывший студент, ныне интеллигент и радикал; второй — Степан Пыренков, лектор по всем вопросам, путешественник по СССР, не имевший ни жены, ни сына, ни чемодана, везший с собой рюкзак, несессер и подкову, потерявший и мать, и отца, бывший студент, ныне интеллигент и радикал. И, подняв голову, выпрямив плечи, Пыренков пробежал мимо немца, не взглянул даже на него. Глаза его сияли.

Он вышел во двор. Здесь шла стройка новых корпусов. Паровой молот вколачивал сваи в котлован. Лошадь, впряженная в телегу, везла железную штангу. Три парня шли за лошадью, ругаясь друг с другом. Лошадь вошла в огромную грязь, стоявшую посреди двора и увязла по щиколотки. Парни остановились. Они начали кричать на лошадь издали, подбодряя ее. Затем они вошли в грязь и взялись за уздцы. Вечерело. Зимний день был близок к концу. Туман ушел, солнце желтело на глазах — прямо напротив. Высокая труба извергала дым, едва волочившийся к небу. Шел снег.

Парни тащили уздцы втроем. Они орали, топали, свистели. Лошадь рванулась наконец — и увязла по брюхо. Парни увязли по плечи. Они бросились к берегу, крича и махая руками. Они вылезли на берег. Плюясь, они подтянули штаны. Лошадь осталась одна. Щепки, газеты, сор, очистки — все то, что было в грязи, — плавало у ее морды. Она поднимала морду, ложилась на брюхо, снова вскакивала на ноги. Парни чесались на берегу.

«Эх-ма!» — подумал Пыренков, задрожав.

Он вошел в штамповальный цех. Здесь работало три пятнадцатитонных молота. Стальные брусья, сияя, летели по воздуху. Пять рабочих втискивали каждый из них в наковальню. Машинист нажимал рычаг. Молот полз вверх. Он трещал, скрипел и взвизгивал. Он доползал до невидной глазу точки. Удар. Пятнадцать тонн стремглав падали на брус. Дрожала земля.

Рядом работали ковальные полутонки. Четыре рабочих стояли за каждой из них. Податчик вынимал брусья из печки. Он взмахивал щипцами, брус скользил по полу. Подручный схватывал его на лету. Машинист брался за рычаг. Молот бил брусок в хвост и в гриву. Бригадир ставил брус на-попа, клал его плашмя, делал его плоским, квадратным, круглым, окончательно круглым. Все это длилось мгновения. Это была удивительная работа. В ней была та молниеносность удара, когда грохочет огромный, неслышный извне рабочий ритм, когда сложно до самой удивительной легкости каждое движение.

Пыренков глядел на эту работу десять, пятнадцать, двадцать минут. Он присел неподалеку. Он курил не переставая. Он дергал головой и шевелил пальцами.

— Социализм будет построен, — сказал он, наконец, очень громко. Он встал, походил, покурил, бросил окурок за дверь.

— Социализм будет построен, — сказал он опять, но уже совершенно неслышно, ибо речь шла в том великом углу его души, куда не влез бы никто, где сидела сама жизнь Пыренкова, где лежало все, что он имел: две-три мечты, пять лекций, мать и сестра, любовь к счастью.

Он закурил, встал, оглянулся, и подлинный восторг, восторг подвига, восторг созидания горел и прыгал в его глазах.

Был канун нового года. Пыренков должен был прочесть лекцию на тему «астрономическая сущность нового года». Читал он ее для сезонных рабочих в клубе сезонников. Зал заполнялся. Сезонники шли в одиночку. Они входили, оглядываясь, и садились поодаль. Это были ребята, пришедшие на строительство недели две назад — рабочие в лаптях, в бараньих шапках, в тулупах. Пыренков волновался. Как все люди, которым предстоит петь, говорить, декламировать, он бегал за опущенным занавесом, пробовал голос, кашлял и глядел в зрительный зал сквозь дыру в кулисе. Он боялся при этом, что его заметят. Он прятал свой живот и грудь за зеленое сукно, прикрывал ладонью лоб и прыгал от кулисы каждый раз, когда видел, что кто-либо из зрителей слишком пристально глядит на дырку.

В три часа раздался звонок. Занавес взвился и Пыренков вышел на эстраду.

Аплодисментов не было. Пыренков подошел к столу, отступил шаг назад, отодвинул чернильниц, опустил и поднял голову.

«Товарищи! — воскликнул он.

Шагая по сцене, отпихивая ногой гвозди, попадавшиеся на пути, Пыренков приступил к изложению предмета. Он рассказал о непрерывности времени.

— Нет ни старого, ни нового года. Есть время, которое протекает беспрерывно.

Он говорил об условности деления времени на годы. Затем он велел погасить свет. Он взял в руки свечу и стакан, которые, спотыкаясь во тьме, принес ему сторож.

— Рассмотрим землю, солнце, луну и их взаимоотношения, — сказл Степан.

Он зажег свечу и принялся вертеть стакан вокруг свечи. «Земля и солнце»,— сказал он. Казалось луну нечем было ему захватить — обе руки были заняты. Но подняв мизинец правой руки, Пыренков сказал: «луна». Затем он подошел к самой рампе. Он стоял теперь во тьме, над самым оркестром, впереди всякого другого предмета на сцене, стоял там, где стонут герои и комики чешут зад. Он сопел и крякал, держа в руке подсвечник, который сторож отвинтил от рояля, и стакан, который сторож принес, расписавшись, из заводской кладовой.

Зал сидел не дыша. Пыренков крикнул: «Гей» и принялся вертеть стакан вокруг желтой свечи. Он щелкал языком громко и отрывисто, как щелкают кнутом или длинной веревкой. Он гнал свой мизинец вокруг стакана и вокруг свечи, загибая и разгибая его попеременно. Свеча кружилась во тьме, стакан бежал, чернея и вновь блестя, всходил и заходил мизинец. Шли дни, вечера, ночи. Но Пыренков прибавил к ним и об'яснение времен года. Кружился стакан, плыла свеча, дрожал мизинец, и, улучив момент, Пыренков кричал: «весна», «осень», предсказывал затменья и догадывался о погоде.

Пыренков был прекрасным оратором. Как у всякого хорошего оратора у него были свои мизансцены, помогавшие слушателям усвоить истину. Он не стоял на одном месте. Нет. Он бегал, смотрел на стену, глядел за кулисы, поднимал щепку, валявшуюся на полу, чистил рукав пиджака, замолкал, садился на стул и, тут же поднявшись, простукивал стул пальцем, как бы видя в нем поломку и из'яны. Но все эти мизансцены не были приемом самим по себе, развлекательностью вне лекции, голой обособленной формой. Нет. Долгий опыт помог Пыренкову проверить приемы, отбросить те из них, которые оказались негодными, увязать все эти стулья, чистки, щепки с основной массой лекционных утверждений, сопоставить длительность возни со щепкой, длительность глядения за кулисы с длительностью соответствующих им лекционных кусков. Он делал то, что делает каждый человек искусства. Он разоружал сначала слушателя видимостью фабульности, видимостью страданий и дум—он бегал, поднимал руку, подбочснивался, пил воду. Он представлялся слушателю человеком, обиженным клубными порядками, человеком скромным и тихим, которому, пользуясь его тишиной, подсовывают дрянные стулья, человеком, наконец, который спешил в клуб, преодолевая препятствия, и запачкался, преодолевая их впопыхах. Это была несложная старинная фабула, трудность изложения которой состояла в том, что Пыренков имел в своем распоряжении лишь щепку в руке да астрономические утверждения в глотке. Но Пыренков работал и работал. Он бегал, останавливался, отмахивался, пил воду, спотыкался, потирал ляжку, хмурил лоб. И когда слушатель начинал думать то, что думает всегда читатель и слушатель: «как сложна жизнь» — Пыренков обрушивал на него всю облепленную вскакиванием, подниманием щепок, чисткой пиджака тяжесть своих логических утверждений.

И слушатель, расслабленный ядом художественности, тронутый видимостью человека, который не сдается, хоть жизнь и сложна, спешил, чтобы не взвалить на этого человека новые невзгоды, согласиться с тем, что земля кругла и что луна вертится вокруг солнца.

Пыренков отмахал свою лекцию в сорок минут и не знал, куда девать остальные двадцать. Подумав, поболтав, взглянув на завклуба, он решил доказать верчение земли математическим путем. Он подошел к доске и принялся вычислять.

Он вычислял минут пять. Затем он сбился. Он писал и стирал цифры. Он делал подсобные вычисления и пробные чертежи сбоку, в невидном месте, чтобы не загромождать внимания зрителей. Ничего не выходило. Пыренков стер все и начал сначала. Это было то безнадежное начало, которое предпринимает человек, не видя ни цели, ни схемы своих намерений, ободренный лишь тем, что исчезли цифры, в которых он путался, в которых — как во всякой цифровой путанице — привлекало его внимание не сущность доказательства, а отростки цифры, случайные меловые заусеницы. Это была отчаянная бодрость стирания, безнадежная жизнерадостность уничтожения — знакомая школьникам и гимназистам. Но едва принялся он писать вновь, как мозг его, загнанный, ослепший, обомлевший начал сравнивать новые заусеницы со старыми, новые меловые странности со старыми странностями. В этом сравнении был неожиданный, но облегчающий путь, и Пыренков, забывшись, вступил было на него, склонив голову на бок. Опомнившись, он принялся вновь вычислять. Он стоял спиной к аудитории. Он не смел взглянуть на зава. Так прошло минут пять. Затем Пыренков рассердился. Он вспомнил, что он уже стар, что не пристало ему смущение, годное молокососу. Он подумал, разгораясь: «Я смешон!» Он впал в бешенство: «Я унижался!» Огромное человеческое достоинство поднялось в нем, переваливаясь так, что Степан закачался. Он стер с доски мел. Он бросил тряпку на пол. Затем, вне себя, он подошел к столу, положил обе руки на липкую клеенку и, глядя [illegible] глаза, сказал:

— Земля вертится.

Пробил звонок, лекция была окончена.

После лекции, получив пять рублей и талон на обед, Пыренков спешит в столовую. Ему хочется есть. Он лезет вне очереди. Он продирается к стойке руками и бедрами. «Лектору, лектору», — бормочет он. Он съедает обед стремглав, грызя кости, разговаривая с соседом, смеясь, икая. Пообедав, он идет за обещанным сахаром. «Лектору». — бормочет он. Он выпрашивает бутерброд и наливает в термос горячую воду. Затем он ложится отдохнуть на скамью в коридоре. Он спит, храпя, оглядывая по временам коридор красным своим глазом. В пять часов он просыпается. Он нежится, зевает, икает опять. В шесть он бежит на площадь. Отсюда пойдет трактор, который подвезет его к Воротиловской сторожке. Путь Степана лежит в Островский лесопромхоз, где назначена завтрашняя его лекция.

3

Трактор отходит в семь часов вечера. Он везет прицепные сани, в которых сидит Пыренков. Сани покрыты брезентом. Небольшой фонарь болтается в углу. Трактор трогается. Пыренков раздвигает брезент. Мгла. Мокрый снег лупит Пыренкова в лоб. Тьма. Радио на площади поет и играет на рояле. Городок удаляется. Плетни, лобогрейки. Длинный забор. Кирпич, сторожевая вышка. Грохот гитары, звон мандолин.

Пыренков опускает брезент. Он ложится на живот. Сквозь щели санного пола видит он мелькание земли — борозды, ямы, помет, поленья. Он зевает. Чем может занять его эта борозда? Он видел Европу и Азию. Он был всюду, куда вползали копыто, нога, колесо. Лежа на животе, он плюет в щель. Плевок падает. Светит луна. Снег. Лес. Мгла. Бревно. Трактор.

Скука охватывает Пыренкова. Он лезет в рюкзак, достает термос и наливает чай. Он распаковывает на бедном северном полу — масло и рыбу, завернутые в газеты юга. Он вынимает колбасу. Он грызет сахар. Так проходит час.

Затем Пыренков ложится на спину. Сон не идет к нему. Тщетно считает он до ста. Тщетно, стараясь ввести себя в ритм, близкий сну, в ритм незначущих беспокойств и плавных злоключений, думает он об игре в футбол, об Ай-Петри, о собаке Джерри. Сон далек. Тогда, ругаясь, он садится опять. Восемь вечера. Скука снедает Пыренкова. Он колет пальцем брезент, чешет глаза, бьет сапогом об пол. Тоска. Он вынимает из кармана записную книжку. Адреса, описание городов, географическая карта, путевые заметки. Перечень былых дел: мыло, аптека, Петров, Иванов, базар, па-

рикмахер. Тематический список лекций на отдельном листке. Пыренков вынимает этот листок. Фонарь мелькает и гудит. На листке видны лишь пятна да нити. Пыренков снимает фонарь и ставит его у ног. Затем, наклонившись, он перечитывает список: «происхождение земли», «простейшие орудия и сложные машины», «химизация СССР», «комсомол и электрификация», «женщина на Западе», «современные течения в литературе». Трактор идет и идет. Он гремит и жужжит. Бензин удаляет подчас его так, что кажется — трактор лопнул.

Но он идет и идет. Пыренков дергает головой, бьет палец о палец, ковыряет картоном в зубах, зевает. Чтоб убить время, он начинает готовиться к завтрашней лекции. Глядя в листок, он повторяет про себя отличительные признаки современных литературных течений. «Перевал» — воронщина, конструктивисты — бизнессмены», — бормочет он. Проходит полчаса. Он шепчет и шепчет. Трактор останавливается вдруг. Мотор рявкает, но сбивается. Толчки и лязганье. Движение назад. Говор и крики. Затем удар, треск, клокотанье, — и трактор идет вновь. Пыренков, сорвавшийся было к брезенту, ползет назад, качая головой. Скука терзает его. «Внутреннее разделение РАПП», — бормочет он, усевшись, — характеризуется следующими признаками».

Трактор едет и едет. Огромный зимний лес окружает дорогу. Темные уральские ветки сыпят на трактор мокрый свой снег. Луна и лед пляшут перед ним на ухабах. Тусклые фары сияют на рыжеватой коре. Сосна. Сосна. Звон коленчатых передач. Ночь. Новый год. Огонек папиросы.

Пыренков вынимает из рюкзака газету. Это — «Правда» от 29 декабря, вывезенная им из Брызны. При свете рыжего фонаря, Пыренков долго ворочает газету. Затем, одев очки, он читает заголовок: «Итоги двух лет пятилетки» Он смотрит на заголовок недвижно и выжидательно, будто вслед за этим должно последовать нечто само собой. Потом, встрепенувшись, он поправляет воротник, сдвигает на уши шапку, придвигается к фонарю и читает:

«По важнейшим отраслям промышленности соотношения выполнения с намеченным пятилетним планом представляются в таком виде: добыча нефти превзошла задание пятилетнего плана на 1929/30 г. на 17,1%; выплавка стали превысила пятилетку на 6,7, а прокат — на 12%. Продукция металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности превысила проектировки пятилетнего плана на 26,3% и т. д. Короче говоря, по важнейшим отраслям промышленности мы идем со значительным превышением проектировок пятилетнего плана».

Пыренков кладет газету на пол и смотрит недвижно и прямо. Барашковая шапка покрывает его лоб; охотничьи сапоги подпирают ему бедра. Вправо от него рюкзак, влево кожух и галоши. Он смотрит и смотрит.

— Строительство развертывается, — бормочет он.

Он вынимает записную книжку. Подняв газету, он пишет цитаты:

«Усиливая коммунистическое влияние в советах, нужно повести решительную борьбу с недооценкой важности втягивания в советский актив лучших беспартийных рабочих и крестьянских масс» («Правда», 29 декабря).

«В чем теперь очередная задача по внедрению хозрасчета? Хозрасчет — в низовые звенья хозорганов — таков очередной этап работы, вот то очередное звено, за которое надо тянуть всю цепь укрепления хозрасчета».

9 часов вечера. Трактор останавливается. Село Морино. Ночь. Ветер, взвывая, дует в сани. Снег. Летает фонарь. Пыренков сидит недвижно. Он не вылезает из саней, — не повисает животом на борту, не болтает в воздухе ногой, ища подножки, не подбирает полы длинной своей овчины, не спрыгивает, наконец, в тьму, в мелкий снег, в грязь. Ему скучно вылезать из саней так же, как скучно ехать. Он об'ездил Азию и Европу. Он видит наизусть все то, что увидел бы сейчас в Морине, хлопая глазами, неопытный путник: поля, огни, кооператив, сторожа с палкой, столовую, радио, видные из-под юбки голубые штаны служанки, заправленные в чулки, двух едоков в углу, и руку, протягивающую

сквозь пролет в стене, рагу и желтую простоквашу.

Пыренков сидит недвижно. Работает лесопилка. Свистит паровик, кричат ночные дорожные голоса. Сторож, одетый в коричневое пальто, подходит к саням и заворачивает брезент. Он поднимает фонарь, оглядывает сани, видит Пыренкова и смотрит на него минуты две-три.

Сторож сердит. Он не знает, к чему придраться. Он буравит Пыренкова глазами, но молчит. И Пыренков, как старый пес, узнающий без слов и врага, и друга, урчит, рычит и икает у себя в углу.

Проходит минуты две, и помолчав сторож опускает брезент. Трактор гудит и трогается. Морино — позади. Лес, снег, ветер. Пыренков сидит попрежнему. Он старается заснуть. Опять вспоминает он все те мысли, которые с детства вели его ко сну: движение волчка, бросание мяча, шалаш на поляне. Он суживает и суживает эти мысли. Они превращаются в линии, в точки. Затем подброшенный в воздух мяч, приводит вдруг лес, облака, лапоть, колодезь. Это — сон, но толчок трактора вновь обращает Пыренкова к действительности. Пыренков ежится, кашляет, закрывает глаза. Он думает опять: волчок, мяч, шалаш на поляне. Он вспоминает, как думал он обо всем этом в детстве, ложась в кровать. Он думает еще раз: волчок, мяч — и все детство обрушивается вдруг на него вместо сна. Он видит реку, сады, дома, рыжего старика, невесть откуда затесавшегося в воспоминания. Пыренков морщится и плюет. Ему хочется спать. Все шло хорошо: он слышал уже великое сонное тиканье, мозг уже мутнел и шатался у него. Он поворачивается на спину. Он кряхтит. Он старается вновь обратить все дело в сон. Но сна нельзя уже спасти. Молодость скачет перед Пыренковым, как рысак. Пыренков просыпается совсем. Он лезет за термосом, наливает чай, откусывает кусок сахару. Он старается придать всему этому скаканью и вихрю последовательность времени и места. Сначала он был ребенком, потом стал отроком. Затем — он стал юношей. Воспоминания окончены. Скука вновь обуревает Пыренкова. Снег, Урал, лес, новогодняя ночь, ветер. Трактор ныряет. Кто-то кричит у руля. Полыхает карбид. Бор, белый свет, последние часы 1930 г. Пыренков прячет термос и сахар. Он чистит рукав. Он натирает щеки. Делать ему нечего. Он дует на брезент. Он дышит на сапоги. Он поправляет кожух. Делать ему нечего. Вновь вынимает он газету. Он вертит ее вправо и влево, ища с чего начать. Наконец, он придвигается к фонарю. Он читает:

«Весьма значительными оказались за этот год наши успехи и в области сельского хозяйства. Посевные площади взросли с 113 млн. га в 1928/29 г. до 127,7 млн. га в 1929/30. По культурам интенсивным посевные площади оказались значительно выше проектировок пятилетки: по сахарной свекле — на 11,1%, по хлопку — на 23% и т. д. Улучшенная обработка земли, особенно в колхозах и совхозах, и в связи с этим рост урожайности повели к тому, что валовой сбор зерновых хлебов в 1930 г. составил 86,5 млн. тонн против 71,7 млн. тонн в 1929 г., или увеличение на 20,7%, а товарная продукция зерновых культур оказалась на 32,6% выше проектировок пятилетнего плана. Таким образом, зерновая проблема оказалась в основном разрешенной».

Пыренков откладывает газету и ложится. Он укрывается кожухом, он подкладывает под голову подушку. Затем, среди мячей, шалашей и волчков, он вспоминает вдруг — сегодня новый год. Он привстает. Странная идея вползает ему в голову. Идея скользит и ломается, и сонный Пыренков долго не может понять, в чем дело. Он думает вдруг про Сахалин, затем про Ташкент, не уразумев еще, что требует от него идея, но чувствуя, что надо перечислять, накапливать, вспоминать и думать. Проходит минуты две и он понимает идею. Сегодня новый год. Дважды читал он за ночь отчет о том, что успела сделать за год его страна. Он читал отчет о стране. Что же успел сделать он, Пыренков, за этот год, как отметил он этот ушедший невозвратный, канувший навсегда год его жизни. Пыренков встает. Теперь ему есть что делать. Теперь у него дел по горло — беготня, размышления, слезы. Он был в Ташкенте, был в Казакстане, был на Сахалине; он женился и развелся с женой:

он потерял чемодан, он похоронил мать, он влюбился, ему стукнуло сорок пять лет, он купил и вновь продал собаку.

Пауза. Пыренков смотрит в лес. Горят фонари, блестят деревья. Желтый огонь бежит вдалеке, за ним другой, третий. Это — деревня. Идея проходит как будто. Пыренков вслушивается в себя осторожно и тихо, как больной животом вслушивается в проходящую боль, боясь растревожить ее одним уже тем, что вслушивается. Ничего. Тишина. Затем начинается новый позыв. «Я женился, развелся, я потерял чемодан», — лепечет Пыренков. Пауза. Новый позыв: «Я был на Сахалине, мне тридцать пять лет», — бормочет Пыренков.

Ему тридцать пять лет! Он стар. Жизнь ушла. Сколько штанов сносил уже он? Он помнит штаны своей молодости — синие, длинные с круглыми белыми пуговицами. Где эти штаны? Где его мать, которую он помнит радостной и молодой? Она умерла. Он шел за ее гробом один и поцеловал ее в последний раз сухо и мельком, спеша, краснея, сбиваясь. Негодяй! Кто вернет ему теперь эти минуты прощания, чтоб он мог исправить их. Кто вернет ему мать из недр и скажет: простись, ты видишь ее в последний раз. Кто согласится, чтобы он сказал вновь: «прощай, мама». Никто. Мать ушла навсегда. Никто не вернет ему прощания. Никто не вернет ушедшего года. Никто не вернет ему жену, которую он упустил, никто не отдаст ему собаку, которую он продал. Он проморгал: еще год, еще один год ушел бесцельно. А жизнь идет, он сел — и скоро смерть стукнет его в Ташкенте или у самоедов.

Пыренков бегает по саням. Он бросает чайник на пол. Он бросает термос в снег. Он плачет. Он плачет полчаса, час. Затем он успокаивается. Ветер стихает. Светит луна. Слышны голоса шоферов. Виден свет папирос. Вверху прикрывая небо, треплются ветки. Скрипят полозья. Падает снег.

— Ну, ну, — бормочет Пыренков, — довольно слез. Я иду за великой армией. Частицу того, что я прочел сегодня в газете, сделал за этот год и я. Пусть помогаю я мало и плохо, — я делаю, что могу. И даже в том ничтожном, что я делаю, оправдание того, что я прожил год.

Трактор гудит и останавливается. Шофер подходит к саням. — «Вон огонь», — говорит он Пыренкову. — Это лесник. Валяй тула, а завтра с утра добежишь до места». Пыренков застегивает рюкзак и прыгает на снег. Трактор лезет в лес без Пыренкова. Минуты две виден белый свет. Лес кажется решетом, человек, оставленный на снегу, кряхтит, не в силах беззвучно перенести переход от тряски к одиночеству. Затем трактор исчезает. Тьма. Ночь. Светится то, что обычно светится лунной ночью: синий воздух, голубой помет. Пыренков взваливает на плечи зак, делает шаг вперед, ноги его раз'езжаются на колее, он собирает их отчаянным усилием живота и трогается, балансируя.

Он подходит к избе. Брешет собака, звенит цепь. Столб дыма прет из трубы. Двор, штабели дров. Обрыв и река. Луна, кустарник, ивы. Собака лает, рвется, ударяется лапой о цепь и визжит. Новогодняя ночь. Пыренков срывает ветку и стучит ею в окно. Безмолвие. Он стучит опять, — стучит вкрадчиво, тихо, любезно, с той кланяющейся настойчивостью, которая дает понять, что от этого стука не отвертишься тем, что ляжешь спросонья на другой бок. Молчание. Надо стучать в дверь. Степан идет к двери. Собака взвывает. Пыренков развязывает великий свой рюкзак и притворяется, что бросает в собаку камень. Собака встает на дыбы. Рев, скрежет, звон, рычанье.

Дверь открывается, рыжий парень появляется на крыльце. Он плюет сверху в собаку, сбрасывает на снег окурок и говорит Пыренкову: «Эй ты, чего тебе?» Пыренков врет ему так же, как врет он в Европе и в Азии всем, ища ночлег, ища пристанище. — Он ревизор, — говорит он, — он едет в М-ский лесопромхоз, ему негде заночевать. Парень смотрит на Степана без радости. Парню не хочется пускать Степана в избу. Парень закуривает, стучит ногой по перилам, повертывается в полоборота. Пыренков знает людей. Он видит ногами, животом, плечами то, что скрыто для глаза: качание человеческой неуверенности и законы этого качания. Он опрокидывает на это, происходящее на его глазах качание

сварливый свой голос: он ревизор, нельзя оставлять ревизора в снегу. Власть защищает ревизора. Затем он развязывает рюкзак и показывает парню кусок овчины.

Тьма. Молчание. Луна в облаках. С неба светит теперь какая-то муть, грязь, жижа. Собака смотрит на собеседников, открыв пасть, не моргая. Холод. Урал. Лес. Зима.

Парень впускает Пыренкова в хату.

Пыренков входит отряхиваясь, оттаптывая снег с ног. Небольшой сруб. Ситцевый полог. Картинки и виды, пришпиленные булавкой к стене. Ведро в углу. Ружье, кошка, котята. Стол, самовар, сахар. За пологом молодуха. Лицо ее горит. Пыренков кряхтит. Он сбрасывает на лавку рюкзак, разматывает шарф, стягивает, охая, сапоги. Лампа коптит и мерцает. Падает с потолка таракан. Жужжит печь. Сняв пиджак, Пыренков смотрит на парня. Парень переминается. Он уходит за полог, чешет глаз, садится за стол и подвигает к себе чашку. Он смотрит на женщину. Сомнений нет — это любовь. Действительно, это молодожены.

4

Любил и я, автор этих строк. Дрожал и я при виде шляпки и юбки, стонал и я, разрываясь от ревности.

Стонал я в местечке Люковцы. Был девятнадцатый год. Гремели пушки. Империалисты высылали на нас армии и корабли. В вокзалах не было стекол. Деревни горели. Я шел без штанов и сапог по длинному коридору. Я сжимал в руке дубину, я прислонялся к стене.

Была ночь. Наш продовольственный комиссар говорил во дворе при свете факелов речь. В пятый раз повторял он: товарищи, дадим городу хлеб. Гремели пушки. Они смолкали вдруг. Тогда капал дождь. Кричал петух.

Я подошел, наконец к двери, к которой шел так бесшумно. Я наклонился к расщелине. Я увидел то, что думал увидеть.

Комната была невелика. Лампа сияла на потолке. Пальмы, скалы и водопады висели на стенах. Широкий мужчина обнимал бедную девушку, которую любил я. Она кричала от радости. Не в силах допрыгнуть до его усов, она целовала его пуговицы, его гимнастерку.

Я сжал дубину, прислонился к стене, но не открыл дверь. Соперник был слишком широкоплеч. Его огромная спина торчала передо мной, как занавес. Девушка, моя единственная любовь, моя радость, мое сокровище, положила на эту спину ладонь, и я увидел, как заиграли спинные мускулы. Я приостановился. Я прижался к притолке. Я стонал. Я тискал дубину про себя, боясь оживить убитое страстью внимание гиганта. Великан обернулся и я заткнул свой стон. Я стонал теперь бесшумно, без глотки, без языка, — та же горечь, та же боль, но равномерность и безмолвие.

Прощай, моя молодость!

О, репетиторы, студенты юридических факультетов, посетители кухмистерских, ораторы справедливости, гимназисты, вольноопределяющиеся, реалисты — о мое поколение, — приди, встань, наклонись, помоги мне тащить на себе этого — едущего, болтающего, кляузничающего, лезущего ночевать, нечистого на руку — последнего твоего героя.

Пыренков развертывает рюкзак, косясь на девку. Парень стоит над ним, не зная о чем говорить. Ночь. Горит печь. Теплая смола проступает сквозь доски. Парень, помотавшись, уходит за полог к жене. Пыренков развертывает свои припасы. Полчаса он жрет без шелеста и без вздыха. Он жрет колбасу, хлеб, огурцы, котлеты. Он лакает, фыркая, мутную жидкость из чайника. Он облизывается огромным своим языком. Наконец, он отваливается. Он встает из-за стола и идет к скамье. Тогда видно, что он без туфель и без чулок — он успел разуться под столом — нога об ногу.

Пыренков ложится. Ночь. Полчаса двенадцатого. Гремит ветер. Видна луна. Лает собака. Огромная мышь выползает из-за печки и садится на железный подполок. Она сидит как завороженная. Пыренков вздыхает, икает и крякает. Он готов уже спать, отдыхать, набираться сил и здоровья, но слышит вдруг, как целуется парень за пологом со своей подругой. Пыренков приподнимается. Смех, визг, чмоканье. Пыренков хватает поленом по полу. Визг сразу смолкает. Мышь, обезумев, вскакивает на дыбы, не

зная, куда податься. Она исчезает вдруг. Тишина. Луна. Без четверти двенадцать. Чайник, огрызок хлеба. Слабый шопот за пологом. Ведро, часы, лампа. Медленно вылезает из-за печки мышь. Шопот, чмоканье, поцелуи.

Пыренков ложится на спину. Огромная грусть лезет в него теперь. Всякая дрянь, которая приходит в голову всем нам при виде чужого счастья: гостиница Гранд Отель, гора Арарат, бананы и пальмы — обступает его со всех сторон. Он вскакивает и ложится опять. Он садится, он чешется, он дергает пяткой.

Шум, смех, шопот, говор.

Неизмеримая злость охватывает Пыренкова. Он вскакивает со скамьи, бежит к столу и прячет в рюкзак свинину, которой думал угостить хозяев. Он идет обратно к скамье, топая как гренадер, скинув на землю топор, стул, табуретки. Он толкает стол и сбрасывает умывальник. Двенадцать часов. Новый год. Хозяева напуганы треском и гулом. Они молчат. Но молчание их случайно и непрочно, в неверном молчании этом чувствуются родившиеся уже, подступившие уже к самому горлу, но сдерживаемые еще парные слова, парные взгляды, парные мычанья — неслышные, но растущие, как шар, дергающие грудь, царапающие глотку. И великий одиночка Пыренков, зная, что они появятся, придут, плюнут в печенку, харкнут в душу, старается залезть в самого себя, укрыться грудью и головою, чтоб не слышать, не ворочаться, не волноваться. Он ложится на скамью. Он подпирает спину подушкой. Он вытягивает ноги. Он повторяет, чтоб не слышать, то, что повторял уже однажды, сидя на тракторе — тезисы завтрашней своей лекции по литературе. Он шепчет: «лефовцы — механисты, конструктивисты — делягки, перевальцы — идеалисты». Праздник устойчивости, оседлости, парности разгорается меж тем с новой силой. Стучат часы. Лает собака. Гремит печь. Ползет по стене смола. Шум, смех, шопот, говор.

Пыренков спрыгивает со скамьи, бежит к столу и начинает одеваться. Он видит чайник и хлопает чайник об пол. Он ударяет бедром стол. Он срывает мешок, висящий около печи, и кидает этот мешок к чортовой матери. Затем он выскакивает наружу. Он садится на крыльцо и свешивает ноги. Луна. Огромные леса. Густая собака подходит, свесив хвост, к крыльцу. Она нюхает Пыренкова и, полаяв, отходит. Пыренков завертывается в тулуп. Урал. Собака садится. Она подымает морду и фыркает. Час ночи. Уходит луна. Начинается снег.

— Новый год, — бормочет Пыренков.

Он встает, и обычные наши новогодние мысли: «скоро смерть!» и т. д., и т. д. — тянутся к нему со всех сторон.

Пыренков закрывает глаза и притворяется опящим. Он притворяется, что мыслей нет, что есть видения — какие-то квадраты, столы, стулья, он притворяется, что именно эти виденья неприятны ему, что именно их хочет он отогнать. Он чмокает ртом — как бы во сне, открывает — как бы спросонья глаза. Но все это выдумки. Сна нет. Голова свежа. Помешкав, голова тащит ему, как и каждому из нас вслед за возгласом «скоро смерть» — картины детства, портреты отца, кашу из колясок, сосок, обоев и писем. Затем следуют парты, лапта, рекреации. Пыренков открывает глаза. Вся дрянь его поколения — аудитории, букинисты, конспекты лекций, авизо, галстуки, пиджаки, катки, Художественный театр, духовые оркестры — хлещет теперь ему в лицо.

Он ерзает, встает, садится, хлопает себя по ляжкам. Тоска, которую нельзя описать, подымает нос его кверху. Он взвывает. Он снимает сапог и бросает его с крыльца. Мороз лупит его теперь по пяткам. Пыренков снимает чулки. Ноги дрожат и коченеют. Пыренкову скверно. Он ходит по крыльцу босиком. Он стукается о лестницу и о перила. У него есть сестра, но где она? В Киеве, в Зиновьевске, в Сталинграде? У него есть друзья. Они расползлись. Где они? Где баба, которая готова была бы отдать жизнь за него. Долго ли суждено ему ездить, спать в санях, читать лекции. Долго ли будет он видеть пакгаузы, сторожить чемоданы, бегать за кипятком на станции. Пыренков снимает шубу. Затем он снимает пиджак. Он ерзает, стонет, садится, встает, хлопает себя по бедру. Пар валит из него так, будто в душе у

него чайник. Он стонет. Он садится. Он встает. Он хлопает себя по бедру, нащупывает газету и вынимает ее.

Половина второго. Воздух чист. Урал. Штабели дров. Механические пилы. Паровая откатка.

«Вопреки вредительству озлобленных осколков старого строя, — читает Пыренков, — пятилетний план выполняется и будет выполнен. При этом пятилетний план будет выполнен не в пять лет, а в четыре года. Вопрос о выполнении пятилетнего в срок, т. е. в пять лет, для нас уже не составляет задачи, ибо она, эта задача, уже превзойдена. Задача состоит в том, чтобы выполнить пятилетку раньше срока, т. е. в четыре года. Приведенные данные показывают, что мы эту задачу уже выполняем».

Пыренков садится опять. Снег и луна. Свет в избе гаснет. Бьет два часа. Ветер опадает. Нет ни шума, ни скрипа. Блеск, даль, синева, сверканье.

Пыренков встает, вытирает глаза и спускается вниз. Он идет по тропинке. Деревья шумят над ним. Где-то далеко, над рекой слышится тонкий свист лесопилки. Пыренков кряхтит и вздыхает. Он останавливается, трет ногу и закуривает.

— Ну, ну, — бормочет он, — довольно слез. Скоро конец. Скоро социализм. Главное уже пройдено. Главные тяжести позади. Теперь уже близко.

Он елозит по снежным кустам, находит чулки, идет в избу, ложится на лавку, спит — а в это время слышится скрип, шум, шаги, пылит снег, лает собака — и подлинный ревизор в масленом пиджаке, в кепке-блине, в сапогах и в шубенке выходит, смеясь, на поляну.

Памяти товарища Сурова, памяти безвестных героев 1905 года, Живых и мертвых, посвящает эту поэму АВТОР

Пятый год

„Революция началась... Вероятно волна эта отхлынет, но она глубоко встряхнет народное сознание, она даст массам первоначальное революционное воспитание. За нею вскоре последует другая, и та должна решить дело“.

Ленин (1905 г)

„Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?“

Пушкин

ПРОЛОГ

— Стой!
Смерть
По пятам!
Дробь барабан бьет...
Там, там, да и там.
Строй, эшелон, взвод.
Тишь. Шелест шагов.
Сумрак кругом пуст.
Лишь мерзлых снегов
Под сапогом хруст...
Гонит чужой долг,
Душат ряды шпал,
— Слушай снегов толк:
— Пал Порт-Артур, пал...
— Пал Порт-Артур, пал!
Строй, и за ним строй...
Вон — впереди — встал
Новых Цусим рой.
— «К дому б теперь мне,
Что-то нас ждет там?»
Пал барабан в снег
Там... там... да и там...
— «Долго ль еще брести
В голод, в мороз, в дым?»
Дальних трущоб весть
Ветер принес им:

По урочьям, да по норам —
Долгой ночью шопот, споры:
— Братцы, скоро ль?
— Скоро, скоро,
Дай лишь время, будет жарко барам,
Все их племя прочь, на смарку, варом! —
— Ох, и будет им столпотворение!
— Подай, господи, над хозяевами одоление...
— Будет, будет одоление,
Как настанет час расплаты,
Как пойдем сплошной стеною,
К груди — грудь, штыки — в штыки,
По заводам, по селеньям,
Жечь господские палаты,
Сгресть железной бороною,
Где укажут вожаки...
— Приглядись-ка: в белой вьюге
Как и встарь летят кареты
По дорогам, по заставам,
Кони пенят удила, —
Крепко стянуты подпруги,
Но за каждой — следом — следом —
Мчатся тени — слева — справа —
Сторожат по всем углам.
— Что ж ты смолк? Что смотришь жалостно?
— Долог будет спор еще...

По кварталам, по подвалам
Шопот, сборища.

По кварталам, по подвалам
Весть небывалая жжет мозги, —
Плавятся скрепы... В пламени малом
Не видно еще ни зги...
Но фабричных дворов — голосов гул —
Из берегов уже выступил
(Стерегут еще на каждом шагу
Учащающиеся выстрелы —
Стерегут на углу — на каждом шагу —
Империю — браунинг, бомба,
Чтоб лечь, отомстив, головой в снегу,
Громоздящейся гекатомбою).
— Но уж гулом вскипающим день
напоен:
Магистрали времен сдвинуты:
Это — в долгую ночь — за районом
район
Имперские числит вины, —
Это — в черных пластах — сыпет пе-
пел Беда —
В треске — древние скрепы рушатся, —
Это — в чреве страны гудит руда,
Это — воды двигаются на сушу.

...А по плацдармам играют горнисты
зарю:
— Стройтесь, казармы, кланяйтесь
низко царю!
— Левою! — Правою! — Маршем!
— Вперед! — Стой!
Рота за ротой идет в строй:

— Каждому дать боевые патроны
Не перейден рубеж еще,
Не опрокинут монарший трон,
Верных прибежище!

...И катится гулко в ночи и дни:
«Боже, царя храни».

I

Петербург

Крепнет к ночи мороз. Издыхающий
вечер
Душит луны вздрагивающих фонарей,
Разбежавшихся—вон туда—навстречу
Выведенным каре,
Выверенным проспектам,
Вымеренным домам, —
Петербург! Имперским конспектом
Нумерованный город громад!
Петербург! Под дворцами болото,
Под гранитом — омут без дна,
Ты, имперская позолота
На крестьянском куске рядна,
Мира грозный двойник: на бессильи
Громоздящийся пьедестал, —
Всех равнин, всех просторов России
Отстаивающийся кристалл,
Двести лет в разноликом оплаве
Русский вскармливавший престол,
Где вчера лишь венчанный Павел
В диком страхе лазил под стол;
Город, громом петровских пушек
Порожденный в снежном бреду,
Где сейчас еще бродит Пушкин
По ночам, в Летнем саду,
Где искал меж огней Невского
Мертвый Гоголь — живой души,
Где всю белую ночь Достоевский
Семенящим шагом спешит, —
Где летят и летят — просторы, —
Тротуары, мосты, столбы, —
Петербург! В бегстве взнузданный
город,
Вздернутый на дыбы...

Узкий колодец домов. За окошком,
По тротуару — мельканье ног,
Там — высоко: лапти, калоши,
Валенки, пара сапог.
Черный вечер. Черное небо.
На отсыревшей стене — коптелка.
— Мамка, хлеба! —
(Снег мелкий,
Вьюжная небыль.)
Вылез пруссак из печной щелки,
Юркий пруссак, шевелит усами,
А усы у него, как ножки.
Говорит: «Мы и сами
Найдем крошки».
Лезет на чайную чашку...
За сундуком шебаршат мыши
— Мамка, каши! —
Мамка не слышит:
У мамки — кашель.
Тонкий гудок,
Тонкий и звонкий
Долго поет над ближним заводом, —
О чем поет? Отчего тонок?
На длинной веревке сохнут пеленки...
— Сень, вскипяти воду!
(Кашель мучает.
Плачет ребенок.)
— Недосуг! Я сейчас капитан па-
рохода,
Еду на белых медведей.
К ним попадись-ка в лапы.

Вот придет папа,
Мы и поедем.
А хлеб-то воняет плесенью!..
Но мамка не слышит: поет песню,
Длинную песню про заиньку, —
И сестренка плачет, кричит сестренка,
Глупый ребенок,
Маленький.

2

— Беленький заинька, спи себе, спи,
Серые волки рыщут в степи».
За стеной — ругань,
За окном — вьюга.
— Беленький заинька, спрячься в нору,
Серые волки рыщут в бору».
За стеной — ругань,
За окном — вьюга, —
Плачет вьюга, плачет и воет,
Свищет в россыпях серебра,
Над кварталами, над Невою,
Над гудящей бронзой Петра —
— «Беленький зая, не суйся навстречу.
Волчьи глазищи — что красные свечи».
Над поющими проводами,
Над ревущими городами,
Над под'емами эстакад,
Над соломой промерзших хат —
— «Белый зая слушать не хочет,
Белый зая по снегу топочет,
Белый зая бежит по снегу,
К старичище Егорию постнику».
— Над пустующими урочьями,
Над бастующими рабочими, —
Чтобы голосом голого поля
Выть над городом: «Землю! Волю!»
Чтоб по пригородам, по кварталам
Подымался люд усталый —
— «Говорит ему постник Егорий
Про свое, человечье, горе:
Не испить тебе, зая, моря,
Не избыть человечье горе!
Ка-б пурга не шумела,
Вьюга́ не пела».

Но поет вьюга,
Зовет вьюга,
Льдистая вьюга,
Белая, —

И у каждой казармы — с утра до утра —
Под раскат барабанов несется «ура»,
Это — там, на просторе, гремят буфера,
Мчат солдат поезда на войну,
Это — в Желтом море идут ко дну
Крейсера.
— «Бегал заинька, бегал по̀ снегу,
Мимо ельничка, мимо сосенок...
Ка-б пурга не шумела,
Вьюга́ не пела».
Но поет вьюга,
Зовет вьюга,
Льдистая вьюга,
Белая, —
И шумят ей навстречу
Голоса человечьи:
— Долго ли маяться? Долго ль еще
Камни ногами стирать по острогам?
Это — в черную ночь — рабочьи трущобы
Двигаются в дорогу.
Это — время торопится... Слышишь? — пропел
Красный петел... Взлетел
Жар-птицею...
Вон — за Нарвской заставой смолкшей толпе
Священник читает петицию...
Сзади притих петербургский гранит
И сомнительно улиц молчанье, —
Стоптанный снег отголосок хранит
Брошенного на прощанье
Тысячью глоток, тысячью ртов:
— «Двинемся, братцы, что же,
Или житьишко хуже скотов
Смерти для нас дороже?»

Это черною рясой кипит на ветру:
— «Завтра. Чуть свет. По утру».

3

В дверь постучали.
— Кто там?
Мигнул у киота
Огонь лампадный,
Осветил позолоту
Над черным ликом Николы.
— Отвори, ладно!
— Папа вернулся, папа!
(С усов на пятно пола
Крупные капли капают.)
— Чаю бы, Паша, холодно!
— А когда ж за белым медведем?
— Спи, завтра с'ездим.
Черная ночь. Под оконной рамой
На стамеске — в стене — коптелка.

(Папа сидит за столом прямо,
А папина тень валится...)
— Что ж, подписались?
Иззябшие пальцы
Греет чайное блюдечко, —
— Пожили псами, будет,
Попробуем, как люди.
Слышишь, Паша:
Завтра — к царю.
Шабаш!
— Не вышло б чего...
— Куда там,
Мы не просто идем, с иконами;
Священник у нас ходатаем,
Знаешь, черный, — Гапон?
— И за что? Мы еще не противимся,—
Только б царь захотел слушать...
Говорили, хотя, партийные:
«Расстреляют, говорят, вас за милую душу!»
Ну, не знаю... А впрочем, правда, —
Может, Паша, они — правы...

Не расслышала Паша, — песню
Напевала она: про «Крестника»,
Про житье убогого Лазаря,
От дурного, от черного глаза,
Да про заю, что бегал по снегу
Мимо ельничка, мимо сосенок, —
Про того, про белого заиньку...
И сестренка кричала, пищала сестренка,
Глупый ребенок,
Маленький.

...За стеной — ни звука.
За окном — тишь.

— Папа, ты спишь?
Улеглась вьюга,
Побежала гулять по полю,
Спит папа.
Спит мама.
Из-за узкой оконной рамы
Лунного света по полу
Тянутся длинные лапы.
Качается пол, качается...
Вот и тень посреди — как уши,
Белый медведь, большущий,
Только без морды...

В оцепенелом молчаньи
Спит оснеженный город.

4

А там —
По перепутьям, по лешим местам,
Стыкам, платформам, кустам да мостам,
В грохоте скреп замирает «ура» —
Рельсы ревут и гремят буфера:
— Порошинó!
— Новосéлье!
— Бéлая!
— Плюсса!
— Пóст!
— Серебрянка!
— Флит!
Вдаль пролетают: станции, стрелки...
Сажей и снегом навстречу пылит:
— Луга!
— Раз'езд!
— Карташéвская!
— Суйда!
— Гáтчино!
— Ветер в колесах беснуется, —
Стужа порошь надышала в окно, —
Шпалы, шпалы, да полотно —
У вагонных окон — лужи.

— «Солдатушки, браво, ребятушки,
Где же ваша слава?»

Бросает, качает,
Налево, направо, —
Теплушки, вагоны,
Вагоны, теплушки, —
И дремлет орава
Клонясь на ружья,
Пьяным-пьяна...
Огней полукружья
Мелькают по склонам,
Огней полукружья,
Да стоны вьюжные
По сторонам полотна...
С уклона к уклону на новый уклон —
Эшелон... Эшелон... Эшелон...

И на пустой и темной платформе
Сторож в железнодорожной форме
Прочел и вздрогнул, роняя окурок:

ВОИНСКИЙ СКОРЫЙ ПСКОВ — ПЕТЕРБУРГ.

5

Вздрагивающий свет утра.
— Пора, Паша, пора!

(Сумерки еще кутают
Узкий квадрат двора.)
— Спит капитан наш? Стулья
Не раздвинулись бы... Уж ты
Не пускай сегодня на ули···
Долго ли до беды...
Ну, прощай! Побужу товарищей.
Что-то стал я на сон — тут.
Нет, чаю мне не заваривай,
Не успею.
Дверь стукнула,
По коридорному полу
Гулкий проскрипел шаг,
С просонку охрипший голос
Отдался звоном в ушах.
К одному соседу, к другому
Постучал у дверей. Позвал.
Через четверть часа — гомоном
Гомонит длинный подвал.
Пальто, армяков, тулупов
Сбившийся у окна ком, —
Пар дыханья — сырым клубом —
Под растрескавшимся потолком.
Вон — студент (спалены брови,
Верно, химик) тянет из рук
Клок бумаги:
— Иван Петрович,
Прочитай!
— Прочитай вслух!
— Стой! Куда ж ты?
— Прочти, Ваня!
— Брось, Антоненко, — не успеть.
(На измятом листке — воззванье
Пека РСДРП.)[1]
— Да и что там? Предупреждают:
Ничего-де вам не дадут»?
А они-то нам что дали?
Нет, уж вызвался, так пойду. —
— Подожди-ка! Иван Петрович,
Ты-то веришь?
— Кому? Гапону?
Верю, да.
— А уж я б устроил...
— Кто ж устроит? Ты, да вот он?
Тот стоит во главе отделов[2],
Ни пятна покамест на нем,
Было слово, теперь — дело.
Раскачались, — с богом! Начнем!
(Длинная пауза).

— Значит, веришь?
— Верю. Там поглядим, кто прав.
Ну, а все ж... если б был маузер,
Я бы взял... Идемте, пора! —

6

Узкий колодец домов. За окошком
Там, высоко — мельканье ног,
По тротуару — боты, калоши,
Валенки, пара сапог.
Обозначившийся квадрат пола,
По углам — дымная мгла.
На чернеющий лик Николы
Долго крестится из угла...
Зачем пошли? Что им надобно?
Не убавишь людской заботы!
Ох, не ладно на сердце, неладно
Что-то...
Не пускать бы его! Удержать бы!
Вот, как в третьем году усадьбу
Громили у графа Граббе,
Вышли с дрекольем, граблями,
А навстречу — ружья... ружья...
Не нужно б пускать, не нужно...

Посветлевший квадрат пола,
за окном — голубая мгла, —
На чернеющий лик Николы
Долго взглядывала из угла.
Не стерпела. Встала. Оделась.
Выбежала за поворот:
Вдалеке — смутно чернела
Дремлющая громада ворот.
Оглянулась. Пошла дальше.
Под ногами заскрипел снег,
Колкий холод свел пальцы,
Двигалась, как во сне.
Увидала (а может, почудилось?)
Там — на площади — вдалеке —
Неизвестно как и откуда
Появившийся за ночь пикет.

А уже выходили кучками,
Ждали толпами во дворах,
Шли к отделам...
Нашла попутчиков,
Успокоилась, прошел страх.
Час утра был еще ранний,
И рассвет был странен и хмур...

Облеченный прямыми гранями
Ждал гранитный Санкт-Петербург.

7

Тишь.
Шелест шагов.

---

[1] Петербургский комитет Российской социал-демократ. рабочей партии.

[2] Отделы — «Собрания русских фабричных и заводских рабочих С.-Петербурга», во главе которых стоял Гапон.

Сумрак кругом пуст.
Лишь мёрзлых снегов
Под сапогом хруст.
Лишь эхо шагов
Вдаль, по рядам плит...
Тих сон берегов
И Петербург спит.

— «Тише, товарищи, тише
Обойдемте-ка мост,
Неравно — услышит
Нас караульный пост».

И слышно ему:
В снежных дорог сонь
В стынь, морок и тьму
Ржет бронзовый конь...
Ржет, ржет и летит —
Неудержим бег, —
Вслед с каменных плит —
Грива метет снег —

— «К Нарвскому отделу
Пора пробираться,
Как со всех отделов
Мы двинемся, братцы,
Как со всех отделов
Надвинемся — тыщи,
Неужли ж царь-батюшка
Правды не сыщет?»

— Стой! Стой же! Я — прах!
Город мой лишь — сон! —
Крепко сковал страх
Бронзовых уст стон...
Выпустила рука
Конской узды сталь —
— Вскачь! Бронза крепка,
Ржаньем гремит даль...

— «Тащи иконы!
Тащи портреты!
Жалко, что звона
Церковного нету!
Братцы, — пора!
Дождались утра!
Марш со двора!»

— Ур-ра! —

Рёв... Рокот толпы...
Лютый мороз жгуч...
На хмурые лбы
Солнца упал луч:
— «От хоругвей, от икон
Не видать зарю,
Ты веди нас, поп Гапон,
К батюшке-царю».
— «Господи, сохрани!»
Луч над Невой ал:
С круч бьется в гранит
Тысячи воль вал,
Даль мерно звенит,
Хор клирный поет:
— «И благослови
Достояние твое»...

8

Вышли. Идут. За районом район —
Петербургский, Выборгский, Невский,—
Плещут — вон там — в стыке времен
Пятна знамен с древков —

Ждут у застав, — снег до земли
Стерт по пути толпами,
Пригороды к ним подошли
Сестрорецками, Колпиными —

Эхо несет вдоль берегов
Гул от шагов с Нарвы, —
Ждут по подвалам, — в гул шагов
Вслушиваются нары...

Узкий мост. Шоссе. Поворот.
Лес бород над иконами —
— Стойте!.. Стойте.. (У Нарвских ворот
Четкая дробь эскадрона.)

— Зачем же солдаты? Братья, вперед! —
Хрипит Гапон остатками голоса,
Ветер над черной рясою рвет
Развевающиеся волосы...

Высоко над толпой — золотой крест,
Офицерский рожок (в мозгу)...
Перекатывающийся треск.
Тихо. Кровь на снегу.

А там — а там — за складами затор:
У Шлиссельбургской части
Невский отдел встречают в упор
Мчащиеся казачьи части.

Нагаек вой. Свистящий полет
Пуль. Беснующиеся лошади.
Но — сломан забор. Бегут на лед.
Пробираются Невой к площади...

А там — в торжественном шествии
колонн
(Лбы суровы, крестятся набожно)
Шагает Васильеостровский район
К Университетской набережной—

Стой! — У Четвертой линии войска!
(Там — забор, справа — срыв круч).
— Провокаторы! Братоубийцы! Ка́ты!
Стреляйте! В упор! В грудь!

А там — по Каменноостровскому —
хвост:
Рабочих, подростков, студентов,
Петербургский отдел выводит на мост
Вздрагивающей лентою.

— Куда итти? Дорога занята!
Саженях в ста — что там?—
От парка — до Троицкого моста
Выстроилась пехота.

— Подождите стрелять!.. Машут плат-
ком,
Машут белым листком петиции—
А город — обледенелый ком,
А солнце в тучах — жар-птицею...

— Ббах! Ббах!.. Побежали в обход.
Огибают конвой складами.
Пробиваются за рядами пехоты,
Невой, Александровским садом —

И снова сходятся — за отделом отдел,
Все тревожней, все многолюдней—
Грозным гулом толп загудел
Невский — в час пополудню.

На деревья, заборы, на каждый столб
Лезут уличные мальчишки,—
Меж распластанных у Адмиралтейства
толп—
Слухи... Пбслухи... — Слушай:

Бьются сердца: выйдет ли царь?
Вон — жандармских форм засинели
Пятна в снегу́. И от стен дворца —
Жерла — в упор — на панели.

А уж с площади — блещущих дул лес
В нарастающий гул толп —
Быстро вскидывает на перевес
Преображенский полк...
Влево... Вправо... Вперед... Залпы:
Первый...
Второй...
Третий...
Шарахается напирающий вал,
Визжат разбегающиеся дети.

От дворца до собора — град пуль
Косит живых и раненых
И вступает в простор петербургских
улиц
Дымящееся по́ле бра́ни.

9

— Сюда! Товарищи! Сюда!
Здесь — склад!
Голос слаб...
—Караул! Беда!
С площади — визг — крик — плач —
Лошади, свист, гик, ска́ч...
По тротуарам
Группы теней—
Потом и паром
Крупы коней—
— Перед мостом — заторы!
Вон кто-то поднял кумач знамени
Здесь, там, тут—
«Вихри враждебные веют над нами,
Грозные силы нас тяжко гнетут,
В бой роковой»
(Залп за Невой)
И хором:
«В бой роковой мы вступаем с вра-
гами,
Нас еще судьбы безвестные ждут»
Вздыбилась песня,
оборвалась,
Дымный завесила
пороха плащ—
Клонится с коней
осока
пик,—
Конница гонит
под цок
и гик.
Вышли — одними,
Стали — другими.
Души отперты — всем ветрам,
Гаснут домашние очаги,
Все, чем жили, утрачено.
Не позабыть, не избыть этот день:
Накрепко клин вклинен...
Вон уж кто-то в толпе (в шапке сту-
денческой)
На углу Четырнадцатой линии
Кричит на бегу:

— К оружию! Сюда!
Бейте двери! Крушите окна!
Здесь целый склад!
На углу — провода.
Грохочущие полотна
Вывесок, сорванных тут и там,
Досок, заборов, кадок,
Рваных матрасов — растущий хлам—
Неискусная еще баррикада.
Спиленные столбы шатаются, рушат-
ся —
— Дружно, товарищи!
— Эх, важно! —
«Наладим,
Да смажем,
Да ухнем».
За баррикадой — стража.
Под плеск стоязычный из уст в уста
Беспроволочным телеграфом
Несется приказ...
Сразу пуста
Оружейная мастерская Шаффа.
Ни винтовок, ни маузеров нет: беда!
Только пики, сабли, да шашки —
А уж в окна кричат:
— Казаки!!!
— Сюда,
За мной! В переулок!—
Тяжкий,
Сотрясающий звоном цокот копыт
Нарастающего карьера —
И — вдруг, гребнем сверкнувших пик
Ощетинившийся барьер...
Строй армяков — хлынувший ряд, —
Камни — булыжным градом —
—Стой!!
(замешательство)
— Стой!!!
Отряд
Мчится в карьер — обратно.
А на углу бьется в глаза
Алый язык с баррикады:
—Граждане, тише! Дайте сказать!—
Зрелым зерном падает
Гневное слово в чрево толпы,
Жаждущее посева.
(В грохоте спиленные столбы
Валятся справа, слева...)
Речи пьянят, горячат мозги,
В час, в полчаса — столетье...
Те, кто вчера были «враги»,
Ныне — первые в свете
Братья, советчики, и вожди —
— Б-бах! бах! —
—Товарищ-солдат, подожди...
— Б-бах!
— В кого целишь?! В брата?!
—Б-бах! бах! бах! бах!
Стоит?
Троекратно
Ухает залп.
— Не свалился?! В штыки!
Схватывается за живот — жжет рана.
— Глупый солдат, умирать—легко!—
(Знаменем алым — труп Брейтермана
Поднят на остриях штыков.
Сзади — мерными волнами вздыби-
лись дали
Головы наклоня:
То — в нарастающий грохот дня
Вступает: «Вы жертвою пали»)
А навстречу уж ширится звуков лава
Бронзою хоровой:
— «На́ бо́й
крова-вый,
Свя-той
и пра-вый,
Ма́рш, ма́рш вперед
Рабочий народ!»

10

У Четвертой, у Пятой линии, у сада
Под миллионноголосый рев
За баррикадой баррикада
Проспекты делит поперек.
У типографии толпа:
Вон там рабочий машет шашкой
(Уж не окрестят больше лба
Под козырьком, фуражкой, шапкой)—
Стучится в дверь—
—Кто там?—
—Живей!
Откройте — именем народа!—
Внутри машины. У дверей
Руллон бумаги. Перед входом
Прилавок. Позади мотор.
—Иван Петрович, взял набор?
Печатай:

«Граждане, к оружью!
Мы с вами вместе — до конца.
Но против ружей надо ружья»—
(Ложатся буквы из свинца
В прямые длинные колонки).
«Найдите оружейный склад» —
(Примерзли у ротационки
Валы)
«Пусть весь рабочий класс
Поймет»—
— Придется, видно, тискать

Ручным станком.—
— Эх, не поспеть! —
— Не сдвинешь вал! —
— Набрал! Приписку
Поставь:
«Вас РСДРП
Зовет сое» —
— Кон-чай!!! Казаки!!! —
— Иван Петрович! Брось! Беги!
Дай мне!
— Не тронь! Рассыпешь знаки!
Оттисну, мать их...—
— Берегись,
Стреляют!—
— К бесу! —
Вынул маузер,
Кладет перед собой на стол.
Оттиснул оттиск. Первый смазал.
Второй получше. Десять. Сто.
— Довольно? —
— Хватит!
...Рой казаков
Обратно мчится. Гик, свистки
На улице. Уже на запад
Склонилось солнце. Вмиг листки
Расхватаны. Гранит реки
Далеким вздрагивает эхс,
Подростки руганью и смехем
Встречают скачущих драгун.
Ржут кони. Пульсом человечьим
Проспекты бьются. Там — в снегу
Тащится раненый. Там — речи
Вновь ловит стихшая толпа...
— Опять по линии пальба,
Опять отряд — залп, крик — и дальше
Летит, не зная сам, куда.
А на снегу какой-то мальчик,
Раскинув руки, словно вдаль
Лететь собрался, — прямо в небо
Глядит невидящим зрачком.
Ни встать... Ни сесть... Тяжелый ком
Ударил в грудь, большой и твердый —
На миг оскалясь конской мордой,
А, может, белым медведем...
Ах, нет. Вот — мишка. Подал лапу
Большую, белую: — Пойдем,—
Урчит над ухом... Ноги слабы,
Не сдвинуться... — Пойдем, пойдем! —
Повел куда-то. Сбоку — книжки,
Вдали — знакомое окно,
И под боком топочет мишка;
Но стало вдруг темно, темно,—
С каким-то тонким, странным звуком
Все завертелось — здесь — в виске...
Под фонарем, раскинув руки,
Затих, с булыжником в руке.

11

Ревет поток. Бушующий вал
Бьется о грудь химер,
Снежной лавиной гремит обвал
Расшатываемых вер.

Ощетинилась криком толпа,
(Крикам гранит вторит)
Вперед — вперед — вьется тропа
Ускоряющейся Истории.

Из районов, с окраин — идут, идут...
(Косят шашки, конница гонит)
— Слушай: идут, идут, идут
Несосчитанные миллионы. —

Идут, идут, идут... А там—
Из-за фуры, свернутой на бок,
С Мойки, с Певческого моста,
От парка, от арки штаба —

Где над гранитом звенит раскат
«Вечной памяти» павшим,—
Серой громадой стоят войска
И — пулями пашут пашню.

Час... Два... Три... Пять...
Шесть... Семь... Восемь...
(Снежный буран на узор пятен
Иглистый наст наносит).

Ни — пройти вперед. Ни — сломать
препон.
Ни — пробраться. Ни — протесниться.
(На глухой окраине поп Гапон
Паспорта ждет — за границу).

И падает грозный напор реки, —
Воды — ниже, тише и строже...
— Что делать?! Убиты в строю вожа-
ки!
Бежавший Гапон — не поможет!..

Мелькнул короткий вечер. Ночь
Сошла на покоренный город
Бесстрастной поступью.
По норам—
Смятенье — шорох — вновь и вновь:

— «Тише, товарищи, тише,
Не стукнуло бы ружье,
Не равно услышит
Черное воронье».

Пикеты дремлют до утра
По площадям, — и в воздух черный
Мигает глаз костров дозорных
Под гулкой бронзою Петра—
— «По своим районам
Пора пробираться,
Мы со всех сторонок
Еще двинемся, братцы».—
И видно: конская узда
Вновь схвачена рукой державной —
— «Солдатушки, браво, ребятушки,
Вот где ваша слава»!
— «Как со всех сторонок
Мы двинемся — тыщи,—
Ни одна ворона
Их костей не отыщет»—
— «Солдатушки, браво, ребятушки,
— Чтой-то, братцы, щемит грудь!.. —

12

— Пошевеливайтесь!
— Проворней!
— Проворней!
— Это что? Воззвание?! На, рассмотри!
Грузный топот ног по доскам коридора,
Детский плач за дверями. Возня. Крик.
Громоздится кучей домашняя рухлядь. —
—Книга? Кто разрешил? Панков, забери! —
Разворочен киот. Лампада потухла.
И над черным Николою — нет риз.
Снежной россыпью по разбросанной груде—
Нарванные в клочья листы бумаг:
Вон — с обложки журнала «Природа и люди»
Удивленно глядит Сенькин башмак.
Все разбито. Разрушено. Все испорчено.
Задыхается криком в своем углу
Перепуганная сестренка; скорчившись.
Лезет под драный папин тулуп.
А уже выводят... Четверо забраны,—
(Оставляют засаду). Ведут, ведут...
На углах пикеты — ночным табором,
И гранит Невы — как ночной редут.
Переполнены полицейские части,
В арестном доме запружен двор;
По проспектам, каре, — конные части
Разгоняют прохожих, мчатся в опор.
— Как сказать? Как помочь? Перепутаны мысли! —
Мужа нет... Сына нет... Не придумать,— одна!
У дверей не пройдешь: все равно выследят,
И не выскочишь из окна.
Может быть, он вернется?
А там засада...
Дать бы знать из окошка...
— Что я могу?
(А ружейный залп у Летнего сада
До сих пор еще грохочет в мозгу).
— Пятна, черные пятна у плит тротуара,
На проклятом граните снежной Невы...
Боже! Боже! За что еще эта кара?—
Не вздохнуть.
Не встать.
Не поднять головы.

13

Вымеренные в ряд дома. Темнота.
Крадущийся шаг быстр.
Ближе к стене, ближе...
(Вон там
Вдалеке — пачками — выстрелы)
Крыльцо. Десять ступеней вниз.
Ржавый блок прохрипел —
И вдруг —
Крик за дверями:
— Наз-зад!!! Схоронись!!! —
Поздно. Не сбросить рук.
Трое вцепилось. Бежать? Куда?
Ноги — свинцом. Устал.
Штык впереди — холодна, тверда
Выточенная сталь.
— Типографщик Суров, — Петербургский отдел? —
— Но...
— Отвести в часть.
Не разговаривать. К делу —
— По какому праву? —
— Молчать!
На виселице об'яснят. Марш! —
(В коридоре разгром, плач)
— Товарищи! Не забудьте Пашу! —
— Разговариваешь? —
— Палач,
Отольются тебе —
Охнул
От удара прикладом — в грудь.
Вывели. Дверь хлопнула,
Двинулся в крестный путь.
Снежная улица.
В ряд — дома.
Впереди — полицейская часть.

А дальше?
Острог? Ссылка? Тюрьма?
Что еще припасла власть?
Снежная улица.
Сбоку солдат.
Спереди — два штыка.
Скрыться бы... Скрыться б... Скрыться...
Куда?
Мысль остра, острее штыка.
Вздрогнул, взглянул:
Калитка, забор
И вывеска:

«СКЛАД ДРОВ»

Рванулся в калитку,
Болты на запор,—
Выстрел... Плечо — в кровь.
Грохот прикладов в доски ворот —
Через снег — на другой двор —
Мусорный ящик — крики, народ —
Бабий визг: Караул! Вóры!
Снова забор.
Угол. Сугроб.
Ноги вязнут...
Перескочил.
Что-то колючее...
В кровь — лоб.
Трудно глядеть — сочится.
Улица. Сад. Кусты. Тишина.
Ругань где-то издалека...
Горячо в плече. Ладонь красна,
И как мертвая плеть — рука.
Меж стеной и садом высок сугроб,
Мягок снег, уйдешь с головой;
Может быть, убежище? Может гроб?
Все равно — кругом никого...
Отдышался. Пятнадцать, двадцать ми-
нут.

Полчаса. Три четверти. Час.
Тишина. Слабость.
Клонит ко сну.
Выбрался. Закачался.
Справа — окна особняка,
Слева — забор, фонарь,
Ворота не заперты: площадь, река,
Хмурый гранит набережной,
И двое — в штатском...
Враги?
Друзья?
— Вы ранены? —
(Голос бодрый)
— В руку... пуля... —
(Странно скользят
Ноги, — схватили под руки)
Усадили куда-то, держат.
— Везут?
(Площадь — длинным листом верстки;
Мелькает набор, — и буквы внизу—
Вымеренными верстами...)
...Ветер в лицо.
— Это мчат сани?

И стало вдруг все равно:
В стынущий мозг знамена беспамятства
Бросила злая ночь.

14

А там —
По разбежавшимся в ночь проводам,
Селам, лесам, деревням, городам,
К северу, югу, на запад, восток, —
Мчит по столбам электрический ток
По перепутьям, заносам, буграм —
Рой телеграмм.

Темень за окнами, шопот и свист,—
Вздрогнул склонившийся телеграфист
Над полосою бумаги:
Черточки, точки, зигзаги...

Морзевским кодом несется гонец:
Глубже и глубже ползет по стране
В волнах ответного звона
Клич петербургских районов.

С блоков имперских срывается век;
Время пускается в скачку:
В Ревеле, Риге, Варшаве, Москве, —
Стачка!..

Вильна, Одесса, Баку, Гельсингфорс
Ульем гудят... Севастопольский порт
В заревах от арсеналов
Ждет боевого сигнала.

Но ещё власти послушны войска,
Судорожно мнет непокорных рука,
Жмет по далеким окраинам —
Грузию, Польшу, Украину.

И, по ночам, проходя города,
К дальней Сибири идут поезда, —
Шпалы, шпалы, да шпалы.

Узкой дорожкой бежит полотно, —
Стужа порошь заметает в окно, —
У вагонных окон лужи...

Качает, бросает, налево, направо, —
Бьют четко колеса по стыкам чечетку,
Грохочут железные справы...

Глядят сквозь решетку
Усталые лица,
Метелица злится по склонам...
С уклона, к уклону
На новый уклон, —
Эшелон... Эшелон... Эшелон...

И, за окошком, на темной платформе,
Сторож в железнодорожной форме
Чистит свой маузер, сквозь тьму прочитав:

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
РЕВЕЛЬ — ЧИТА.

15

— Решайся, друг! —
— Решился. Дай билет. —
— Вот он. И паспорт: «мещанин из Пензы —
Сергей Иваныч Козырев, маляр».
Запомни же. Я думаю, твой след
Давно утерян. Встретимся, где вензель
У входа в зал. Скажи, на кой те ляд
Теперь усы? Побрейся, и поедем.
Рука болит?
— Почти что не болит.
Мне б, главное, сейчас узнать о Паше,
Сходить бы к ней...
— Ну, что ж, дружок, вали,
При на рожон. Под Трубецкой башней
Всем хватит мест — при даровом обеде. —
— Но как же быть? —
— К ней заходил «Мартын». —
— Ну? —
— Беклимишева берет ее в прислуги —
— С девчонкой? —
— Да. —
— Хороший человек! —
— Пешком пойдешь? —
— А что же, — две версты...
— Я не к тому: просил тут об услуге
Товарищ, у которого в Москве
Мы будем жить вначале —
Верно, Бауман?
Он заходил и передал порт-плед.
Там «Искра» и «Вперед». Груз не тяжелый.
Снесу один. —
— Вот — деньги. А в столе,
Когда пойдешь, захватишь кстати браунинг.
Там пригодится, — для предметной школы.
Ну, что, готов? —
— Сейчас! —
— Пора, пора,
Идем, Петрович, развернем-ка знамя —
Наш лист печатный, — видишь — позади —
Не мало их, идут уже за нами, —
Вон — вон — идут...
Гляди, сюда, гляди:
По городам, по селам, весям, долам, —
Она растет... Петрович, — вот она! —

Вскочил. Отбросил стул. Припал к стеклу. И долго
Глядел в морозный дым сквозь переплет окна.

16

Быстрей... Быстрей... Быстрей...
Баюкает бегущий
По шпалам грузный гул чугунного пути...
Мосты. Посты. Огни...
Из пригородной гущи
В разлет глухих полей — лети, вагон, лети!
Вперед... Поля кругом. Шлагбаумы. Перелески.
Равнина скудная, — снегов печальный плат,
Где колкой россыпью под льдистым лунным блеском
Откосы, шпалы, путь, — все вьюга замела.
Летит, летит вагон. Звенят, стучат колеса.
Роится темнота в дурманящем тепле,
Мелькающих платформ крадется луч белесый
По транспорту газет, укутанных в порт-плед,
По рыжим валенкам с обшивкой из опойки,
Тулупу и пальто — у левого угла,
По дверце, по чехлам... И там, на нижней койке
Играет на пенсне над впадинами глаз.
...Зеленый огонек... Шоссе... Перед шлагбаумом
На миг мелькнувший сторож, машущий флажком...
И вновь — поля, поля.
— Ты спишь иль дремлешь? Бауман,
Послушай, — не могу! Как вспомню... —

— Ты о ком,
Петрович?—
— Все о нем, о сыне, о Семене.
Приедем мы, а как не выйдет ничего?—
— Так что ж, начнем опять. —
— У нас в одном районе
Не меньше тысячи испорчено —
— Авось,
Зря больше не начнут...—
— Пожалуй не удержишь,
Придет второй Гапон—
— Второго не придет.
А если и придет, — народ уже не прежний,
Великий был урок, до срока подождет.
— А вот «Абрам»—
— Ну что ж, «Абрам» у нас романтик,
Он к революции пылает, как к жене;
Как искра, он хорош. Но что хватало раньше,
Не хватит нам теперь. Сейчас всего нужней
Организация, — и дело, дело, дело.
Пускай геройствует Цека Боевиков,
У нас тяга — трудней...—
Завыла, загудела,
Запела песнь свистка, — и где-то, далеко,
За спящею Москвой подрагивают шпалы,
Бежит чугунный гуд по гулкому пути:
—«Иркутск—Казань—Москва»
Мерцающим опалом.
Мигает желтый глаз и паровоз свистит.
Вагоны. Пьяный мат. Солдатские котомки.
Стук рваных сапогов у деревянных нар,—
«Перово»... «Люберцы»...
И машинист Ухтомский
У станции «Москва» дает уж контрпар.
А там — опять свистят...
Растет гудков тревога,
Сползают оползни, яснее жизни тло,—
Бастуют города, в лесах, в звериных логах
Под заревом усадьб просторно и светло.
Там, силясь приподнять пудовые вериги,
Нахмурившись, следит стомиллионный люд
Пролет поющих пуль над площадями Риги,
Гром ружей в Радоме, и Лодзинский салют.
Там столько долгих лет мечтал вчерашний раб
Пройтись своей сохой по барственным затеям,
Пропеть отходную князьям и богатеям,—
Под вольный свист огня, под песни пьяных баб...
Равнина скудная, бездомная Россия,
Под льдом Империи бегущая река,—
Взглянувшие в глаза безрадостным усильем
Мятущийся народ — гнетущая рука,
Страна рубежная, чей путь по редким вехам
На стоптанном снегу прочтешь едва-едва,
Глубокая, как степь, как сердце человека,
Как взятая в гранит лукавая Нева...
Рассвет. Даль голубей.
«Клин»... «Химки»... Гуще, гуще
Запасные пути, шоссейные мосты,
Товарных поездов по сторонам бегущих
Груженые хвосты, огни, гудки, посты...
Дебаркадер. Свисток.
Жандармы на платформе,
Под газовым лучом вокзальных фонарей:
Носильщики, возня, и снег от сажи черный: —
— Эй, Козырев, двором! Пойдем, пойдем скорей!
Ремни поддерживай!—
— Извозчик, на Таганку!—
— Полтинник!—
— Поезжай! — Ну, что, Петрович, рад?
Кривые улички, домишки, лавки, санки,—
Порт-плед — в ногах.
Москва,
Девятый час утра.

Александр Коваленский

Последняя проверка времени

Октябрьская революция в свете буржуазного „общественного мнения“

И. Браславский

«Который час?» — этот вопрос недавно, в середине 1931 г., как-то неожиданно был одновременно поставлен несколькими крупнейшими органами международного капитализма. Задал его генеральный рупор британского империализма «Таймс», поставил его «заслуженный» голос германской буржуазии — «Фоссише Цейтунг», меланхолически вопрошал в те же дни лейб-орган швейцарских толстосумов и франкофилов — «Нейе Цюрихер Цейтунг». Наконец, подал свой голос и центральный орган германских социал-фашистов — «Форвертс».

Первые три газеты единогласно пришли к выводу, что стрелки часов истории капитализма приблизились к 12-ти и нужно быть готовым к предстоящему бою часов. «Везде и во всех областях потрясены основы старого строя... Грозит борьба всех против всех. Нужна помощь всех для всех» — писала в те дни «Фоссише Цейтунг».

«Начался финансовый паралич Центральной Европы... Часы уже начинают бить... Было бы ошибкой недооценивать реальную серьезность создавшегося положения», — заявил «Таймс».

«Мы живем в хаотическое время; нам нужно найти новую общую базу, новую общую меру, новую общую цель», — таков вывод делал «Нейе Цюрихер Цейтунг».

«Форвертс» остался «в некотором разногласии». Социал-фашизм впервые за послевоенные годы высказал свое несогласие с капитализмом. «Форвертс» стал на защиту капитализма. По его мнению «для нервозности нет никаких оснований» и совершенно зря господа капиталисты пребывают в тревоге. На социал-фашистских часах едва, едва наступил благодатный полдень... А об остальном — нечего беспокоиться. Все уладится.

Мы остановились на этой «проверке времени» отнюдь неслучайно. Сейчас, когда мы подводим итоги 14-летнего существования Страны советов, проблема дальнейшего существования разлагающейся капиталистической системы приобрела все очертания определенной реальности. Сейчас, после того как кризис потряс все основы капитализма, когда одна за другой взрываются твердыни всей системы, когда «старая, добрая Англия» идет ко дну, а разжиревшая на крови войны Франция судорожно цепляется за свое призрачное благополучие, уместно вернуться несколько назад и сделать небольшую проверку не времени (наши часы показывают верный ход), а хода истории.

I

Это было не так давно — всего 8 лет.

1923 г. Голод, бестоварье, замороженный транспорт,— все это далеко позади. Страна бурно поднимается точно феникс из пепла. «Ножницы» рождают кон'юнктурные наблюдения — первую сторожевую вахту народного хозяйства в недрах Госплана. Постепенно, шаг за шагом, осторожные прикидки приобретают характер стройного годового плана. Пути развития отдельных элементов уже определились довольно ясно и можно подумать о первом черновом наброске пятилетнего плана основных отраслей народного хозяйства.

Капиталистический мир взорвало от неслыханной дерзости. Писаки всех рангов и наций с остервенением бросились «разделывать» этот первый опыт планирования на несколько лет вперед. И первым в ряду «благонамеренной критики» шел орган германских биржевиков «Франкфуртер Цейтунг».

«Нужно поражаться,— писала эта газета в одном из ноябрьских номеров 1923 года,— с какой развязностью советская власть строит

свое будущее. Для нее нет трудных проблем; она приписала себе предвидение пророка и совершенно точно определяет степень развития своего хозяйства к десятилетию своего существования. Между тем, для всякого трезвого человека ясно, что основным вопросом является сомнительность самого существования советской власти на столь длительный срок».

За «Франкфуртер Цейтунг» в братском единодушии следовали французская «Матэн» и английский архичерносотенный «Морнинг Пост», поднявшие на смех эту «нелепую дерзкую попытку Госплана»; а за ними шли «Дейче Бергверксцейтунг», «Индустри унд Гандельсцейтунг» («выдумки ученого ареопага экономистов и статистиков, заседающих в Госплане») и т. д. При этом характерно одно: ни один из этих «авторитетных» органов капиталистического общества не дал себе труда даже попытаться об'яснить, что же такое Госплан. Это наступление систематически в дальнейшем ведется изо дня в день и по каждому новому поводу, позволяющему судить об усилении планирования в СССР, об активизации плановых идей в широких массах трудящихся.

Пересмотр первых контрольных цифр 1925 г., вызванный, как известно, недоучетом некоторых факторов, вызывает в рядах капитализма бурю восторга. Французский «Ажанс Экономик» посвящает этим «фантастическим контрольным цифрам» несколько статей и с удовлетворением цитирует «критику» их небезызвестного вредителя Литошенко. Бреславльский экономист доктор Серафим выступает в органе торгово-промышленных кругов Германии «Индустри унд Хандельсцейтунг» со статьей, написанной в ироническом тоне, в которой контрольные цифры называются продуктом «дара ясновидения», позволяющим русским политико-экономистам поручать особой комиссии (Госплану—И. Б.) разработать до мельчайших подробностей пути хозяйственного развития будущего года.

Это наплевательское, высокомерное отношение к социалистическому планированию передается буквально по всему буржуазно-капиталистическому фронту. Мы уже не говорим о международной социал-демократии, о германской с.-д. партии, питающейся об'едками с капиталистического стола. Даже умнейший и наиболее сдержанный буржуазный экономист Кейнс и тот, после своего возвращения из СССР, после ознакомления с Госпланом (он присутствовал на специальном заседании последнего) счел нужным заявить буквально следующее:

«Я не думаю, — писал он в октябре 1925 г. в журнале «Нейшен Энд Атенеум», — чтобы он (большевизм—И. Б.) содержал или мог содержать образцы полезной экономической техники, которых бы мы не могли применить, если мы этого захотели, в обществе, которое обладает всеми признаками... британского буржуазного идеала».

Итак, все что от СССР — неприемлемо. Вся огромная революция в области социально-экономических отношений, которая задумана и проводится в жизнь в стране советов не заслуживает никакого внимания. Политика СССР — «это политика, которая неизбежно приведет страну к банкротству». Страна советов — «темное пятно на европейском горизонте и, к сожалению, пятно очень большое», — писал в январе 1926 г. орган лондонского Сити «Бенкерс Магазин». Как бы положительно не сложилась политическая и экономическая ситуация этой страны, рассуждал одновременно с этим органом другой банковский рупор «Финеншел Ньюс» — «следует крепко стоять на платформе знаменитого меморандума британских банкиров».

История давным-давно похоронила эту «платформу»; тем не менее, ее содержание можно восстановить, даже не перелистывая страниц прошлого. «Знаменитый меморандум британских банкиров» был воплощением одной из тех многочисленных, наглых провокаций, которые английский империализм направлял по адресу СССР. Это была попытка «поставить на колени» страну советов перед денежным мешком Англии; это был набор наглых требований международного грабительского капитала, продиктованных одним желанием — взорвать цитадель мировой революции, вернуть России свергнутый монархический строй и восстановить «права» английского империализма, «так грубо попранные» большевиками.

Банкиры впрочем не отличались особой скромностью скрывать свои мысли. Они ясно расшифровали свои намерения в следующих выражениях:

«Когда Россия согласится на их требования и представит гарантии настолько прочные, насколько может дать несостоятельное государство, тогда можно будет рассмотреть проблему, как помочь ей снова стать на ноги. До тех пор всякая экономическая политика—

равно, старая или новая, исключающая эти обходимые условия, — будет рассматривать как фарс и как обман».

Уверенные в своей «правоте» и силе, убеленные в том, что этот путь капитуляции — избежный путь для «несостоятельного государства», каким является СССР, финансовые уги Англии с исключительной уверенностью тверждали, что «в России скоро осознают положение вещей». Тот же «Бенкерс Магазин» итал возможным заявить буквально следующее:

«Австрии и Венгрии помогла Лига наций. рмания снова «поставлена на рельсы», благодаря плану Дауэса. Со временем и России редстоит обратиться на Запад советом; ей тоже необходим онтроль и не миновать ей своего лана Дауэса».

Международный капитал напрашивался «на обровольных началах» в хозяева, в контролем. Он выдвигал «на выбор» прелести «восстановления» Австрии и Венгрии «при помощи» Лиги наций; он уверенно утверждал, что без той помощи, без плана Дауэса Советскому оюзу не обойтись, тем более «эксперты» в онце своего доклада заявили: «восстановлением Германии дело не кончится. Это восстановление — только часть более широкой проблемы восстановления всей Европы и в первую очередь, конечно, России».

Характерно, что такое мнение высказывали не одни только англичане. В Германии, в кругах, которые в своих суждениях о СССР временами поднимались на несколько ступеней выше общего уровня мещанских или ростовщических рассуждений европейских обывателей, даже там господствовал взгляд на безнадежность и бесперспективность будущего Советского союза. В этом отношении обращает на себя внимание доклад профессора высшей технической школы в Ганновере — Эриха Обста. Обст побывал в СССР; он имел возможность лично познакомиться с экономической жизнью СССР, так что доклад свой он мог сделать на основании личных наблюдений. Так вот что говорил Обст (доклад его был напечатан в «Дейче Альгемейне Цейтунг», номере от 10 января 1926 г.):

«Если новая Россия не хочет быть повторением старой, если она хочет на развалинах прежнего хозяйства создать новое и лучшее» — необходима еще и экономическая революция в полном смысле этого слова». Эта мысль приводит его к правильной постановке проблемы нового географического размещения промышленности и вообще коренной перестройки экономической карты страны. «Все это, конечно, гигантские задачи, — говорит он, — однако в России они могут быть выполнены скорее, чем где-либо»... Но и здесь Обст сползает на почву сомнений — «справится ли советская Россия с гигантскими задачами, предстоящими ей, не возвращаясь при этом к прежней капиталистической системе. Вернее всего, что нет».

Нужно сказать, что тон международной буржуазии не всегда был одинаково резкий и требовательный, вроде цитированных нами выше финансовых органов. Временами он снижался и приобретал даже некоторый «душевный» характер. Этой системы «нюансов», очевидно, придерживался влиятельный орган английских финансовых кругов «Финеншель Таймс». В номере от 3 марта 1926 г. газета «всерьез задумалась» над судьбами России, над вопросами ее «возрождения».

«В конце концов, столь обширная и богатая ресурсами страна, — пишет автор передовой, — должна добиться стабильного положения, как это доказывает история. Последствия французской революции в международном и финансовом отношении вряд ли были меньше, чем последствия революции в России. А между тем, Великобритания не задумалась над тем, чтобы финансировать возрождение Франции».

Начав с исторических аналогий, воздав в дальнейшем должное неизбежному поступательному ходу прогресса, автор приходит к убеждению, что «логика вещей» приведет к следующему выводу: «по всей видимости большевики, сохраняя свое название, в то же время под влиянием нужд населения, которым они управляют, постепенно изменят свои взгляды, приближаясь к капитализму. Жаль только, что этот процесс идет очень медленно». И тут начинаются отеческие уговоры «не задерживать ход истории» и скорее капитулировать.

«Почему бы не отдать себе отчет в настоящем положении дел, примириться с неизбежным, признать долги и уладить этот вопрос, согласно своей платежеспособности». Неуверенный, однако, в том, что большевики его послушают, «Ф. Т.» спешит закончить бравым окриком — «до тех пор, пока русские не урегулируют вопрос о долгах, тормоз с колес их прогресса не будет снят».

Если английская буржуазия выступала под прикрытием благодетелей «экономического

прогресса», то гораздо большую откровенность позволяли себе французы. Они «готовы» примириться «с существующим положением вещей в России», они даже готовы «признать» большевиков, но при непременном условии «решительного отказа от принципов, несовместимых с законами современного общества». Состоявшийся в марте 1925 г. в Париже с'езд «французских кредиторов России» выработал даже целое программное напутствие своему правительству в связи с переговорами последнего с СССР. Среди пунктов этого напутствия значился один, который делегат с'езда Филипп сформулировал следующим образом:

«Нельзя требовать от французских сберегателей чего бы то ни было, пока первый пункт конституции Советов о правах иностранцев не будет отменен и пока не будут установлены специальные суды, которые будут разбирать уголовные и гражданские дела между русскими и лицами других национальностей».

Французские биржевики и спекулянты, как видим, ушли далеко. Они требовали полной капитуляции СССР; они добивались «привилегий» вроде тех, какими иностранцы пользуются в полуколониальном Китае.

Нужно сказать, что требования «кредиторов» тотчас же нашли свою «общественную» поддержку. «Тан» в номере от 5 апреля 1925 г. спешит заявить, что «сношения с советской Россией могут происходить только в рамках законов и обычаев, которыми управляются международные связи в семье государств. Пока московское правительство не отдаст себе в этом отчета и не будет иметь морального мужества откровенно освободиться от унизительной опеки Коммунистического Интернационала, до тех пор великие европейские демократии не будут оказывать ему доверия».

«Великие европейские демократии», к выразителям которых в первую очередь причислял себя «Тан», спасут «погибающий Советский союз» не только рублем, но и показом. В номере от 9 июля 1925 г. «Тан» несколько отвлекается «от назойливых материальных дел» и переходит к некоторым «принципиальным сравнениям».

Большевики сдают все свои позиции, — пишет автор статьи «Как живут советы». «Они восстанавливают хозяйство, идя классическими путями финансовой экономики, и стараются уравновесить пассив и актив своей национализированной промышленности. Ни почта, ни телеграф, ни железные дороги им ничего не стоят, так как за них платят те, кто ими пользуется. Мы далеки от подобной доктрины. Мы все более и более придерживаемся первоначального большевизма, который заключается в убыточной эксплоатации большей части предприятий общего пользования... В Москве — другое дело: там царит капитализм. Мы же, добрые буржуа, проводим большевизм, сами того не зная».

Потерпевши полное поражение в своих тщетных попытках взорвать СССР путем открытой интервенции и нехитро сплетенных провокаций, орган французского империализма пытается дискредитировать Страну советов печатным словом, агитацией в рядах своих читателей.

«Что же остается от первоначального большевизма?» — спрашивает в заключение «Тан» и тут же отвечает: «совершенные пустяки: золотой бюджет, независимый от бюджета... и питающийся из награбленного в первые дни революции. В этом бюджете для секретного фонда и для заграничной пропаганды имеется 200 млн. франков, при помощи которых можно распространять в казармах много трактатов против «буржуазного империализма и подготовлять пришествие русского империализма, который один только имеет права мирового гражданства».

II

Выступая во всеоружии всех мыслимых методов провокации СССР, пуская в ход все, что попадается под руку — лишь бы оно в какой-нибудь степени было направлено против Страны советов (фальшивки, «письма Зиновьева», «агенты Коминтерна», «корреспонденции» из Риги и Варшавы, поджоги, вредительство и т. д.), международный империализм, тем не менее, не выступает как единое целое. Внутрикапиталистические противоречия и здесь находят свое ярчайшее отражение. «14 великих держав поднимутся против СССР» — это угроза Черчиля, которую он адресовал Советскому союзу, оказалась пустой болтовней империалиста, взбешенного укреплением и экономическим ростом Страны советов.

Как велики были эти противоречия, можно судить хотя бы по следующему факту. Когда в начале 1925 г. крупнейшие американские нефтяные тресты «Англо-американ Ойль» и «Вакуум Ойль» закупили первую крупную пар-

...о советской нефти, орган английских черносотенцев «Морнинг Пост» в номере от . февраля 1925 г. выступил с грозным предупреждением о том, что эти сделки являются незаконными, так как они заключены американцами с... «сомнительными хозяевами». К этому «Морнинг Пост» добавил следующие свои «соображения»:

«Большевики... дошли до предела разорения. Нефть — их последняя надежда. Если бы деньги, вырученные за нее, пошли на законные нужды государства, то против таких сделок никто не возражал. Но американские нефтяные магнаты должны великолепно знать, что деньги, полученные таким образом, пойдут на пропаганду за границей... Деньги, которые американские капиталисты дают большевикам, могут вернуться в Америку же на предмет свержения основ капитализма. Поэтому мы полагаем, что директорам солидных, почетных предприятий надо смотреть на такие сделки шире, чем это диктуется узкими потребностями моментальной выгоды».

«Морнинг Пост», как видим, пытается запугать американские деловые круги перспективой революции, «сделанной» на их же деньги. Он бьет на собственнические инстинкты американцев. Чувствуя, однако, шаткость своих доводов, понимая, что такой аргумент совершенно бесполезен там, где речь идет о прибылях, газета несколько расширяет свою «концепцию».

«Большевики, — продолжает автор той же статьи, — начали с использования противоречий между отдельными странами, а теперь... они стараются использовать конкуренцию фирм... Мы можем быть уверены, что в случае если большевикам повезет, нефть в России может и остаться, но американских магнатов, ее покупающих, может не оказаться».

Подписание концессионного договора с Гарриманом на разработку чиатурских марганцевых руд, расторжение советским правительством нефтяной концессии Синклера на Сахалине, активизация концессионной политики вообще, ряд экономических мероприятий внутри страны, наконец усиление торговых сношений СССР с странами Запада и Востока приковывают внимание всей буржуазной печати к вопросу о дальнейших судьбах советской системы.

Французский экономический орган «Ажанс Економик» констатирует, что «советский бюджет 1924/25 г., по сравнению с 1918/22 гг., когда бюджет на 85—95% покрывался путем эмиссии, заметно улучшился. Но дело в том, что это улучшение об'ясняется отнюдь не успешным применением коммунистических принципов, а, наоборот, отступлением от них и возвращением к методам, принятым в буржуазных капиталистических странах».

«Индустри унд Хандельсцейтунг» (номер от 26 марта 1925 г.) полагает, что открывающиеся в СССР возможности должны быть, конечно, использованы германскими промышленниками в максимальной степени. Не следует забывать, что большие расчеты на СССР возлагают и другие страны, в особенности Франция, в связи с успешным ходом франко-советских переговоров. Тем не менее, предупреждает газета, нужно твердо помнить, что «перемена направления не является в данном случае чем-либо постоянным». Наоборот, «знатоки психики русских хозяйственных политиков убеждены, что не следует рассчитывать в ближайшее время на основную перемену их принципиального направления. Все отрасли русской общественной жизни слишком срослись с коммунистическим мировоззрением и пониманием жизни для того, чтобы можно было оценивать мелкие отклонения коммунистической магнитной иглы, как длительный разрыв с основными тенденциями и принципами».

Бешеную кампанию против восстановления торговых, да и всяких отношений с СССР ведет уже цитированный нами выше «Финеншель Ньюс». Взбешенный успехами переговоров Советского союза с американскими торговыми кругами, орган Сити выбрасывает лозунг — «никакого доверия большевистскому правительству».

«Потерпев позорную неудачу в своих попытках получить британский капитал при помощи симпатизировавшего им британского правительства, — пишет эта газета в номере от 9 мая 1925 г., — Советы стараются теперь удовлетворить свои потребности другими путями... Они стремятся получить капитал из какого бы то ни было источника, но не делают ни малейшего благородного жеста в сторону обманутых кредиторов русского государства... Мы думаем, что наступило время, когда нужно ясно дать им понять, что попытки неоправданных банкротов получить кредит достойны осуждения»...

Было бы неверно думать, что только пресса английских твердолобых стояла на такой ре-

акционной позиции. С английскими «Ньюсами» и «Таймсами» конкурировали и германские «Цейтунги» и французские «Ревью». Американский «Уолл-Стрит Джорналь» выступил в мае 1925 г. с истерической статьей против большевистской системы и СССР, против какого бы то ни было участия иностранного капитала в экономике Союза. «Теперь его (иностранный капитал — И. Б.) приглашают вновь отважиться выступить. Эта детская игра — «цып, цып, иди сюда, я тебя с'ем» будет продолжаться до тех пор, пока люди будут настолько глупы, чтобы верить, что леопард может переменить свою шкуру».

Итак, основной лейтмотив всего этого наступления капитализма на СССР представлял собой довольно простую формулу — «никакого доверия системе, которая не имеет никаких прав и и перспектив на существование». Однако капиталистическая «общественность» вынуждена констатировать, что эта «необычайно ясная формула» далеко не всеми усвоена одинаково. Германский экономист Г. Клейнов в своем докладе (март 1926 г.) в Германском обществе по изучению мирового хозяйства об экономике Советской России «с величайшим сожалением» констатирует форменный разброд в рядах капитализма по советскому вопросу. Советским правительством, — говорил Клейнов, — начиная с 1922 г., ведется «осторожная игра на противоречия экономических интересов для привлечения в Россию кредитов. Отдельные английские капиталисты, как й американцы делают на этом хорошие дела».

Здесь вполне уместно привести яркую характеристику капиталистической погони за прибылью, которую Маркс дал в первом томе «Капитала».

«Капитал избегает шума и драки и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличности достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов и капитал согласен на всякое применение; при 20 процентах он становится оживленным; при 50 процентах положительно готов сломать себе голову; при 100 процентах он попирает ногами все человеческие законы; при 300 процентах нет такого преступления, на которое он н[е] рискнул бы, хотя бы под страхо[м] виселицы».

Нужно ли доказывать, насколько эта бл[е]стящая характеристика Маркса нашла св[ое] полное отражение во взаимоотношениях капи[]талистического мира с СССР? Думается, чт[о] нет. Достаточно перелистать историю проше[д]шего 14-летия Октября, чтобы увидеть капит[а]лизм во всем его обличьи, в погоне за эти[ми] 300 процентами, во имя которых он не оста[на]вливался ни перед какими преступлениями.

Буржуазный экономист, вроде Клейнова, ра[]зумеется, отрицает эту характеристику, «нав[я]занную доктринерами идеалистическому капи[]тализму». Клейнов подчеркивает, что в довое[н]ной России «иностранный купец видел непре[]рывно растущее хозяйство». Что же касаетс[я] советского правительства, то оно «об'явил[о] войну европейской культуре, покоящейся н[а] идеализме, и занялось экономическими экспе[]риментами, конца которым не предвидится».

«Это «замечательное» вступление сопрово[]ждается целой программой, выполнение кото[]рой делает мыслимым временное сотрудниче[]ство капитализма с СССР. Разумеется, здесь [и] «прекращение пропаганды против капитализ[]ма», и «отказ от связи с 3 Интернационалом», [и] рекомендация более смелого развития того «по[]ворота в сторону развивающихся в дерев[не] экономических отношений, наметившегося н[а] XIV с'езде коммунистической партии и, нако[]нец, открытие всех «искусственных шлюзов» тормозящих экономическое развитие страны Характерно при этом одно, своего рода «при[]мечание» Клейнова к советско-германским от[]ношениям. «Германия, — пишет он, — заинтере[]сована в том, чтобы советское правительство удержалось по крайней мере до тех пор, пока Германия будет в состоянии выступить на экономическом поприще, как равноправный партнер других великих держав».

Мы остановились на этой «декларации» вовсе не потому, что она представляет нечто новое на фоне взаимоотношений капитализма и СССР. Характерное в этом выступлении то, что спустя 9 лет после Октябрьской революции, после того, как СССР целиком прошел весь этап восстановления своего народного хозяйства и смело ставил перед собой огромные задачи его реконструкции на новых экономических и технических началах, в рядах капитализма еще довольно прочно жило мнение, что советская система не имеет никаких перспек-

тив и «временность» существования должна быть сугубо учтена во всех отношениях.

В этом отношении большой интерес представляет выступление уже упоминавшегося нами выше видного английского экономиста Кейнса. Для этого либеральствующего буржуа СССР представляет «своеобразную загадку», разрешить которую не так-то легко. «Необычайно трудно быть беспристрастным к России. И даже, будучи беспристрастным, как составить себе истинное представление о столь чуждом, противоречивом и изменчивом, о чем ни у него в Англии нет и тени познания или сравнительного опыта», — так начинает он одну из своих трех статей, которыми он подводил итоги личного пребывания в 1925 году в СССР (все эти статьи были напечатаны в октябре 1925 г. в журнале «Нейшен энд Атенеум»).

«Ленинизм, — заявляет почтенный профессор, — есть комбинация двух предметов, которые европейцы в течение нескольких столетий держали в различных частях души: религии и дела». В этом сочетании «много безрассудного», оно «шокирует нас» и для тех, «кто всецело удовлетворен христианским капитализмом или эгоистическим капитализмом», ленинизм, естественно, является совершенно несостоятельным течением. Но у многих, «не имеющих религии», то, что происходит в СССР, вызывает «сильное эмоциональное любопытство». Кейнс причисляет себя к этим «любопытствующим». Он сравнивает Россию — «этого безрассудного младшего сына европейской семьи, голова которого покрыта волосами и ближе как к небу, так и к земле» с головами «лысых западных братьев». Эмоционально Кейнс высказывается в пользу «младшего сына Европы», который «преодолел разочарования среднего возраста остальной семьи, не утратив гения молодости и не привыкнув к комфорту и обычаям». И эти довольно образные рассуждения о вещах совершенно не понятых им, представленных в изображении стопроцентного буржуа, профессор заканчивает следующими словами: «Я симпатизирую тем, кто в Советской России ищет чего-нибудь хорошего».

Но едва Кейнс переходит «к делу», он откровенно заявляет, что «красная Россия действует на меня своей ненавистной стороной». В самом деле, ужасается он, «как могу я признать доктрину, которая провозглашает своей библией, стоящей вне и выше всякой критики, устаревшую книгу экономических текстов, которая, насколько я знаю, не только несостоятельна в научном отношении, но и неприменима в современном мире».

«Симпатизирующий» буржуа открывает свое подлинное классовое лицо. Большевизм опирается на революционный марксизм, на «несостоятельное» экономическое учение Маркса; большевизм «поставил грубый пролетариат выше буржуазии и интеллигенции» и «если мы и нуждаемся в религии, то как можем мы найти ее в грязном мусоре красных книжных лавок?» Нет, нет, — восклицает Кейнс, — «образованному, интеллигентному, приличному сыну западной Европы трудно найти здесь свой идеал». Тем не менее, заканчивает он свою вторую статью, посвященную специально экономическим перспективам СССР, — «налицо известная степень политической и экономической устойчивости. Советское государство не так плохо, чтобы не выжить. Оно пережило худшие времена».

Мы остановились на статьях Кейнса, чтобы показать, как убого выглядит попытка такого солидного ученого подняться выше своих классовых побуждений и инстинктов и хоть несколько разобраться в величайших социально-исторических перемещениях, происходящих на его глазах. Рассуждения Кейнса — это лучший образец буржуазных толкований о судьбах СССР и пролетарской революции в целом.

В связи с этими рассуждениями Кейнса, необходимо напомнить следующую выдержку из знаменитой работы Маркса «Гражданская война во Франции»:

«Странная вещь: стоит только рабочим где-нибудь взять дело в свои руки и тотчас, несмотря на все, что за последние 60 лет писалось и говорилось об освобождении труда, начинают раздаваться хвалебные гимны защитников современного общества с его двумя противоположными полюсами: капиталом и рабством наемного труда... Как будто бы капиталистическое общество пребывало еще в девственной чистоте и непорочности. Как будто неразвиты были еще его основы, не вскрыты его самообманы, не разоблачена его проституированная действительность. Коммуна, говорят они, хочет уничтожить собственность, основу всей цивилизации. Да, милостивые государи, коммуна хотела уничтожить эту классовую собственность. Она хотела экспроприировать экспроприаторов».

III

1927 год. Советский союз празднует десятилетие Октябрьской революции. Капиталистический мир не обходит эту большую историческую дату. Вся пресса капитализма отмечает юбилей статьями, изобилующими «прогнозами», критическими замечаниями и просто злобными выпадами против страны пролетарской диктатуры.

Наибольшее внимание десятилетию Союза уделила американская пресса. В данном случае «общественным мнением» САСШ руководили чисто деловые соображения. В связи с ростом советско-американских торговых отношений и предстоящими большими заказами, необходимо было основательно выявить все настроения за и против СССР. Нужно сказать, что американская пресса в своих суждениях об СССР никогда не поднималась выше самых упрощенных, самых банальных «анализов», удобоваримых для преобладающей чрезвычайно посредственной читательской массы. Тем не менее, высказывания американцев представляют определенный интерес, особенно если учесть то, что между СССР и САСШ до сих пор нет официальных дипломатических отношений.

Рост СССР, развертывание промышленности, восстановление сельского хозяйства в его довоенном об'еме, огромное социально-культурное строительство, большие технические достижения и, наконец, план электрификации, осуществляемый с исключительной целеустремленностью, привлекает внимание американцев. «Нью-Йорк Таймс» в октябре 1927 года выступает с статьей, отмечающей огромные достижения Союза в области торфодобычи. «Если русские опыты с торфом (имеются в виду опыты Торфяного института в Москве. — И. Б.) окажутся удачными, то Америка, следуя русскому опыту, получит возможность использовать 20 миллионов акров торфяных болот у себя в стране».

Профессор Сойфритц, побывавший в СССР и ознакомившийся с постановкой работ ряда научных учреждений, приходит к выводу, что советское правительство хорошо «управляет» научными учреждениями. «Коммунизм в СССР, — заявил он, — действительно является тем, чем он должен быть — союзом труда и науки». Его приводит в восхищение внимание, которым в СССР пользуется искусство. «Музеи и картинные галлереи Ленинграда, в том числе и Эрмитаж, который многие считали разрушенным, находятся в таком блестящем состоянии, что один только Париж превосходит художественные ценности Ленинграда».

Декрет о 7-часовом рабочем дне, по мнению «Федерэйтед Пресс», является «большим сюрпризом для экономистов Вашингтона, привыкших говорить об СССР, как о примитивной стране с плохо организованным производством».

Нью-йоркская газета «Русский голос», разославшая в 10 годовщину Октябрьской революции 250 государственным, общественным, литературным и т. п. деятелям САСШ анкету по вопросу о признании СССР, приводит интересную статистику ответов[1]. Высказалось среди: 1) сенаторов и членов Конгресса (парламент САСШ) 25% за и 75% против; 2) промышленников и коммерсантов — 40% за и 60% против; 3) лидеров профдвижения — 86% за и 14% против; 4) литераторов и писателей — 89% за и 11% против. При этом автор одной из заполненных анкет, редактор «Ди Ворта Туморроу», высказывает свое удивление тому, что САСШ признают тираническое правительство Муссолини и не хотят признавать советское правительство, которое «не хуже американского в смысле демократизма, но зато больше чем оно стремится к социальному идеализму».

При всей многозначительности приведенной статистики следует все же подчеркнуть, что «общественное мнение» САСШ в лице прессы попрежнему остается резко враждебным к СССР. Это особенно выявилось в выступлениях американской прессы в связи с десятилетием Октября.

«Нью-Йорк Таймс» — центральный орган американской буржуазии «с удовлетворением» констатирует, что «отступление от коммунизма продолжается без перерыва в самом СССР». Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансы и т. д. все это организовано в СССР «на капиталистических началах». Единственно, чем, пожалуй, может похвастаться Октябрьская революция, это тем, что «городские рабочие, бывшие раньше внизу социальной лестницы, теперь оказались наверху ее». Но и это достижение, по мнению газеты, «имеет скорее спиритуальный характер».

Газета «Бруклин Игл» дополняет своего нью-йоркского собрата по части «перспективы ближайшего десятилетия» для СССР. Ми-

---

[1] Данные анкеты заимствованы нами из журнала «Русско-американская торговля» (изд. Амторга), декабрь 1927 г.

лостиво констатируя, что «советизм» все же лучше чем «царизм», автор «юбилейной» передовой рисует следующую «перспективу»: «в течение ближайшего десятилетия мы все меньше будем слышать о коммунизме и все больше о России, как о таковой. Чисто русский национализм постепенно заменит здесь интернационализм с его идеей мировой революции».

Эта радужная «перспектива» характерна для многих газет. «Рекордер» утешает своих читателей тем, что коммунистическая опасность может быть снята с порядка дня. Нечего бояться большевизма, ибо СССР «обанкротился во всех отношениях». «Другие народы уже оправились от последней войны и только Россия все еще бьется изо всех сил, чтобы дотащиться назад до ее прежнего места довоенного существования».

Предприняв большую экскурсию в область теории марксизма, газета «Нью-Йорк Телеграмм» приходит к «замечательному» выводу. Большевики оказывается «не поняли» основ марксизма; они извратили идеи Маркса и до сих пор «вели себя подобно детям в доме, в котором живут более солидные и почтенные люди... Но так или иначе и дети становятся зрелыми людьми». Автор статьи, посвященной СССР, надеется, что «Россия быстро выздоровеет и со временем займет подобающее ей место среди других народов».

Достаточно приведенных выдержек из рассуждений американской «общественности», чтобы понять, как жалок и тощ ее арсенал доводов и мнений. В этом отношении западноевропейская пресса значительно превосходила и превосходит американскую. Тем не менее, все эти высказывания приобретают особый интерес на фоне того резкого поворота во взглядах, который отчетливее всего сказался спустя 2-3 года в той же самой Америке.

Было бы все же неправильно думать, что это озлобленное отношение прессы САСШ к СССР является продуктом полного непонимания социальной сущности советского строя. Американская печать того времени отражала в полной мере благоприятную экономическую кон'юнктуру САСШ. Находясь на большом под'еме, добившись значительных успехов на европейской политической арене, американский монополистический капитал всячески стремился расширить господство и на ту часть Европы, где он не пользовался никаким влиянием. Пресса выступала в данном случае как вернейший рупор интересов американского монополистического капитала. Именно этим, т. е. отчетливо выявленными классовыми интересами, и продиктованы были все цитированные нами выступления американских газет.

Мы уже указали выше, почему нами была избрана американская пресса. Нужно только подчеркнуть, что приведенные выше выдержки по существу отражали точку зрения всей международной реакции.

«Результаты десятилетнего господства советской власти, — писал в октябре 1927 г. уже упоминавшийся нами орган английских финансовых верхов «Финеншель Таймс», — можно суммировать одной фразой: национальный доход и национальное благосостояние уничтожены и Россия стерта с лица земли как хозяйственное целое». И дальше: «На основании официальных данных мы приходим к заключению, что нет никакой надежды на то, чтобы русская промышленность при существующем строе когда-либо смогла самоокупаться».

При таком положении, размышляют апологеты капитализма, «нет никаких оснований считать, что факт десятилетия русской революции должен поколебать наши установившиеся взгляды на СССР». Орган партии центра в Германии — «Кельнише Цейтунг» полагает, что «коммунизм оказывает лишь отрицательное влияние на весь мир: он автоматически развязывает внутреннее сопротивление».

Итак, руководящей идеей всех этих антисоветских выступлений была одна идея — создание единого фронта против СССР. Эта мысль отчетливее всего была изложена английским официозом консервативного правительства «Дейли Телеграф» вскоре после налета лондонских полицейских во главе с Хиксом на советское торгпредство. Вот, что писала эта газета в мае 1927 г.

«Этим шагом (разрывом сношений с СССР — И. Б.) Англия нанесет убийственный удар престижу СССР на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. В Китае, Персии, Афганистане и Турции последствия этого шага скажутся очень скоро. С другой стороны, окраинные государства, начиная с Финляндии и кончая Румынией, будут ободрены решительностью, проявленной Лондоном. В таких столицах, как Белград и Прага, уже не слышно будет более о намерениях признать советское правительство».

Такова была сущность явно интервенционистской программы, которую Англия намеревалась реализовать в итоге «дальнейшего углу-

бления» разрыва. Правда, потребовалось очень мало времени для того, чтобы Англия убедилась в полном провале всех своих затей. Чемберлен, теперешний морской, а тогда иностранный министр, вынужден был вскоре после налета констатировать, что «мы даже и теперь не добились совместного выступления с другими державами». Что же касается расчетов Англии на другие страны, в частности на Германию, то «Ф о с с и ш е Ц е й т у н г» весьма недвусмысленно заявила о необходимости «как можно скорее» отмежеваться от точки зрения Англии. Газета писала, что «появившиеся в лондонских дипломатических кругах изумительные слухи» о предстоящем разрыве Германии с СССР являются «дерзким блефом».

Конечно, все эти «отмежевания» ни в какой мере не носили характер выражения каких-либо симпатий буржуазии к СССР. Наоборот, она непрочь была в той или иной форме ударить по интересам Советского союза. Но в данном случае — «своя рубашка ближе к телу». Противоречия капитализма диктовали необходимость искать в факте англо-советского разрыва новых возможностей для своих национальных интересов.

Из хода иностранных событий последующего периода мы знаем, что Англия вынуждена была капитулировать в своей дикой политике против СССР. Экономический фактор, который заставил консерваторов в 1921 г. подписать торговое соглашение с Советским союзом, спустя два года после разрыва вновь заставил Англию пойти «в Каноссу». Экономический кризис, уже к тому времени основательно подточивший фундамент британской империи, затем полный провал всех империалистических комбинаций оказались хорошими учителями. Восстановление прерванных отношений, притом по инициативе Англии, было отличной иллюстрацией этой капитуляции. На этот раз СССР выступал с еще большим авторитетом, с еще большей основательностью. Страна советов смело шла в гору, между тем как капиталистическая страна начала катиться безостановочно под гору. Перед страной диктатуры пролетариата открывались новые, неведомые миру перспективы.

IV

Пятилетка СССР... Это слово скоро приобретает интернациональное значение. Оно непереводимо, подобно слову «совет». На всех языках всего мира оно спрягается и склоняется; в нем воплощены и страхи для буржуазного мира и необычайная притягательная сила для десятков миллионов пролетариев, взоры которых обращены в нашу сторону, в СССР. Это вполне понятно; это не требует особых доказательств, потому что в пятилетке заложена такая сила, которая должна решить судьбы капитализма и приблизить освобождение рабочего класса всего мира от гнета капитала.

«Сейчас главное свое воздействие на международную революцию, — говорил В. И. Ленин на всероссийской конференции РКП(б) в мае 1922 г., — мы оказываем своей хозяйственной политикой. Поэтому вопросы хозяйственного строительства приобретают для нас совершенно исключительное значение» (т. XVIII, ч. 1, стр. 282).

Развернутый ход социалистического строительства в СССР приводит в бешенство почти весь буржуазный мир. Упорное, подлинно революционное движение вперед, по путям, намеченным пятилеткой, вызывает ярость капитализма. Пятилетка положила конец всем «ожиданиям», которыми буржуазия питалась, начиная с момента установления нэпа.

Буржуазия надеялась, что, идя по путям нэпа, закончив восстановительный период, Страна советов «неизбежно» придет в лоно капитализма. Буржуазия находила подкрепление для своих расчетов в социал-фашизме — этом блестящем, оправдавшем себя агитпропе современного империализма; буржуазия искала подтверждения своих «прогнозов» в троцкизме, в «платформах» правых, по существу скатывавшихся в социал-демократическое болото. Но все эти ожидания оказались напрасными; буржуазии пришлось не только отступить, не только признать «ошибочность своих представлений об этом гиганте», но крепко задуматься над одним вопросом — а чтобы позаимствовать нам из этой системы, которая так блестяще себя оправдала.

«Смена вех» протекала, однако, далеко не прямыми, гладкими путями. Вначале она протекала под знаком определенной иронии и сомнения. Пятилетка — «продукт человеческой мании величия»; она — «сомнительный эксперимент, который, при всем своем интересном построении, неизбежно лопнет» и т. д. В таком духе высказывались в самом начале реализации пятилетки, высказывалась почти вся капиталистическая пресса.

«Знаменитый пятилетний план советского правительства, — писал в феврале 1930 г. орган германских империалистов «Гамбургер Фремденблат», — сбил с толку многих не только в России. Большевистский эксперимент, которому европейское общественное мнение уже вынесло приговор, внезапно вновь приобрел интерес, благодаря пятилетнему плану; когда же московская пропаганда несколько времени тому назад стала утверждать, что первый год выполнения плана, прошибающего лбом стену, далеко превзошел все ожидания, тогда стали втупик и самые закоренелые насмешники. Неужто поверить невероятному! Неужто совершится чудо, и Россия без капиталов и иных вспомогательных средств, кроме девственных богатств в недрах земли, — неужто это обанкротившееся государство могучим напряжением воли в короткий срок сумеет построить здоровое народное хозяйство!»

Пятилетка «сбила с толку» не только миллионы за границей; она привела в полное смятение и этот антисоветский рупор германских империалистов. «Неужели все это может совершиться», — сокрушенно взывает эта газета к своим читателям, укрываясь от фактов, от действительности, обходя молчанием исключительные итоги первого года реализации пятилетки.

«В чем основная погрешность этого проекта, продиктованного манией величия?» — спрашивает в номере от 25 февраля 1930 г. «Дейче Альгемейне Цейтунг». И тут же отвечает: «не говоря уже о неизбежном крушении таких способов финансирования, сплошным глумлением является и организационная сторона проблемы».

Время, однако, берет свое. Отрицание пятилетки, сомнения в осуществимости ее постепенно сменяются другими настроениями. Растущие показатели всех отраслей народного хозяйства, нарастающие темпы строительства, пуск в ход новых мощных предприятий и освоение новых возможностей заставляют несколько снизить тон и поглубже расценивать те огромные процессы, которые происходят в СССР.

Непрерывка в условиях 7-часового рабочего дня, социалистическое соревнование и ударничество, превращающиеся в органическое дополнение к необычайному творческому под'ему, притом на фоне убыстряющего распада всех звеньев капиталистического хозяйства, — все это влечет за собой ускорение пересмотра взглядов и «смены вех».

«Кельнише Цейтунг» пишет в конце 1929 г.: «можно ожидать, что рынок труда таким образом разгрузится... Невольно приходится вновь удивляться и изумляться под'ему и свежести, с которой большевики приступают к новым экспериментам». Тем не менее, газета рекомендует «сохранять полное спокойствие» и не впадать в переоценку фактов.

«Надо выждать», тем более, что «безумцами овладела новая идея — выполнить этот план в четыре года» — таков новый лейтмотив «общественного мнения» капитализма. «Нью-Йорк Таймс» полагает, что идея догнать Америку в пять лет является «самым необычайным предприятием в экономической истории мира — необычайным по крайней мере по смелости задач и краткому сроку их осуществления... Сильнейшее впечатление производит на читателя дальновидность, смелость и решимость людей, поставивших себе эту колоссальную задачу и откровенно ставящих в зависимость от ее выполнения участь всего коммунистического эксперимента» (26 января 1930 г.).

Эти осторожные, выжидательные настроения вызваны отнюдь не спокойным состоянием капиталистического мира. Кризис и безработица, прогрессирующий паралич, постепенно охватывающий весь организм этого гигантского колосса, и наряду с этим здоровое, смелое движение вперед, овладевание новыми индустриальными и техническими высотами, все это приводит буржуазный мир в определенный страх.

«Нет никакого смысла высмеивать эту гигантскую, грандиозную программу, глумиться над нею, как над ребяческой утопией и в то же время кричать караул по поводу реальных и положительных достижений этой програмы» — взывает к сохранению спокойствия почтеннейшая германская газета «Фоссише Цейтунг» в номере от 4 февраля 1930 г. Да, да «побольше спокойствия и благоразумия», говорит также австрийская буржуазная газета «Нейе фрейе прессе». «Можно, не пожимая плечами, согласиться с утверждениями русских хозяйственных кругов, что им и без иностранной помощи удастся построить свою промышленность».

Факты начинают убеждать неверующих. То, что вчера было поставлено под величайшее сомнение, сегодня становится настолько реальным, что не заметить его никак нельзя. И ослепленный в своей ненависти к СССР, ко всему историческому движению страны вперед, к этой триумфальной победе идеи социалистического строительства, капитализм делает крутой поворот в сторону вынужденного признания «реальности этой гигантской идеи».

Этот поворот, пожалуй, лучше всех выразили известный американский публицист Виллард и авторитетный польский экономист Грабовский. Оба, как и тысячи других ученых и неученых иностранцев, побывали в СССР и лично наблюдали процессы, происходящие в СССР. Оба они, как и вся буржуазная интеллигенция, до приезда в Советский союз были настроены если не враждебно, то чрезвычайно пессимистически к дальнейшим перспективам СССР. И вот, что писал Виллард в ноябре 1929 г. в журнале «Нейшен».

«Перестройка старого общества! Что может быть более занимательного для сильных людей с широкими взглядами, которые решились освободить жертвы попов, князей и царей? За эту задачу большевистские вожди взялись с абсолютной решимостью и с такой способностью, разумом и преданностью, что если б это происходило при каком-нибудь правительстве под солнцем, то мир бы... восхищался и мужеством и торжеством».

А Грабовский, по возвращении в Польшу, в эту страну, которая с одной стороны идет по лезвию революционного ножа, а с другой катится неуклонно в пропасть, написал большую статью, причем в арсенале своих выспренных фраз по поводу виденного, отвел место следующему, чрезвычайно образному сопоставлению двух миров:

«Какое резкое противоречие: там (в СССР) в холодном воздухе — неугасимое пламя, а в гораздо более теплом воздухе Европы нет никакого пламени. Можно также сказать — в России все стало холодным для того, чтобы там могло гореть великое пламя».

Это было начало панического отступления. В этот момент грозная, тяжелая рука экономического кризиса застучала по железным дверям «процветающей» Америки.

VI

Прошел еще один год пятилетки. 13-я годовщина Октября знаменуется новыми победами на всех фронтах социалистического строительства. СССР за прошедшие два года добился исключительных успехов не только в смысле перевыполнения наметок (на эти два года) пятилетнего плана по линии количественного роста промышленности и сельского хозяйства. Достижения огромны и по линии качественных сдвигов. Последовательное и решительное проведение ленинской линии, огромные хозяйственные успехи партии порождают в свою очередь поворот середняцких масс к социализму. Сплошная коллективизация, протекающая на высоком уровне, становится основой ликвидации последних остатков капиталистической эксплоатации в стране — кулачества.

Боевой лозунг XVI с'езда партии — развернутое большевистское наступление по всему фронту социалистического строительства становится действенной, повседневной программой десятков миллионов трудящихся СССР. Коренным образом меняется структура экономики Союза, соотношение ее укладов: капиталистический сектор верными путями идет к своей гибели; под руководством пролетариата и толкаемое вперед социалистической индустрией докапиталистическое, патриархальное и мелкотоварное хозяйство быстрыми темпами коллективизируется, постепенно приобретая все формы крупного обобществленного производства.

Невиданный под'ем социалистического сектора и в промышленности и в сельском хозяйстве выдвигает во весь рост величайшую историческую задачу — в кратчайший срок завершить построение фундамента социалистической экономики. Эта задача и поставлена была перед третьим годом пятилетки, который и назван «решающим годом».

Победы, которых Страна советов добилась под руководством партии за эти два года, сопровождались огромными успехами в борьбе с классовыми врагами и их агентурами внутри страны. Преодолевая бешеное сопротивление отживающих классов и разбивая сокрушительными ударами их агентов, правых и «левых» оппортунистов, партия расчищала все пути для победного хода социалистического строительства.

А там, за рубежом, 1931 г. открывался иными перспективами. Капиталистический

мир вступил в полосу прогрессирующего экономического кризиса. Нет уже ни одной промышленной или аграрной страны, которая не находилась бы под непосредственным влиянием экономического кризиса, перерастающего на отдельных участках капитализма в политический (Германия, Польша).

Резкий упадок производства как в области промышленности, так и сельского хозяйства, усиленная рационализация, растущий нажим на пролетариат и трудящиеся массы города и деревни, ухудшение их материального положения, снижение заработной платы и, наконец, гигантский рост безработицы (на 1-ое января 1931 г. в 38 странах капитала число безработных достигало 40 миллионов человек) — вот те показатели, с какими капитализм вступал в 1931 год.

Если к этим показателям еще добавить обострение всех внутрикапиталистических противоречий, ожесточенную борьбу за рынки, бешеный рост вооружений, нарастание революционного движения в странах капитала, рост национально-освободительного движения в колониях и полуколониях, переходящий в национальную войну, а на фоне этой «мозаики» полная растерянность правящих клик капитализма и их социал-фашистских агентов, тогда станет ясно, что капиталистическая система вступила в период всеобщего загнивания и ускорения процесса полного ее распада.

Весь последующий период 1931 г. подтвердил это целиком.

«Тень большевизма нависла над Европой» — писал в конце декабря 1930 г. на страницах «Пти Паризьен» французский экономист Фаррио. «Честолюбивые намерения САСШ навести порядок в Европе, — писал сей экономист,— были бы весьма похвальны, если б сами Соединенные Штаты Америки не представляли зрелища грандиозного беспорядка в области кредита и промышленности». Так подводил итоги 1930 г. для капиталистического хозяйства не один только Фаррио.

«Вряд ли найдется кто-либо, кто будет взирать на прошедший 1930 г. с удовлетворением, — писал накануне 1931 г. «Таймс». «Всеми признано, что этот год был периодом депрессии, охватившей весь мир и не обещающий никакого облегчения».

С порядка дня капиталистического «общественного» мнения постепенно снимаются один за другим многие антисоветские вопросы, которым оно за истекшие годы уделяло так много времени и места. Провалились все «прогнозы» и предсказания «краха» советской социалистической системы. Провалились и последние измышления бредовой фантазии гибнущего капитализма, так сказать «текущего, оперативного характера» — басня о «демпинге», легенда о «принудительном труде». Капиталистическая система стала перед неумолимой действительностью: СССР растет, крепнет, пятилетка перевыполняется, а «старая, испытанная» капиталистическая махина идет стремительно ко дну.

Конечно, вопрос о взрыве Страны советов, о войне против нее, об интервенции не снимается ни на одну минуту с повестки капиталистических будней (но все эти резервные комбинации империализма не в состоянии изменить прочно установившееся соотношение. Капитализму остается одно — регистрировать свои каждодневные поражения и, лихорадочно цепляясь за еще уцелевшие обломки своего строения, ждать окончательной гибели.

«Русские проводят в жизнь те идеалы, о которых мечтали величайшие в мире философы, т. е. создать человеческое счастье на материальной базе. Мы пустословили, а русские серьезно занялись уничтожением нищеты, безработицы и экономической неуверенности насчет будущего», — так писал в конце 1930 г. видный американский экономист Стюарт Чейз.

Характерно, что Чейз не одинок в своих противопоставлениях. О том же самом говорит в своей статье, посвященной СССР, и видный государственный деятель САСШ Джон Картер. «Мы все время повторяли пророчества о неизбежном крахе коммунизма, но ни разу не задумались над тем, что мы будем делать, если коммунизм окажется жизнеспособным». Картер, «конечно, против коммунизма», но перенять у них кое-что было бы чрезвычайно полезно. «Это в отдельных случаях возможно, в особенности в области экономической координации».

За рубежом происходит усиленная «перестройка» взглядов на то, что делается в СССР. Капиталистическая пресса начинает пестрить все большим и большим числом «признаний» величественности происходящих в СССР процессов. Это наиболее отчетливо сказалось в вопросе, который наиболее резко и враждебно был воспринят буржуазией—о коллективизации.

«В сельском хозяйстве царит полная неразбериха, — писал реакционный «Морнинг Пост», — положение невозможно исправить, если нынешний строй не даст возможности проявляться естественным социальным инстинктам и совершаться благодатным естественным процессам». Это было нечто вроде предупреждения по адресу СССР. Прекратите, мол, коллективизацию, иначе может создаться «совершенно невозможное положение».

Еще более отчетливо выступил орган французской буржуазии «Котидьен». В номере от 17 марта 1930 г. эта газета совершенно открыто говорит, что белая эмиграция и иностранная буржуазия собирается опереться на кулачество. Коллективизация же наносит удар по расчетам интервентов. Нужно предпринять «какие-нибудь срочные меры». «Не следует забывать, — подчеркивает газета, — что ничто не в состоянии укрепить режим настолько, как иностранная интервенция. Так было и будет во всех странах и даже и, пожалуй, особенно в советской России».

К этой дикой кампании против коллективизации присоединяется, а временами возглавляет ее орган германских социал-фашистов «Форвертс». «Аграрная революция сверху, — писала в начале 1930 г. эта газета, — ведет не к возрождению, а к деградации сельского хозяйства. Неслыханный нажим сделает крестьян не поборниками колхоза, а их ненавистниками, ненавистниками революции пролетариата».

Нужно вообще отметить, что никакая группа не проводила и не проводит реакционнейшую политику против всех социально-экономических мероприятий СССР так систематически и враждебно, как социал-фашисты. «Форвертс», «Соцвестник» и целый хор социал-предательских голосов всегда, во всех случаях, вплоть до сегодняшнего дня поносят пятилетку, коллективизацию и т. д. Поскольку антисоветская кампания во всех ее видах (вплоть до защиты русской церкви от гонения большевизма) стала у социал-фашистов чем-то повседневным, обязательным, она давным-давно утратила свою остроту и принципиальность. Поэтому мы на ней останавливаться не намерены.

Итоги первой большевистской весны вносят смятение в умы буржуазии. Профессор Георг Шлезингер в своем докладе берлинскому институту внешней политики подчеркивает всю вздорность представлений о коллективизации. «План коллективизации является гениальным, и если Советскому союзу удастся выполнить задачу пятикратного увеличения производительности сельского хозяйства, то СССР будет самой крупной в мире страной по экспорту».

Английский «Экономист» считает, что «величина и глубина перемены, которой подвергается... сельское хозяйство, таковы, что сама Октябрьская революция кажется только драматическим эпизодом». «Нью-Йорк Таймс» высказывает мысль о том, что «более чем вероятно, что организаторы тракторных колонн в истории социализма займут место рядом с рочдельскими пионерами (т. е. с основоположниками кооперации — И. Б.). «Манчестер Гардиан» склоняется к тому, что «большевикам, повидимому, обеспечен успех и на этом ответственном хозяйственном участке страны». А один из германских профессоров и лекарей капиталистической системы от кризиса даже договорился до того, что «проблемы коллективизации в современных политических условиях Германии вовсе не исключены и для германского крестьянства». Бедный профессор! Он не знал самого главного, самого элементарного: планирование, коллективизация, весь комплекс социально-экономических мероприятий, проводимых в СССР, мыслим только в советской Германии, т. е. в стране, где пролетариат окончательно преодолел капитализм.

Мы не исчерпали даже сотой доли того огромного исторического материала, который по затронутым нами вопросам накопился за прошедшие 14 лет Октября. Размер журнальной статьи не позволяет останавливаться дольше на них. Поэтому, подведем некоторые итоги.

«Нужно признать, что система, не знающая, куда девать «излишки» своего производства и вынужденная их сжигать в момент, когда в массах царит нужда и безработица, голод и разорение, — такая система хозяйства сама произносит над собой смертный приговор». Эта мысль т. Сталина находит сейчас свое полное подтверждение.

Каждый день, каждый час капиталистическая система содрогается от новых взрывов, новых ударов. Кризис проник буквально во все поры капитализма. То, что вчера еще порождало кой-какие надежды, сегодня стало оче-

видной безысходностью. Уже прошли те времена, когда гуверовскими рецептами «побольше улыбаться», «почаще кушать» и «поменьше предаваться пессимизму» твердолобые капиталисты рассчитывали «рассосать» кризис. Сейчас эти идиотские рецепты вызывают в лучшем случае иронию, ибо капитализму — не до беззаботности. На карте — вся капиталистическая система.

На фоне этого кризиса, на фоне неслыханного обнищания многомиллионных пролетарских масс, неслыханной безработицы и растущего голода, СССР выступает как гранитная скала, как гигант.

«Не прошло и года с тех пор, как все пророчествовали о конце русской революции», — писал недавно католический журналист Николаус Эллен в журнале «Лотсекруфе». «Чего только не писали газеты о пятилетнем плане? Но теперь вдруг все застонали, что пятилетний план все же будет выполнен, что Советам удалось привести в соответствие промышленность и сельское хозяйство и стать на мировом рынке вполне конкурентоспособными. Руководители нашей промышленности с удовольствием принимают советские заказы, чтобы хотя что-нибудь заработать.

Разве это не ирония судьбы, что капиталисты получают милостивую отсрочку перед казнью от тех, над которыми больше всего издеваются и против кого борются; разве не похоже на то, что Советы уже являются господами положения. Они стремительно завоевывают мир...

То, что происходит в России, это приговор мировой истории над минувшей эпохой. Кто этого не видит, тот слепец и к тому же заключенный в темницу. Капиталистическая эпоха индивидуалистического либерализма прошла. На ее место приходит коллективистическая, коммунистическая эпоха».

Что можно добавить к этому заявлению накануне 15-й годовщины Октябрьской революции? Думается, что добавить нечего. Комментарии излишни...

О противоречии метода и системы в философии Гегеля

(К столетию со дня смерти Гегеля)

П. Вышинский

1831. В Берлинском университете студенты благоговейно внимали словам мыслителя и небыло расхождений в оценке философии Гегеля как высшей и абсолютной мудрости.

Из биографии Гегеля.

1931. В виду новых столкновений между фашистами и коммунистами в Берлинском университете, университет закрыт на неопределенное время.

Из газет (ТАСС, 13/VII 1931 г.).

Эпоха великой французской революции была порою под'ема творческих сил буржуазии,— класса, только что прошедшего величайшую политическую революцию, которая хотя и пугала мещан всего мира «ужасами» якобинской диктатуры, однако расчистила атмосферу и почву для нового царства свободной конкуренции и торжества буржуазного принципа «Laisser faire, laisser passer».

Окрыленная сулящими прибыль перспективами буржуазия в лице своей передовой интеллигенции открывает новую страницу истории и ознаменовывает ее творчеством во всех областях науки, искусства, литературы. Закладываются основы для буржуазно-капиталистической культуры.

В Германии эпоха французской революции породила совершенно исключительное интеллектуальное движение. Достаточно назвать такие имена как Шиллер и Гете (ум. в 1832 г.) в художественной литературе, Бетховен (ум. в 1827 г.) в музыке, Гаусс — в математике, Кляузевиц (ум. в 1831 г.) в военной стратегии, Фихте, Шеллинг и, наконец, Гегель (ум. в 1831 г.) в философии.

В силу ряда исторических условий немцы, по выражению Гегеля, — головой переживали то, что практически осуществляли французы. Но в то же время Германия явилась ареной всемирно-исторических действий. Через ее территорию солдаты наполеоновских армий на своих штыках несли народам «Гражданский кодекс»; границы ее графств и княжеств перекраивались почти каждый год, хотя на протяжении всех этих десятилетий Германия продолжала оставаться политически и экономически раздробленной, повергнутой в бессилие страной, что вдохновляло Фихте на страстный библейский пафос в «Речах к немецкому народу».

Под ударами наполеоновских армий Прусское феодальное государство распалось как карточный домик. Шла перестройка Пруссии на буржуазный лад, хотя и недостаточно быстро и при упорном сопротивлении прусского юнкерства. Свержение Наполеона в 1815 г. в результате «освободительных» войн уже не вернуло отжившим социальным силам их былой мощи. Вихрь революции пронесся по Европе не даром. Система новых эксплоататорских отношений пустила прочные корни и возвращение к феодальным порядкам не могло уже произойти, несмотря на создавшуюся с этих пор мрачную реакцию. Правда, пережитков феодализма оставалось еще более чем достаточно и окончательно они были ликвидированы лишь в результате революции 1848 г.

В эпоху Гегеля после прошедшего над Европой бурелома старые феодальные пни все же оставались еще настолько крепкими, что пускавшее корни новое нередко было зависимо от них и искало компромисса со старым. Возникшие буржуазные отношения были еще молодыми, непрочными, их экономическая база была еще узкой. Только на Рейне,

благодаря соседству с Францией, получила большое распространение мануфактура и машинное производство.

В остальной же Германии промышленность находилась в самом зачатом состоянии, процветало ремесло среди развалин его цеховой организации и домашняя промышленность. Нечего и говорить, что пролетариат был малочисленен и слаб. Суб'ектом истории был молодой класс буржуазии, боровшийся за свою эмансипацию.

Противоречивый характер этой переходной эпохи нашел свое отражение в интеллектуальном творчестве. Очерченные выше условия определяли как силу, так и слабость немецкой философии. Стремление буржуазной интеллигенции последовать примеру французской революционной буржуазии выливалось в творчество бесстрашных по своей последовательности програм и страстных требований, но это стремление натыкалось на экономическую отсталость страны, на консерватизм феодальных правителей, на беспросветность городского мещанства; отсюда многие параграфы смелых програм заканчиваются лозунгами компромисса и примирения с действительностью.

Произведения Гете, Фихте, Гегеля и др. великих людей этой эпохи проникнуты духом буржуазной революции. Они выражают каждый по-своему то, что «носилось в воздухе», то, чем жило передовое общество этих великих переломных лет. Гегель не составляет какого-нибудь исключения. Он также был сыном своего времени, хоть и наиболее великим и славным: он был Наполеоном немецкой классической философии, Бонапартом интеллектуального движения своей эпохи.

В философском творчестве Гегеля буржуазная революция нашла свое отражение, хотя и в весьма обстрактной форме, со всеми своими слабостями и противоречиями. Но духом буржуазной революции были проникнуты и другие великие творения — так, например, «Фауст» Гете, особенно его вторая часть — как это часто подчеркивалось в литературе — есть не что иное, как художественная вариация тех же самых идей, какие развиты в абстрактной форме в Гегелевской «Феноменологии духа», вышедшей в том же 1808 году. Точно так же творчество Бетховена проникнуто мажорными мотивами, навеянными французской революцией, а его знаменитая 9-я симфония критиками прямо сравнивается все с той же «Феноменологией». Аналогичное сравнение можно было бы провести и в творчестве других современников и на самых различных памятных той эпохи.

В Гегеле немецкая классическая философия достигла своего кульминационного пункта, но тут же обнаружилась линия упадка. Буржуазная революция пошла на убыль, а вместе с ней стала пробиваться консервативная тенденция и в области идеологии.

Гете в «Веймарский период» его жизни все более одолевает стремление к примирению с действительностью, что нашло себе яркое отражение в его творчестве («Герман и Доротея», вторая часть «Фауста»). В прекрасном двустишии выразил Гете это ощущаемое им противоречие эпохи и буржуазии: стремление вперед и в то же время боязнь действительно итти вперед, т. е. об'явить войну старому:

Unser Zeiten schwer Geheimnis
Zwischen Uebereilung und Versäumnis liegt.

Так же и Гегель в эпоху реакции стал официальным философом прусского абсолютизма и высшей ступенью познания об'явил примирение разума с действительностью и сдабривает свои работы (например «Философию истории») лошадиной дозой мистики, поповщины, рассуждениями о «боженьке» и т. д.

Гегель горячо приветствовал французскую революцию, он сравнивал ее с солнечным восходом. «Alle denkenden Wesen, — писал он, — haben diese Epoche gefeiert. Eine erhabene Rührung hat damals geherrscht, ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt bezaubert». Но эти симпатии у немецких мыслителей оставались платоническими, хотя и были достаточно живучи. Еще в 1826 г. Гегель рассказывал своим студентам, что он ежегодно 14 июля (день штурма Бастилии) подымает стакан вина в честь идей 1789 г. (см. Max Lenz — Geschichte der Universität Berlin. Bd. II, S. 187). Вместе с тем в эти же годы Гегель все чаще заявлял, что его учение не высказывает больше того, что сказал Лютер, и является лишь развитием идей великого реформатора.

Маркс говорил, что неразрешимым противоречием, погубившим якобинскую диктатуру, являлось противоречие между целями буржуазии и теми методами, которые она вынуждена была принять для их достижения. Точно так же и у Гегеля в сфере мысли было противоречие между великими идеалами либеральной буржуазии и теми средствами и путями, которыми можно было их достигнуть.

Что филистерскому сознанию казалось в революции 1789 г. хаосом и развалом, разруше-

нием и анархией, то Гегель воспринимал в его существенной противоположности — как бурное преобразование мира. Но где источник французской бури? Где центр революционного циклона и какая закономерность скрыта под внешним беспорядком?

Каждое отдельно взятое явление обнаруживает себя лишь как часть, имеющая смысл в связи со своим целым. Что же представляет из себя это целое?

И Гегель отвечает вместе с Робеспьером: целое — это разум, это верховный, абсолютный дух, развивающийся сам и себя, полагающий сам себе ступени. Всякая конкретная форма — лишь конечное воплощение бесконечной мощи мирового духа, его преходящий образ.

Теперь мы знаем, что «Абсолютный дух» Гегеля есть не что иное, как буржуазный «дух», дух великой французской революции. Гегель не дошел, также — не пришел к тому, чтобы увидеть в истории борющиеся классы и партии, не видел в материальных интересах стимулов борьбы. Он не понял того, что если идея владеет людьми, то это бывает лишь в том случае, когда идея сама бывает порождена людьми, характером и способом их материальной деятельности.

В истории Гегель видел лишь действие духа, и когда в 1808 г. он увидел Наполеона, то он испытал «удивительное ощущение» «видеть такого индивидуума, который здесь в одном месте находится, на одном коне сидит...» Действительно: мировой дух должен быть вездесущим и постигаться только мыслью философа, а тут вдруг такое эмпирическое сочетание: войска, Иена, белый конь, человек в треугольке... Zufelligkeit erscheinenden Daseins!» Конечно, Наполеон был вождем и гением только потому, что он стоял во главе движения так же, как и социальные силы этого движения побеждали потому, что пришла историческая пора для сокрушения старого феодального способа производства и развития нового. Но Гегель на то и был идеалистом, чтобы корней исторических событий искать в духе, в идее, в разуме, а не в экономии гражданского общества.

Энгельс следующим образом характеризует путь развития философской мысли в Германии.

«Политическая революция во Франции сопровождалась в Германии философской революцией. Кант явился первым: он сверг старую систему метафизики Лейбница... Фихте и Шеллинг начали постройку новой системы, Гегель завершил ее. Никогда еще с того времени, как люди научились мыслить, не было такой всеоб'емлющей философии, как система Гегеля. Логика, метафизика, натурфилософия, феноменология духа, философия права, религии, истории — все было об'единено в одну систему, все было сведено к одному основному принципу»...

Заслугой Гегеля является попытка охватить весь мир, равно как и историю, а также и мышление как безостановочный процесс изменения, превращения, движения, развития. Но Гегель не выполнил до конца этой задачи, — Энгельс называет философию Гегеля «генеральным недоноском». Не выполнил, так как пришел в противоречие с самим собой — как идеалист, как буржуазный мыслитель.

«Она (философия Гегеля), — говорит Энгельс, — страдала сверх того неразрешимым внутренним противоречием: с одной стороны, основной предпосылкой системы является историческое воззрение, признающее человеческую историю развивающимся процессом, который по самой своей природе, не может завершиться в интеллектуальной сфере открытием, так называемой абсолютной истины; но, с другой стороны, его система претендует быть изложением этой именно истины» (Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 19).

Внутренняя противоречивость гегелевской философии заключалась в противоречии между диалектическим методом Гегеля и системой его взглядов на «гражданское общество», право, политику, религию, а также природу и т. д., а с другой стороны — в противоречии между диалектикой и идеализмом. Это было не два разных противоречия, но две стороны одного и того же противоречия метода и системы.

Это противоречие часто представляют себе как чисто логическое противоречие из сферы абстрактных понятий, без анализа того, что скрывается за этим логическим противоречием и выражением каких действительных противоречий оно является.

Однако как Гегель мог допустить такое противоречие, Гегель, который десятки раз подчеркивал, что метод и система не могут находиться в противоречии, Гегель, который даже считал, что в подлинной философии (а под таковой он имел в виду свою собственную) метод и система должны совпадать друг с другом до полного тождества!

Дело заключается в том, что это внутреннее логическое противоречие, разрушившее гегелевскую философию, есть не в себе самом замкнутое понятие, но суть отражение

действительно существовавшего исторического противоречия. Это противоречие есть результат непрестанного исторического движения вперед и достигнутой конкретной исторической формой или ступенью развития, имеющей тенденцию окостенеть и стать обузой и оковами, тормозом исторического движения. Гегель считал, что не может быть метода без системы и что в его философии они неразрывны и тождественны. Но в этом суждении Гегеля, как раз и сказался буржуазный консерватизм и антиисторизм Гегеля. Ибо Гегель хотел сказать, что вне буржуазной системы отношений невозможно дальнейшее движение вперед. Гегель считал, что диалектика может существовать только в идеалистической форме. Гегель считал, что диалектическое развитие может происходить лишь на идеалистической основе.

«Гегель, — говорит Энгельс, — несмотря на свои колоссальные знания и глубокие идеи, был так поглощен абстрактными вопросами, что он не успел освободиться от предрассудков своего времени, которое вновь обратилось к старым поэтическим и религиозным системам».

И вот интересно, что Гегель, как это общепризнано, оказавший наибольшее влияние на общественно-исторические науки своего и последующего времени, в своей работе, трактующей непосредственно социально-политические вопросы — «Философии права», оказался наиболее консервативным. В «Философии права» система гегелевского абсолютного идеализма более всего дает себя чувствовать и насилует в угоду предвзятым «конструкциям из посторонних соображений» (по выражению Маркса) подлинную об'ективную диалектику общественного развития. По словам Маркса, Гегель в этой работе современное состояние общества и государства... развил как необходимый момент идеи, как абсолютную истину разума», (Маркс — К крит. Гегел. фил. права, сочинения, т I, стр. 593. Разрядка Маркса).

Но передовому, т. е. диалектическому мышлению Прусская монархия с ее сословиями и бюрократическими атрибутами вовсе не представлялась такой необходимой формой, имеющей «право» на существование.

Поэтому Маркс говорит, что «Гегель заслуживает порицания не за то, что он рисует сущность современного государства так, как оно есть, а за то, что он то, что есть, выдает за сущность государства» (там же, стр. 584, разрядка Маркса).

Великая французская революция была лучшим доказательством того, что феодализм должен уступить место развитию буржуазных отношений. И вот Гегель, вместо того, чтобы, следуя своему собственному диалектическому методу, звать вперед, по многим вопросам, по словам Маркса, «окончательно опустился до средневековой точки зрения» (там же, стр. 640).

Свою диалектику Гегель разбавляет порядочной дозой метафизики, мистики, поповщины.

Гегель полагал, что та общественная форма, которую спекулятивно развивала его философия, а практически — прусский абсолютизм, есть последняя форма общественно-исторического развития человечества. В «Философии права» Гегель приходит к выводу, что — выражаясь словами Маркса — «политический строй на его высшей ступени есть строй частной собственности, высшее политическое умонастроение, есть умонастроение, связанное с частной собственностью» (Маркс — Крит. Гегел. фил. права, сочинен. т. I, стр. 622. Разрядка Маркса). Правда, мы у Гегеля находим и формулировку внутреннего противоречия современного общества — между ростом богатства на одном полюсе и нищеты на другом. Но Гегель не развивает этого противоречия, не видит, что оно должно привести к взрыву капиталистического способа производства и замене его другим, новым и более высшим общественным строем. Отмечая это противоречие, Гегель говорит, что «die bürgerliche Gesellschaft durch diese Ihre Dialektik über sich hinausgetrieben wird» (Hegel, Werke, Bd. 7. Phil. d. Rechs, S. 320), но этот «выход за свои пределы» он понимает отнюдь не как смену буржуазного общества новым общественным строем, но лишь как... расширение внешней торговли продукцией индустрии (в чем, по мнению Гегеля, торговля обретает свое всемирно-историческое значение), как стремление к морю (§ 247) и как колонизацию «культурными» народами отсталых стран (§ 248).

Пролетариат для Гегеля был лишь толпой, подонками, «некое вместе, но некое вместе лишь как множество, бесформенная масса, движения и действия которой именно поэтому были бы лишь стихийны, неразумны, дики и ужасны» (Philosopie des Rechts § 303). Об исторической роли пролетариата Гегель не догадывался. Но, разумеется, было бы смешно «обвинять» Гегеля в подобного рода недогадливости, учитывая отсталость тогдашних условий, в том числе и отсталость и приниженность са-

мого пролетариата. «Недогадливость» Гегеля об'ясняется историческими условиями, которые его окружали. Однако можно поставить Гегелю в упрек его собственную непоследовательность и допущенное им противоречие между его политическими, правовыми и т. д. убеждениями и им же разработанным диалектическим, хотя и на идеалистической основе, методом. «Наука логики» во многих случаях совершенно не вяжется с «философией права». Свой собственный, развитый в «Логике» диалектический метод в философии права и религии Гегель пытался уложить в прокрустово ложе мертвых абстракций безжизненной системы. Диалектический разум вступил в противоречие с буржуазным разумом.

В противоречии метода и системы сказалась буржуазная ограниченность Гегеля, его неспособность как буржуазного мыслителя провести до конца идею историзма: увидеть, что преходящими, историческими являлись не только предшествующие буржуазному формы общежития, но что таким преходящим является и сам буржуазный строй, как и его религия, право, философия и т. д. Наоборот, всю силу своего ума Гегель направлял на поиски разумного смысла уже переживших себя «немецких условий» первого квартала 19 века.

Историческая действительность в своем развитии отвергла гегелевскую консервативную систему и разрешила противоречие между этой системой и развитым Гегелем методом. Исторический процесс был представлен Гегелем в извращенном и мистифицированном виде — как логический процесс развития абсолютной идеи или как галлерея образов мирового духа. Действительный исторический процесс распутывает сплетенные Гегелем логические противоречия и заодно кладет конец самой возможности дальнейших, подобных гегелевской философии, идеалистических хитросплетений. Пришедши на смену Гегелю диалектический материализм всякое логическое противоречие рассматривает как отраженное в голове об'ективное противоречие материальной действительности и в логическом вообще видит лишь сокращенное и освобожденное от случайностей историческое.

Проследим, как это происходило. В своей известной работе «Гегель и его время» Гайм пишет: «нужно представить себе пафос и убеждение гегельянцев 1830 года, которые совершенно серьезно ставили вопрос: в чем будет заключаться дальнейшее содержание мировой истории, после того, как мировой дух гегелевской философии уже достиг своей цели, именно самосознания» (Гайм, указ. работа, стр. 5). На этот вопрос «самосознательных» гегельянцев ответила история: грянула июльская революция 1830 г. История указала на пролетариат, молодой класс, поднимающийся вместе с развитием буржуазного способа производства.

Следовательно Гегель ошибался, думая, что его философия есть последнее слово истины. Истина оказалась процессом безостановочного развития.

Ошибался и Гете. «Тайна» времени скрывалась не посредине «между» «отставанием» и «забеганием» вперед, но именно в этом последнем — в движении вперед, в развитии буржуазных отношений, а с ними вместе и его продукта и могильщика одновременно — пролетариата.

Новое поколение в лице своих лучших представителей уже совсем иначе поняло «тайну времени» и более верно сумело оценить революционное значение гегелевской философии. Так Генрих Гейне в 1842 г. касаясь, собственно, той же проблемы, что и Гете в его двустишии, пишет:

«Буди барабаном уснувших,
Буди заблудившихся всех,
Шагай все вперед неустанно —
И в этом — науки успех!
И Гегеля мышление в этом,
И книг идеал всковой,
Я понял все это, и сам я
Всегда барабанщик лихой».

Это был канун буржуазной революции 1848 г. В стремлении вперед, в призыве к борьбе, а не в боязни опередить время заключался новый лозунг.

Разумеется, можно «извинить» Гегелю то, что он не заметил ростков нового движения. В ту эпоху историческая миссия пролетариата не была еще вполне ясна даже для самых светлых голов. Утопический социализм в счет не идет. Утописты приписывали роль творца нового общественного уклада не только пролетариату, но и капиталистам, буржуазии. Первое подлинно рабочее выступление — восстание лионских ткачей приходится на 1831 год — год смерти Гегеля.

Июльская революция 1830 г., свидетельствовавшая, что диалектика истории вовсе не прекратилась с гегелевской системой, была недостаточно вразумительным ответом для правоверных гегельянцев, канонизировавших своего

учителя. С другой стороны прусский абсолютизм учуял своего врага и против всякого проявления свободомыслия организовал свирепое преследование (например, литературного движения «молодой Германии»).

С 1815 года «Священный союз» стал жандарским управлением для всей Европы, своего рода паневропейским полицей-президиумом. Но и это не могло остановить диалектики истории. Классовая борьба разгоралась и нарастала. У пролетариата появились вожди — Маркс и Энгельс.

А в 1847-48 г. впервые обнаружилась тенденция перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую. Пролетариат показал себя как гегемон и застрельщик освободительного революционного движения.

Что же происходит на фоне этих событий с философией Гегеля и ее абсолютным духом, методом и системой?

Мы хотим здесь привести очень интересное свидетельство И. С. Тургенева. В письме из Берлина от 1 марта 1847 года он сообщает: «В сороковом году с волнением ожидали Шеллинга... Теперь же — Шеллинг умолк... Один Вердер с прежним жаром комментирует логику Гегеля, не упуская случая приводить стихи из 2-ой части «Фауста»; но увы! — перед «тремя» слушателями, из которых только один немец, и тот из Померании. Что я говорю! Даже та юная новая школа, которая так смело, с такой уверенностью в свою несокрушимость, подняла тогда свое знамя, даже та школа успела исчезнуть из памяти людей. Бруно Бауэр живет здесь, но никто его не видит, никто о нем не слышит; на-днях я встретил человека, прилизанного и печально-смиренного... это был Макс Штирнер. Впрочем понятно, почему их забыли. Фейербах не забыт, напротив! — Повторяю: литературная, теоретическая, фантастическая эпоха германской жизни — кажется, кончена» (Русские Пропилеи, т. 3, стр. 111).

«Конец», о котором говорит Тургенев, следует, конечно, понимать, не как конец вообще теоретической деятельности в Германии, но как распад и конец Гегелевской школы. Обанкротилось «святое семейство», во главе с Бруно Бауэром, поблекла популярность Штирнера. Только Фейербах как представитель буржуазной радикальной интеллигенции и как критик гегелевской философии с позиции материализма пользовался успехом. Восхода пролетарского, марксистского мировоззрения Тургенев, конечно, не заметил. Но мы-то хорошо знаем, что марксизм как философия нового исторического движения пролетариата вырос как раз на основе критики предшествовавших ему буржуазных и мелкобуржуазных учений и самого Гегеля в первую очередь. Материалистическая философия сразу заявила себя борьбою «на два фронта» — как против метафизики в ф и л о с о ф и и, так и против метафизики в о б щ е с т в е н н о й ж и з н и, в п о л и т и к е. (Борьба против германско-христианской монархии, против цензуры, религии, средневековья). Маркс писал в «Святом семействе»: «И д е и никогда не могут выводить за пределы старого строя. Идеи вообще н и ч е г о н е м о г у т в ы п о л н и т ь. Для выполнения идеи требуются люди, которые должны употребить практическую силу».

«Поэтому, — продолжал Маркс, — критика гегелевской теории права и государства должна быть развита как критика определенной политики с точки зрения интересов определенной политической партии, а стало быть мы должны связать и отожествлять нашу критику с действительной борьбой». Это положение Маркса, помимо всего прочего, является образцом диалектического сочетания теории и практики, оружия критики с критикой оружием. Нельзя забывать, что разрыв теории и практики является, по выражению Ленина, самой отвратительной чертой буржуазного общества, а стало быть и буржуазной философии.

Так вместе с революционным пролетарским движением возник и марксизм — философия пролетариата, и написанный в 1847 году Марксом и Энгельсом «Коммунистический Манифест» был первым цельным произведением диалектического материализма. А вскоре затем Маркс вместо буржуазной логики в «Философии права» Гегеля дал «Логику» «Капитала».

Конечно, правоверные гегельянцы даже и революцию 1848 года могли рассматривать как борьбу идей, как диалектику понятий, не выходящих за пределы гегелевской абсолютной идеи. Однако наблюдательные люди уже догадывались в чем дело. Так, тот же Тургенев в уже цитированном письме пишет. «Вы ошибетесь, если примете все эти движения, споры и распри за чисто богословские; под этим вопросом таятся другие... Д е л о и д е т о б и н о й б о р ь б е. Вы легко можете себе представить, какие смешные и странные виды принимает иногда, говоря словами Гегеля, Л о г о с» (там же, стр. 112. Разрядка моя — П. В.).

На основе под'ема рабочего движения (революция 1830 г., чартистское движение в Англии, революция 1847—48 г. и т. д). Маркс вы-

ковывает новое мировоззрение; он одновременно изучает социалистов-утопистов, английских экономистов. Маркс быстро обгоняет Фейербаха. Маркса интересует, замечает Ленин, возвращаясь к периоду сороковых годов прошлого столетия — «движение вперед от Гегеля и от Фейербаха дальше, от идеалистической диалектики к материалистической. (XII Лен. сб., стр. 295. Разрядка Ленина). «Маркс 1844—47 ушел от Гегеля к Фейербаху и дальше Фейербаха к историческому и диалектическому материализму» (там же, стр. 297. Разрядка Ленина).

Маркс и Энгельс становились вождями пролетариата. Они росли на практическом участке в революции 1848 г. Позднее они обобщили опыт этой борьбы. Это был вместе с тем и рост теории диалектического материализма. Маркс и Энгельс не были захвачены событиями врасплох — они до этого прошли школу диалектики. Фейербах — материалистический критик Гегеля, напротив, — «не понял революции 48 года» (XII Лен. сб., стр. 87), Фейербах не был вождем пролетариата.

Так в ходе исторического развития разрешалось (исторически же созданное) логическое, внутреннее противоречие между гегелевским методом и системой. Это противоречие отражало, во-первых, противоречие между развивающимся капитализмом и отжившим, но еще живущим в Германии феодализмом, и во-вторых, противоречие самого капиталистического общества, назревающее противоречие строя частной собственности, приходящего в коллизию с вызванным им же в жизни пролетариатом, т. е. в коллизию и самим собой. Если первое противоречие находило свое выражение между такими произведениями Гегеля как «Феноменология» и «Наука логики» с одной стороны, и Философия Права и Религии, с другой, то второе противоречие было скрыто в самой логике Гегеля или в самой диалектике, которая была искажена и извращена системой идеалистических принципов, положенных Гегелем в ее основу. Если первое противоречие выражало собою консерватизм буржуазии и ее приверженность к старому, то второе противоречие было выражением противоречий, заложенных в том самом строе, который был создан самой буржуазией. Вновь открытый и разработанный им диалектический метод Гегель облек в старую систему идеализма и метафизики, подобно тому, как буржуазия охотно идет на оставление старых государственных учреждений, довольствуясь лишь сменой вывесок, ибо как феодальная, так и буржуазная системы суть одинаково эксплоататорские системы, различающиеся лишь методами эксплоатации. Поэтому и метод классической буржуазной философии не мог не быть идеалистическим.

Лучшие достижения классической немецкой философии в зените ее развития были подхвачены пролетариатом. Противоречие было разрешено тем, что марксизм воспринял в критическом и переработанном виде диалектику Гегеля, освободил ее от тяжелого груза консервативной системы, от идеалистической шелухи и метафизического шлака и тем самым создал научную диалектику.

Марксизм доказал, что не только диалектика истории не останавливается с установлением прусской полицейской монархии, как думали правые гегельянцы, отражавшие интересы прусского юнкерства, но что дальнейшее историческое развитие несовместимо с буржуазным строем, который должен быть взорван изнутри через обострение своих собственных противоречий.

Но все это произошло вовсе не «самотеком», вовсе не в силу того только, что гегелевская философия была внутренне противоречивой, вовсе не в силу логики идеи, но в силу исторической логики буржуазного общества и возникновения в его недрах пролетариата.

Для гегельянцев ни революция 1830 г., ни 1848 г. ничего не доказывали. Они любовались целостностью и законченностью логических построений своего патрона. Они всерьез спорили о том, что будет с историей, раз по логике Гегеля дальнейшего движения ей иметь не полагается.

В наше время меньшевиствующие идеалисты, точно так же, как гегельянцы, зачарованно смотрели на логику Гегеля. Можно себе представить, в какое замешательство пришли бы они, если бы им в об'яснении возникновения диалектического материализма не хватало ссылки на логическое противоречие между гегелевским методом и системой. Они стали бы втупик, ибо была бы нарушена их историко-философическая схема о филиации идей. Но слава Гегелю. — Теперь они спасены и якорь спасения — сакраментальное противоречие метода и системы. Из этого противоречия как Афродита из головы Зевса автоматически возник, по представлению меньшевиствующих идеалистов, марксизм. Карев, например, писал: «основным противоречием в гегелевской философии, приведшим к ее крушению, было противоречие метода и системы». (Ка-

рев — За материалистическую диалектику, стр. 14).

«Ни одному из этих философов, — писал Маркс о философах послегегелевского периода, — не пришло в голову задать себе вопрос о связи немецкой философии с немецкой действительностью, о связи их критики с окружающей их материальной обстановкой». (Архив М. и Эн., кн. I, стр. 214). Эти слова не потеряли своего значения и до сих пор и с полным правом могут быть брошены в лицо меньшевиствующим идеалистам, которые совершенно игнорируют социально-историческую классовую «подкладку» истории философии и эта последняя представляется как чехарда через самих себя прыгающих идей. Карев так и пишет, что главная ценность гегелевской науки и логики в «переходах понятий», а метод определяет как «умение оперировать понятиями» (там же, 34). Между тем Энгельс и Ленин неоднократно подчеркивали, что понятия являются отражением действительных переходов («понятия, как учеты отдельных сторон движения» — Ленин) и что, следовательно, диалектика есть теория познания, теория отражения об'ективных процессов материального мира в нашем сознании. «Извращение диалектики у Гегеля, — писал Энгельс, — основано на том, что она должна быть у него «саморазвитием мысли» и потому диалектика вещей — это только ее отблеск. А на самом-то деле ведь диалектика в нашей голове — это только отражение действительного развития, которое совершается в мире природы и человеческого общества и подчиняется диалектическим «формам» (Маркс и Энгельс, Письма, стр. 354).

В своей статье «Маркс и Гегель» — А. М. Деборин, следуя за Гегелем, выставил принцип: «развитие знания совершается в силу того противоречия, которое устанавливается между предметом и его понятием, между предметом, как он существует в себе и для сбя. На этом противоречии основывается переход от одной ступени знания к другой» («ПЗМ», № 10, 1923, стр. 11).

В этой статье Деборин разбирает вопрос о «прогрессирующем знании» вне всякой связи с социально-классовым характером как знания, так и прогресса. Деборин вообще умеет писать так, что не разберешь: излагает ли он гегелевскую или свою собственную точку зрения. Нам думается, что так происходит потому, что Деборин соглашается во всем с Гегелем, некритически подходит к нему, реставрирует его метафизику и идеализм. Что развитие знания Деборин понимает по-гегелевски, видно из дальнейшего раз'яснения приведенного положения. Деборин пишет: «переход сознания на новую ступень ведь определяется именно тем, что вскрывается несоответствие понятия п р е д м е т у, к о т о р ы й п р и с у т с т в у е т в с о з н а н и и и является масштабом для него. Из несоответствия понятия предмету рождается новая точка зрения» (там же, стр. 12. Разрядка моя — П. В.). По Деборину (и Гегелю) выходит, что развитие знания происходит в безвоздушном пространстве и вне времени. Понятие предмета и предмет понятия, так же будто бы «п р и с у т с т в у ю щ и е в с о з н а н и и», вступают в противоречие, которое, разрешаясь, приводит к новой точке зрения. «Движение и постоянная смена формы сознания» рассматривается как самодовлеющее развитие духа, независимое ни от классов, ни от об'ективной действительности, ни от п р а к т и к и людей. Познание — исторично, пишет Деборин, но этот «историзм» он понимает по-гегелевски, идеалистически. Ибо что какое история? Это — деятельность людей. Что лежит в основе познания? Деятельность людей, способ производства, промышленность, классовая борьба и т. д. Для Деборина же в основе познания лежит история... познания. Вот и весь пресловутый историзм. Познание основывается на познании. Одна форма сознания сменяется другой в силу внутреннего логического противоречия между мыслью и мыслимым об'ектом. Все та же чехарда форм сознания. В такой постановке вопроса нет ни грана марксизма. Марксизм ставит и разрешает этот вопрос совершенно иначе. Марксизм включает в свою теорию познания как важнейший и решающий моменты практику, как историческую революционную критически-практическую деятельность. Гегелевская диалектика была насквозь абстрактной, созерцательной, спекулятивной, умозрительной. Ленин прямо указывал, что если из диалектики вычесть практику, как основу познания и развития всякого знания, — мы получим идеализм. «Производство идей, представлений, сознания, — писал Маркс и Энгельс, — прежде всего непосредственно вплетается в материальную деятельность и в материальные связи людей — в язык реальной жизни. Представление, мышление, духовное сношение людей являются... прямым порождением их материальной практики» (архив Маркса и Энгельса, книга I, стр. 215. Разрядка моя — П. В.).

«Решение теоретических противоположностей возможно только практическим путем,

только благодаря практической энергии человека и поэтому решение их отнюдь не является задачей только познания, а действительно жизненной задачей, которой философия не могла решить именно потому, что она видела в ней только теоретическую задачу». (Маркс и Энгельс, соч., том 3, стр. 628.).

Эти слова основоположников марксизма звучат так, как если бы они были написаны в наши дни борьбы с меньшевиствующими идеалистами, которые «прогрессирующее знание» рассматривают вне всякой связи с общественно-исторической практикой деятельностью, с классовой борьбой, промышленностью, техникой, которые в противоречиях гегелевской философии видят логическое противоречие, а в его разрешении — только теоретическую задачу.

Сам Деборин практику понимает вместе с Гегелем умозрительно, как практику мышления, но отнюдь не как деятельность. Деборин цитирует соответствующее место из «Феноменологии духа» и комментирует: «новая форма сознания возникает в результате опыта, который приводит сознание к признанию предыдущей формы сознания снятой... В этой связи для нас не имеет значения то обстоятельство, что для Гегеля и предмет есть не что иное, как понятие. Важно лишь подчеркнуть, что в сущности и для Гегеля предмет определяет сознание» (там же, стр. 13). Так смазывает Деборин разницу между Марксом и Гегелем в понимании «опыта», «предмета» и т. д.

Превознося значение гегелевской «Феноменологии духа» Деборин, Карев и др. в то же время очень робко, трусливо говорили о недостатках гегелевской концепции и не вскрывали ее внутренних противоречий. Наоборот, эти противоречия замазывались заявлениями, вроде — «нам безразлично, что понимает Гегель под предметом» и т. д. В этом отношении деборинцы поступают как правые гегельянцы, которых критиковал Маркс. «Тайну этой бауэровской смелости, — писал Маркс, — составляет гегелевская феноменология, так как Гегель ставит в ней самосознание на место человека, то самая разнообразная человеческая действительность является только как определенная форма, как определенность самосознания. В феноменологии Гегеля оставлены в стороне материальные, чувственные, предметные основы различных образов, отчуждаемых человеческим самосознанием. Поэтому вся разрушительная работа дала в качестве вывода самую консервативную философию,[1] потому что подобная точка зрения воображает, что она преодолела предметный, чувственно-действительный мир, коль скоро он превращается в «мыслительную вещь», в чистую определенность самосознания» (Маркс и Энгельс, соч. т. 3, стр. 224).

Вместо показа Маркса, «взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед», мы находим у Деборина, говоря словами Ленина по поводу Лассаля, «голое, пустое, никчемное, гелертское пережевывание гегельянщины» (Лен. сборник 12, стр. 292, 397). Более того, мы находим тенденцию принизить марксизм до гегельянщины.

Деборин роднит Маркса с Гегелем посредством любимого и уже испробованного в книге «Л. Фейербах» приема всех ревизионистов— ссылки на терминологию.

«Если освободить высказанную здесь Гегелем мысль, — пишет Деборин, — от его специфической терминологии и облечь ее в понятную и более простую форму, то мы убедимся в чрезвычайной важности и глубине высказанных суждений» (там же, 12).

Как известно, Маркс заявил, что его диалектический метод — «не только в корне отличен от гегелевского, но представляет его прямую противоположность» (предисловие ко 2 изд. «Капитала». Разрядка моя.— П. В.). Различие, следовательно, не только в «специфической терминологии». Но Деборин не считается с заявлением Маркса. «Дальнейшее углубление и действительное обоснова-

---

[1] «Это диалектическое, движение, совершаемое сознанием в себе самом, как в своем знании, так и в своем предмете, представляет собою, поскольку отсюда возникает новый истинный предмет, собственно опыт в обычном его понимании» (Phenom, des Geistes, стр. 41 русск. перевод). Таким образом для Гегеля опыт есть «самодвижение сознания», деятельность мысли. «Гегель, — писал Маркс, — знает и признает только один вид труда, именно — абстрактно духовный труд... Из дела (Tun) философии Гегель знает то, что сделали другие философы, именно — что они рассматривают отдельные моменты природы и человеческой жизни как моменты самосознания, притом абстрактного самосознания, поэтому его наука абсолютна» (Маркс — подготовительные работы к «Святому семейству». Соч., т. 3, стр. 639. Разрядка Маркса).

ние этой огромной важности идеи мы находим у Маркса», — сообщает Деборин. Создается впечатление, что Марксова диалектика не только не была прямой противоположностью диалектики Гегеля, но что Маркс отбросил лишь «специфическую терминологию», углубил и обосновал высказанное Гегелем суждение. Таким образом Деборин **отождествляет** материалистическую диалектику с идеалистической, посредством установления **различия** в терминологии.

Нам кажется, что если освободить высказанную Дебориным мысль от ее специфической терминологии и облечь в понятную и более простую форму, то мы убедимся, что имеем дело с попыткой принизить марксизм до гегельянства и стремлением дискредитировать историко-материалистический подход к истории философии в угоду меньшевистско-идеалистическому подходу.

Деборинская история философии вовсе не была историко-материалистической. «Или критическая критика полагает, — спрашивал Маркс у «Святого семейства», — что она дошла хотя бы до начала познания исторической действительности, исключив из исторического движения теоретическое и практическое отношение человека в природе, естествознание и индустрию» (Маркс и Энгельс, соч., т. 3, стр. 180). Этот вопрос можно было бы поставить т. Деборину и его ученикам. Ибо они в своей трактовке историко-философских проблем показывают лишь отношение идеи к идее, системы к системе, понятия к понятию. Также и относительно Гегеля деборинцы носились с пресловутым «противоречием метода и системы», дедуцируя из него марксизм и вовсе не об'ясняя, откуда и как возникло это противоречие и как и почему оно нашло свое разрешение.

Ход философического развития изображался в виде самодовлеющей, замкнутой в себе и из себя самое развивающейся сферы понятий, абстракции. Такое представление перенесли и на марксизм. Так, например, Гоникман проповедывал создание «замкнутой» системы диалектики («Проблемы марксизма», № 2, 1930, стр. 3), т. е. иначе говоря требовал превращения марксистской диалектики из руководства для действия в систему (замкнутую) мертвых догм.

Диалектический материализм требует, чтобы было показано, что **логическое противоречие есть историческое противоречие, есть отражение об'ективного исторического противоречия.**

В самом деле: если бы не развитие индустрии, возникновение пролетариата, революционного движения и классовой борьбы и т. д. — если бы не все это, то указанного противоречия вовсе не было бы, а если б каким-нибудь чудом оно и существовало, то не могло бы найти своего разрешений.

Диалектический материализм не есть продукт «разложения» гегельянства и возник не потому только, что в философии Гегеля существовало внутреннее противоречие. Диалектический материализм возник как мировоззрение и метод пролетариата; диалектический материализм возник вместе с возникновением научного социализма, теоретическим выражением которого он является.

Но это не значит, что гегелевская философия со всеми ее внутренними противоречиями безразлична для философии пролетариата, для марксизма. Отнюдь нет. Мы уже писали выше, что сами внутренние противоречия гегелевской философии были историческими противоречиями. Они выражали собой приверженность Гегеля, как идеолога буржуазии послереволюционной эпохи, установившимся формам общественного устройства (прусский абсолютизм), с одной стороны, и дальнейшим ходом истории вперед, к пролетариату, с другой. Отсюда ясно, что Маркс и Энгельс, формировавшие пролетарское мировоззрение, должны были воспользоваться достижениями научной мысли предшествовавших поколений; пролетариат является наследником всей культуры человечества, в том числе и буржуазной.

Здоровое учение о всеобщем развитии, движении, превращении, составлявшее основное содержание гегелевского метода, было воспринято основоположниками марксизма. Но надо было показать, что диалектика сама восстает против сковавшей ее системы в философии Гегеля, т. е. надо было вскрыть противоречие между методом и системой и взорвать гегелевскую философию изнутри.

«Извне она казалась совершенно неприступной, да оно и в действительности так было. Только изнутри она могла быть разрушена и только теми, которые были сами гегельянцами». (Энгельс).

Марксизму принадлежит заслуга, что он не только вскрыл противоречие метода и системы в философии Гегеля, но и разрешил его. Причем это разрешение произошло отнюдь не так, что Маркс и Энгельс, «заимствуя у Гегеля основы его метода, отбросили его систему»

(Деборин) — такое разрешение противоречия было бы чисто механическим. Отбросив систему, Маркс и Энгельс в то же время до основания переработали гегелевский метод в материалистический. Они показали несовместимость подлинной научной диалектики с идеализмом. Марксизм сам явился исторически и логически более высокой ступенью развития об'ективного учения, чем Гегель.

Немецкая классическая философия развилась вполне последовательно. Неудивительно, что Маркс и Энгельс были вначале гегельянцами. Марксизм возник не наряду с немецкой классической философией, но пришел на смену ей, подобно тому, как пролетариат приходит на смену буржуазии, пролетарская революция на смену буржуазной. Утверждение диалектического материализма как философии пролетариата могло произойти только на основе критики философии своего классового антипода — буржуазии, т. е. философии Гегеля как ее выразителя. Но эта критика была в то же время критической переработкой и усвоением того ценного, рационального зерна, которое приобрела теоретическая мысль всех народов в лице классической немецкой философии и в особенности ее диалектики. Но вместе с этим марксизм сделал излишним и ненужным дальнейшее существование систем, подобных гегелевской. Носителем науки и все больше и больше суб'ектом истории стал пролетариат. Буржуазная философия вырождается, начинается пора пигмеев — эпигонов — всех этих Шопенгауэров, Гартманов, кантианцев и т. д.

Диалектический материализм находится в том же отношении к немецкой классической философии, в каком марксистская политическая экономия находится к классической политической экономии[1].

Как классическую экономию, так и классическую философию марксизм преодолел и превзошел, создав свою экономию и философию единственно научную, отвечающую ходу истории. Буржуазия как класс истратила свои творческие силы, превратилась в паразита, высасывающего из общества трудовые силы. Вместе с упадком буржуазии идет упадок и ее культуры, ее философии, которая уже открыто обслуживает поповщину и мракобесие. Для науки она уже не способна дать каких-нибудь ценных приобретений.

[1] Ср. марксово замечание: «Гегель стоит на точке зрения современной политической экономии» (Сочинения, т. III, стр. 639).

В начале статьи мы привели эпиграфом две заметки, характеризующие столетие в его начале и конце. Эти с виду разные заметки не напрасно поставлены в связь.

Много воды утекло за столетие. Когда Гегель в Берлинском университете читал свои лекции «его окружали ученики и комментировали систему как схоластики Аристотеля» (Dilthey — Die Iugendgeschichte Hegels, S. 254). Устами Гегеля, казалось, говорил сам мировой дух и его вдохновенные слова были волшебной силой, державшей в каком-то оцепенении окружавшую молодежь (там же, 255). Тогда в Берлинском университете было еще «все спокойно и без перемен». Гул классовой борьбы пролетариата и буржуазии еще не проникал через стены университетов.

Теперь же университет, как все другое, стал ареной жестокой классовой борьбы к великой досаде «Vorwärts'а», сравнивающего нынешнюю «беспокойную» пору учебы с добрым старым временем, когда «жаждущая получить знания молодежь спокойно предавалась наукам» (см. «Borwärts», Nr. 299, 30/VI 1931).

Точно так же в гегелевские времена не было и тех партий, которые возникли десятилетия спустя. Наконец коммунизм уже не призрак, а подлинная реальность на $^1/_6$ земного шара. Классовая борьба пролетариата и буржуазии вступила в последнюю решительную фазу. Эта же борьба находит свое отражение и в философии. Против подлинно научной революционной диалектики выступают мракобесы всего мира, реакционеры от философии, мистики и спиритуалисты.

Капиталистический мир находится в состоянии кризиса и упадка. Современная буржуазно-фашистская, как и социал-фашистская философия представляют из себя сублимированную в абстракции гниль буржуазного строя, его тупоумие и маразм, его предсмертную агонию.

С гегелевской философией произошло «раздвоение единого». Коммунизм воспринял добытую Гегелем диалектику и, трактуя ее на материалистический лад, сделал ее своим орудием в борьбе со старым миром и создании нового.

Коммунизм является в этом смысле наследником гегелевской диалектики.

Буржуазия, философом которой в эпоху ее классовой молодости был Гегель, наоборот, отказалась от революционного стержня гегелевской диалектики, уцепилась за его систему, за схоластические, реакционные моменты в его диалектике понятий. Современная фашистская

философия (A. Liebert, S. Marck, Kroner, Brunner, Джентиле) стоит почти исключительно на позициях метафизически-мистического гегельянства, стремясь противопоставить его материалистической диалектике — марксизму.

Этот поворот буржуазной философии к гегельянству можно понять только в связи с положением современной буржуазной философии и буржуазной идеологии, положением капиталистической культуры вообще. Империалистическая система переживает невиданный политический и экономический кризис упадка и развала. Ему соответствует столь же быстрый процесс разложения в области идеологии. Буржуазное мышление по-своему отражает этот процесс всеобщего упадка капитализма. Она начинает говорить о противоречиях, об антиномиях (конечно «духа»!) и о диалектике, которую тут же пытается подменить «парадоксней», «проблематикой» и... «идеей страха» (A.Libert— «Geist und Welt der Dialektik, 1929). Буржуазный разум становится безумием, блаженство — мукой. Всеобщее смятение охватывает представителей дряхлеющего, долженствующего уйти с исторической арены класса. Нет выхода из кризиса, кроме одного — революции. Судорожно пытается буржуазия оттянуть время. Буржуазная экономическая «наука» предлагает уничтожать продовольствие и товары, чтобы найти выход из кризиса. Буржуазная политическая «мудрость» тоскует о человеке сильной воли, т. е. о фашистском перевороте, где он еще не сделан. Буржуазная философия, отчаявшись найти выход, истошно кричит: «Назад к Гегелю». Под гегелевским флагом пытаются идеологи буржуазии консолидировать свои силы, чтобы противостоять разлагающей диалектике истории, чтобы повести борьбу с марксизмо-ленинизмом. Именно поэтому клич «Назад к Гегелю» находит свой отклик также и среди фашистских подголосков — теоретиков социал-фашизма.

Повидимому очень скоро вся буржуазная философия так или иначе «признает» Гегеля. Крайне правое ее крыло — фашистское — уже сделало это. Гегель, разумеется очищенный от всего научного, революционного, становится философским знаменем фашизма. Вовсе не случайно, что новое «гегелевское движение» началось в Италии — родине европейского фашизма (Croce, Gentile, Colodgera, Guardini и др.).

В социал-фашистской среде заметны колебания. Более чем сама буржуазия социал-фашистские теоретики оказываются верными философскому прошлому своих хозяев,— они не хотят бросать Канта.

Кант и Гегель — оба идеалисты, различаются между собой, как метафизик и диалектик. Если отбросить диалектику Гегеля, тогда, конечно, можно «соединить» его с Кантом, сохранив в то же время столь необходимый современному социал-фашизму кантовский агностицизм, дуалистическую теорию познания и т. д. Социал-демократия, выросшая в эпоху мирного органического развития капитализма, стоявшая на неокантианских позициях, не хочет теперь отказаться от Канта, как не хочет признать проделанной ею измены своему политическому прошлому. Но необходимость не отставать от хозяев заставляет социал-фашистских теоретиков, чтобы итти «в ногу с веком», так или иначе амальгамировать свой старый кантианский хлам с идеалистической плесенью гегельянщины.

«В своей рациональной форме диалектика,— писал Маркс,— внушает буржуазии и ее доктринерам лишь злобу и ужас, т. к. в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую существующую форму рассматривает в движении, следовательно, также и с преходящей стороны, т. к. она ни перед чем не останавливается и по самому существу своему критична и революционна» (предисловие ко 2-му изд. «Капитала», по изд. 1930 г., стр. XI—XL).

Приведя часть этой выписки из предисловия Маркса к «Капиталу», буржуазный доктринер Карл Ферлендер в своей книге «К. Маркс» (Vel. Meiner Verl. Leipzig, 1929) предлагает читателю: «ср. мои собственные выводы о диалектическом методе Гегеля, Kapitel ,XIV». Отправляемся по адресу, заглядываем в главу XIV, стр. 180, читаем: «Нам людям двадцатого столетия древняя идея вечного становления, идущая еще от Гераклита, настолько близка..., что мы не имеем нужды обращаться к Гегелю, у которого она дана в сложной и искусственной форме. Благодаря Канту и дарвинизму, а также Гербарту Спенсеру, распространившему философию развития на все области знания, идея становления стала нам еще ближе. Но конечно, эта идея принята нами в своей эволюционной форме медленного, постепенного едва заметного и мирного развития, в то время как у Гегеля она, вследствие своих противоречивых противоположностей... дает огромный простор для насильственных разрешений или революций, что и привлекало сим-

пятии революционного мышления Маркса и Энгельса» (K. Vorländer — «K. Marx», S. 188).

К. Форлендер, быв. член исполкома II интернационала, неокантианец в философии, высказывает здесь не только личное мнение. Весь социал-фашистский лагерь, начиная от Э. Бернштейна и кончая последними откровениями К. Каутского, отвернулся от революционной стороны гегелевской диалектики и конечно от марксистской диалектики Маркса — Энгельса. Вместо нее утверждается кантианский метод ползучего эмпиризма, дюрингианский «антогонизм сил», спенсеровская «теория равновесия» и махистский агностицизм.

«Две основные... концепции развития,— писал Ленин...—суть: развитие как уменьшение и увеличение, как повторение. И развитие, как единство противоположностей... При первой концепции движения, остается в тени самодвижение, его двигательная сила, его источник, его мотив (или сей источник переносится во вне — бог, суб'ект, etc.). При второй концепции главное внимание устремляется на познание источника «с а м о» движения. Первая концепция мертва, бедна, суха. Вторая—жизненна» (Ленин. К вопросу о диалектике, Лен. сб. XII, стр. 324).

Форлендер и вся прочая социал-фашистская братия стоит на признании первой по нумерации Ленина концепции развития, т. е. на метафизической, безжизненной, антидиалектической концепции.

Но Карл Каутский оказался более чутким к «вопросам времени» и более прытким в борьбе с марксизмом, чем Карл Форлендер. В своем двухтомнике «Die Materialistische Geschichtsauffasung» (1929) Каутский ведет развернутое наступление на «Анти-Дюринг» Энгельса, против материалистической диалектики, за Канта и Дюринга, за метафизику. Но Каутский не решается начисто отвергнуть диалектику. Более того, он хочет Гегелем побить Энгельса!! В результате длиннющих «исследований» Каутский оповещает. «Изложенный здесь характер диалектики не вполне совпадает с диалектикой, охарактеризованной в «Анти-Дюринге». М о я д и а л е к т и к а в н е к о т о р ы х п у н к т а х б о л ь ш е с о п р и к а с а е т с я с г е г е л е в с к о й, ч е м с э н г е л ь с о в с к о й д и а л е к т и к о й. М ы т о ж е р а с с м а т р и в а е м д и а л е к т и ч е с к и й п р о ц е с с п р е и м у щ е с т в е н н о к а к д у х о в н ы й» (Bd. I, S. 791. Разрядка моя — П. В.).

Итак, либо отказ от диалектики вообще, либо мистическая диалектика «Духа» — вот отношение теоретиков социал-фашизма, равно как и фашистских теоретиков к диалектике.

Возвещенный ныне профессорами философии «Hegel — Renaissance» есть следовательно мистерия умерщвления живого и воскрешения мертвого в Гегеле. Этот Ренессанс есть попытка «возродить» в интересах борьбы с марксизмом Гегеля-мертвеца, Гегеля-реакционера, государственного прусско-полицейского философа, Гегеля-теолога, метафизика и идеалиста. Напрасные старания. Все ,что в Гегеле было способного к жизни, продолжает жизнь в марксизме, в диалектическом материализме. Что же касается системы Гегеля и его идеалистических схем, то мумию можно сделать реликвией, иконой, как это делают современные идеалисты-мракобесы, но ее нельзя оживить.

В борьбе не на жизнь, а на смерть между старым и новым миром побеждает марксистско-ленинская диалектика, изображающая собою диалектику истории. Коммунизм победит окончательно и во всем мире, а фашизм и социал-фашизм будут сметены в мусорную яму истории.

Рамзей Макдональд

Н. Корнев

«У буржуазии нет больше людей; она подыскивает их в парашах, где сбрасывают свои испражнения социалисты».

(Нынешний французский министр—президент Лаваль в бытность свою социалистом о ренегатах социализма)[1].

В Шотландии есть прекрасное местечко Лоссимут. Оно полно маленьких изящных домиков-особнячков. Особой роскоши в местечке не видно: все скромно, все рассчитано на очень точно установленный бюджет мелкого, в лучшем случае среднего буржуа. Здесь проводят свои дни отдыха и отпуска привилегированные служащие, буржуа средней руки, мелкие политики, заурядные журналисты, мало кому известные художники. Здесь занимаются всеми видами спорта, которые не требуют больших затрат: гольфом, ловлей рыбы.

Лоссимут не всегда был таким идиллическим местом, не знающим роскоши, но и не знающим душу щемящей нужды. Лет шестьдесят тому назад вместо чистеньких домиков-особняков здесь стояли грязные, до-нельзя запущенные хижины крестьян-рыбаков. Лоссимут был тогда одной из тех неимоверно грязных и вонючих рыбачьих деревушек, едко соляный запах которых (от моря, рыбы и еще больше от нужды) остается у любого стороннего посетителя надолго в памяти. Именно лет шестьдесят тому назад в семье мелкого крестьянина и родился в Лоссимуте нынешний первый министр Великобритании Джемс Рамзей Макдональд, уже трижды удостоившийся исторической чести поцеловать руку королю, что по древнему британскому ритуалу обозначает согласие образовать правительство его британского величества. Рамзею Макдональду, вероятно, кажется, что превращение его родной деревушки из грязного рыбачьего поселка в приятный и чистенький курортик, олицетворяет вместе с его собственным превращением из сына бедняка в первого министра Англии те естественные благотворные последствия, которые порождает медленно, но верно, «великое благо», называемое на языке Макдональда и иже с ним «демократией».

Макдональду, вероятно, и в голову не приходит, что его личная судьба никак не может служить мерилом для установления изменений в судьбе народных масс Англии. Точно так же, как ему и в голову не приходит, что судьба его родного Лоссимута никак не является показательной для судьбы многих тысяч других Лоссимутов, так и оставшихся до сих пор грязными и вонючими рыбачьими поселками. Ему вероятно, никак еще не приходило в голову провести совершенно иную параллель между своей личной судьбой и судьбой его родной деревушки. А ведь получается весьма любопытная параллель!

В самом деле, почему Лоссимут выдвинулся среди тысячи других рыбачьих поселков? Потому что нашлись люди, сумевшие пристроиться к роскошному столу монополистического капитала и подобрать с этого стола кое-какие крохи, чтобы устроить себе скромное, но уютное место отдыха. Но косвенным образом место отдыха в Лоссимуте создалось не потому, что повысился общий жизненный уровень страны, а потому, что сохранилась система эксплоатации человека человеком, сохранились угольные бароны, сохранились промышленные капитаны и лендлорды, сохранилась вся эта привилегированная прослойка паразитов промышленно-финансового капитала, которым нужна несколько более густая прослойка привилегированных приказчиков. И почти символом является тот

---

[1] На языке г. Лаваля: La bourgeoisle n'a plus d'hommes: elle va les chercher dans les poudelles ou les socialistes versent leur détritus.

исторический факт, что именно из Лоссимута, места отдыха этой привилегированной прослойки служивого класса монополистического капитала, появился главный политический приказчик этого же капитала Джемс Рамзей Макдональд.

Со стороны глядя, на первый взгляд становится непонятным, почему именно Макдональд явился лидером большой рабочей партии и именно в тот момент, когда она в буржуазной государственно-политической машине должна была заменить частью или полностью один из устаревших и ослабевших приводных ремней этой системы, либеральную партию. На первый взгляд кажется непонятным, почему именно Макдональд, а не кто другой из «первой скамьи» рабочей партии (в английском парламенте вожди партии сидят на первой «фронтовой» скамье) стал вождем «оппозиции его величества», а затем главой двух «рабочих» правительств и, наконец, главой первого в истории Англии «общенационального» правительства. Изумленные народы напрасно задают вопрос, чем велик Макдональд, что именно ему «подчинились», именно его мудрому руководству доверились Болдуин с Чемберленом и Рединг с Самуэлем.

Никто нас не может заподозрить в том, что мы питаем какие-либо особо нежные чувства по отношению к другим лидерам «рабочей» партии. Но справедливость требует признать, что, например, Гендерсон, несомненно, лучший организатор, лучший знаток партийных механизмов и людей, имеющий, если хотите, больше заслуг перед своей партией, чем Макдональд, даже более чем он популярный, шедший более гармонично в ногу с общим настроением «нации», т. е. решающих кругов буржуазии. Та же справедливость требует признания за Филиппом Сноуденом несравненно больших знаний, большей логики и большей политической выдержанности (вопрос о политической линии пока в стороне). Между тем во главе оппозиции или правительств становятся не Гендерсон и не Сноуден, и «историческую» роль теперь уже в четвертый раз приглашают играть на авансцене английской политики Макдональда.

Какие качества у Макдональда? Ораторский талант звонкого, напыщенного типа, литератор средней руки (несколько неплохо написанных с стилистической точки зрения книжек — о содержании их пойдет речь особо, еще больше статей из ряда тех, которые у нас непочтительно называются халтурными), партийный делец самого обыкновенного калибра, если говорить о стране с такими политическими традициями в смысле техники, как Англия. И все-таки на свое место Макдональд попал, так сказать, исторически. Его туда привело то самое развитие английского капитализма, которое привело в Лоссимут сотни привилегированных приказчиков промышленного и финансового капитала.

Говорят, нет худшего врага, чем услужливый дурак. Эту формулу, если говорить о политиках, можно несколько видоизменить: нет худшего врага, чем не в меру услужливый приятель или поклонник. Такой поклонник обязательно напишет про своего «идола» такую панегирическую биографию, что для читателя, стоящего по другую сторону баррикады, она, несомненно, станет источником самых ошеломляющих разоблачений. Если бы нам не нужны были наши запасы бумаги на книги по технике и социалистическому строительству, то давно следовало бы издать в точном переводе все те биографии, которые написаны всякими «поклонниками» про современных капиталистических политиков. Дело в том, что каждый мало-мальски уважающий себя буржуазный политик имеет своего, что называется, придворного поэта, который, конечно, не может перепрыгнуть через свое собственное мировоззрение и поэтому совершенно нечаянно открывает такие отвратительные качества в своем «идоле», каких не могли открыть враги и противники, судящие о нем со стороны. Вот, например, о Макдональде написана книжка, автором которой является некая Мария Агнеса Гамильтон, член парламента от «рабочей» партии, следовательно соратница и поклонница «великого вождя»[1].

Эту книжку стоит прочесть. В ней изложена жизнь Макдональда шаг за шагом. Что же получается? Мы видим, как в бедной крестьянской семье вырастает мальчик недюжинных способностей, которому с самого же начала своей жизни не нравится запах нищеты, не нравится голодный паек. Быть может он мечтает об уничтожении того проклятого строя, который делит все человечество на две чудовищно неравные части, на огромную армию обездоленных, голодающих и недоедающих и малюсенькую кучку паразитов? Никак нет: сей подающий надежды молодой человек мечтает, как бы в рамках этого проклятого строя себе устроить более или менее сносную жизнь.

[1] James Ramsay Mac Donald, A. biographical Sketch by Mary Agnes Hamilton, M. P. (Ionathan Cape).

Здесь мы наталкиваемся на решающие черты характера — личного и политического — Макдональда: на желание исправить некоторые черты существующего строя, а не свергнуть и разрушить его, и на уверенность, что это возможно, при известном терпении и выдержке. При этом Макдональд даже гордится тем, что он не борец, не подходит, стало быть, под гетевское определение человека (быть человеком — быть борцом).

Для таких черт личного и политического характера Макдональда является неизбежным и весьма показательным его романтизм мелкого буржуа, любящего лицом к лицу с затруднениями помечтать, удалиться в голубые небеса от неприятностей земной юдоли. Социалисты-романтики и пацифисты-непротивленцы должны быть людьми религиозными, верующими в загробный мир и в бога, ибо, если они теряют время на мечтания об улучшении земной жизни, то они должны иметь какие-то надежды на компенсацию в мире загробном. Религиозность Макдональда, его вера в то, что «на том свете всем страдальцам воздастся сторицей», совершенно неот'емлема от его личного и политического характера. Именно про таких людей и сказал великий Вольтер, что если бы бога не было, то надо было бы его выдумать. Ибо как бы иначе показывал монополистической буржуазии кукиш в кармане пацифист Макдональд, если бы он не верил в воздеяние каждому по его заслугам после светопреставления?!

Однако, собственно говоря, ждать до второго пришествия Христа — но не до социальной революции! — советует Макдональд и иже с ним только трудящимся массам, сами же они предпочитают устраивать свое земное благополучие и весьма поспешно, а иногда и успешно. Их категорический императив, являющийся для них моральным извинением, при этом формулируется так, что, мол, «демократия» предоставляет каждому, одаренному соответствующими способностями, свободный путь к выдвижению, стало быть выброшенными за борт демократической жизни просто являются люди, не совсем одаренные. Явление это отнюдь не только английского, а, сказали бы мы, общедемократического порядка. Известно, что жена покойного социал-демократического президента Германии Эберта, бесподобная Луиза Эберт, неоднократно отвечала на рассказы о недовольстве масс германской «демократической» республикой: «Совершенно непонятно, чего еще этим людям (т. е. рабочим) надо: ведь мы (Эберты) достигли президентского поста!» При этом, конечно, великолепно известно, что не какие-либо особые качества ума привели Эберта в его президентский дворец, а то, что он в нужный момент пришелся германской буржуазии ко двору.

Английской буржуазии пришелся ко двору Макдональд. Причем надо сказать, что английской буржуазии не пришлось долго его искать, ибо он, что называется принимал все меры, чтобы в нужные моменты попадаться ей на глаза. Авось, мол, нужен я!

Мы видим из названной выше предательски восхваляющей гражданские добродетели Макдональда биографии девицы Гамильтон, что Макдональд сразу же избрал политическую карьеру. Тогда — а впрочем и теперь — политическую карьеру в Англии избирали так, как избирают ремесло химика, врача или бухгалтера. Надо было поступить только на службу одной из двух буржуазных партий, консервативной или либеральной. Макдональд уже по своему происхождению ориентировался на либеральную партию и его биограф цитирует ряд статей Макдональда, в которых он по демократическому канону, трафаретно и нудно разжевывает всякие демократические проповеди и прописные истины. Он вносит одну только новую нотку: он предлагает либеральной партии выдвигать в первые ряды людей из народа, и при том людей молодых. Он, правда, не называет своей собственной фамилии, но смысл его предложения и без того очень ясен. Но надо быть справедливым: Макдональд ориентировался на либеральную партию очень недолго. Он быстро понял, что в либеральной партии ему, разночинцу и бедняку, скоро не выдвинуться и что надо искать какого-то особого случая. Надо воспользоваться каким-либо новым явлением в политической истории Англии. Этот случай быстро представился Макдональду, скромно прозябавшему в качестве одного из секретарей одного из либеральных депутатов, не ахти какого калибра.

Вернее, Макдональду представились два случая. Во-первых, Макдональд женился на некой девице из буржуазно-полуаристократического мира, урожденной Гладстон. Гладстон был, как известно, одним из крупнейших английских политических вождей, был и остался одним из кумиров английской буржуазии, хотя никто еще, собственно говоря, не определил точно, в чем заключается величие «великого» Гладстона. Но ореол Гладстона столь велик в Англии и теперь, столь велик был в особенности при жизни Гладстона (а тогда и начал выходить в лю-

ги Макдональд), что одно, хотя и очень слабое, побочное и то через жену, родство с ним делало Макдональда вхожим в руководящие политические салоны буржуазии, делало его, что называется, приемлемым в каком угодно качестве для руководящих буржуазных кругов. Биограф Макдональда, дойдя до этой политически-карьеристической женитьбы своего героя, не забывает восторженно отметить, что Макдональд, несмотря на свое плебейское происхождение, никогда не позволил бы себе нарушить какие-либо буржуазные правила этикета. Агнеса Гамильтон с радостью говорит о том, что нельзя себе представить, чтобы Макдональд явился в парламент в мягком воротничке или без цилиндра, чтобы он явился на какой-нибудь прием иначе, чем в предписанном костюме. Тут дело не в том, что по платью мол провожают, а в том, что, из молодых, да ранний, Макдональд хотел стать равным среди равных в буржуазном обществе, хотел, чтобы его там признали за своего или, во всяком случае, за нужного человечка, тем более, что он своей женитьбой с урожденной Гладстон стал почти своим человеком. А ведь фамусовское чувство покровительства родному человечку очень развито среди крупной английской буржуазии.

Одновременно Макдональд пришелся ко двору и молодой еще тогда независимой рабочей партии. Основатель и вождь ее Кейр Гарди отрицал марксизм, любил поговаривать, что «марксизм — что-то животное, грубое», отрицал классовую борьбу и все надеялся уговорить буржуазию Англии поступиться кой-какими правами и кой-какими крохами в пользу английского рабочего класса. Если человек хочет бороться, то ему не нужно знакомиться со своим врагом на нейтральной почве политических салонов. Для классовой драки место всегда найдется, его не надо искать: для этого есть фабрики и заводы, поместья и улицы. Но если политик берется за роль «главноуговаривающего», то он должен принять меры, чтобы его выслушали благосклонно, в спокойной обстановке, и он ищет доступа в буржуазные политические салоны. Кейр Гарди в салоны не пускали ввиду его плебейского происхождения: Макдональд, у которого был пропуск на имя родственницы Гладстона, принимали почти радушно. Что же неожиданного в том, что Кейр Гарди охотно сделал секретарем своей партии Макдональда, который с другой стороны понял, что в молодой независимой рабочей партии легче можно выдвинуться, чем в старой традиционно богатой политическими талантами либеральной партии. В либеральной партии макдональдов было много. Для независимой рабочей партии Макдональд, неплохой все-таки оратор, хороший журналист, умеющий говорить и писать на приемлемом для буржуазии языке, был сущим кладом. При этом Макдональд, конечно, войдя в партию, занял место на самом ее левом крыле. В политике, если хочешь кого-либо обогнать, всегда надо забирать «влево», это все знают.

Не успел Рамзей Макдональд вступить в независимую рабочую партию, как проявилась одна очень важная черта его характера: его упорный карьеризм, его желание обязательно выдвинуться на первое место, словом, его политическое тщеславие. Публично Макдональд называл, конечно, старика Кейр Гарди своим маститым учителем и вождем, за кулисами же он вел против этого «маститого вождя» так долго весьма тонко продуманные интриги, пока его самого не поставили в вожди рабочей партии в парламенте, куда он попал уже в 1903 г., причем Макдональду послужило весьма на пользу то, что его очень внимательно слушали в парламенте, слуха которого он, конечно, не осквернил резкими выражениями так же, как не осквернял он правил этикета мягким воротничком. В статье В. И. Ленина «Конгресс английской с.-д. партии» (1911 г.) говорится по поводу поведения Макдональда в парламенте:

«Действительно отрадным явлением на с'езде «Независимой рабочей партии» в Бирмингаме было то, что из рядов ее раздались твердые и решительные голоса протеста против той оппортунистической политики, п о л и т и к и з а в и с и м о с т и о т л и б е р а л о в (разрядка наша — Н. К.), которую ведет эта партия вообще и г л а в а п а р т и и Р а м з е й М а к д о н а л ь д в о с о б е н н о с т и (разрядка наша — Н. К.). В ответ на упреки за то, что рабочие депутаты мало говорят в палате общин о социализме, Р. Макдональд отвечал с девственной оппортунистической наивностью, что «п р о п а г а н д и с т с к и е р е ч и в п а р л а м е н т е м а л о у м е с т н ы» (разрядка наша — Н. К.). «Великая функция палаты общин состоит, — заявил Макдональд, — в том, чтобы превращать в законодательство тот социализм, который проповедуем мы в стране». О б о т л и ч и и б у р ж у а з н о й с о ц и а л ь н о й р е ф о р м ы о т с о ц и а л и з м а о р а т о р з а б ы л! (разрядка наша — Н. К.). От буржуазного парламента он готов ожидать социализм...» (Том XV нов. изд., стр. 167—68).

Прилизанно оппортунистический характер парламентских речей «левого» Макдональда так бросался в глаза, что даже Второй Интернационал (не надо забывать, что речь идет о временах до мировой войны) не выдержал и особенно из рядов германской социал-демократии раздались горькие упреки по адресу Макдональда. Как раз к тому году, когда была написана приведенная нами выше замечательная статья Ильича, относится появление основного «труда» Макдональда «Социалистическое движение» (The Socialist Mouvement). Если в почти одновременно выпущенной биографии своей тем временем умершей жены Макдональд фиксирует свою связь с буржуазным миром, то в этой куда менее старательно написанной брошюре он пытается успокоить массы, встревоженные его беспардонным оппортунизмом. Макдональд «об'ясняет» германским социал-демократам, что они мол не понимают разницы между германским и английским парламентом. В Германии мол социал-демократия не имеет возможности влиять парламентским путем на разрешение судьбы нации. Английская же рабочая партия с самого первого дня своего основания составляет часть парламента, который отвечает перед общественным мнением за свои решения и который конституционно в состоянии обеспечить осуществление своих решений (стоит, стало быть, только уговорить парламент облегчить положение трудящихся масс!— Н. К.). Такой парламент, не забывает, однако, из предосторожности упомянуть Макдональд, «должен остаться в контакте с каждой стадией развития общественного мнения и чувствовать себя при каждом своем шаге ответственным за все национальное развитие в целом (вот и об'яснение, почему парламент никак не может выполнить какое-либо конкретное требование рабочих и их партии: интересы всей нации страдают! — Н. К.). В таком парламенте партии вынуждены дарить больше внимания тактическим вопросам, чем отвлеченным принципам. Они не в состоянии занимать чисто отрицательные позиции (по отношению к буржуазному государству — Н. К.). Влияние их решения на общее политическое положение, соотношение решения каждой отдельной партии к общему вопросу пользы и вреда должно постоянно стоять перед глазами вождей партии. Другими словами в то время как партии в парламенте, который не знает парламентской ответственности, смотрят вдаль, партии в нашем (английском) парламенте стоят на твердой почве... Там (в Германии—Н. К., можно привести резкий раздел между партиями, здесь имеются переходящие группы, между которыми стираются все разделяющие их грани» (подчеркнуто нами — Н. К.).

Таким образом, мы видим, что Макдональд совершенно сознательно с самого начала рассматривает свою партию, как нечто, только весьма мало отличающееся от других партий Англии, либеральной и консервативной. Макдональд с самого начала хочет, чтобы его партия делила ответственность с другими партиями. Эта его установка соответствует его установке на классовую борьбу. В статье «Заседание Международного социалистического бюро» (1908 г.) В. И. Ленин подчеркивает, что «Макдональд предлагал в Штуттгарте (т. е. на заседании бюро — Н. К.) изменить второй пункт устава Интернационала таким образом, чтобы вместо признания классовой борьбы требовалась только добросовестность рабочих союзов для вступления в Интернационал». (Том XII нов. изд., стр. 348.) Владимир Ильич уже в 1908 году указывает, что это предложение Макдональда до конца разоблачает его оппортунизм.

Мы видели, что Макдональд вместе с Кейр Гарди считает марксизм «животно грубым», что такой же он считает классовую борьбу. В «культурных» английских условиях все это «грубое», понятно, излишне и отсюда мимоходом, но весьма знаменательно брошенная Макдональдом фраза о том, какая партия нужна английскому рабочему классу. В своем «Социалистическом движении» он говорит: «В английских условиях социалистическая партия есть последняя, а не первая форма социалистического политического движения». Что это значит?

Надо вспомнить учение Ленина о роли партии рабочего класса в борьбе за его освобождение от гнета капитала, о роли партии в подготовке диктатуры пролетариата, чтобы измерить всю глубину предательской формулировки Макдональда. Говоря простыми словами, Макдональд предлагает рабочего классу Англии иметь все время, так сказать, обыкновенную либерально-реформистскую партию (не социалистическую) и лишь за пять минут до социальной революции образовать партию социалистическую. Каждый военспец может об'яснить, что армия и штаб, образованные за пять минут до решительного боя, не могут выиграть войны, что современная классовая борьба, как и современная война, требуют постоянных армий, постоянных генштабов, бесконечной учебы, повторных маневров и мобилизаций, что

ни система милиции в войне, ни система несоциалистической партии в классовой борьбе в современных условиях никуда не годятся. Макдональд — вождь, который ведет рабочий класс к поражению не потому, что он не понимает военного или революционного дела, а потому что он желает победы противной стороне. В. И. Ленин своим гениальным умом задолго до мировой войны разглядел в «левом» Макдональде простого либерала, каким он его называет в своих статьях. Либералом аттестует он его и во время войны, хотя тогда Макдональд занял, казалось бы, «левую» позицию.

2 августа 1914 г. Англия вступает в мировую войну. Британский кабинет собирается на свое историческое заседание. Тогдашний премьер Асквит вызывает вождя «рабочей» партии Макдональда и он знает, что ему предложат быть министром. Макдональд идет по Даунингстрит к зданию правительства, которое окружено многотысячной толпой. В этой толпе он наталкивается на лорда Морлея, известного либерала-пацифиста. Морлей спрашивает Макдональда, что он будет теперь делать. «Мне нет никакого дела до того, что теперь происходит». — «Мне тоже», говорит гордо Морлей, только что подавший в отставку. После заседания кабинета Макдональд возвращается домой вместе с Ллойд-Джорджем, тогда министром финансов. Оба они — так с восторгом рассказывает биограф Макдональда — долго слушают с благоговением, как бьют в колокола в Вестминстерском аббатстве. «Джордж, — говорит Макдональд, — этим кончается целый том истории Англии, сегодня кончается целая эпоха».

На следующий день Эдуард Грей произносит в палате общин известную речь. В прениях выступает Макдональд. Он долго доказывает, что, вопреки утверждению Грея, честь Англии не затронута и что, поэтому, Англия может и должна остаться нейтральной. Это поведение Макдональда, его дальнейшее поведение во время войны вызвало кампанию против него шовинистов-империалистов, он во время первых выборов после мировой войны потерял свое место в парламенте и сошел вплоть до 1923 г. с большой политической арены. Он пытался участвовать в Стокгольмской социалистической конференции, он выражал нечто в роде сочувствия Октябрьской революции, он был членов 2½-го Интернационала, даже вел переговоры о слиянии его с Третьим Коммунистическим Интернационалом и все-таки вся эта политика, вызывавшая такое «негодование» шовинистических кругов, была не чем иным, как, по германскому выражению, «битьем пены» и недаром английская буржуазия так быстро простила Макдональду его пацифистские грехи за его «черные годы», как называет эти годы пацифизма его биограф, доказывающий теперь, что в поведении Макдональда не было ничего революционного, что он, конечно, и не думал учинить ущерба своей горячо любимой родине, что он только, как человек мягкий и добрый, просто ненавидел войну и боялся крови. Но вегетарианцы еще не спасли ни одного млекопитающегося, а пацифисты еще не приостановили ни одной войны и уже во всяком случае не сумели помешать ее взрыву. Заявление Макдональда Морлею, что «не хочет иметь с этим (т. е. с войной) никакого дела», очень типично. Никто так не напоминает страуса, как пацифисты. Но кроме того нужно сказать, что на время мировой войны Макдональд английской буржуазии был не ко двору: ей нужны были организаторы вроде Гендерсона.

Уже в резолюции Бернского совещания Ленин писал:

«Одной из форм одурачения рабочего класса является пацифизм и абстрактная проповедь мира. При капитализме и особенно в его империалистической стадии войны неизбежны... Пропаганда мира в настоящее время, не сопровождающаяся призывом к революционным действиям масс, способна лишь сеять иллюзии, развращать пролетариат внушением доверия к гуманности буржуазии и делать его игрушкой в руках тайной дипломатии воюющих стран. В частности глубоко ошибочна мысль о возможности так называемого демократического мира без ряда революций». (Собр. соч., т. XVIII нов. изд., стр. 127-28).

И когда Макдональд и его товарищи стали уверять, что они мол пытаются завести переговоры с германскими социал-демократами на предмет осуществления давления на империалистические правительства, чтобы те заключили мир, то Ленин предъявил этим пацифистам-соглашателям статью известного германского социал-империалиста Кварка. Ленин приводит следующее место из статьи Кварка: «Мы, немецкие социал-демократы и наши австрийские товарищи, заявляем непрестанно, что мы вполне готовы вступить в сношения с английскими и французскими социал-демократами для начала переговоров о мире. Немецкое императорское правительство знает об этом и не ставит нам ни малейших препятствий». Приведя это место

из статьи германского социал-империалиста, Владимир Ильич поясняет: «Правительство юнкеров доказало теперь правильность нашей Бернской резолюции, сказавшей, что пропаганда мира, «не сопровождающаяся призывом к революционным действиям масс, способна лишь сеять иллюзии» и делать пролетариат «игрушкой в руках тайной дипломатии воюющих стран». Это подтверждается буквально». (Там же, стр. 225).

Макдональд не только не сопровождал своей пропаганды мира «призывами к революционным действиям масс», он действовал своеобразно логично, побудив своего сына пойти добровольцем на войну и сам попытавшись служить в армии братом милосердия, что, конечно, приводит его биографа в неистовый восторг, ибо этим Макдональд, действительно, искупил все свои пацифистические «грехи».

Пацифистическая пропаганда Макдональда, как мы знаем, никакого вреда английскому империализму не принесла, его победы над германским империализмом не задержала ни на минуту. Но отношение Макдональда к великой русской революции?! И здесь приходится разрушить кой-какие существующие еще легенды.

Речи Макдональда по поводу тех великих событий, которые происходили в России, достаточно двусмысленны. Но известно, что любой соглашатель надеялся, грубо выражаясь, заработать политически в своем национальном масштабе на русской революции, рассчитывая, что перепуганная социальной революцией на одной шестой земного шара буржуазия пойдет на остальных пяти шестых земного шара на политические уступки. Поэтому нам кажется более интересным материалом для характеристики Макдональда разговор с ним, в марте 1917 г., который приводит живший в 1917 г. в Англии тов. Майский (цитирую по «Петроград. правде» от 26/I 1924 г.):

«Русская революция — это величайшее событие современности. Европа уперлась в безысходный кровавый тупик. На фронте дикое взаимоистребление без заметного перевеса на той или другой стороне. В тылу — смутное недовольство масс, но оно сковано правительственными репрессиями и страхом военного разгрома. Вывести массы из оцепенения силой одной внутренней агитации очень трудно, почти невозможно (вот весь Макдональд! — Н. К.). Нужны внешние факторы, которые разбили бы ледяную кору. Таким фактором является русская революция».

Макдональд только потому приветствовал русскую революцию, что ему казалось, что она прекратит мировую войну, которую сам Макдональд «средствами внутренней агитации» прекратить не решался. «Русская революция должна встать во главе движения за мир, за демократический мир. Временное правительство должно выступить инициатором мира, оно должно об'единить вокруг себя все силы, стоящие на платформе мира в других воюющих странах. И тогда война прекратится».

Пришла Октябрьская революция, началась великая освободительная война рабочих и крестьян России против капиталистов и помещиков. И Макдональд перепугался и отказался от всех своих симпатий по отношению к Октябрьской революции. Ибо рассказ о том, что он сочувствовал Октябрьской революции, легенда, которую биограф Макдональда естественно очень легко опровергает. Мы видели, что он эту революцию приветствовал только потому, что она казалась ему началом конца мировой войны.

Пацифистский оппортунист жалко запутался в вопросе русской революции. Еще более запутался он после окончания мировой войны, когда жизнь этого лучшего из миров никак не хотела входить в нормальное русло, хотя ведь было приостановлено главное бедствие капиталистического мира — война.

На 2-ом конгрессе Коммунистического Интернационала Владимир Ильич говорил о Макдональде (цитируем подробно, ибо эта характеристика Макдональда, сделанная великим вождем пролетарской революции, именно в настоящий момент необычайно ценна и важна):

«В пример того, до какой степени господствует еще оппортунизм среди партий, желающих примкнуть к III Интернационалу, до какой степени далека еще работа иных партий от подготовки революционного класса к использованию революционного кризиса, я приведу вождя английской «Независимой рабочей партии» Рамзея Макдональда. В своей книге «Парламент и революция» (вышедшей в 1919 г. — Н. К.), посвященной как раз коренным вопросам, занимающим теперь и нас, Макдональд описывает положение дел приблизительно в духе буржуазных пацифистов. Он признает, что революционный кризис есть, что революционное настроение растет, что рабочие массы сочувствуют советской власти и диктатуре пролетариата (заметьте: речь идет об Англии), что диктатура пролетариата лучше, чем теперешняя диктатура английской буржуазии.

Но Макдональд остается насквозь буржуазным пацифистом и соглашателем, мелким буржуа, мечтающим о внеклассовом правительстве. (Разрядка наша — Н. К.). Макдональд признает классовую борьбу только, как «описательный факт», подобно всем лгунам, софистам и педантам буржуазии. Макдональд проходит молчанием опыт Керенского и меньшевиков с эсерами в России, однородный опыт Венгрии, Германии и т. д. на счет создания «демократического» и, будто бы, внеклассового правительства. Макдональд усыпляет свою партию и тех рабочих, которые имеют несчастье принимать этого буржуа за социалиста и этого филистера за вождя, словами: «Мы знаем, что это (т. е. революционный кризис, революционное брожение) пройдет, уляжется». «Война-де неизбежно вызвала кризис, но после войны, хотя бы и не сразу, «все уляжется!»

И так пишет человек, являющийся вождем партии, желающий примкнуть к III Интернационалу. Мы имеем здесь редкое по откровенности и тем более ценное разоблачение того, что наблюдается не менее часто на верхах французской социалистической и германской независимой с.-д. партии, именно: не только неумение, но и нежелание использовать в революционном смысле революционный кризис, или, другими словами, и неумение и нежелание вести действительно революционную подготовку партии и класса к диктатуре пролетариата». (Рарядка наша. См. Ленин. Сочинения. Новое изд. Том. XXV, стр. 341).

Да, здесь действительно отмечены две основные черты политической деятельности Макдональда: вера в то, что «все уляжется» (недаром нарисованный гениальной рукой Льва Толстого мелкий буржуа и филистер Стива Облонский верил в то, что «все образуется!») и нежелание и неумение использовать в революционном смысле революционный кризис!

При такой установке совершенно ясно, что представлял собой Рамзей Макдональд до того, как он стал первым министром его британского величества, когда он ждал чести поцеловать «августейшую» руку в оппозиционной передней: он был в буквальном смысле слова вождем оппозиции не его величеству, а его величества. Он был продолжателем традиции консервативной и либеральной партий, согласно которой одна партия правит, а другая дружески критикует, памятуя о том, что придя к власти, она будет делать то же самое, что правительственная партия, а потому слишком резко критиковать не в интересах самой оппозиции.

В «оппозиции» Макдональд фактически поддерживал всю внешнюю и внутренюю политику сначала коалиционного (Ллойд-Джорджа), а затем консервативного (Бонар Лоу и Болдуин) правительств, а в области внутренней политики он требовал таких скромных реформ, что решительно все быстро и радикально забыли пацифистические и псевдо-революционные «грехи» Макдональда. В книге В. И. Ленина «Детская болезнь левизны и коммунизм» между прочим говорится:

«Что Гендерсоны, Клайнсы, Макдональды, Сноудены безнадежно реакционны, это верно. Так же верно то, что они хотят взять власть в свои руки (предпочитая, впрочем, коалицию с буржуазией), что они хотят «управлять» по тем же стародавним буржуазным правилам, что они неминуемо будут вести себя, когда они будут у власти, подобно Шейдеманам иНоске». (Новое изд. Том XXV, стр. 220).

Исходя из социально-политической природы Макдональда, великий вождь пролетарской революции предсказал, что он возьмет власть исключительно, чтобы править по-буржуазному. При этом очень характерно, что Ленин подчеркивает стремление Макдональда к коалиции с буржуазными партиями. Как это удивительно метко подмечено: Макдональду с 1923—24 гг., действительно, не хочется оставаться наедине не только с рабочими, но и с своей собственной партией!

Зима 1923 г. В доме английского банкира средней руки идет беседа о политическом положении. Общие выборы оставили до сих пор правившую партию консерваторов в меньшинстве, и правительству Болдуина, очевидно, придется уйти в отставку. Впервые в истории Англии «рабочая» партия может очутиться у власти. Макдональд может стать премьером. И вот биограф Макдональда, Агнеса Гамильтон, приводит очень любопытный разговор на тему о пригодности Макдональда к должности премьера в доме банкира. Если этот биограф выдумал весь разговор, то тем хуже для Макдональда. Ибо тогда, стало быть, так должны в мечтательном воображении лейбористов говорить об их вожде банкиры!

«Самое любопытное в Макдональде, — говорит наш банкир, — это то, что его приходится любить, что приходится отвлечься в беседе

с ним от его политики. Это не значит, что он не принимает политики всерьез: он, несомненно, готов преследовать свою цель до самого конца, пока он не свалится в пути. В чем я, однако, сомневаюсь, это в тщеславии Макдональда. Я думаю, что он во всяком случае недостаточно тщеславен. Тщеславные люди, обыкновенно, преследуют только одну цель, Макдональд же сразу преследует много целей. Поглядите, например, на поведение Макдональда во время войны. Ведь оно доказывает, что Макдональд не фанатик. Фанатики добиваются своей цели любой ценой и они люди неприятные. Между тем Макдональд — человек приятный. Он почти всем нравится... Я не думаю, чтобы, например, Ленин показался нам приятным». (Разрядка наша — Н. К.).

Участвующий в разговоре некий майор добавляет несколько штрихов к портрету Макдональда, нарисованному банкиром:

«Макдональд восхитительная душа общества. Он великолепно играет в гольф, что окончательно завоевывает ему сердца. Это человек, который хорош для любого дела, за которое он берется».

Биограф Макдональда, конечно, в восторге от этого разговора, который, мол, доказывает, что у Макдональда все качеста для премьерства. Довольно красивый, обходительный, нравящийся женщинам «большого света», великолепный «разговорщик» в обществе, недурной оратор (правда, он несколько угрожающе произносит букву «rrr» (ррр) в слове «labour» (труд), но ведь это обычное произношение шотландцев! Почему Макдональду не быть премьером? Правда, партия несколько колеблется брать власть: под влиянием осторожного Гендерсона партия даже почти было совсем решилась власти не брать, поскольку она находится в зависимости от либералов. Но Макдональд сумел в несколько минут переубедить своих товарищей по партруководству, прельстить их министерскими креслами.

Впервые в истории Англии рабочая партия взяла власть. Что же из характеристики нового премьера, сделанного банкиром, мы могли уже заключить, что никто решительно не испугался этого прихода к власти «рабочего» правительства. Следует отдать Макдональду справедливость, он принял все меры при образовании правительства, чтобы успокоить буржуазию, если у нее были еще кое-какие сомнения насчет его лойяльности. Макдональд передал ряд наиболее важных для буржуазии мест ее империалистическим представителям. Флот был, например, поручен лорду Черисдорфу, министерство по делам Индии сэру Оливье, бывшему губернатору Ямайки. Министр финансов консервативного правительства, небезызвестный Роберт Хорн, рассказывал тогда (см. «Нейе Фрейе Прессе» 2/VII 1924 г.), что некоторые капиталисты начали вывозить свои капиталы в Америку, боясь реформаторского энтузиазма рабочей партии.

«В этом положении успокаивающим обстоятельством явился факт, что рабочая партия не имела правительственного большинства, при помощи которого она могла бы провести свою реформаторскую политику. Это обстоятельство уменьшило беспокойство, но не устранило его совсем. Известно, что тогда значительные суммы денег были вывезены из страны, которая стояла перед политическими потрясениями, в страны, в которых отношения были более прочными. Влияние этого движения капитала нашло свое выражение в изменениях стоимости фунта стерлингов. 6 декабря, в день выборов, фунт стерлингов имел цену 4,38 доллара и на этом уровне он держался с малыми изменениями десять дней. Когда стало ясным, что страна получит рабочее правительство, фунт стал падать и в день отставки Болдуина был равен 4,20 доллара. Но когда стало известно, что в правительство входят лорд Альдени, лорд Чермсфорд и лорд Пармур, мужество вернулось в сердца деловых людей, капитал перестал утекать за границу и фунт поднялся до 4,30».

Основным фактом при образовании первого «рабочего» правительства было оставление в полной неприкосновенности всего политически-административного аппарата буржуазии. Ни один чиновник не был смещен, ни один дипломат не был отозван! Этим была дана гарантия полной неизменности английской империалистической политики. При таких условиях была полная гарантия, что никакие реформы осуществлены не будут, даже если бы Макдональд попробовал их осуществить, в виде тихого, но верного саботажа аппарата.

Главный орган империалистической английской буржуазии «Таймс» приветствовал первое «рабочее» правительство статьей, которую стоит именно теперь перечитать (передовая от 23/I—1924):

«В таком положении, когда повелительной необходимостью во всем мире является мудрая и широкая государственная политика, Англии впервые в ее истории предназна-

чено увидеть во главе правительства рабочую партию. Это новое развитие нашей конституционной жизни вызывает глубокий интерес, не без примеси некоторой тревоги. Оба эти чувства еще обостряются вследствие исключительной трудности и ответственности момента. Воззрения рабочей партии на «капитал», под которым она подразумевает частную собственность и неопытность ее вождей в практике управления, несомненно, оправдывают некоторую тревогу. Однако, мы совершенно отказываемся разделять страхи, высказываемые некоторыми трусливо настроенными лицами. Нет решительно никаких серьезных оснований сомневаться в том, что рабочие вожди обладают достаточной долей врожденной рассудительности и здравого смысла, чувством корректности и гражданского долга, которые врождены нашим согражданам и которые являются основной базой британской государственности. Некоторые из их вождей уже доказали, что они обладают этими качествами. Мы смеем надеяться, что эти вожди не являются исключением.

Если руководители рабочей партии не обладают опытностью в некоторых областях государственной жизни, то они смогут использовать опыт государственных департаментов, во главе которых они будут стоять (т. е. попадут во власть буржуазного аппарата — Н. К.). Конечно, и рабочие министры будут делать ошибки, так как все министры делают ошибки, но они будут работать под контролем оппозиционного большинства, которое достаточно сильно, чтобы свалить их в случае, если они пустятся в какую-либо рискованную авантюру».

Совершенно излишни комментарии к этой статье, ибо совершенно точно, с циничной откровенностью, сказано в ней, почему английская буржуазия допустила Макдональда и первое «рабочее» правительство к власти: она была уверена, что эта власть будет ее же властью.

Правда, настроение в широких рабочих массах было таково, что приходилось говорить, по крайней мере, о реформах. Заговорил о них очень осторожно и Макдональд в своей первой правительственной декларации. Изложение своей программы Макдональд начал указанием на то, что с приходом к власти рабочего правительства правительственные ценности поднялись в курсе. Макдональд выразил по этому поводу благодарность здравому смыслу деловых кругов, которые сумели убедить держателей ценностей не поддаваться бессмысленной панике и не переводить капиталов за границу. Вспомним о цитировавшейся нами выше статье Хорна! «Рабочее правительство, — сказал Макдональд, — будет преследовать политику спокойствия и доверия, доверия со стороны рабочих». Рабочие, мол, имеют к буржуазии доверие, что она позволит произвести некоторые реформы в жилищном вопросе, в вопросе обеспечения безработных и т. д. Главное свое внимание Макдональд в первом правительстве, как известно, посвятил вопросам внешней политики, в частности признанию СССР и переговорам о торговом соглашении с советским правительством.

Девять месяцев просуществовало первое «рабочее» правительство и пало, выполнив социально-политическое задание буржуазии. Печален баланс первого премьерства Макдональда, прочистившего дорогу консервативному правительству, засевшему крепко на целых четыре года.

В области внутренней политики «рабочее» правительство и сам Макдональд были заняты, главным образом, заботой не дать обостриться классовой борьбе. Мы уже видели в характеристике В. И. Ленина, что для Макдональда, как и для любого мелкого буржуа, классовая борьба есть «описательный факт» Рабочие, правда, наивно полагали, что раз у власти «рабочее» правительство, то они могут бастовать, но Макдональд скоро их в этом разубедил. Во время февральской забастовки докеров (1924 г.) Макдональд заявил: «Правительство не преминет принять меры, необходимые для обеспечения подвоза продуктов питания, и уже создало основы для соответствующей (т. е. штрейкбрехерской — Н. К.) организации». Когда нависла угроза забастовки лондонских рабочих транспорта, правительство отдало приказ о привлечении войск к работе на городском транспорте. На конференции независимой рабочей партии Макдональд заявил: «Мы добиваемся того, чтобы промышленность служила не ареной борьбы между рабочими и капиталистами, а ареной сотрудничества между ними». Читатель видит, что глава рабочего правительства и рабочей партии предвосхитил идеи о «сотрудничестве и мире в

промышленности» покойного лорда Мельтчетта (Альфреда Монда). Недаром руководящий экономический журнал Англии «Экономист» заявил текстуально (см. номер от 19 апреля 1924 г.): «Если посмотреть на положение в целом, то правительство (Макдональда) заняло по отношению к забастовкам энергичную и мужественную позицию и создало убеждение, что оно не хуже правительства всякой другой партии решило во всех этих кризисах поставить на первое место национальные интересы» (т. е. интересы тонкой прослойки промышленно-финансовой буржуазии — Н. К.). И прав был Ллойд-Джордж, когда он писал про первое «рабочее» правительство Англии: «Если иностранцы смотрят на великую Британию в надежде увидеть, как в этой великой стране развивается социалистический эксперимент, то они будут разочарованы. Социалистический эксперимент еще не начался (между тем статья написана к полугодию существования «рабочего» правительства! — Н. К.). Ни один садовник не проявил столько ласковой заботы по отношению к растению, сколько их проявляет английское рабочее правительство по отношению к капитализму. Оно избегает всякой опасности нанести ему ущерб. Если для развития капитализма сделано еще немного, то причиной этого является не ненависть к нему, а неспособность» (см. «Нейе Фрейе Прессе» от 10/VIII — 1924 г.).

Макдональд был, как известно, министром иностранных дел первого «рабочего» правительства. Он, стало быть, отвечает в особенности за внешнюю политику этого правительства. Уже во времена первого «рабочего» правительства центром английской внешней политики являлись отношения к САСШ. Еще более эти отношения стали краеугольным камнем внешней политики второго «рабочего» правительства. Английская буржуазия давно уже убедилась в том, что борьба с американским империализмом для нее опасна, что надо любой ценой добиться соглашения с САСШ, причем тогда, т. е. во времена первого «рабочего» правительства, Англия принимала меры, чтобы в соглашении с САСШ сохранить за собой руководящие позиции. Еще до своего прихода к власти Макдональд напечатал в «Нью-Йорк Ворльд» ряд статей (октябрь-ноябрь 1923 г.), в которых он убеждал САСШ пойти на союз с Англией. Понимая, что САСШ не хочет итти на союз с какой-либо европейской державой, Макдональд, выполняя социально-политический заказ английской империалистической буржуазии, уговаривает американцев, что на союз с Англией, когда ею будет править «рабочее» правительство, мол итти можно. «Ни одна партия, — убеждает Макдоналд нью-йоркских банкиров, — не будет так точно выполнять международные обязательства, как рабочая партия. Наше рабочее движение не имело никогда склонности искать коротких дорог к тысячелетнему царству, а если бы имело такую склонность, то русский пример вылечил бы его от нее». И вот именно Макдональд, став во главе правительства, способствует принятию плана Дауэса, т. е. проникновению американского капитала в Германию при закабалении германских рабочих масс. Правда, при этом Макдональд добился очищения Францией Рурской области. Но и здесь не надо питать никаких иллюзий насчет миротворчества Макдональда: он сделал это для того, чтобы ослабить Францию, гегемония которой в Европе становилась уже тогда угрожающей для Англии. «Задача Англии, — сказал тогда Макдональд, — состоит в том, чтобы создать в Европе известное равновесие сил». Равновесие сил (balance of powers) — традиционная политика английского империализма!

По отношению к СССР Макдональд осуществил политику признания, но и здесь он не сказал нового слова: он продолжал политику английской буржуазии, начатую еще Ллойд-Джорджем. При этом он пускал в ход те же оговорки, что и Ллойд-Джордж. Ллойд-Джордж говорил, что если можно торговать с готентотами, то почему мол нельзя торговать с большевиками. Макдональд по своему романтическому характеру облекал эту оговорку в слова: «Если вы меня спросите, нравятся ли мне большевики, то отвечу: нет, не нравятся, но это не значит, что мы не должны поддерживать дипломатических отношений с их правительством». Макдональд так же, как и Ллойд-Джордж, выступал в защиту интересов английских капиталистов, пострадавших от русской революции: его формула признания нашего внутреннего законодательства является лишь расширением пресловутой формулы, выработанной Ллойд-Джорджем в Генуе. Мало того, Макдональд шел на признание СССР только под давлением левой части рабочей партии, мы увидим затем, что освободившись затем от этого давления, он занял по отношению к СССР (в свое второе премьерство) еще более двусмысленную позицию. Но и тогда Макдо-

нальд дважды высказался в палате против гарантий русского займа и тем фактически заранее благословил политику Болдуина, Чемберлена и Джойнсона Хикса, работавших на орыв англо-советских торговых отношений.

Мы не будем здесь подробно разбирать политики Макдональда по отношению к другим странам, не будем прогуливаться по странам и континентам. Известно, что его политика была продолжением английской империалистической политики. Такова же была его колониальная политика. Мы уже говорили, что все дипломаты и колониальные администраторы Англии остались на своих местах. Это является наилучшим доказательством того, что Макдональд продолжал дело английской буржуазии в том же духе, в каком его делал до него и после него Болдуин, глава консервативного правительства. Недаром бывший французский посол в СССР Эрбетт, который во время падения первого правительства Макдональда был передовиком органа парижской биржи «Энформасион» писал тогда (10/X — 1924 г.), что «нападки консерваторов и либералов на правительство Макдональда несправедливы. Это правительство не проявило революционности в вопросах внутренней политики и действовало с чрезвычайной осторожностью в вопросах внешней политики». Эрбетт подчеркивает, что британская империя имела мало правительств, которые так соблюдали бы традиции британской политики, как правительство Макдональда. Бывший посол Франции в СССР (ныне ее посол в Мадриде) перечисляет заслуги Макдональда в деле усовершенствования армии и флота, восхваляет его энергию, проявленную им во взаимоотношениях с Индией и Египтом и т. д. К этой характеристике одного оппортуниста-империалиста другим империалистом почти ничего нельзя прибавить. И право сменовеховское «Накануне» (февраль 1924 г.), которое указывало, что английской буржуазии в Макдональде «не нравится только то, что премьер ездит в третьем классе, куда к нему из первого класса приходят с докладами фешенебельные секретари и шефы разных бюро, в большинстве удержанные рабочим правительством на своих старых местах». Английские буржуа больше всего озабочены тем, что подумают об Англии за границей, когда узнают, что премьер величайшей империи ездит так скромно и «непредставительно». Сменовеховский журналист ошибается: английская буржуазия совершенно не озабочена тем обстоятельством, что Макдональд ездит третьим классом: она великолепно знает, что это необходимо для поддержания «контакта» с народными массами, для изображения народного и рабочего характера правительства Макдональда. Английские буржуа, как мы знаем из соответствующего заверения биографа Макдональда, убедились давно, что Макдональд соблюдает все правила этикета и, например, не является в парламент в мягком воротничке или без цилиндра. Первый класс Макдональд меняет на третий, исключительно сообразуясь с жизненнейшими интересами буржуазии, которой он служит.

Когда Рамзей Макдональд стоял во главе первого «рабочего» правительства, он любил подчеркивать, что его правительство есть правительство меньшинства. От правительства же меньшинства нельзя, мол, требовать такой решимости, такой последовательности, каких можно добиваться от правительства, имеющего большинство в парламенте. Наш разоблачающий Макдональда биограф сообщает нам даже, что Макдональд вычитал еще в сочинениях греческих философов-демократов, что правительство меньшинства не имеет права вести решительную политику, что такое поведение было бы нарушением канонов демократии. В своей речи в августе 1925 г. при открытии школы независимой рабочей партии Макдональд уже после своего падения вернулся к вопросу о невозможности мол «сразу прыгнуть в социализм». «Социалисты, — говорит он, — должны были решить, в каком состоянии ума и миросозерцания должны они итти по своему пути к социализму. Неужели могли они, действительно, думать, *даже если бы они имели социалистическое большинство*, что они могли бы в течение одного или двух лет радикально изменить экономические и политические условия своей страны и создать социалистическое государство? Он, Макдональд, в это не верит, если бы даже произошла революция, неужели бы им удалось создать социалистическое государство? Нет, они не могли создать социалистического государства!».

Мы видим, что даже при наличии социалистического большинства в парламенте, *даже при наличии социалистической революции* Макдональд не может создать социалистическое государство. Но почему?!

«При построении социалистического государства социалистам пришлось бы иметь дело с обычаями, предрассудками и ожиданиями больших народных масс. В тот момент, когда массы

были бы разочарованы, им пришлось бы уйти. Российская революция не изменила образа мышления русских крестьян. В России они (очевидно, большевики — Н. К.) установили свои основные законы, затем начали отступать, пока они не остановились на некоем твердом фундаменте, на котором они и начали строить, но им легче было найти этот фундамент, чем это могло бы найти любое рабочее правительство в стране, где не было революции, если только считать, что общественное мнение, породившее рабочее правительство, было разумным. Надо всегда принимать во внимание, что он, Макдональд, не коммунист, что он имеет мало общего с коммунизмом. Коммунисты говорят, что они социалисты. Конечно, это верно, но не это основное в коммунизме. Самым характерным в коммунистах является их вера в то, что можно силой завоевать мир. Конечно, это можно сделать, но социалисты не для того созданы, чтобы завоевывать мир. Они созданы для того, чтобы его переделать, между тем как завоевывать мир и переделывать его — две совершенно различные вещи».

В этих трескучих, порой совершенно бессмысленных словах весь Макдональд. Дело в том, что Макдональд не желает ни завоевывать, ни переделывать сей лучший из миров, капиталистический мир. Дело, конечно, не в том, что его правительство было правительством меньшинства. После падения первого «рабочего» правительства, так называемая «демократическая» печать всего мира (например, германская «Франкфуртер Цейтунг») выдала Макдональду незавидный аттестат, что даже при своем положении в палате общин, даже при зависимости от либералов он мог провести целый ряд реформ, мог провести улучшения социального и бытового законодательства, которые либералы должны были бы поддержать. Макдональд не только этого не сделал, но даже доказал, что его правительство, если сравнить с другими демократическими правительствами (например, правительство Комба во Франции), даже не сделало попытки проявить свое бытие демократического реформаторского правительства.

Если во время первого «рабочего» правительства можно еще было гадать, почему Макдональд не пожелал пойти путем, если не социализма, то демократических реформ, то во время второго «рабочего» правительства, весь мир получил весьма точный ответ на этот вопрос. Правда, когда Макдональд стал во главе второго «рабочего» правительства, он также не имел в парламенте большинства. Но он вернулся во главе сильной партии, он имел уничтожающий консервативное правительство приговор избирателей и даже у греков демократов-философов закреплено право Макдональда делать при таких условиях свою политику. К тому же Макдональд взял власть в условиях наростающего экономического и социального кризиса. Но здесь и стало действовать то, что В. И. Ленин назвал не только неумением, но и *нежеланием* использовать революционные условия для революционных решений. Несмотря на то, что он вернулся к власти в изменившихся условиях, Макдональд говорит опять тем же самым приниженным и извиняющимся тоном, что и в первый раз, когда он взял власть и стал немедленно извиняться перед буржуазией за рабочих, осмелившихся мол прогнать с министерских кресел благородных лордов и депутатов консервативной партии. Тогда он говорил о спокойствии и доверии рабочих (к буржуазии, очевидно), теперь же он сказал: «Я хочу сказать и говорю это не только потому, что я возглавляю лишь меньшинство, но и потому, что эта идея должна быть в мыслях всякого, кто понимает чрезвычайную серьезность проблем, стоящих перед нашей страной. Нам всем следует рассматривать себя скорей как государственный совет, нежели как стоящие друг против друга армии, готовые вступить в бой. Поскольку дело касается нас, рабочей партии, мы охотно примем сотрудничество. Пусть творческая мысль всех депутатов пойдет в общий котел и даст то общее законодательство, которое послужит на благо нации».

Неверно представление, что Макдональд лишь в августе 1931 г. стал во главе первого в истории Англии «общенационального» правительства. Фактически он стоял во главе такого правительства уже 27 месяцев, т. е. все время существования второго «рабочего» правительства. Ибо если при первом правительстве он находился в зависимости от либералов, то при втором правительстве он находился в буквальном смысле слова в добровольном плену у консерваторов. Ибо Макдональд считал себя представителем интересов всей нации, он считал, что ему надо доказать буржуазии, что он подходит к роли защитника общенациональных интересов. Поскольку для него нация, естественно, сливается с представителями биржи и промышленности, то получается, что озираться на нацию, значит озираться на консерваторов, представителей этих «руководящих» слоев нации.

Зависимость Макдональда от консерваторов во время второго «рабочего» правительства проявилась в самом начале существования этого правительства, когда Макдональд в отличие от своего поведения в 1924 г. стал вертеть и хитрить в вопросе восстановления дипломатических отношений с Советским Союзом. В этой антисоветской политике Макдональда отразилась вся его политика вообще, внутренняя и внешняя. Как ни робка была «советская политика» Макдональда первого периода, он не посмел ее повторить во второй период. Точно так же не посмел он защитить и восстановить права тред-юнионов, попранные консервативным правительством Болдуина. И, наконец, не посмел он внести каких-либо новых элементов в свою внешнюю политику. Вспомним о политике второго «рабочего» правительства в Гааге, о развитии при нем англо-американских и англо-французских отношений. Можно смело без преувеличений сказать, что так бы эти основные линии английской внешней политики развивались и при любом консервативном правительстве.

При таких условиях не приходится удивляться тому, что когда Макдональд второй раз взял власть, то буржуазия встретила его совсем как своего человека. Мы видели, как при образовании первого «рабочего» правительства буржуазия испугалась было, как стали вывозить английские капиталы в Америку. В 1929 г., при образовании второго «рабочего» правительства, ничего подобного не повторилось: в номере «Обсервера» (консервативная газета) от 9/VI 1929 г. мы находим ряд отзывов промышленников о втором «рабочем» правительстве. Сэр Джон Коркерен, директор союза текстильных фабрикантов, заявляет: «Я считаю, что Макдональд хорошо подобрал состав своего кабинета. Например, выбор мистера Томаса в качестве министра по делам безработицы лучшая гарантия для промышленников, что мы избавлены от опасности быть подверженными какими-либо скороспелыми экспериментами. Г. Сноуден имеет здоровые финансовые принципы и не будет обременять промышленности налогами, которые препятствовали бы ее развитию. Мистер Грехем, несомненно, будет с успехом руководить министерством торговли». Другой не менее почтенный джентльмен, сэр Стенлей Мешинг, председатель ассоциации британских торговых палат, заявил репортеру «Обсервера»: «Я нисколько не обеспокоен. Я считаю, что нынешнее правительство будет куда более умеренным, нежели многие рассчитывают, и путем лояльной совместной работы со всеми патриотическими элементами оно осуществит большое дело». Промышленник и капиталист оказались куда дальновиднее вожаков Второго Интернационала, ибо они и раньше знали хорошо Макдональда (иначе они не допустили бы его к власти и в первый раз!), а после первого «рабочего» правительства и после пребывания Макдональда на посту оппозиции его величества хорошо раскусили, что Макдональд мечтает быть вождем «общенационального», т. е. стопроцентного буржуазного правительства.

Как смешно теперь, когда эти мечты Макдональда исполнились и дан последний штрих его политического портрета, читать то, что писали про Макдональда и его правительства в 1929 г. герои Второго Интернационала! 1 января 1929 г. все руководящие органы Второго Интернационала поместили огромную статью Карла Каутского. В той самой «Арбейтер Цейтунг», которая теперь с ревом и стенаниями отмежевывается от Макдональда и указывает в списке министров нового правительства партийность Макдональда словами «до сих пор член рабочей партии», в этом австромарксистском органе статья Каутского была помещена как некое грандиозное откровение и политическое завещание «учителя марксизма». Что же писал тогда Каутский? Если статьи В. И. Ленина необходимо постоянно перечитывать, чтобы понять, каким глубоким взором смотрел вдаль вождь пролетарской революции, то статьи Каутского стоит перелистать для того, чтобы убедиться, как неизменно сидят вожди Второго Интернационала у своих разбитых корыт. «Конечно, новое рабочее правительство не будет в состоянии делать чудес и одним взмахом устроить рай на земле. Но по самой своей природе оно должно будет стремиться придать курсу внутренней и внешней политики Англии совершенно новое направление, прямо обратное нынешнему. (Любопытно, что и демократическая «Берлинер Тагеблатт» тоже заверяла своих читателей, что мол не может быть, чтобы Макдональд на этот раз не взял курса на политику внутренних реформ и умиротворения Европы — Н. К.). Весь вес государственной власти необ'ятной мировой империи Великобритании, служащий в настоящее время интересам крупных эксплоататоров, будет поставлен на службу интересам трудящихся классов не только проведением социальных реформ, но и поддержкой как демократических движений против фашизма и империализма во всем мире, так и движения в

пользу мира. Вместо того, чтобы расточать экономические силы нации в бессмысленной скачке вооружений и тем усиливать военную опасность, рабочее правительство будет черпать в энергичном разоружении средства для широких социальных реформ и своим примером заставит и все другие, демократически управляемые народы поступать таким же образом».

Так писал Карл Каутский при образовании второго «рабочего» правительства и ему вторила не только вся социал-фашистская, но и вся просто левобуржуазная печать мира. Но прошло 27 месяцев и мы читаем, например, в «Арбейтер Цейтунг»: «Сколько предложений правительства, сколько хороших намерений, а в результате недостойные обескураживающие поражения». Но были ли, действительно, хоть хорошие намерения? Не прикрашивает ли «Арбейтер Цейтунг» действительность в пользу Макдональда, хотя называет его и бывшим членом рабочей партии, т. е. бывшим лишь членом Второго Интернационала? Конечно, орган австромарксистов не только прикрашивает, но просто искажает действительность. Вот, например, в передовой Теодора Вольфа, главного редактора «Берлинер Тагеблатт», газеты, которая, как известно, тоже ждала от Макдональда великих реформ, но не обязана по партийно-политическим соображениям щадить его, сказано: «Это (образование нового правительства) есть окончательная сдача компромиссной натуры, подверженной жестоким припадкам». Свой своего узнал: «демократ» Вольф, сам очень похожий характером на Макдональда, узнал своего собрата мелкого буржуа, который иногда подвержен припадкам протеста против капиталистического строя, но в общем всегда готов к компромиссу, ибо он не мыслит своей жизни, ни личной, ни политической, вне этого строя. А орган германской тяжелой промышленности «Дейтче Альгемейне Цейтунг» сопоставляет Макдональда с вождем новой оппозиции Артуром Гендерсоном и откровенно цинично заявляет: «Оба они служат интересам Англии и между ними лишь происходит разделение труда!»

Когда Людовик XVI призвал в качестве министра финансов Тюрго, великий предшественник французской революции Вольтер писал: «Я верю в него, ибо хотя я и не знаю, что он сделает, но я знаю, что он будет делать как раз противоположное тому, что делалось до сих пор». Про появление Макдональда во главе «общенационального» правительства можно сказать как раз наоборот: нельзя верить в то, что ему удастся что-либо сделать, ибо он будет как глава общенационального правительства делать решительно то же самое, что он делал как глава второго «рабочего» правительства. Макдональд органически не способен идти какими-либо новыми путями. Недаром В. И. так презрительно отозвался о Макдональде, этом буржуа, которого считают социалистом, и филистере, которого считают вождем. Мы выше указывали на основные черты внешней и внутренней политики Макдональда в бытность его во главе первого «рабочего» правительства. Основные черты политики его второго правительства еще очень свежи в памяти, чтобы стоило их повторять: огромные цифры безработицы, падение жизненного уровня рабочего класса, смягчение налогового обложения буржуазии, ущемление прав профессионального движения, — в области внутренней политики, — продолжение вооружений, провал всяких попыток к смягчению межимпериалистических противоречий и продолжение политики империалистического гнета в Индии, Египте и колониях — в области внешней политики, вот прискорбный баланс второго правительства Макдональда, весьма напоминающий баланс консервативного правительства Болдуина, когда оно уступило место Макдональду. Обыкновенное буржуазное правительство, попавшее из огня да в полымя в условиях жесточайшего социально-экономического кризиса, безуспешно применявшего всякие знахарские опрыскивания с уголька, где надо было применить требования современной классовой борьбы в революционном кризисе. Макдональд может ответить: «Чем я виноват, что правил в условиях кризиса. Не было бы кризиса, быть бы мне великим государственным политиком».

И действительно, ведь величайшим государственным деятелем Англии считается исторический вождь английского либерализма Гладстон. Недаром биограф Макдональда Гамильтон, конечно, пытается найти в Макдональде черты, общие с Гладстоном. Но если хорошенько порасспросить английского буржуа, то он в конце концов так и не сможет ответить на вопрос, чем собственно говоря, был велик Гладстон. Ни одно большое начинание Гладстону не удалось. Ничего от него, кроме нескольких ханжеских книг и воспоминания о пустозвонком ораторском таланте, и не осталось. Прямо умилительно читать, как биограф Макдональда цитирует заявление Stanley Leathes'a (из книги The People on his trial), что «Гладстон не сде-

лал и не хотел сделать что-нибудь великое». То же самое, если уже сравнивать Макдональда с Гладстоном, можно сказать и про Макдональда. «No great thing he did or wanted to do».

Можно смело сказать, что если бы не было бы гигантского социально-экономического кризиса, потрясшего Англию, если бы Макдональд жил в спокойных условиях периода преуспевающего империализма Викторианской эпохи, то читатели «Британской Энциклопедии» задавали бы о величии Макдональда такие же недоуменные вопросы, что и о величии Гладстона. Но в том-то и дело, что Макдональд живет в эпоху, когда английский капитализм на ущербе, когда он исчерпал себя. Мы видели, что французский коллега Макдональда засвидетельствовал нам, что у буржуазии нет людей, и указал нам, из какого весьма сомнительного склада берет она теперь своих политических вождей. Английская буржуазия взяла Макдональда в главы «общенационального» правительства, ибо этот горе-социалист (по выражению Ленина «буржуа и филистер») является замечательно подходящей вывеской для переходного правительства, предтечи жесткой и жестокой диктатуры промышленно-финансового капитала над трудящимися массами. Макдональд — «социалистическая» этикетка консервативно-либерального правительства. Буржуазному ярко классовому правительству Макдональд в условиях углубляющегося социально-экономического кризиса прочистит путь так же, как его первое «рабочее» правительство прочистило путь консервативному правительству Болдуина, а второе — нынешнему «общенациональному» правительству. Макдональд во главе буржуазного правительства Англии — признак назревания решительных и, быть может, решающих классовых боев. Буржуазия хочет скрыть приближение этих классовых боев. Она хочет сделать их «описательным фактом» и для этого ей понадобился Макдональд. Макдональд — знамение времени, знамение погибающей капиталистической государственности Англии. Если бы Макдональда не было во главе «общенационального» английского правительства, то его следовало бы выдумать. Это не значит, конечно, что буржуазия долго будет держать Макдональда на столь видном посту. При первом удобном случае — когда можно и нужно будет сбросить социалистическую маску — она его скинет туда же, куда его уже скинуло, по формуле Лаваля, рабочее движение.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

На полюсе Востока

М. Тарловский

Есть анекдот о путешественнике, который хвастался тем, что побывал в самом восточном месте земного шара. Ему удалось забрести в такую страну, восточнее которой уже не было. Путешественник уверял, что восток там был со всех сторон: и справа, и слева, и сзади, и спереди. Если бы речь шла не о востоке, а о юге или о севере, анекдот, конечно, потерял бы свою соль. Ибо на земном шаре есть самое «южное» место: это — северный полюс. Здесь, куда ни посмотришь, везде юг... И есть на земном шаре самое «северное» место: это — южный полюс (по обратной причине).

В роли вышеупомянутого легендарного путешественника приходится теперь выступать некому иному, как автору этих строк. Он берет на себя смелость утверждать, что Ферганская долина, где он некоторое время жил и работал, есть самый настоящий полюс Востока. В отличие от завравшегося путешественника, он не станет уверять, что Восток окружал его со всех сторон. Он более скромен: он готов согласиться с тем, что по отношению к нему Афганистан был на юге, Туркменистан — на западе, а Сибирь — на севере. Но признать, что Китай был по отношению к нему на востоке — нет, он не согласен! Ни одна страна не смеет быть восточнее Ферганы. Да здравствует легенда!

Кстати, о легендах. Люди, бывавшие в Фергане и писавшие о ней, в один голос утверждали, что это — земной рай. Ошибка. Что угодно, но только не рай. Скудное воображение религиозных сочинителей приписывает несчастным обитателям рая абсолютное незнакомство с какими бы то ни было видами одежды, не говоря уже о самой скромной хлопчатобумажной ткани. Многие, вероятно, помнят, что после первой же робкой попытки мало-мальски приодеться обитатели рая были из него изгнаны раз и навсегда. Далеко не народный суд того времени присудил им, если можно так выразиться, «минус вечность». Что же общего могут иметь жители Ферганской долины с беспартешными (простите за выражение!) райскими, если они, главным образом, тем и занимаются, что выращивают для самих себя и для всего Советского Союза прекрасную потенциальную одежду — хлопок, если они выкармливают великое множество маленьких мудрых змиев — шелковичных червей — которые опутывают плечи узбекских ев своими тончайшими шелковыми нитями? Нет, очень хороша Ферганская долина, но не будем ее сравнивать с раем. Не будем грешить против истины.

Фергана также относится к хлопку, как Баку — к нефти. Хлопок также относится к Фергане, как нефть — к Баку. Средняя Азия, по пятилетнему плану, должна избавить нашу текстильную промышленность от заграничного сырья. Но советская система производства и культурная отсталость трудящихся — «две вещи несовместные» — как говаривал Сальери. Большой ли будет прок от того, что среднеазиатский хлопковод будет попрежнему считать на пальцах рук, а в отношении важнейших явлений современной общественно-политической жизни пребывать в патриархальном невежестве? Разве не на отсталости и религиозном фанатизме трудящихся Средней Азии играли различные провокаторы времен басмачества? И разве не на тех же печальных особенностях этих трудящихся пытаются играть еще и сейчас тайные противники коллективизации?

Все это учтено. Из всего этого сделаны организационные выводы. Недаром в Средней Азии на народное образование правительством затрачиваются относительно гораздо большие суммы, чем в других частях Советского Союза. Труд педагога, который, наравне с трудом библиотекаря и врача, является в РСФСР одним из наиболее скромно оплачиваемых видов труда, в Средней Азии стоит на одном из пер-

вых мест по своей оплачиваемости. И это при несравненно лучших условиях существования. Иллюстрация: преподаватель (даже не доцент) среднеазиатского высшего учебного заведения вырабатывает по 500—600 рублей в месяц. В Москве он при той же нагрузке зарабатывает втрое меньше.

Нам мало того, что имеющиеся у нас машины производят необходимые нам товары. Нам нехватает самих машин. Производство орудий производства — одна из важнейших задач пятилетки. И это — материал для аналогии: что такое учитель, в частности, кишлачный? Это — машина, производящая народное просвещение. Хватает ли нам этих духовных орудий производства? Нет, нехватает. Что мы, следовательно, должны делать? Мы должны производить эти орудия. Духовное производство духовных орудий духовного производства было поставлено в Ферганской долине в 1930 году. Первого мая здесь открылся Узбекистанский государственный высший педагогический институт города Ферганы, в настоящее время уже преобразованный в Высший педагогический комбинат. Это событие было предвозвещено двадцать третьего марта 1930 года постановлением Совета народных комиссаров Узбекской республики. Вот что говорилось в этом постановлении.

«...Принимая во внимание, что потребность в педагогических кадрах высшей квалификации к концу пятилетки выражается в количестве 4966 человек и что существующая Педагогическая академия (в Самарканде.— М. Т.) удовлетворить этой потребности не сможет — организовать с первого мая в г. Фергане Высший педагогический институт с факультетами школ колхозной молодежи и отделениями: общественно-экономическим и естественно-биологическим».

«...Обеспечить за учителями-студентами сохранение зарплаты по месту работы за все время прохождения теоретического курса обучения за счет тех учреждений, где они работают». (Можно подумать, что это говорится о Харькове или о Пензе: нет, это о Фергане).

На факультет преподавателей школ колхозной молодежи были посланы учителя начальных кишлачных и городских школ Средней Азии. Студентов присылали окружные отделы народного образования по разверстке. Посылали их и из среды окончивших педагогические техникумы.

Самое интересное на этом факультете, пожалуй, то, что он носит характер вуза-предприятия: 5 месяцев (с 1 мая до 1 октября) его слушатели работают в стенах Института, и 5 месяцев (с 1 ноября до 1 апреля) — в школах колхозной молодежи, 5 месяцев учатся, 5 месяцев учат. За 3½ года пребывания в звании студентов они четыре раза переходят от практики к теории и четыре раза — от теории к практике. Четыре раза пересаживаются с классных скамеек за преподавательские столики и четыре раза — из-за преподавательских столиков — на классные скамьи. (Не забывайте: дело происходит в Средней Азии).

Вслед за факультетом преподавателей школ колхозной молодежи в течение пятилетки должен быть открыт факультет внешкольной работы с детьми, организационно-инспекторский факультет, факультет педагогов фабрично-заводской семилетки и педолого-педагогический факультет. (Не забывайте: речь идет о сердце советской Азии!).

Факультет внешкольной работы с детьми должен подготовлять методистов-организаторов внешкольной работы с детьми и с пионерами, в частности, преподавателей пионерского и внешкольного цикла в педагогических техникумах, руководителей краткосрочной подготовки низовых пионерских и внешкольных работников, заведующих домами детских коммунистических организаций, детских технических сельскохозяйственных станций, детских клубов и библиотек. (Помните, что действие происходит в стране, овеваемой дыханием Индии и Афганистана!)

Организационно-инспекторский факультет должен готовить кадры инспекторов-организаторов по линии массовой школы и пунктов ликвидации неграмотности, по линии школ колхозной молодежи, по линии фабрично-заводских семилеток, по линии дошкольного воспитания и политического просвещения (не забывайте, что это говорится о стране, где шесть лет тому назад нельзя было увидеть открытого женского лица!)

Факультет педагогов фабрично-заводской семилетки должен выпускать преподавателей физико-технического цикла и цикла общественно-экономического.

Педолого-педагогический факультет должен выпускать преподавателей педагогики и педологии в педагогических техникумах.

Для чего, спросит читатель, эти назойливые «не думайте, не забывайте?». Извините, читатель. Но язык программ, планов и методов так же един для всех разнообразнейших частей Со-

ветского Союза, как едина для них наша почтовая марка, наша денежная единица, или фуражка нашего красноармейца. Язык системы — един. Но в применении к различным республикам он получает различные оттенки. Ведь эти республики, будучи «социалистическими по содержанию, национальны по форме». И, говоря на сухом языке программы, нельзя забывать тех или иных местных условий, в которых эта программа проводится. В данном случае нам предстоит взглянуть на то, как она проводится среди нашей восточной молодежи. Взглянем хотя бы частично.

Город Фергана, на протяжении своего полувекового существования успевший получить третье название (первоначально — Новый Маргелан, потом — Скобелев), был основан после разгрома Кокандского ханства, который произвел недоброй памяти генерал Скобелев по всем правилам завоевательно-колониальной политики. Город, предназначенный быть резиденцией царского чиновничества, рос, как одинокий, довольно бесплодный, казенный островок, окруженный яркой, густой и широкой стихией узбекской национальной культуры. Русские сатрапы посильно копировали в бывшем городе Скобелеве принятую во всех иностранных колониях зоологическую систему деления города на туземный квартал и обитаемый пришлыми господами «сеттльмент». От тех печальных времен в нынешней Фергане, стершей теперь, конечно, всякие территориальные границы между русским и туземным населением, осталось прекрасное европейское здание бывшей гимназии. Вот здесь-то и разместился Педагогический институт.

Физика знает закон диффузии, закон механического смешивания сообщающихся между собой жидкостей. Люди, которые учатся в Ферганском институте, тоже подчиняются этому закону: они приехали из разных мест, они говорят на разных языках, их культура имеет разные качественные оттенки, но учатся они одному и тому же, цели у них одни и те же, жизнь у них одна и та же, и они скоро делаются похожими друг на друга. Кто сюда едет? — Узбеки (их, конечно, больше всего), таджики, татары, башкиры, киргиз-кайсаки, персы, бухарские евреи. Есть и русские. Откуда едут — с гор, из пустынь, из глухих кишлаков и аулов, из глинобитных домов, из передвижных кибиток и войлочных юрт. Как едут? — на ослах, на лошадях, на верблюдах, в арбах, по железной дороге. С чем едут? — с путевками местных организаций, во многих случаях с комсомольскими, а иногда и с партийными билетами, с начатками европейского образования и опытом преподавания этих начатков детям колхозной бедноты. В каком виде едут? — в халатах, в тюбитейках и бескаблучных сапогах, подпоясанные цветными шелковыми кушаками, а женщины — в десятках мелких тугих косичек (чтобы через два-три дня стыдливо сменить всю эту пестроту на скромный европейский костюм, на обыкновенную прическу). Без чего едут? — часто без денег, часто без уверенности в том, что будут приняты, и — увы! — часто без ясного представления о задачах факультетов и без точного учета собственных научных интересов и склонностей.

Дети полуоседлых отцов в первые дни пребывания в институте часто отдают своеобразную дань кочевым традициям своих родных степей и пустынь: они переходят с факультета на факультет, прислушиваются и к тому, и к другому, прикидывают и так, и этак, пока твердо не решат, кем им хочется быть: дошкольниками, биологами или обществоведами. Эти кочевки разрешаются. Они естественны, и в первые дни для людей, не привыкших к систематическому образованию, даже необходимы. Иное дело — оканчивающие различные техникумы: они вливаются в институт спаянными группами, обычно твердо стремясь на определенный факультет. Новичок такого типа сразу говорит, чего он больше хочет—«как человек лечить, как вода получить, как саранча убить», или «как товарищ Ленин читать, как мулла ругать, как колхоз помогать».

Отдыха Институт не знает. Работает в две годовых смены: одна — летом, одна — зимой. Каждый студент полгода учится, полгода занимается практикой. Каникулярный анабиоз, в который впадают еще и теперь многие наши учебные заведения, здесь неизвестен. Ферганская фабрика педагогических кадров работает с полной нагрузкой. В этом она соревнуется с недавно выстроенным здесь маслобойным заводом. Тот тоже времени даром не теряет. Но учиться в условиях ферганского лета — ведь это подвиг! Ведь это значит — бороться с тропической жарой, работать по ночам, днем задыхаться в тяжелой дремоте, раздирать язвимую москитами кожу, жить в палатках... Да, да, да — и все-таки здесь учатся. Несмотря на все эти трудности, несмотря на то, что стипендия составляет 50 рублей в месяц, около

трети студентов живут здесь со своими семьями, случаи дезертирства крайне редки: не больше одного процента. Когда летом 1930 года четыре самаркандца, под предлогом недовольства своим «жалованьем», как они называли стипендию, уехали во-свояси, им выплатили их «жалованье» в форме такого осуждения, каким можно реагировать только на тягчайшие преступления. По природе экспансивные и вспыльчивые, студенты института, на специально устроенном по поводу этого события собрании, издавали такие возгласы негодования, что их должны были бы слышать улепетывающие юнцы, в это время уже, вероятно, подкатывающие к Самарканду...

Самое трудное для студента, это — язык преподавания. Как Петр Первый выписывал из-за границы немецких профессоров за неимением русских, так и директор Института, А. М. Красноусов, был вынужден за неимением туземных профессоров выписывать из Москвы русских. На понятных для большинства студентов тюрко-татарских языках преподавали еще в 1930 г. только два профессора — Саади и Салиев. Остальные преподавали на русском. То, что они говорили, усваивалось аудиторией в самой незначительной степени. Квалифицированных ассистентов-туземцев не хватало, и переводчиками служили, главным образом, сами студенты. На каждые два десятка человек приходилось, приблизительно, по одному сносно понимающему русскую речь. Чаще всего это были татары, благодаря более близкому территориальному соседству их народа с русским населением.

Русский язык в этих условиях был главным предметом преподавания. Но, к сожалению, состав групп в отношении знания русского языка, да и общего развития, был слишком пестрый. На одну скамью были посажены и кайсак Туракул, знавший дюжину русских слов и незнакомый даже с грамматикой своего родного языка, и узбек Рахимов, со средним образованием, свободно разбирающий любое произведение русской художественной литературы. Этот демократизм, очевидно, нужный при обучении большинству предметов, преподаванию русского языка вредил чрезвычайно. «Кони» и «трепетные лани» Ферганского института на каждом шагу подкрепляли небезызвестное утверждение Пушкина о том, что в «одну телегу» их «впрячь не можно». Правда, в роли доброго «коня»-битюга иногда выступала хрупкая Айша Тухватуллина, которая усваивала преподаваемое, хотя и старательно, но медленно, а в роли «трепетной лани» приходилось выступать кряжистому степняку Тохтамурату Уразу, чрезвычайно легко одолевавшему все премудрости русской грамматики... Но, по существу, это дела не меняло.

По своему звуковому строю, по своей грамматической и смысловой природе, русский язык очень сильно отличается от тюрко-татарских языков. Отсюда — бесконечные недоразумения.

Деления и изменения слов по родам узбеки в своем языке не знают. Склонения — тоже. Последнее у них заменяется системой предлогов. Узбек Абдулла Шадий избран старостой обществоведческой группы. Он гордо произносит — «староста»... Но когда он узнает, что слово «староста» склоняется, как слова женского рода, его возмущению нет пределов: как, он, Абдулла Шадий, ярко выраженный мужчина, и вдруг женского рода! Нет, он хочет называться иначе.

Худайберган Сейд-Мурад, тоже обществовед, решительно заявляет, что ему мало усвоить правило: ему надо знать, откуда это правило, и почему оно такое, а не другое.... Что и говорить — требование вполне законное. Но как ему об'яснить, почему сказать «на углу» — это — правильно, а сказать, «на угле» — неправильно. Ссылка на историю развития русского языка, на рудиментарные остатки вымершего, как допотопное животное, местного падежа, наконец, жалобный намек на исключения, этих козлов отпущения многообразных трудностей нашего языка — все это для Сейд-Мурада неубедительно. А ведь он прав, этот неутомимый аналитик: и. действительно, неубедительно.

Излагается очередное правило.... Иллюстрируется элементарным примером новый оборот речи... «Почему так?» несется через весь класс неудержимый вопль наболевшей Сейд-Мурадовой души. И вот, происходит чудо: в другом углу комнаты поднимается его товарищ Уматулла Садык и, решительно заявив — «я буду об'яснить» — поворачивается к нему лицом и торжественно, философски спокойно, слегка даже иронически, говорит: «Сейд Мурад! по-русски — так. Понял?» То, чего не удалось добиться пространнейшими об'яснениями преподавателя, достигнуто одной репликой Уматуллы Садыка. Сейд-Мурад успокаивается. Он удовлетворен. По-русски — так! Колумбово яйцо стоит непоколебимо. Только кончик его слегка приплюснут... Но уж без этого яйца никак не поставишь.

Со своим «почему так?» Сейд-Мурад и многие его товарищи подходят решительно ко всему. Если бы всю их энергию сконцентрировать в одном пучке, то ее, пожалуй, было бы достаточно для доказательства самых недоказуемых аксиом Эвклидовой геометрии.

Общественный темперамент всех этих людей способен вызвать зависть у самого горячего европейца. Каждый из них — трибун. Он может зажечься ничтожнейшим фактом и, говоря об этом факте, зажечь всех своих слушателей. Пишущий эти строки с восторгом созерцал оратора, который, выступая на одном из студенческих собраний, добрых двадцать минут, горячо поддерживаемый своей аудиторией, демонстрировал перед нею все богатство мимики, жестикуляции и голосовых приемов, которое получил по наследству от лучших мастеров древне-восточной элоквенции. Когда я спросил у переводчика, о чем говорил этот Цицерон Ферганской долины, я узнал, что он говорил о пропавшем у него учебнике...

Преподавая этим людям русский язык, чувствуешь себя все время виноватым перед ними, виноватым в том, что не знаешь их языка. Есть, правда, немало сторонников так называемого натурального метода обучения неродному языку. Его проводила знаменитая школа Берлица. При таком методе можно, пожалуй, почти не знать родного языка своих учеников. Но ведь, этот метод признан крайностью и в чистом своем виде уже почти не употребляется. Господствующие сейчас системы представляют собой сочетание этого натурального метода и метода переводного, того самого, который господствовал когда-то во всех школах. Но если не знаешь языка своих учеников, то изучи, по крайней мере, систему произношения и начертания его звуков и основы его грамматики!. Это совершенно необходимо. Без этого не поймешь природы «акцента» своих учеников, не поймешь механизма их ошибок, не найдешь способов борьбы с этими ошибками.

Когда я спросил узбека Амат-Садыка, борется ли он со своими ошибками, он сказал, что уже несколько раз с ними боролся. В русском выражении «бороться с ошибками» он явно не дочувствовал какого-то нюанса.

Методы социалистического соревнования в отношении этих гордых людей плодотворны чрезвычайно. Группа «б» естественно-биологического отделения по линии успеваемости обскакивает остальные группы. И тот день, когда ее догоняет группа «б» общественно-экономического отделения, для первой группы является днем траура.

Назыр-Азизу сделан упрек в отставании. Назыр-Азиз краснеет от стыда и гнева. На протяжении месяца, в несколько барсовых прыжков, он догоняет многих из своих товарищей.

Абдуразак Вахейд проявляет инициативу. Его толстая записная тетрадь заполняется статьями и стенограммами речей, которые он переписывает из русских газет. Непонятные ему слова он списывает в отдельную колонку. После урока он подойдет к преподавателю и попросит его об'яснить значение этих слов. Абдуразак Вахейд уже не юноша. Он несколько лет занимается культурной работой среди кишлачного населения. Но он далеко не стар еще. Ему лет тридцать. Он высок, у него тонкие черты лица, черные усы, блестящие глаза, высокий лоб, изящные руки. Он красив, этот Абдуразак, к тому же он вежлив и задумчив. Тысячу лет назад он был бы, вероятно, героем «Тысячи и одной ночи». Лет двадцать назад он, может быть, торговал бы на Нижегородской ярмарке тончайшими шелками Востока. Если бы он попал за границу, ему, может быть, пришлось бы позировать для экзотических фильмов. А здесь, сейчас, он только студент, который через два года будет обладать высшим образованием. Но тетрадка с грамматическими упражнениями по русскому языку и с самодельным русско-узбекским словариком для него дороже улыбки Шехерезады или царского патента на вождение караванов с шелками... Когда он спит в своей палатке, он кладет эту тетрадь под изголовье.

Татарка Ямборисова долго жила среди русских. Она довольно свободно говорит на их языке. Она в старшей группе. Когда группа добирается до междометий и постигает, что междометия выражают личные чувства, студенты начинают подбирать примеры употребления различных восклицаний. Узнав, что «ура» выражает чувства энтузиазма и радости, Ямборисова говорит: «Это — теперь. А вот раньше «ура» выражало печаль. Когда царские солдаты шли в бой, они кричали «ура». Разве им было приятно умирать за царя?. Наверно, тогда «ура» означало «вай-вай». Таким образом, ученица пополнила знание своего учителя, который никогда раньше не думал о том, что «ура» означало что-нибудь кроме радости и энтузиазма. А теперь думает.

На том же уроке, когда говорится о том, что после междометий следует ставить восклица-

тельный знак, кто-то серьезно спрашивает: «Значит, лозунги — это междометия?» Понял, да не так.

Один из студентов старшей группы складывает такую фразу: «Национальная свобода — это фантазия всех колониальных народов». Преподаватель (то есть — я) в изумлении. — Почему фантазия? Надо сказать — мечта. — Студент возражает: «а разве это не все равно? В нашем словаре написано: хьуое — мечта, фантазия»... Два разных, но родственных понятия имеют в русском языке два разных обозначения — «мечта» и «фантазия». В узбекском им соответствует одно обозначение — «хьуое». Часто бывает и наоборот. В русском языке, например, нехватает многих слов для перевода с узбекского обозначений различных, часто тончайших, оттенков родства. Понятие «старший брат» обозначается словом «ака» (звучащим, как «ока»), а понятие «младший брат» — словом «укэ» (звучащим, как «юкя»). Если вы пройдетесь по базару, у вас сложится впечатление, что весь город считает вас своим братом, так как узбеки, что постарше, обращаясь к вам, будут говорить — «укэ», а те, что помоложе — «ака». Это аналогично нашим народным «дядькэ» и «сынок».

Гульсун Фарманова плакала. Почему? Потому что товарищи смеялись. Почему они смеялись? Потому что Гульсун Фарманова вместо русского знака «ч» написала на доске знак «c». Почему она написала этот знак? Потому что он означает в ново-тюркском алфавите звук «ч», и Фарманова спутала два одинаковых знака, обозначающих в разных азбуках разные звуки. Почему она спутала? Потому что тюркский алфавит латинизирован недавно, а до этого тюркские народы пользовались арабским алфавитом. Сейчас на занятиях все студенты пользуются латинским алфавитом, но записи, которые не предназначаются для преподавателя, многие из них предпочитают делать арабскими буквами. Это бывает чаще всего тогда, когда надо записать что-нибудь спешно, например, поясняемое правило или перевод быстро произнесенной русской фразы. Иногда видишь, что человек начал записывать новыми латинизированными буквами, как полагается, слева направо. Но, заметив, что он отстает от других, он неожиданно переключается на привычный арабский алфавит и резко переносит руку с левого края строки на правый — ведь арабскими буквами пишут справа налево. Впрочем, надо подчеркнуть, что это делается с явным смущением и только в случае крайней необходимости; или когда, как было сказано, нехватает времени, или когда надо писать письмо домой, где и по-старому-то малограмотны, не говоря уже о новом.

Рахмат-Артык приехал из кишлака. В кетменке он понимает больше, чем в науках. Он ходит босиком. Он — типичный узбекский батрак. По-русски знает слов двадцать. А через несколько месяцев он отличается от студентов Кэмбриджского университета только тем, что он умнее их... Может быть, это — передержка, но ясно одно: Рахмат-Артык, со своим быстрым развитием, в микроскопическом масштабе повторяет то, что делается теперь со всей его пестрой родиной.

Меняется не только костюм: меняется походка, та замечательная походка, по которой узбека можно узнать за полкилометра. Мухам Ваасн-Махмуд ходил, как пучок натянутых струн. Его тело, казалось, звенело — так оно было стройно. Ног своих во время ходьбы он почти не сгибал в коленях. Но он не маршировал: он не швырял свои ноги, как солдат вильгельмовской армии, сбивая каблуки и взметая пыль. Нет, он их плавно выбрасывал одну за другую, как жеребец-иноходец, и они мягко ложились на землю всей своей бескаблучной подошвой. Туловище от этого было слегка откинуто назад, голова поднята кверху. Лопаток, тех предательских лопаток, которые обличают нашу сутуловатость, как бы не существовало. И была во всем этом разлита величавая неспешность. А теперь? А теперь Мухам Вааси-Махмуд — хороший студент. Мухам Вааси-Махмуд — успевающий студент. Но только он утратил первобытную свежесть своей походки. Европейская озабоченность, торопливость, обремененность думами просочились в тело его из тех книг, которых он теперь не выпускает из своих рук; и ноги его сгибаются в коленях под острым, резким нефизкультурным углом. Туловище его подалось вперед, как у любого прохожего московской улицы. Голова его опустилась, и он стал ниже ростом. И теперь уже для каждого ясно, что у него есть лопатки... Мухам Вааси-Мухмуд, не надо! Всему ли у нас надо учиться? Этому у нас учиться не надо.

Урок уже начался. Каждый сидит на своем месте. Но Икрам Ширмухамед стоит и растерянно озирается. Для него не хватило стула. Он не может сидеть без стула. Он десять минут стоит с книгами в руках, пока дежурный не приносит ему стул. Икрам Ширмухамед! Для вас не хватило стула? Ну, так что же? Мы зна-

ем, Икрам, что вы умеете обходиться без сиденья. Мы видели Икрама сидящим без стула. Не на земле, о, нет! — на корточках. Икрам Ширмухамед зашел в базарную чайхану напиться «кок-чаю» и побеседовать со своими неучеными соплеменниками. Там не было, конечно, стульев. Кроме ковров, там никогда ничего не бывает. И Икрам сел на корточки. Он просидел так около часу, и вид у него был такой, точно он сидит в бархатной ложе бывшего Мариинского театра. Мы не хотим сказать, Икрам, что вы должны были использовать в классе это свое национальное умение и сесть на корточки тогда, когда все ваши товарищи сидели на стульях. Но мы вам завидуем, Икрам. Вы и ваши соплеменники сохранили ту утраченную уже нами, европейцами, способность, которая роднит вас с бесхитростной материнской землей, землей братских костров и родовых бдений, когда, кроме звезд и кустарников, никакой другой мебели люди не знали и умели спать на весу, колыхаясь на кончиках пальцев и пальцами других своих конечностей обхватив коленные чашечки... Зачем садиться всем телом на землю, зачем наваливаться на песок, в котором дремлют скорпионы, по которому ползают змеи? Правда, Икрам?

Социалистическое соревнование идет между целыми группами. В успеваемости отдельных учеников заинтересован весь коллектив. Поэтому он вооружен зорким оком в лице своих выборных дежурных. Нарушители трудовой дисциплины подвергаются общественному воздействию. Общестуденческий старостат, совместно с комсомольской и партийной ячейками, энергично помогает преподавательскому персоналу поддерживать порядок в занятиях... Опять, как и в начале настоящего очерка, автор заговорил языком, каким можно говорить не только о средне-азиатской школе, не только о советской школе, но и вообще о любом советском трудовом коллективе. Но что поделаешь? Высшая школа Ферганы — не медрессэ, где самые методы преподавания отличаются варварской экзотичностью, где много «couleur locale», но какого мрачного, какого блеклого «couleur'a»! Неразрывная и мощная связь новой Азии (советской Азии) с Новой Европой (советской Европой) выражается в единстве методов борьбы за лучшее социалистическое будущее. Это единство таково, что когда на очередном студенческом собрании оглашается очередная резолюция об очередной политической кампании, то невольно думаешь: сейчас такие резолюции читаются московской скороговоркой в одних местах, с владимирским оканием — в других, с белорусским дзеканием — в третьих, с украинской артикуляционной твердостью — в четвертых и т. д. и т. д. А здесь ее читает «восточный человек», Хашим Мамашев (заместитель директора), и ей аплодируют так же, как на всех советских широтах, и хотя она звучит на гортанном, мало понятном языке, но догадаться об ее содержании не трудно, так как «социалистическое соревнование», «студенческий комитет», «ячейка», «пятилетка» и многие другие слова здесь не переводятся, не нуждаются в переводе и звучат натурально... Часто встречающееся в резолюции слово «Ленин» тоже не переводится. Не переводится по двум причинам: во-первых, потому, что это — фамилия. А, во-вторых, потому, что здесь, как и во всем мире, это слово означает слишком многое.

Есть в каждой группе маленькая «черная доска». Краткосрочная «черная доска». На нее нетрудно угодить, но с нее и нетрудно смыться. Вот сегодня на нее попали Низам-Камал и Камбор-Риза. За что? — За усердие... На уроке русского языка они так торопились продемонстрировать свои познания, что не успевал преподаватель спросить: «а кто это знает?», как они уже отвечали... Ясно, что всем остальным уже нечего было делать. Но зато Низам-Камал и Камбор-Риза будут лучше знать русский язык, чем вон тот маленький ташкентец, которого обуяла задумчивость и мысли которого сейчас далеко-далеко от класса... Может быть, на желтой воде Сыр-Дарьи, может быть, на жарких полях, где дежурят аисты, может быть, на отрогах Тянь-Шаня...

Ниазмет Атаджан настолько смугл, что почти черен. Он приехал из Хорезма (из старой Хивы), где до сих пор нет железной дороги и откуда, собственно, больше приходят, чем приезжают. У него большие способности, у этого маленького Ниазмета. И большое упорство. Он работает по 15 часов в сутки. Белки его глаз сверкают на лице, законченном, как персидская газелла. Каждое русское слово, звучащее на уроке, он полушопотом пропускает через свои тонкие губы. Но так как то же самое и в то же время делают десятки других учеников, то в классе стоит напряженное гудение, на фоне которого проходят все уроки. Это, конечно, мешает преподавателю, заставляя его повышать голос до хрипоты. Но бороться с этим трудно, да и не нужно. Очевидно, так этим людям легче усваивать материал. Это, пожалуй, един-

ственное, что напоминает здесь старую мусульманскую школу с ее характерным монотонным хоровым чтением. Есть что-то от полумолитвенных навыков медрессэ и в той дружности, с которой несколько десятков человек иногда спрягают хором какой-нибудь трудный глагол. Синхронность произнесения слов, их совпадение во времени поразительны. От русских школьников такой четкости не добиться.

Но еще два слова о Ниазмете Атаджане. Он хороший и умный. И в нем много детскости. Я по нем скучаю. Он, кажется, был одинок. По крайней мере, он всегда бродил один по Ферганскому парку и по Ленинской улице. Он настойчиво искал приложения своим скудным познаниям в русском языке. Торопясь за нужной ему вещью в магазин Узбекторга, около базара, он задержался в дверях магазина, чтобы прочесть какое-то русское об'явление. И, хотя это об'явление было вывешено тут же на его родном языке (в Фергане все об'явления двуязычны), он предпочел разбирать русский текст и занимался этим до тех пор, пока магазин не закрыли у него под носом.

Если забыть, что эта комната — класс, что перед тобой — учащиеся, то, глядя на этих людей, можно подумать, что вся Азия прислала сюда своих представителей на великий совет. Люди гор и предгорий, люди полей и пустынь, люди с различной степени печатью азиатского происхождения на своих лицах: начиная с едва уловимых уклонений от европейского типа и кончая почти китайскими чертами лица. Иногда, когда долго смотришь на все эти по-разному восточные лица, они сливаются в одно синтетическое огромное лицо, в котором сочетаются наиболее характерные признаки каждого из этих отдельных лиц. Тогда мне кажется, что я вижу подлинное лицо всей нашей Азии. Оно живет, оно меняется, в глазах его — смесь упорства и добродушия. И я жалею, что я не рисовальщик, что я не могу зафиксировать это колышащееся в дымке моей собственной усталости лицо, то приближающееся, то удаляющееся. Еще момент, и оно рассыпается десятками отдельных, живых, тоже немного усталых лиц. Но в памяти навсегда остается мощное, щурящееся, слегка раскосое, скуластое, смуглое видение.

Вот сидит Маматкул Бектемир. — Вы индус, Бектемир? — На бронзовом маскоподобном лице Маматкула — судорога, заменяющая ему улыбку. Сверкают зубы, незнакомые, вероятно, с дантистом. Маматкул высок, массивен. Пожалуй, несколько грузен для сипая. Но Киплингом от него все же веет. Он пишет стихи арабскими буквами на длинных полосках бумаги.

Вот сидит Абдулла Суюм. Он похож на малайца. На тонкого маленького колониального малайца. Голос его похож на мягкое дребезжание узбекской гитары. Он очень жалеет Маяковского. Он понял из моего доклада о литературе, читанного перед русской учащейся молодежью Ферганы, что Маяковский не изменник, что он трагически сорвался со стропил великой стройки. Суюм плохо знает русский язык. Он мало его знает. Но когда он был кишлачным учителем, он делился с туземными детьми тем немногим, что он знал из русского языка. Много он им дать не мог. Но что имел, то давал. И когда его ученики исчерпывали скудные лингвистические запасы, которыми обладал их учитель, Абдулла Суюм говорил: «Подождите, я поеду учиться и, когда приеду, вы от меня узнаете больше». Так благородный нищий делится со своими еще более бедными братьями.

Мастура Бирюшева просит извинения. Она вынуждена оторваться от классной работы, потому что в саду кричит ее проголодавшийся ребенок. Он — в палатке. У Хабида Тагира тоже кричит ребенок, маленький башкирский божок. — Хабид, вы не пойдете к вашему ребенку? — «Не пойду. Пусть кричит. Жена недалеко. Надо заниматься». В палатках, разбросанных по огромному саду института, живут семейные и несемейные студенты. На зиму для них готовят каменное общежитие.

У Хуснуллы Зайнуллина очки полезли на лоб. Член бюро партийной ячейки, этот татарин заработался. Ни одна кампания, ни одно совещание не проходит без его участия. «Карим работает в саду», читает Зайнуллин по учебнику. И потом самостоятельно варьирует: «Кто работает в саду? В саду работает Карим. Где работает Карим? Карим работает в саду. Что делает Карим в саду? В саду Карим работает». Я слушаю и ловлю себя на том, что в произносимые запинающимся Зайнуллиным фразы невольно подставляю свои слова: «Кто работает в партии? В партии работает Хуснулла. Что делает Хуснулла в партии? В партии Хуснулла работает»... В саду у Зайнуллина кричат трое детей.

Вот еще сидит бухарский еврей Илья Ибрагимов. Когда его черная вздыбленная грива поседеет, он будет похож на библейского пророка. А пока он отличный физкультурник. Но на уроках он скучает, потому что знает много.

А рядом с ним — краснощекий, как Ольга Ларина, и белобрысый Михаил Горяминский. Русский, занесенный сюда ветром жизни, как ромашка на хлопковое поле. И ничего — растет себе. Только жалуется, что не успевает помогать своим нерусским товарищам разбираться в русских лекциях.

А вот еще Иванова, русская, которая никогда не была в России. Если Горяминского можно сравнить с иноземным растением, только занесенным на чужую почву, то Иванову надо причислить к техническим культурам, обретшим прочно вторую родину своих предков.

У Ашура Туганбека глаза полны слез. У Хамида Юлдаша — тоже. У Абидуллы Гирфана — тоже. Да, пожалуй, и не перечислишь всех, у кого глаза полны слез. А в чем дело? Дело в том, что студенты группы «б» естественно-биологического отделения попросили почитать им Лермонтова. Лермонтов вызвал на их глазах слезы. «Воздушный корабль», об идеологической «невыдержанности» которого с современной точки зрения они были мною предупреждены, растрогал их до носовых платков. Впрочем, коллективный разбор этого произведения показал, что смысл стихотворения дошел до моих слушателей весьма смутно. Они, оказывается, были взяты за живое самими звуками. Я вспомнил тогда рассказ Горького (повесть «В людях») о том, какое впечатление подросток Пешков произвел на неграмотных мастеровых чтением Лермонтовского «Демона» и как один из его слушателей восторженно засвидетельствовал величие таланта поэта, который самого чорта заставил пожалеть... Читали мы с той же группой Демьяна Бедного («Клятва Зайнет»), Тихонова («Сами») и других поэтов. Больше всех их нравился Лермонтов. Но при одном из чтений, ахнув в десятый раз от восторга, Абидулла Гирфан неожиданно омрачился и сказал: «Лермонтов писал хорошо, но его в наше время не надо». В этом мужественном отречении от сладкого, но идеологически и исторически чуждого поэта было нечто очень характерное для Абидуллы Гирфана: я посмотрел на его тонкие плотно сжатые губы, на острые, способные к долгой фиксации глаза, на его пружинистую шею и понял, что этот человек в интересах дела, в интересах класса, которому он служит, способен отречься не только от Лермонтова, но от чего угодно.

На латаный морщинистый и грязный экран барачного ферганского кинематографа попала картина «Поэт и царь», промелькавшая на серебряных экранах Москвы еще два года тому назад. Ее пересмотрели все наши студенты. Некоторые ее смотрели по два и по три раза И когда они ее пересмотрели, в каждом из них проснулся маленький (тогда еще здравствовавший) Павел Елисеевич Щеголев. В палатках и в столовой, в классах и в коридорах в течение нескольких дней шло горячее обсуждение страшного события, отображенного в этой картине. Бешено обсуждалась подлость Николая первого, мысленными камнями забрасывался наглый Дантес, легкомысленная Гончарова подвергалась посмертному линчеванию. Меня заставили прочесть несколько лекций о Пушкине и обстоятельствах его смерти. Эти лекции тут же переводились для малопонимающих русский язык. Параллели между гибелью Пушкина, Лермонтова и Грибоедова и отсюда касательная к кругу событий, связанных со смертью Хакима-Задэ (см. описание экскурсии в Шахимардан), произвели на моих слушателей потрясающее впечатление.

Как наш завхоз Щетинин, который ходит по всем аудиториям и к каждому стулу приколачивает штампованное жестяное свидетельство принадлежности этого стула к государственному инвентарю, так и Средняя Азия любит класть на лицах своих обитателей неизгладимые пожизненные отметки, штампованные ордена своих владений. Вот, например, Магди Ассамутдин, который сидит у окна, или Рашид Набий, который любит сидеть напротив меня — они уже удостоились этих орденов. На коже их смуглых лиц (у Рашида Набия оно театрально красиво), на их щеках резко выделяются неглубокие впадины почти круглой формы. Они имеют сантиметра три в диаметре и по окраске несколько темнее окружающих их участков кожи. Они напоминают лунные кратеры. Чтобы понять причину их образования, достаточно взглянуть на сидящего в дальнем углу Шарина Хашима, женоподобного юношу лет 17. Во внешности этого аккуратненького, всегда чистенького студента есть деталь, которая портит все: это — круглая, величиною с пятак и цвета испорченной крови, кажущаяся выпуклой, болячка, при одном взгляде на которую всякий бывавший в Средней Азии тотчас же признает «пендинку». «Пендинка» или «пендинская язва», причину которой видят в укусах особых насекомых, раз появившись на теле, не поддается никакому лечению. Продержавшись ровно год, она исчезает, оставляя по себе неизгладимое

воспоминание в виде тех «лунных кратеров», о которых мы уже говорили выше.

Но Средняя Азия обладает и другими знаками внешних отличий для своего населения. Лица Даврана Камила и Вааси Махмуда, например, она покусала оспой, горло студентки... не буду называть фамилии — студентка не любит, когда замечают этот ее недостаток — горло студентки она раздула так, что придала этой девушке вид голубки, наевшейся крупных и вкусных зерен. Но не зерен она наелась: она с детства пила воду, текущую с ее родных гор, и особые болезнетворные примеси, заключающиеся в этой воде, поразили ее щитовидную железу: а отсюда — зоб. Мне приходилось видеть на базарах стариков и старух с тройными зобами, которые болтались у них под подбородком, как у индюков, огромными полукруглыми мешками диаметром сантиметров в пятнадцать каждый. Вот Заир Гафур, это касается тебя и твоих товарищей-таджиков, которые здесь изучают естественные науки. Вы вернетесь домой и будете пить ту же воду, и ваши горла обрастут такими же зобами. Но ведь на то вы и учитесь на естественно-биологическом отделении, чтобы познать законы природы, чтобы научиться ее обуздывать. Проблема зоба в Средней Азии, это — в огромной мере проблема вашего образования.

Люди в институте жили с конца ночи до середины дня и с конца дня до середины ночи. Организм боролся с жарой. Голова не работала. Плоская земля ферганских дворов и улиц была суха и тверда. Поливка этой земли, производившаяся дважды в день несложной машиной, состоявшей из арыка, ведра и человека, облегчения не приносила. Цыплята, выведенные недальновидной курицей на Красноармейской улице, в виду Алайского хребта, исправно передохли от жары в течение нескольких дней. По осени считать будет нечего.

Но когда наши студенты, с'ехавшиеся из различных углов Узбекистана, в письмах к своим родным писали — «здесь не жарко», «здесь прохладно» — это не было иронией. Это было только свидетельством относительности наших ощущений. Смуглым индусоподобным сынам Хорезма и Бухары раскаленный город Фергана по справедливости казался чуть ли не прохладным курортом: на их родине было еще жарче. С нас же, с эрэсэфэсерцев, было довольно и этого.

Мы привыкли к тому, чтобы даже в северных городах Советского Союза учебная жизнь замирала на летний сезон. Чем об'яснить героизм всех этих молодых людей, узбеков, таджиков, татар, которые, окончив свою зимнюю работу по преподаванию в кишлачных школах, не устрашились ежедневного десятичасового боя за обладание высшим знанием, высшей педагогической квалификацией, в условиях тяжкого ферганского лета? — Они услышали зов своей страны, которой новые кадры нужны, как хлеб и вода, которая торопится эти кадры создать, которая уже не может удовлетвориться одной зимней учебой... Пятилетка, одним словом.

Наши студенты твердо помнили свое место в рядах борцов за эту пятилетку. Поэтому они изо дня в день упорно учились, изнывая от жары и москитов. Молча, не раскрывая друг другу своей мечты, они смотрели на блещущие перед ними снеговые вершины Алайского хребта, плотным полукольцом заступившие горизонт. А мечта у всех была одна и та же: туда, к этим горам, подышать их свежим воздухом!

Мечта осуществилась, когда студентам дали пятидневный отдых для экскурсии в горы, к Шахимардану. В этой экскурсии приняли участие и мы, преподаватели.

В Шахимардане мы увидели белые плоскокрышие дома, громоздящиеся один над другим, как детские кубики, а над ними — гору и на горе — бывшую гробницу «мазар-и-шериф». Мы туда ходили, к этому зданию, имеющему форму мечети. Сюда, где по преданию (кстати, неправдоподобному) был погребен сподвижник Магомета пророк Али, толпами из года в год стекались паломники со всей Средней Азии. Здесь их безжалостно обдирали шейхи и муллы, экономические агенты баев, местных кулаков. Все это кончилось очень недавно. О том, как оно кончалось, напоминают красный флаг и деревянная ограда на вершине противоположной горы. Этот флаг и эта ограда поставлены над могилой таджикского поэта Хакима Задэ Ниазова. Он приехал сюда, чтобы воевать с шейхами и муллами, чтобы отвоевать у них умы и сердца шахимарданских бедняков. Кулаки и фанатики забросали его камнями, но зловредные мощи заплатили за этот политический акт своим уничтожением. Десятки смуглых юношей учатся теперь в советской школе, устроенной в здании мазара. Юноши эти не забудут смерти Хакима Задэ. Рано, рано утром мы их видели закутанными в одеяло и спящими во дворе мазара под прибоем горной прохлады в виду красного флага, беспокоящегося над могилой героического поэта, жертвы косности,

предрассудков и разгоревшейся на Востоке классовой борьбы.

Узбек, который подошел было к нашей чайхане продавать кумыс и увидал, что один из студентов выплеснул на землю несколько капель этой жидкости, отказался нам ее продавать. Почему? — «Кумыс прольешь — скот заболеет». Наивный продавец кумыса! За твое просветление и за просветление тебе подобных пролил Хаким Задэ свою кровь.

От Шахимардана по пешей тропе мы прошли к горному озеру. Великолепная в своей неподвижности, округленная, стеклянно-голубая, безжизненная масса воды. Ни птицы, ни зверя, ни человека. Впрочем, шахимарданские ослы, нанятые нами, были другого мнения об этом месте. Через голые мраморы, за которыми лежит озеро, над глубокими пропастями, они бредут безошибочно: они уверенно идут по проложенной здесь людьми и животными тропинке, незримой для нас только потому, что она состоит лишь из запаха: запаха подошв и копыт.

Когда мы собирались в обратный путь, в Шахимардан прикатила на автомобиле киноэкспедиция. И хорошо сделала: революция меняет бытовой и культурный уклад Средней Азии со скоростью киноленты. Кинооператоры, торопитесь! Фиксируйте уходящее. Заготовляйте материал для истории.

Строители нового, расставив ноги, растопырив локти и приложившись глазом к своим аппаратам, навертывают невиданные еще кадры.

Описанную только что экскурсию студенты использовали для агитации среди местного населения (достаточно отсталого, как это видно из истории с Хакимом Задэ) за новые формы жизни. Они не упускали возможности вести эту агитацию и во время своих культурных походов по кишлакам и при поездках в старый Маргелан, древнюю столицу Ферганской области.

Студенты Ферганского института время от времени устраивают свои концерты, на которые приглашают все русское население города. Здесь они демонстрируют свое разнообразное и богатое национальное искусство. Каждый побывавший на этих концертах, слышавший необычайное пение химички Валнулиной и видевший невероятные танцы биолога Туганбека и обществоведа Вахида Абдуллаева, неизбежно становится упомянутым в начале настоящего очерка путешественником, так как всю жизнь будет потом уверять, что ему довелось жить в наивосточнейшем месте земного шара.

За окнами классов — огромной высоты тополя. Они окаймляют обширную, квадратной формы, зеленую площадь, в центре которой стоит выстроенный при царском правительстве пятиглавый красно-кирпичный православный храм. Недалеко от него, на той же площади, — могилы жертв борьбы со среднеазиатской контрреволюцией. Под тенью тополей целый день валяются пестрые узбеки. По мутным глазам некоторых из них можно догадаться, что они нанюхались и наглотались всяких наркотических пакостей, еще довольно упорно сидящих в уличном и базарном быту Средней Азии. Нанюхавшегося торговца не трудно бывает узнать по особой медлительности психических процессов. Его органы чувств в это время работают, но работают, как неподмазанные. Он даже будет отвечать на ваши вопросы — ведь он сидит перед грудой своих товаров, — значит, он торгует. Но отвечать он будет вяло, глухо, мысли его будут ворочаться чуть ли не со скрипом.

Надо отдать полную справедливость местным наркоманам: от своего опьянения страдают только они — окружающие от него особого неудобства не испытывают, чего нельзя сказать, к сожалению, о российском пьянстве. За долгие месяцы пребывания в Фергане я, надо сказать, вообще не видел узбеков, отравившихся алкоголем. За все это время на улицах Ферганы только один раз появился официально и неофициально зарегистрированный пьяный — да и тот оказался не узбеком, а русским сторожем нашего Института, на следующий же день, впрочем, уволенным. Кара, которая показалась бы суровой там, где к пьяным на улице привыкли, здесь, где пьяных не видят по полгода, кажется естественной. Степень наказания прямо пропорциональна оригинальности преступления.

Дальше, за храмом, в котором материализовалась память Ферганской долины о царском империализме, за густым и тенистым парком тянутся взаимно-перпендикулярные улицы, один ряд которых уходит к снеговым горам, к горам, за которыми голубеет небо Памира и Афганистана, а другой — к базару, этому средоточию жизни всех азиатских городов. Наши студенты в свободное время предпочитают ходить сюда. Здесь они, одетые в странную смесь из европейских и азиатских одежд (с преобладанием европейских элементов), с головами, гудящими

музыкой европейских наук (сопровождаемой азиатским аккомпанементом), резко отличаются от туземной публики. Они — сами туземцы. Они об'ясняются с туземцами на общем языке (вон как одетый советским провинциальным щеголем Инам Икрам ловко и быстро выторговал у старого узбека благоухающую бухарскую дыню!) — и все-таки между ними и остальной базарной публикой лежит глубокая борозда. Борозда, которую провел плуг неслыханной образованности, плуг обостренного, обновленного, перeиначенного и в общих чертах уже ставшего марксистско-ленинским мировоззрения.

В зимнем семестре 1930/31 года многим вакантным местам, открывавшимся в Ферганском институте с окончанием летнего семестра и уходом на практику студентов весеннего набора, грозила опасность остаться незаполненными. Это имело свои экономические причины. Но студенты весеннего набора не стали дожидаться, пока местные учреждения раскачаются и командируют на зимнюю учебу туземную молодежь. Лучшие активисты Института об'явили себя вербовщиками, вызвали друг друга на соревнование и незадолго до окончания семестра раз'ехались по городам и кишлакам Ферганской области, где повели агитацию среди батраков, дехкан и рабочих и закованных в паранджу женщин, агитацию за новую жизнь, за учебу в высоких светлых аудиториях Ферганского института, на стенах которого висят руководства по разведению хлопка и шелковичного червя и профессора которого могут научить многому весьма и весьма полезному для трудящегося узбека... Студенты добились отличных результатов... Минхажеддин в Андижане и Радтер Халик в Коканде завербовали, например, по десятку новых студентов. Когда они возвращались в Институт, победоносно размахивая свежезаполненными анкетами своих новых товарищей, я понял, что сравнивать их с героями Киплинговских произведений, с умными ловчими слонами Индии, не приходится. Проводя свою вербовочную кампанию на хлопковых полях Ферганы, Минхажеддин и Нурази Юсуп, и Радтер Халик, и Вахид-Васид и многие другие наши активисты зазывали людей не на рабство, прикрашенное колониальным цивилизаторством, а на борьбу с этим рабством во всех его видах.

Как говорил о команде Колумба автор «Открытия Америки», неутомимые ферганские Колумбы, студенты педагогического института, тоже зовут своих пугливо упирающихся братьев «в иное бытие, к новым, лучшим, травам и озерам».

М. Горький и Запад

С. Динамов

Начало текущего столетия было началом подлинной «интервенции» Горького на Западе. Горький не пришел на Запад, Горький ворвался в него. Буржуазный Запад не мог отнестись к Горькому спокойно, так как он относился к Толстому, Чехову, Достоевскому, Гоголю, Короленко. Горький тревожил, ранил, беспокоил, повергал в смятение буржуазный Запад. Путь Горького по Европе и Америке — это был путь победителя, вооруженного оружием искусства, глубиной мысли, потрясающей силой творчества. Горький стремительно оттеснил на задний план всех русских писателей, которые в то время были там популярны. По подсчету «Das Literariche Echo» в немецкой прессе было с первого октября 1901 г. по 16 мая 1902 г. напечатано статей: о Горьком — 24, о Л. Н. Толстом — 17, о Гоголе — 8, о Чехове — 2. Толстой в то время был жив, Толстой считался величайшим писателем мира [1]. В этом приходе Горького на Запад видна какая-то насильственность, ибо Горький не мог быть воспринят равнодушно, он нарушал и разрушал привычные традиции Запада.

Немецкий критик Лео Берг в своей статье «М. Горький» (1902 г.) замечает, что «еще несколько лет тому назад Горький был совершенно неизвестен в Германии» и что «слава его стала там распространяться не более года назад». В одном немецком журнале начала двадцатого века был немецкий рисунок босяка с надписью: «самый популярный теперь человек на немецких сценах», ибо в то время пьеса Горького «На дне» была поставлена в Берлине и, вопреки всяким ожиданиям, имела крупнейший успех: к 1905 г. было сыграно 500 спектаклей, цифра совершено для того времени невиданная. Горького Франция узнала в 1900 г., когда был там переведен его рассказ «Дружки»; уже в 1901—1903 г. Горький был почти целиком переведен на французский язык. В Англии Горького узнали впервые в 1902 г. За один год Горький стал чрезвычайно популярен в Германии. Горького в Германии издавали не только в одном издании, но одни и те же произведения Горького выходили в двух и даже в трех изданиях (причем вначале эту славу Горький делил с Чеховым, но потом вытеснил и его) [1]. «Мещане» ставятся в Берлине, и в Бреславле, а также и в Вене.

По поводу постановки его пьесы «На дне» вся немецкая критика дала ряд статей.

Можно наметить приблизительно шесть линий отношения к пьесе Горького «На дне». Первая: пьеса «На дне» или, как ее назвали в немецком переводе «Ночлежка», это шедевр, это лучшее, что создало современное русское искусство. Вторая: пьеса рассчитана на внешний эффект — отсюда тяготение писателя к теме, которую «не хотели трогать» другие писатели, то есть подчеркивается ставка на чистую сенсацию. Третья: пьеса нравственна, гуманна, поучительна, заставляет думать, и думать в хорошую сторону. Четвертая: пьеса безнравственна. Пятая: в пьесе — прекрасно выполненные типы. Шестая: в пьесе не образцы лю- этим первым высказываниям можно отчетливо видеть, что западная критика ответила на появление Горького именно как на явление классовой борьбы — она не была безразличной, формальной, но давала социальную оценку. Мелкобуржуазные радикалы («молодая критика») указывали, что в пьесе даны не только национальные русские типы, что она не является национально ограниченной, что герои пьесы встречаются и в Германии. Этим усиливалась классовая функция пьесы, она прямо связывалась с общественной жизнью Германии. Писатель Ганс Освальд в тогда же изданной книжке подчеркивает, что успех Горького — это успех новой России, которую Горький открыл для Запада. Лео Берг пытался снизить роль

[1] И. Груздев. «Современный Запад о Горьком». Лнг. 1930. Данная книга чрезвычайно помогла мне в этой работе.

[1] С. Юрьевский. «Чехов и Горький у немцев». «Известия по литературе, наукам и библиографии т-ва Вольф», № 3, декабрь 1901 г.

Горького, старался доказать, что Горький не есть исключительное явление, что пьеса его — вещь вполне обычная, что он просто продолжает Достоевского, Толстого и Тургенева. Горький, по Бергу, отражает в своей пьесе хаос, смятение, мрак русской действительности, Горький не созидатель, ибо «Горький и другие русские писатели описывают элементы, которые противятся органическому развитию и оказываются враждебными силами в кипящем котле общественного движения».

Успех Горького был успехом борьбы.

В статье «Максим Горький за границей», напечатанной в газете «Новости дня» за 31 декабря (по старому стилю) 1901 года, А. Тэзи пишет: «после Льва Толстого и Чехова наибольшей популярностью среди современных русских писателей пользуется в Австрии Горький»... Корреспондентка дальше отмечает, что, если Толстой вызывает благоговение, то к Горькому имеется обостренное любопытство.

Когда в Вене была поставлена пьеса «Мещане», «Neue Freie Presse» писала, что в пьесе имеются мастерски нарисованные портреты, которые приковывают к себе внимание зрителя. Газета «Берлинер Тагеблатт» в своей рецензии о «Мещанах» (постановка «Лессинг-театра» в Берлине) подчеркивала веру Горького в народ и отмечала стержень пьесы — борьбу старого и нового. В Италии Горького начали переводить приблизительно в это же время. Первыми были напечатаны: рассказ «Выезд» в «Corriere illustrata della Domenica». «Дед Архип и Ленька» в «Nouva Antologia». К 1901 г. были переведены почти все рассказы Горького. В 1902 г. были переведены «Трое» и вышел сборник рассказов под общим названием «Падшие». Венецианская газета «L'Adriatico» писала, что «рассказы Горького странны, но занимательны и обнаруживают у писателя большое, скажем несколько дикое, дарование». В «Новом времени» 7 декабря (по старому стилю) 1901 г. было напечатано любопытное частное письмо одного человека, вернувшегося из Италии, который замечает, что «в настоящую минуту властителями дум в Италии являются русские. На первом месте — Максим Горький, на втором — Лев Толстой». В газете «Русское слово» от 24 марта (по старому стилю) 1908 г. Первухин в статье «Горький в Италии» отмечает рост популярности также и в более позднее время, через 6 лет после появления произведений Горького в Италии: «Горький в данный момент может считаться одним из любимейших авторов вообще, а из русских чуть ли не единственным». Первухин делает любопытное замечание о том, кто читает Горького: «главным читателем Горького, — пишет он, — является культурный итальянский рабочий».

Горький не только завоевал Запад, Горький завоевал и Восток. Доктор Хайяши в апрельском номере «La Revue» за 1903 г. в статье «La Litterature pessimiste du Japon d'aujourd'hui, par Hayashi» пишет, что серди японцев самые популярные писатели — Шопенгауэр, Ницше и Горький. Хайяши упоминает публициста Хасегава Тенкей, который в журнале «Taiyo» пишет, что напрасно приписывают Горькому проповедь о босячестве, как переход людей в животное состояние: у Горького совершенно другая цель, — говорит Тенкей: описывая с такой реальностью босяков, он нападает на лживое буржуазное общество и обвиняет его в их страданиях. Тенкей правильнее подошел к Горькому, чем реакционные немецкие и австрийские буржуазные критики, которые пытались представить Горького как художника босяков и «дна», чтобы ослабить его удары.

В начале столетия на Западе издаются впервые критические книги о Горьком.

В начале 1902 г. выходит книга Диллона «Максим Горький, его жизнь и сочинения». В начале 1901 г. о Горьком пишет Брандес. В 1902 г. в французском журнале «Revue de deux Mondes» появляется статья «М. Горький как писатель и человек» М. де-Вогиэ, которая впоследствии выдерживает несколько отдельных изданий. Эта необходимость оценки Горького явно вызывалась требованиями западного читателя, что приводило даже к подлогам: так в английском журнале «Contemporary Review» была напечатана в 1902 г. статья «графа де-Суассона» «Максим Горький», которая была простым переводом статьи русского критика Андреевича. Такой интерес к Горькому на Западе был не случайным. Горький открывал западному читателю новые стороны русской литературы. Не случайно было сопоставление западной критики трех имен: Толстой — Чехов — Горький. Огромная победа рабочего класса в том, что Толстой и Чехов стали в глазах определенных кругов на Западе меньше, чем Максим Горький. История выдвинула писателя нового класса. Если Толстой был представителем дворянства, Чехов представлял мелкую буржуазию, то Горький вошел в литературу как пролетарский художник. В лице Горького рабочий класс показал, что он создает свою художественную культуру. Творчество Горького показало, что Карл Каутский по-оппортунистиче-

ски решал в своей книге «Размножение и развитие в природе и обществе» проблему пролетарской культуры, когда утверждал, что рабочий класс может быть только потребителем культуры, что он не может создать своей особой культуры, что для рабочего класса достаточно культуры буржуазной.

«Признание» М. Горького даже буржуазным Западом было победой мирового пролетариата, выдвинувшего своего художника на сложнейший участок борьбы за новую культуру, за новое искусство. Творчество Горького именно потому поразило буржуазный Запад, что оно выразило мощь рабочего класса. Победа Горького была первой победой пролетарской культуры в области искусства, показавшей, какие огромные культурные творческие силы таятся в угнетенном, порабощенном классе.

Успех Горького был вместе с тем связан с тем, что мелкобуржуазные, а в некоторой части и буржуазные круги проглядели революционную сущность его творчества, в их глазах он был вообще талантливым писателем, поборником внеклассовой справедливости. Такое понимание творчества Горького явно обнаруживается в критических статьях о нем. Романтическая оболочка творчества Горького, новизна тематики, оригинальность выведенных типов, совершенно неведомых Западу раньше — все на первое время создало Горькому, так сказать, общую популярность (дальше мы увидим, эта «общность» была чрезвычайно относительной). Этим об'ясняется, что в протесте против ареста Горького в 1905 г. об'единились представители самых разнообразных общественных слоев. В Германии было собрано под протестом несколько десятков тысяч подписей, причем в числе подписавшихся были: Зудерманн, Вильденбрух, Фульда, проф. Лист. «Движение в пользу Горького нашло себе отклик в центрах всех культурных государств», — писали тогда «Новости дня» (№ 7773 от 24 января ст. стиля 1905 г.). В Риме под протестом подписались 150 депутатов, румынские писатели обратились к... королю с просьбой защитить Горького. Во Франции под протестом подписались Жорес, Роден, А. Франс, О. Мирбо, Катулл Мендес и др. «Нижеподписавшиеся французские писатели, — читаем мы в протесте, — решительные сторонники свободы мысли и свободы печати, протестуют против ареста М. Горького». Анатоль Франс писал тогда в «Petit Parisien»: «Французские интеллигенты должны сделать не меньше, чем немецкие профессора и итальянские депутаты, которые протестуют в пользу мощного, чуткого сердцем писателя. Такой человек, как Горький, принадлежит всему миру. Голос французских писателей должен громко раздаваться в этом великом протестующем крике». В письме писателю Фульда и Геккелю Ан. Франс опять подчеркивает, что в лице Горького он защищает мирового писателя: «Весь мир заинтересован в его освобождении». Нейе Фрейе Прессе» посвящает аресту Горького горячую передовую, настаивая на его освобождении: «Свободы требуют не Вена, не Рим, не Париж, не Берлин — этого требует Разум». «Берлинер Тагеблатт» напечатала телеграмму из Португалии: «Журналисты, писатели и художники Португалии присоединяются к гуманному движению в пользу Горького» (как курьез отметим, что и на этот раз не обошлось без короля, который обещал «помочь» освобождению Горького).

Такое стремительное расширение движения в защиту Горького об'ясняется тем, что оно было движением в защиту буржуазной демократии: не Горький — пролетарский революционер, пролетарский писатель защищался многочисленными «друзьями» Горького, но идея буржуазной демократии (иным было бы, конечно, отношение пролетариата, но движение протеста направлялось мелкобуржуазной интеллигенцией). Характерно в этом отношении выступление консервативного датского поэта Бруни, занимавшего в свое время видные посты в правительстве, который послал в «Берлинер Тагеблатт» телеграмму: «Движимый глубокой любовью и удивлением к Максиму Горькому, я поспешил сделать для него все, что было в моих силах. Надеюсь, что мои старания не останутся безрезультатными». Бруни, автор «Короны» и «Короля всех стран», конечно, выступил в защиту Горького вовсе не потому, что он был за пролетарскую революцию, так же, как и «Берлинер тагеблатт» не из этих же соображений обратилась к Витте с просьбой освободить Горького. Немецкий драматург Фульда раскрывает гуманистическую мелкобуржуазную основу этого движения, когда заявляет: «Мы имеем теперь последнее свидетельство того, что Соединенные Штаты Европы, по крайней мере в духовном смысле, больше не мечта». Следует отметить, что в протестах по поводу ареста Горького усиленно подчеркивалось, что Горького защищают именно как художника, как создателя культурных ценностей, а не как политического деятеля (например, «Нейе Фрейе Прессе» в передовой указывает, что «пока Горький — только культурная, не политическая величина»).

Появление Горького на Западе было явлением жесточайшей классовой борьбы, которую можно наблюдать на страницах газет и журналах того времени. Бодрое искусство Горького отрицало сумеречную литературу декадентов. Австрийский критик Александр Браунер, родившийся в России, в своей статье «О певце босяков» в «Die Zeit» (1900 г.) пишет, по поводу героев Горького: «Не они ли настоящие люди, а мы — бывшие?» Гуго Ганц в «Neue Freie Presse» (1901 г.) заявляет, что Горький — это писатель, который открывает новые шахты, разрабатывает новые залежи».

Интересны немецкие отзывы о пьесе Горького «На дне», которая шла в Klein Theater под названием «Nacht Asyl» — «Ночлежка». Критик «Tägliche Rundshau» пишет, что пьеса Горького — это «документ позора нашей эпохи, пятно на нашей культуре». Газета «Magdeburger Zeit» замечает, что сцена у Горького превращается в трибунал, осуждающий буржуазную цивилизацию. Одновременно делаются попытки преуменьшить значение Горького: так, Консер заявил в «Berliner neueste Nachrichten», что Горький неизбежно должен будет скоро потерять весь свой талант, что ему скоро не о чем будет писать, что ему «придется постоянно в своих образах повторяться». Как «пророчески» выглядят эти утверждения в свете последующих огромных творческих достижений Горького?!

Французский критик де-Вогюэ говорит, что Горький поднимает знамя протеста и что этим об'ясняется его влияние и интерес к нему на Западе: «Знамя протеста — вот символ его влияния. Разочаровавшись в старых вождях, люди, естественно, ищут новых руководителей».

А. Шольц напечатал в «Die Woche» в 1902 г. статью, в которой успех Горького об'ясняется выбором нового материала, раскрываемого писателем с большой силой и искренностью. Шольц подчеркивает, что Горький не «холодный» художник, но что он старается воспитать, пробудить, вызвать определенный результат (немецкий критик в неясной форме пытается выразить очевидную для нас боевую публицистичность и партийность творчества Горького).

Генрих Манн в приветствии Горькому в связи с его 60-летием пишет, что он «умножил сокровища литературы, дал ей нового читателя», что «он выставил в литературе класс людей, который до сих пор оставался неизвестным», что «Горький сделал пролетариат другом литературы».

П р и з ы в н о в о г о ч и т а т е л я в л и т е р а т у р у б ы л о д н о й и з ф у н к ц и й Г о р ь к о г о. «Новизна» Горького не была щекотанием буржуазии под мышками. «Новизна» эта была не в импонировании буржуазии новым «эстетическим» материалом. «Новизна» Горького не была модной новинкой. Это была новизна нового искусства революции. Критика тогда этого еще не сумела понять, хотя нашлись некоторые прозорливые буржуа, которые это увидели. Брандес по этому поводу делает очень характерное замечание о Горьком: «Его нельзя назвать писателем, изображающим общество, потому, что все его книги имеют героями своими лиц, вращающихся вне общества». (Сочинения, том VI, 190.) «Чарующее впечатление, производимое Горьким, обусловливается несомненно тем, что изображаемый им мир совершенно нов для читателей» (там же).

Эта «внеобщественность», т. е. внебуржуазность линии Горького именно и была нова для буржуазного Запада. Одновременно нужно отметить, что в свете более позднего времени критики стали понимать в чем было дело. Лео Лания в «Berliner Börsen Kurier» 28 марта 1928 г. указывает, что Горький говорил с молодежью языком активности, разрывал узость лирики, призывая итти к обществу, «окунуться в общественность». Лутс Вельтман указывает на эту же сторону Горького: «Собрание сочинений Горького — это история русской революции, с ее порывами и надеждами, с ее неудачами и препонами, со всем тем, что обусловило ее путь и формы развития» (1928 г.). Но это было в более поздний период. Буржуазные критики позднее пришли к знанию того, что рабочий класс, читая Горького, знал 30 лет назад. Но нужно учитывать, что стремление буржуазных критиков представить его только как художника дна, отверженных бывших людей было борьбой с Горьким-революционером. Им нужно было поставить Горького на привычную полочку, ввести в норму. Даже у нас до сих пор нет настоящего революционного понимания смысла ранних вещей Горького. Подсчитывая, как это делает И. Беспалов, «беспокойных» и «спутников», психологизируя, растворяя классовое содержание раннего Горького, критики наши просмотрели, что Горький ставит актуальнейшую для дела классовой борьбы тему о рабстве труда при капитализме. Смотрите, например, описание порта в «Челкаше» (1894-95 г.).

«Звон якорных цепей, грохот сцеплений у вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падаю-

щих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно-резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат, — все эти звуки сливаются в оглушительную симфонию трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят в небе над гаванью, как бы боясь всплыть выше и исчезнуть в нем. А к ним вздымаются с земли все новые и новые волны — то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками бешено-страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, и так они ничтожны, малы по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы то свистели, то шипели, то как-то глубоко вздыхали, и в каждом рожденном звуке чудилась насмешливая нота иронического презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам и наполнявших их глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны были длинные вереницы грузчиков, носивших на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестевшие на солнце дородством и безмятежностью машины, созданные этими людьми, машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов... в этом сопоставлении была целая поэма жестокой и холодной иронии.

Шум подавлял, пыль, раздражая ноздри, слепила глаза, зной пек тело, изнурял его, и все кругом казалось напряженным, назревшим, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и в городе, на море, на небе станет тихо, ясно, славно... Но это только казалось. Это казалось потому, что человек еще не устал надеяться на лучшее, и желание чувствовать себя свободным не умерло в нем...»

Тема труда ставится в мировой пролетарской литературе, как тема о тяжести труда при капитализме, и именно с этой точки зрения нужно оценивать ранние произведения Горького.

Я уже упомянул, что делались попытки приспособить, «облагородить» Горького. Пытались сделать его художником-идеалистом, мистиком, толстовцем. Сопоставление Горького с Толстым было характерно для многих буржуазных критиков. Пытались доказать, что Горький не новое явление, а лишь повторение ранее имевшегося в русской литературе, что Горький может быть включен в ряд: Толстой, Достоевский, Чехов. Такого «традиционного» Горького буржуазный Запад не боялся. Hans Wyneken в «König werger Allegemeine Zeitung» от 27 марта 1928 г. выступает с «теорией», что Горький — своеобразный Гамлет, который все время колеблется между хотением и осуществлением, что он, следовательно, пассивный художник. Винекен дальше утверждает, что Горький «все понимает и прощает», что у него, у Горького, ненависти нет. Так, революционер Горький становится смиренным толстовцем.

Критик Харол находит в 1928 г. у Горького несомненно «оригинальную» черту. Оказывается, что Горький находится «по ту сторону добра и зла», что Горький не имеет ни ненависти, ни горячности, что он у него «замечательная об'ективность». Подобные стремления «утеплить» Горького имеют своей целью превратить великого художника в созерцателя и смиренника.

Жорж Дюамель, который считает себя поклонником Ромен Роллана, но который не равен ему ни по силе искусства, ни по силе ума, который клевещет на нашу революцию, подчеркивал, что Горький видит смысл мира в страдании и людей исправлять не хочет. Таким образом, создается толстовская концепция фигуры Горького. Характерно, что социал-фашистская критика смыкается с этой буржуазной установкой. Так, Макс Бартель пишет: «у нас видят в Горьком прежде всего гуманиста». Буржуазные кри-

тики хотели бы видеть Горького спокойным мещанином. М. Грусман говорит, что для Горького все люди одинаково хороши, что он, как природа, не делает между ними никаких различий. Марксистская критика, наоборот, в Горьком видит художника, который дает явлениям партийную оценку, а не бесстрастно их созерцает (Ленин, Воровский, Фриче). Меринг в своей статье о Горьком верно замечает, что у него нельзя найти «ни одной сентиментальной или жалкой фразы». (Меринг имеет в виду ранние вещи Горького.) Горького пытались превратить и в настоящего оппортуниста, в художника, который якобы проповедует об'единение реакции и революции. Томас Манн в 1928 г. выступил с утверждением, что Горький прокладывает мост между Ницше и социализмом, что сила его заключается в том, что он хочет реакцию об'единить с революцией, а это, как говорит Манн, теперь «очень нужно». Социал-фашисты тоже, по мере своих убогих сил, пытаются создать именно такую концепцию.

Так, Курт Оффенберг пишет 25 марта 1928 г. в «Форвертс», что основной чертой Горького является его «великая Вселюбовь», но что он, к сожалению, очень непоседлив и поэтому «не может стать борцом за социализм в принципиальном смысле». Как видите, даже прохвостам из «Форвертс» не удалось извратить Горького полностью, их вынужденные реверансы и «сожаления» говорят о силе большого искусства Горького, о его революционном содержании.

Бруби Иогансен в «Социал-демократической хронике» (Копенгаген) 26 марта 1928 г. говорит, что Горький «стремится к какой-то общей «истине», что Горький верит в народ, и, главное, «хочет довести до конца буйный полет человека к универсальной истине». Этот туманный язык Иогансена есть своеобразная попытка обволакивания Горького, попытка вырвать классовое жало его творчества, превратить его в народолюбца и искателя некоей общей внеклассовой истины.

Это было и в начале нынешнего столетия, когда немецкий писатель Г. Освальд, тоже написавший ряд книг о бродягах, выступил с утверждением, что Горький был бы великим писателем, если бы он освободился от мрачного тона и перешел бы к описанию более светлых сторон жизни: «Мрачный патетический тон вредит Горькому», заявляет Освальд.

Критики стремились создать «своего» Горького, приспособить его, так истолковать его творчество, чтобы оно стало безвредным и утеряло бы свой революционный смысл. Именно так поступает английский критик Диллон в своей книге «Maxim Gorky, His life and writings» by E. J. Dillon (1902 г., Лондон). «Горький впал в полный суб'ективизм, — говорит Диллон, — герои его грешат против художественной правды. Обуреваемый страстью, автор теряет спокойствие художника, впадает в пафос и, начиная, как поэт, продолжает как публицист (эссеист) и кончает, как памфлетист». И Диллон пытается уговорить Горького стать «чистым» художником: «Откажись он от суб'ективного элемента, который так часто прорывается у него наружу, Россия имела бы в нем законного преемника автора Анны Карениной». Диллон заканчивает свои увещевания призывом к писателю «отказаться от карьеры профессионального демагога». Основной недостаток Горького с точки зрения Диллона, это то, что марксисты считают его достоинством—партийность его искусства, или, как выражается критик, «дидактичность». Диллон борется с Горьким, он боится «заразы» его искусства, он с ужасом отмечает, что Горький — проповедник безнравственности, не признающий никаких законов. Критика Диллона напоминает и оппортунистическую критику Плеханова, который тоже полагал, что публицистика разрывает ткань работ Горького. В итальянской газете «Corriere della Sera» 20-го октября 1901 г. указывалось, что Горький был бы лучшим художником, если бы не делал «отчаянной попытки возвеличить бесполезное», если бы он, следовательно, вел бы себя тихо и благопристойно, возвеличивая «полезное», т. е. буржуазный строй. Французский критик Мельхиор де-Вогюэ в своей книге говорит, что вся Россия напоминает отвратительный трактир, что Горький, как художник, питается этой отвратительностью. По Вогюэ выходит, что Горький, большой художник, большими шагами вошел в жизнь, но может он только ругать и разрушать этот мир, а строить — не может. Это подчеркивание «анархизма» Горького, его разрушительности было сигнализированием о классовой опасности его искусства для буржуазного общества. Де-Вогюэ говорил больше намеками, но нашлись другие, более «классово сознательные» критики, резко выступившие против вторгшегося на Запад писателя-революционера. «Fort mit Gorky!» — долой Горького! — провозгласил в Германии в 1904 г. Герман Лэнс на страницах «Рейнско-Вестфальской газеты». Горький в Германии самый популярный писатель, три четверти германских газет и журналов его печатают, — пишет Лэнс,

«На дне» три сезона не сходит со сцены Малого театра в Берлине. Герман Лэнс милостиво разрешает Горькому быть выдающимся талантом, но он сожалеет, что Горький вытеснил ранее популярных французских писателей. Французские писатели ценны для этого немецкого реакционера не тем, что они французы, он — франкофоб, но даже они лучше Горького, ибо это были такие приятные и скромные писатели. Он утверждает, что Горький из ряда вон выходящий талант, и тут же говорит, что Горький не создает никаких художественных ценностей, что его искусство является просто модным явлением. Дилетант — вот мрачный приговор этого критика, который хотел повернуть назад историю Горького. Он говорит, что Горький вообще просто плагиатор, ибо он копирует, во-первых, Тургенева (?!), а, во-вторых, действительность (!!!). Обвинение столь же страшные, сколь и невежественные. Он кричит: «зачем прощают Горькому отравление публики картинами горя и бедности?» После тщательных поисков он находит, кем можно было бы заменить Горького — П. Гиллем.

Гилль был своеобразным писателем, юродивым, мистиком, при жизни его почти не печатали, а после смерти он был забыт очень скоро. С точки зрения Лэнса, в искусстве самое главное — форма, а не содержание. А как раз у Гилля, по его мнению, эта форма имеется

Пауль Горлих выступил с резким ответом Лэнсу в одной лейпцигской газете, указав, что Горький — огромный талант, что Гилля с ним даже и сравнить нельзя, но если Лэнс найдет настоящую замену Горькому — хорошо, но что пока нет равных Горькому писателей.

В американской прессе нашлись свои оголтелые Лэнсы. В «Evening Telegramm» была опубликована в 1902 г. статья «Апофеоз грубого и ужасного», где Горький об'являлся «апостолом грязи и гноя». «Он не владеет ни юмором, ни гуманностью, ни сочувственностью Диккенса... Это не искусство», — убеждала газета в диком ужасе за «нравственность» своих читателей. Горький, оказывается, такой неблаговоспитанный, что «сует нос во всякую грязь». И газета заключает, что хотя жизнь плоха, но лучше об этом не говорить.

Газета «New Iork Times» в таких же тонах писала о каждой новой книге Горького, а переводчики облагородили его: так проститутка Соня из «Осеннего вечера» стала... кухаркой. Резко отрицательное отношение буржуазной критики к Горькому получает особый смысл, если мы сравним творчество с искусством и литературой буржуазной Америки того времени.

Критик Кэнби в своей книге «Обычные американцы» приводит выдержку из кальвинистской этики жизни, называя ее «спинным хребтом пуританской цивилизации». Мы там читаем: «Во всяких жизненных положениях христианин должен ежечасно стремиться показывать, что он есть один из божьих праведников, могущих спастись от адского огня только данным ему чувством божественного». Эта пышная и туманная фраза по существу означала, что религиозная доктрина была господствующей в американской действительности, что никакие отступления от общепринятого не были терпимы, что общественное мнение должно было отсекать каждого инакомыслящего вольнодумца, что никакой протест против буржуазной действительности не был бы поддержан ни одним 100-процентным американцем. Гораций Флетчер это религиозное положение переложил на язык практики, обосновав теорию оптимистического отношения к действительности. «Оптимизм может быть предписываем как лекарство... Деловой человек может приложить его к своей практике, использовать в своих делах и получить пользу. Оптимизм есть легкость, приятность, полезность и выгода». Оптимизм стал мировоззрением буржуазии, ее господствующим настроением. Уильям Дин Гоуэлс, этот, по выражению М. Твэна, «критический суд последней инстанции в нашей стране, на решения которого некуда апеллировать», эту буржуазную философию положил в основу искусства, выставив положение, что «наиболее оптимистические взгляды на жизнь и есть наиболее американские». Это положение стало базисом всей, так называемой, школы «нежного реализма» — реализма без реальных противоречий, реализма без сатиры, реализма без протеста, реализма, основной задачей, которого было приукрашивание действительности, обволакивание ее розовыми тонами оптимизма. Творчество Гоуэлса, У. Джемса, Д. У. Рили, Э. Диккинсон, Э. Уортон и др. создавало эту школу «нежного реализма». Рядом своих произведений примыкает к ним и Марк Твэн.

Искусство Горького было вызовом «нежному реализму», против которого в тот же период в Америке выступали Фрэнк Норрис, Стифен Крэйн и Теодор Драйзер. Этим и об'ясняется травля его американской прессой.

Травля Горького реакционной критикой — это лучшая похвала для него, как пролетарского писателя и революционера. Эта травля особенно усилилась, когда он опубликовал свои произведения, разоблачающие буржуазную культуру и цивилизацию Европы и Америки.

Западная культура, искусство и литература интересовали Горького с первых шагов его сознательной жизни. Горький упорно работал над тем, чтобы овладеть и искусством и культурой Запада, чтобы усвоить огромное историческое наследство в этой области. И достиг этого: все, кто работал с ним по вопросам искусства и литературы Запада, отмечают огромную эрудицию Горького (смотрите, например, воспоминания К. Чуковского о работе с писателем по изданию «Всемирной литературы»). Но Горький не просто эту культуру усваивал, он перерабатывал ее, делал и практические выводы, применял свое знание культуры Запада для борьбы за пролетарскую культуру, для борьбы за революцию. Характерны в этом отношении его «Беглые заметки», печатавшиеся в «Нижегородском листке». Так, в статье о концерте хора хорватских студентов Горький ставит вопрос о притеснении Австрией малых народностей и о праве угнетенных национальностей на свободное развитие («Нижегор. листок», № 220 от 11 августа 1896 г.). В «Библиографической заметке» о книгах «Маттео Фальконе» Мериме и «На рассвете» Т. Ежа, Горький по-публицистически заостряет тему, высказывая ряд мыслей о людях, боровшихся за свободу («Ниж. листок», № 352 от 23 декабря 1899 г.). В большой рецензии на «Сирано де-Бержерака» Эдмонда Ростана Горький не только дает анализ произведения, но пропитывает всю статью бодрым, волевым, зовущим к борьбе содержанием: «Этот добряк Ле-Брэ не понимает счастья иметь врагов», — бросает писатель, доказывая, что человек «должен и обязан драться за то, что он считает правильным». «Знать себе цену, уметь постоять за себя — необходимо нам, отчаянно необходимо в дни холопства, растления духовного теперь», так заканчивает Горький свою статью («Ниж. листок», № 4 от 5 января 1900 г.).

Горький не просто созерцал западную культуру, он активно к ней относился, он использовал имевшиеся возможности для направления ее движения в революционную сторону. Это он делал, прежде всего, через свои произведения, которые создавали новые кадры читателей, организовывали рабочий класс и радикальную интеллигенцию (это отмечает ряд западных критиков и писателей, в частности Генрих Манн). Безусловно огромную революционизирующую роль играли письма Горького к писателям и общественным деятелям Запада, к сожалению, недоступные в необходимой степени для обследования. Любопытно, например, одно из ранних писем Горького (датировано 1 августа 1903 г.), адресованное постановщику «На дне» в Берлине Макс Рейнгарду. Горький призывает к тому, чтобы искусство обрело свою функцию борьбы, чтобы оно не было искусством социальной гримировки. Он пишет: «Ничто не об'единяет людей так глубоко, как искусство. Так да здравствует же искусство и те, что служат ему, не страшась изображать суровую правду жизни такой, какова она есть». Правда, были у него и срывы (статья «Две души», выступления в первые годы после революции и около 1922 г.).

Известные иллюзии в отношении Горького, которые обнаружились на Западе в 1905 г., во время кампании за его освобождение, быстро угасли в 1906-1907 гг., когда был опубликован его прекрасный, насыщенный убийственной иронией памфлет «Прекрасная Франция». Художник с гневом и горечью разоблачает эту «прекрасную Францию», ставшую продажной, жадной проституткой, отдавшей себя буржуазии, оказавшей помощь русскому самодержавию для удушения революции. Конкретизируя основные черты общественного строя Франция в аллегорическом образе женщины, писатель заканчивает свой памфлет словами, которые как бичом ударили по буржуазному Западу:

> «Великая Франция, когда-то бывшая культурным вождем мира, понимаешь ли ты всю гнусность своего деяния?
>
> Твоя продажная рука на время закрыла путь к свободе и культуре целой страны. И если даже это время будет только одним днем — твое преступление не станет от этого меньше. Но ты остановила движение к свободе не на один день. Твоим золотом — прольется снова кровь русского народа.
>
> Пусть эта кровь окрасит в красный цвет вечного стыда истасканные щеки твоего лживого лица.
>
> Возлюбленная моя!
>
> Прими и мой плевок крови и желчи в глаза твои!».

Какой дикий вой поднялся во Франции, когда появился памфлет. Буржуазные критики, а

в особенности журналисты, исчерпали весь лексикон брани и ненависти к писателю, которого они еще так недавно «защищали» (это не преминули вспомнить, чтобы подчеркнуть «низость» поведения «неблагодарного» Горького).

В этом же году Горький опубликовал свои зарисовки «страны свободы» — капиталистической Америки, с исключительной силой передав ужасающую власть капитала, уничтожающего все здоровое, творческое, смелое, радостное и счастливое, превращающего человека в опустошенное безмозглое существо. Приведем только один из отрывков очерков «В Америке», чтобы дать представление о их содержании.

«Страшно много огня в этом городе! Сначала это кажется красивым, и, возбуждая веселит. Огонь — свободная стихия, гордое дитя солнца. Когда он бурно расцветает — его цветы трепещут и живут прекрасней всех цветов земли. Он очищает жизнь, он может уничтожить, все ветхое, умершее и грязное.

Но, когда в этом городе смотришь на огонь, заключенный в прозрачные темницы из стекла, понимаешь, что здесь,—как все,—огонь — порабощен. Он служит Золоту, для Золота и враждебно далек от людей.

Как все — железо, камень, дерево — огонь тоже в заговоре против человека, ослепляя его, он зовет:

— Иди сюда!

И выманивает:

— Отдай твои деньги!..

Люди идут на его зов, покупают ненужную им дрянь, и смотрят на зрелища, отупляющие их.

Кажется, что где-то в центре города вертится со сладострастным визгом и ужасающей быстротой большой ком Золота, он распыливает по всем улицам мелкие пылинки, и целый день люди жадно ловят, ищут, хватают их. Но вот наступает вечер, ком Золота начинает вертеться в противоположную сторону, образуя холодный, огненный вихрь, и втягивает в него людей затем, чтобы они отдали назад золотую пыль, пойманную днем. Они отдают всегда больше того, сколько взяли, и на утро другого дня ком Золота увеличивается в об'еме, его вращение становится быстрее, громче звучит торжествующий вой железа, его раба, грохот всех сил, порабощенных им.

И жаднее, с большей властью, чем вчера, оно сосет кровь и мозг людей для того, чтобы к вечеру эта кровь, этот мозг обратились в холодный, желтый металл. Ком Золота — сердце города. В его биении — вся жизнь, в росте его об'ема — весь смысл ее.

Для этого люди целыми днями роют землю, куют железо, строят дома, дышут дымом фабрик, всасывают порами тела грязь отравленного, больного воздуха, для этого они продают свое красивое тело.

Это скверное волшебство усыпляет их души, оно делает людей гибкими орудиями в руке Желтого Дьявола, рудой, из которой Он неустанно плавит Золото, свою плоть и кровь».

Но Горький не только с беспощадной силой вскрывает сущность господства доллара— он проводит мысль, что подобный порядок должен быть уничтожен, что так жить нельзя и не нужно, что следует взорвать, разрушить, раздробить господство капитала. Очерки имели прямое революционное значение — именно поэтому они встретили резкую критику буржуазной печати, поддержанную русскими прислужниками буржуазии. Критик «Вестника Европы» (книга 12, декабрь 1906 г.) с деланной наивностью, или настоящей неподдельной глупостью, удивляется: как же это так странно выходит — Горький искал сильных людей, в Америке их как раз много, но Горький их там не находит!? И наш неуемный обозреватель выступает с советом: зачем выступать так резко против условий жизни, ведь «в борьбе с ними действительна только одна сила — сила живительной и проникнутой любовью мысли. Она одна, медленно но неотступно изменяет среду». Зин. Гиппиус выступила позднее с подобного же рода обвинениями. В своей статье «Беллетристические воды» («Русская мысль», книга VIII, 1912 г.), подписанной «Антон Крайний», она утверждает, что Горький вообще ничего порядочного не написал, что его творчество — это, изволите видеть, только «большое ничего». Неудовлетворена эта будущая белая эмигрантка и западными очерками Горького, ибо, оказывается, он ничего не понял, попав на Запад: «Горький, как слепой, не видит, не слышит, не интересуется», — изрекает почтенная рептилия, пресмыкаясь перед буржуазной культурой.

Буржуазная критика проводила две тактики в отношении Горького. С одной стороны, она стремилась его «обласкать», замазать классовую природу его искусства, превратить его в филантропа, толстовца, непротивленца, в смиренного проповедника, в беспочвенного романтика. С другой стороны, она резко выступала против него, предостерегая читателя от его

«зловредного» влияния. Обе эти тактики потерпели крах. Горький заставил себя признать, как мирового писателя рабочего класса, как писателя-революционера. Наступил период некоторого затишья, о Горьком перед войной стали писать меньше, некоторые русские критики и журналисты, побывавшие за границей, или вообще жившие там, стали отмечать, что его влияние стало падать. Но они ошибались. О нем действительно пытались не писать «большие» (капиталистические) газеты, но он стал любимым писателем рабочего класса Запада и передовой интеллигенции. Например, пребывание Горького в Италии заставляло итальянскую полицию с особым вниманием за ним следить, ибо Горький был революционным центром. Газета «Avanti» называла его «душою русской революции». М. Первухин пишет, что в Италии Горького считают выдающимся политическим деятелем и что его читают прежде всего именно передовые итальянские рабочие («Русское слово», № 46, от 24 февраля 1908 г.).

Горький, однако, приобретал все большее влияние среди передовой интеллигенции, он стал, вместе с Ромен Ролланом, ее духовным знаменем. Именно об этом писало большинство писателей, в связи с 60-летием писателя в 1928 г., отмечая его огромное влияние на интеллигенцию.

В своей статье «О цинизме» (1931 г.) Горький правильно указывает, что одноименная статья, опубликованная им в 1908 г. в журнале «Documents du progrés», верно ставит ряд основных общественных вопросов. Такие статьи не могли остаться без отклика, они будили сознание интеллигенции, не говоря уже о рабочем классе, и сам Горький указывает, что, в частности, эту статью Анатоль Франс «весьма лестно оценил».

Статья Ромен Ролана, напечатанная в нашей прессе 15 мая 1931 г., письма Б. Шоу, Г. Манна, А. Гильбо, Роллана и др., в связи с юбилеем 1928 г., являются одними из многочисленных примеров влияния Горького на западную интеллигенцию. Роль этого влияния тем больше, чем резче были выступления Горького в печати за последние годы, ударявшие по буржуазной демократии, разоблачавшие с революционных позиций буржуазную культуру, разоблачавшие политический антисоветский смысл кампаний против расстрела вредителей рабочего снабжения, против советского «демпинга», против «принудительного труда» в СССР, против процесса «Союзного бюро» и т. д. Покоряя Запад своими огромными эпическими произведениями последних лет, Горький неустанно обращается к нему и как боевой агитатор рабочего класса, и как воинствующий пролетарский публицист. Свое исключительное знание Запада, свою огромную культуру, свое большое искусство, свой талант революционера-публициста, свое метко-разящее перо журналиста пролетарской революции Горький ставит на службу защите СССР на Западе, притягивая к нам лучшие умы Запада, разоблачая врагов и создавая новых друзей нашей социалистической страны и вызывая дикую ярость белогвардейских «русских» писателей (выступления И. Бунина, Д. Философова, проф. Гримма и др.). См. внизу[1].

Когда происходили первые представления пьесы «На дне» в Берлине в начале текущего столетия один прусский офицер заметил: «С такой нацией пушками ничего не сделаешь». Можно сказать, что ни пушки, ни культура гибнущего капитализма не могли и не могут остановить революционный путь Горького по Западу, ибо его путь — это путь революционера, связанного с освободительной борьбой мирового пролетариата. «Зло тоже необходимо привести в систему, нужно нарастить ему голову для того, чтобы оторвать ее», — эти слова Горького, сказанные по поводу Кнута Гамсуна, запомнит рабочий класс Запада, уже протягивающий крепкие руки к горлу капитализма.

---

[1] Сам правильно писатель пишет, что «Горький раздражает их постольку, поскольку он служит эхом музыки победоносного марша рабочих и крестьян Союза социалистических советов» («Клевета и лицемерие», март 1931 г.).

Романтическая ирония в критике буржуазного мира

(А. А. Блок).

С. Нельс

I

Обычно литературоведческое исследование берет творчество поэта в историческом аспекте, начинает с его ранних произведений и последовательно проходит все этапы его творческого пути.

Говоря о Блоке, невольно хочется начать с его последнего произведения — с «Двенадцати», ибо этой поэмой связал Блок свое имя с революцией. Критикой уже было достаточно выяснено, что «Двенадцать» далеки от большевистского понимания революции. Тем не менее значение «Двенадцати» несомненно: «Двенадцать» является актом признания правды Октября со стороны классово-чуждого ей поэта. «Двенадцатью» Блок, единственный из плеяды поэтов-символистов (исключая В. Брюсова, особый путь которого выяснен критикой, принял и утвердил Октябрь. Именно с этой точки зрения можно и должно говорить в настоящий момент о Блоке: не стремиться протащить революционность Блока за грани Октября или выискивать революционизирующее сознание читателя значение «Двенадцати». Эта оппортунистическая болтовня — наследие Троцкого — позади. Для нас важно, что Блок, так близкий корнями к белоэмигрантщине, сумел отказаться от пути своего класса и, оставаясь по существу чуждым революции, умел так слышать «музыку революции».

В юбилейные дни белоэмигрантские писатели, конечно, не забудут в своей печати напомнить о том, как большевики замучили Блока. И потому нужно еще и еще раз повторить о том, что Блок в сущности это то оружие, которое направляется против них самих, что поведение Блока последних лет, — резкий укор их поведению.

Блок как-то по-своему принял и утвердил революцию. Как он пришел к этому? Как проделал путь от мистико-религиозных восторгов раннего творчества к стиху: «Что ж нынче не веселый, товарищ, поп?»

«Двенадцать» не оторваны от прежнего творчества Блока, ибо путь поэта необычайно органичен. Но утверждение этой связи «Двенадцати» со всем творчеством поэта часто использовалось в целях показа того, что этим последним произведением Блок остался верен себе, своему мистико-религиозному мировосприятию, что «с политикой, партийными программами, боевыми идеями и т. д. она (поэма, С. Н.), как и все творчество поэта, не имеет никаких точек соприкосновения; ее проблема — не политическая, а религиозно-нравственная, — и в значительной степени индивидуальная, не общественная, и только с религиозной точки зрения можно произнести суд над творческим замыслом поэта». (В. Жирмунский — Поэзия Александра Блока, СБП, 1922 г.).

И все это вопреки Блоку, который считал марксистов «самыми умными критиками» и тем подчеркивал необходимость и закономерность политической, вернее, социальной критики «Двенадцати».

На пути к созданию «Двенадцати» лежала острая неудовлетворенность социальной действительностью, критика своего класса. Выяснение этой стороны его творчества нас и интересует. Не то, как воспевал Блок «Прекрасную даму», а то, как он иронически давал «женщину» своего класса.

Ибо в настоящее время не актуальна та сторона творчества поэта, которая шла от его дворянской культуры. Наоборот, представляет значительный интерес проследить, как разлагал насмешкой, стремился преодолеть груз прошлого, как все большее осмысление социального процесса приводило поэта дворянского распада к все более резкой критике бур-

жуазного мира и, наконец, к остро обличительным строкам «Двенадцати».

Но критика Блока, по существу, была бездейственна, ибо, отрицая старое, она не знала выхода, не звала к выходу:

«Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, —
Дням настоящим молвив: нет». (III, 112).

Поэтому она облекалась обычно в форму иронии. Ирония помогала закрываться от жизни. Если для Маяковского насмешка была способом сатирического наступления на жизнь, то для Блока она была способом самозащиты через иронию от идущей жизни.

Необычайно остро сознающий социальную сущность своей поэзии, Блок сам писал о своем «разлагающем смехе». В очень любопытной статье «Об иронии», в цикле «Россия и интеллигенция», он остро ставит вопрос о «многообразных методах смеха», о противоположности «созидающего звонкого» смеха «разлагающему» смеху иронии. Он говорит о том, как заражены люди его поколения ядом иронии, как не знающие выхода, они иронией заглушают свою боль и пустоту.

«Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь — сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Ее проявления — приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски издевательской провокаторской улыбки, кончается — буйством и кощунством.

Я знаю людей, которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают с голоду, что изменила невеста. Человек хохочет, — и не знаешь, выпьет он сейчас, расставшись со мною, уксусной эссенции, увижу ли его еще раз?» (т. VII, стр. 107).

Социальные корни этого вида смеха намечаются таким образом в статье Блока. Так смеется, хохочет человек, «повествующий о том, что он всеми унижен и всеми оставлен». Этот разлагающий смех (пользуясь удачным словом Блока) — ирония, есть смех погибающих. Об этом говорят много исторических примеров. Ирония — как способ отображения жизни, как способ реагирования на жизнь — есть оружие бессильных, погибающих социальных групп, в противоположность «созидающему» смеху сатиры.

«Какая же жизнь, какое творчество, какое дело может возникнуть среди людей, больных «иронией?» — спрашивает Блок. Вопрос этот, конечно, идеалистически поставлен на голову и его нужно перевернуть на ноги. Болезнь «иронии» возникает именно у людей, от которых ушла жизнь, творчество, дело, у людей, социально вырождающихся, или социальных групп, начинающих свой путь в обстановке, которая не сулит больших возможностей для развития — групп социально бессильных.

В жизни им делать нечего, и свою пассивность они возводят в своеобразный закон. Всякая деятельность, все, в чем движение живой жизни, вызывает их ироническую улыбку. В реальной жизни и деятельности они видят только смешное и ничтожное, которому противопоставляют значительность своей собственной, гордо уединившейся от жизни личности.

Мы говорим здесь, конечно, об иронии, не как об эстетической частности, а как об основном способе мировосприятия.

В этом плане стоит ирония романтиков всяких оттенков: Э. Т. А. Гофмана и Новалиса, Мюссе и Гейне. Их ирония — это тот разлагающий смех, о котором Блок писал:

«Мы видим людей, одержимых разлагающим смехом, в котором топят они, как в водке, свою радость и свое отчаяние, себя и близких, свое творчество, свою жизнь и, наконец, свою смерть» (т. VII, стр. 108).

И почти теми же словами говорит он в одном из стихотворений третьего тома:

Что делать! Изверившись в счастье,
От смеху мы сходим с ума,
И, пьяные, с улицы смотрим,
Как рушатся наши дома! (III, 151).

Ясно, что такой смех из отчаяния, смех над жизнью чужой и своей есть смех над всякой возможностью жизни вообще, над всякой активной деятельностью. Такого рода смех не ведет к действенному преодолению осмеиваемого, к действенной борьбе с ним. Ирония пассеистична по своей сущности, как бессильны в жизни ее выразители. Комическое существующее в жизни побеждается лишь в сознании возвышающейся над жизнью гордой индивидуальности. При сравнении с абсолютным покоем уединившейся личности очевидна ничтожность, комичность всяких человеческих усилий. Так, для уничтожения комического не нужна борьба с ним, достаточно самое противопоставление себя — миру.

Причиной этого разлагающего смеха в русской современной действительности и в русской литературе Блок считает «ужасающий де-

надцатый век, русский 19 век, в частности» с его грохотом машин, механикой и позитивизмом, который похоронил «живой голос» и «живую душу» человека.

Действительно 19 век был «погребальным» веком для русского дворянства. И последний его герольд смог ответить победившей буржуазии лишь иронической гримасой в ее сторону, насмешкой над ее культурой. И этой иронией скрыть бессилие своей утонченной культурности, свою неспособность к созиданию другой жизни, взамен осмеиваемой, так же, как в иронии топили французские романтики свои роялистские иллюзии, а ранние немецкие романтики ею скрывали слабость нарождающейся буржуазии.

Гейне, считавший себя последним романтиком, был мастером иронии. Иронией он разрушал, разлагал свой романтизм, свои дворянские пристрастия. Блок генетически возводит свой смех к Гейне: «Все мы пропитаны провокаторской иронией Гейне».

Но смех Гейне, как и все его творчество — явление сложное, ибо в нем сочетаются разлагающая ирония с созидающим смехом сатиры, критикующей старые ценности во имя положительного социального идеала.

Наряду с иронической лирикой, Гейне — создатель политической сатиры, которой он дал несравненные образцы.

Творчество Блока тяготеет к одной стороне гейневского смеха — к его творческой иронии. Ею последний поэт погибающего класса отвечал победителю.

II

А. Блок — романтик. Его основные мотивы, как уже не раз говорилось, — мотивы любви и природы, личной ущербленности и тоски последнего дворянского поэта.

Но уже в первом томе, рядом с гимнами Прекрасной Даме, появляется в творчестве Блока «Фабрика». Социальный вопрос, поставленный в стихотворении, был продиктован впечатлениями 1905 года.

В этом отношении Блок представлял значительное исключение среди своих современников — символистов: положение той социальной группы, которую он представлял в символическом движении, позволяло ему хотя и не целиком, но в какой-то мере не закрывать глаза на социальную действительность.

«Я слышу все с моей вершины
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ».
(«Фабрика», т. I, стр. 208).

Правда мера этого интереса была не велика. Не то, чтоб он нарочито отталкивался от нее, он просто не замечал ее. Она мало входила в круг лирически приподнятых настроений молодого поэта, так же, как его родное Шахматово — остаток старых дворянских гнезд, было уже выключено из социальной жизни, очень мало в ней определяло и жило лишь прекрасными, оторванными от жизни мечтами.

Поэтому, если Блок замечал чуждую ему действительность, то замечал с «моей вершины». К ней он не спускался.

И поэтому Блок дает разрозненные явления, части процесса. Смысл социального процесса в целом был непонятен для той группы деклассированных дворянских интеллигентов, которую представлял Блок.

Но, с другой стороны, эти частности в изображении реальной действительности он умел беспристрастно отобразить — в этом та особенность деклассированного поэта, которая сделала возможным впоследствии появление «Двенадцати» с их приятием революции.

В стихотворении «Фабрика» он так бесстрастно регистрирует:

«Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели».

Эти слова о «нищих», эта об'ективность, как будто шедшая в разрез с интересами класса, который он представлял, стала возможной благодаря тому, что класс его по существу перестал существовать и жил лишь постольку, поскольку трансформировал свои интересы и сливал их с интересами другого господствующего класса: дворянско-помещичьи феодальные формы жизни ушли в прошлое и дворянство существовало лишь постольку, поскольку оно приспособлялось, шло за капиталистическими буржуазными отношениями.

Поэт дворянского распада, хранивший и культивировавший старые дворянские культурные традиции, мог поэтому об'ективно изображать эти капиталистические отношения, несмотря на то, что дворянство в целом, продолжая цепляться за власть и могущество, было заинтересовано в ином показе.

И, может быть, потому, что гибель класса была неизбежна, что она была совершившимся фактом, смотрел Блок с таким спокойствием на приход нового класса — пролетариата, на то, как:

«Поднимались из тьмы погребов,
Уходили их головы в плечи,
Тихо выросли шумы шагов,
Словеса незнакомых наречий.
Скоро прибыли толпы других,
Волочили кирки и лопаты.
Расползались по камням мостовых,
Из земли выдвигали палаты».

Буржуазия была для дворянского поэта врагом, но врагом, которого уже не победить. И потому так спокойно смотрит он на эти «толпы», которые идут на борьбу и с его врагом, но для которых борьба таит возможности новой жизни. Тот факт, что эта новая сила не только сломит господство буржуазии, а уничтожит самую возможность господствования какого-либо класса — не осознается поэтом.

Со спокойствием отчаяния от предчувствия новой идущей силы в стихотворении 1904 г. он восклицает:

«Пусть заменят нас новые люди.
В тех же муках рожала их мать,
Также нежно кормила у груди...»

И рядом момент примирения со своей участью в прострации уничтожения. Это обычный блоковский мотив. Он заключается в ряде стихотворений, отражающих 1905 год. Рядом со спокойным констатированием:

«Шли на приступ. Прямо в грудь
Штык наточенный направлен
. . . .
Кто-то бьется под ногами,
Кто — не время вспоминать...» (61).

Не время и незачем, ибо для Блока «даль кровавая пуста».

Рядом с этим примиренность и спокойствие смерти, которая завершает кровавое столкновение на митинге: «и в тишине, внезапно вставшей, был светел круг лица...», «были строги и спокойны открытые зрачки» того, кто еще недавно «говорил умно и резко». В его смерти для Блока чудится «ночное дыхание свободы» в противоположность тем «цепям тягостной свободы», которыми он в жизни «уверенно гремел».

Мотив «тягостной» свободы опять-таки обычный у Блока. Признавая об'ективное право народа на свободу, на завоевание свободы всякими, даже революционными способами, Блок в то же время для себя лично эту свободу не принимал. Она казалась поэту столь же ограниченной, запирающей человека в те же определенные, хотя несколько иначе, чем буржуазные рамки: «Серый, как ночные своды, он знал всему предел», пишет он. И здесь сказалось полное непонимание путей нового класса, борющегося за эту свободу не для себя, не для победы класса, а для установления бесклассового общества. Боязнь, что мы будем «в цепи новые закованы», сопровождает все его стихи 1905 года и вскрывает его реакционный пассеизм.

Основное отношение Блока к революции 1905 г. характеризуется созерцательным, но в известной степени об'ективным ее восприятием, ибо оно лишено в какой бы то ни было мере классовой злобности или злорадства. Отсюда холодно-бесстрастное изложение, регистрирование событий, в котором почти стирается момент сочувствия революционерам, и одинаково правы оказываются и те, кто восстал за свободу, и те, кто эту свободу подавляет.

«И в звоны стекол перебитых
Ворвался стон глухой,
И человек упал на плиты
С разбитой головой.

Не знаю, кто ударом камня
Убил его в толпе,
И струйка крови, помню ясно,
Осталась на столбе.

. . . .

И промелькнуло в беглом свете,
Как человек лежал
И как солдат ружье над мертвым
На перевес держал.

Черты лица бледней казались
От черной бороды,
Солдаты молча собирались
И строились в ряды». (Т. II, стр. 144).

С другой стороны, Блок, чуждый революции, умел признавать ее правоту и без интеллигентского сентиментальничанья, за которым обычно скрывается совсем не сентиментальная защита своих интересов, принимал пути революции, ту кровь и жертвы ее, через которые лежал ее путь. Мелкобуржуазная гуманистичность была чужда блоковскому восприятию революции.

Если стихи, посвященные революции 1905 г., были первым хотя и неполным отражением со-

циальной действительности, то с другой стороны — причиной того, что действительность ворвалась в творчество Блока, был переход из шахматовского уединения в капиталистический город. Уже не с «моих высот» спокойно наблюдает Блок жизнь. Он в ее центре. И прежнее спокойствие созерцателя сменяется гневной и иронической нотой человека, заключенного в подавленного мещанским существованием той буржуазной интеллигенции, в ряды которой он должен был стать.

Эти оба мотива сливаются в стихотворении «Сытые». Здесь ирония над «грудой рюмок, дам, старух, над скукой их обедов чинных» сливается с угрозой «красным смехом чужих знамен». Но обе эти стихии чужды поэту. И если враждебны те, чьи «шипят пергаментные речи, с трудом шевелятся мозги», то равнодушен он и к «красным знаменам и мольбам о хлебе». И оттого бессодержателен и бесцелен бунт поэта против «сытых» и иронические, негодующие строки:

«Так — негодует все, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев;
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев».

приводят не к вызову на борьбу, а к жесту пренебрежения и скучающей усмешке:

«Пусть доживут свой век привычно —
Нам жаль их сытость разрушать.
Лишь чистым детям — неприлично
Их старой скуке подражать». (II, 149).

III

Угроза «сытым» чужими знаменами была мотивом кратковременным, случайным в творчестве Блока и сменяется скоро более органическим для него противопоставлением пошлости «сытых» творческой фантазии поэта. В этом плане характерна «Ночная фиалка». Здесь уже проявляются основные черты иронии Блока, хотя она дана исключительно в романтическом колорите. Впоследствии иронически осмеиваемое будет дано в более реальной рамке.

«Там, где небо устав прикрывать
Поступки и мысли сограждан моих,
Упало в болото, —
Там краснела полоска зари». (II, 29).

Персонифицирование природы для ее противоположения мелочности человеческих характеров обычно для поэтов-романтиков, уходящих от жизни, которым уродливым формам жизни нечего противопоставить, кроме красот природы.

В «Ночной фиалке» основной тон дан в противоположении быта видениям поэта.

И не даром все было спокойно
И торжественной встречей полно:
Ведь никто не слыхал никогда
От родителей смертных,
От наставников школьных,
Да и в книгах никто не читал,
Что вблизи от столицы,
На болоте глухом и пустом,
В час фабричных гудков и журфиксов,
В час забвенья о зле и добре,
В час разгула родственных чувств
И развратно-длинных бесед
О дурном состоянии желудка
И о новом совете министров,
В час презренья к лучшим из нас,
Кто, падений своих не скрывая,
Без стыда продает свое тело —
И на пыльно-трескучих тротуарах
С наглой скромностью смотрит в глаза,—
Что в такой оскорбительный час
Всем доступны виденья (II, 31).

Также характерно для поэта деградирующих групп, что социальная действительность берется как быт и осмеивается извечно присущее ей мещанство. Мещанству быта противопоставляется не содержательность иной жизни, а красота природы и ее художественного воплощения в искусстве. В таком именно разрезе дан весь цикл стихотворения «Вольные мысли». Здесь ирония в отношении всех человеческих усилий и стремлений человеческих забот в сравнении с незнающей труда и усилий деятельностью природы.

Жокей «всю жизнь скакал с одной упорной мыслью, чтоб первым доскакать» и рабочий, всю жизнь таскавший кирпич и уголь,— оба одинаково беспомощны и ничтожны перед лицом смерти. «Так хорошо и вольно умереть». В смерти — единственный смысл, ибо не надежны не только реальность, но и поэтическая мечта. В стихотворении «Над озером» с одной стороны — поэт, вечерний пейзаж, озеро и сосны. Поэт, слагающий гимны вечернему озеру, и девушка, о чем-то мечтающая в сумерках. Она входит частицей мировой красоты. Все это так высоко над повседневностью, над обычными людьми и их интересами. И оттого: «наверное, наверное прогонит затянутого в китель офицера с вихляющимися задом и

ногами, завернутыми в трубочки штанов». (II, 248).

Но тут происходит метаморфоза: поэтическая девушка, прозревающая иные миры, глядящая так далеко, куда и сам поэт «не в силах заглянуть», оказывается под стать вихляющему офицеру. Она — та же мещанка, которую офицер «протяжно чмокает, дает ей руку и ведет на дачу». Поэтическая Текла оказывается мещанской Феклой. И поэт хохочет над своей ошибкой, над ними, над собой.

«Я хохочу. Взбегаю вверх. Бросаю
В них шишками, песком, визжу, пляшу...»

Этот смех помогает ему отделаться от назойливого мещанства, от «гуляющих модниц и франтов», которые морской берег опошлили, «наставили столов, дымят, жуют, пьют лимонад», и «уйти в голубой туман». Противоречие между сознанием поэта, обозревающим космос, воспринимающим величие мира, и мелочностью толпы, людей, которые:

« . . . . переменив
Забавные тальеры и мундиры
На легкие купальные костюмы,
И дряблость мускулов и грудей обнажив,
Они, визжа, влезают в воду. Шарят
Неловкими ногами дно. Кричат,
Стараясь показать, что веселятся» (II, 250).

не разрешается, а снимается иронией. Смех поэта есть желание уйти от этой толпы и через этот смех, через возвышение над осмеиваемым создается возможность ухода. Иначе — противоречие осталось бы незаполненным провалом в сознании поэта, провалом, не дающим возможность свободного созерцания мира.

Это — типичная ирония романтика уходящего класса, который не искал разрешения социальных противоречий, ибо не было в об'ективных условиях возможности их разрешения, а стремился от них уйти. И формулой ухода была знаменитая романтическая ирония.

Блок в этом отношении типичен. Его драмы все построены на раскрытии этого иронического мироощущения.

Действительность ничтожна. Поэтическое созерцание восполняет провалы реального. Но есть и обратно: великое и поэтическое, прозреваемое поэтом за гранями реального, оборачивается той же смешной, глупой рожей обывательской повседневности. Текла оказывается Феклой. И поэт смеется над тем, что было прежде его романтической мечтой, возвышающей его над пошлостью жизни. Смеется в сущности над собой.

Романтический абсолютивизм, не знающий диалектических переходов, не разрешает противоречия, а перемещает его части, делая положительное отрицательным, отрицательное из возвышенного становится осмеиваемым.

Все большее приближение к реальности, тот прорыв в реальное, каким была для Блока революция 1905 г., диктовало поэту сознание, что за всяким романтическим и мистическим познанием жизни таится то же не настоящее, относительное и потому пошлое, что и в реальной жизни, что если сорвать маску с возвышенного — обнажится привычное лицо повседневного. Здесь поэтическим чутьем Блок угадывал то, что не мог осознать из-за отсутствия социального опыта, что под маской мистической борьбы с буржуазной действительностью скрывалась все та же буржуазно-мещанская идеология.

В таком восприятии мира Блок сталкивается с Гейне. Гейне был мастером иронически обнажать под возвышенным и романтическим мещански обывательское. Блок показывает претенциозность «мистиков». Та, прихода которой они ждут в мистическом ужасе, Дева-Смерть, ведь только просто красивая девушка Коломбина, невеста влюбленного паяца. Но «мистики» не видят этого: для них коса красивой девушки — эмблема смерти, глаза ее отражают вечную пустоту смерти, «как снега на вершинах» лицо ее. Им кощунством кажется призыв влюбленного Пьеро. Но реальность оказывается сильнее их заклинаний: красивая девушка уходит за женихом.

Но и он оказывается бессилен против реальной жизни, смешон в своем исключительном восприятии мира, как любви. Его стремление воплотить себя в жизни, стать влюбленной парой в мировом кругу влюбленных пар также тщетно, как стремление к мистическому соединению с вечной подругой у мистиков.

Коломбина оказывается призраком, мечтой и Пьеро плачет «над картонной подругой своей». Но клюквенный сок вместо живой крови и слез внешне гротескно выражает всю комичность и бедность романтической мечты.

Пьеро говорит: «Или вы правы, и я — несчастный сумасшедший. Или вы сошли с ума — и я — одинокий, непонятый вздыхатель». (А. Блок — Театр, изд. «Земля», 1918 г., стр. 13). Но Блок иронически обнажает «сумасшествие» и тех и других. Реалистический «автор» протестует против романтического восприятия его персонажей. Он трезво дает отпор их фанта-

обычаями, предрассудками и ожиданиями больших народных масс. В тот момент, когда массы стихе. Но это противоположение не есть выход, ибо не менее пародийно, чем романтизм, дан и наивный реализм «автора», стремящегося жизнь превратить в умеренно-буржуазную драму, где влюбленные, пройдя через различные препятствия, благополучно соединяются.

Тема «Балаганчика» до сих пор актуальна, как пародийное изображение мистического и романтического восприятия жизни.

На ту же тему — разоблачения романтических иллюзий написана драма «Роза и крест».

Мечтающая в средневековом замке молодая графиня Изора ищет того, кто кажется ей воплощением ее мечты, странника, пропевшего ей непонятную песнь о том, что «радость — страданье одно». Но находит взамен блестящего рыцаря, в которого она заочно влюблена, старого, седого менестреля. Разоблачая этот женский романтизм, Блок не уходит однако дальше обобщения: «Мальчик красивый лучше туманных и страшных слов».

Не менее пародийны отдельные места «Незнакомки», повторяющей в развернутом виде сюжет стихотворения того же названия. Пьяный семинарист с его возвышенными чувствами, упрекающий собутыльников, что они, в семинарии не учась, «нежных чувств» не понимают, комически оттеняет мистические прозрения поэта. Все время даются такие переходы:

Поэт. Вот Она кружит меня... И я кружусь с нею... Под голубым... под вечерним снегом...

. . . .

Семинарист. Танцует... танцует... Я на шарманке, а она под шарманку... (Делает пьяные жесты...).

Семинарист. Снег танцует. И мы танцуем. И шарманка плачет. И я плачу. И мы все плачем.

Поэт. Синий снег. Кружится. Мягко падает. Синие очи. Густая вуаль. Медленно проходит Она. Небо открылось. Явись! Явись!

Или человек, предлагающий камею, на которой «приятная дама в тюнике на земном шаре сидит и над этим шаром держит скипетр: подчиняйтесь, мол, повинуйтесь — и больше ничего!» Пародирует слова поэта: «Вечная сказка. Это — Она — Мироправительница. Она держит жезл и повелевает миром. Все мы очарованы ею».

Так же двупланово построена вся драма:

В первой сцене мистицизм поэта дан на фоне кабачка, в котором добродетельные буржуа веселятся над юмористическими изданиями, рассуждают о преимуществах люксембургского сыра над рошефором, с «Гауптманом» и «Верленом». Во второй сцене мистическая встреча поэта с незнакомкой пародируется разговором незнакомки с прохожим господином, который «полюбить ее «и очень не прочь». Этим пошлым ухаживаниям предпочитает мистическая незнакомка любовь голубого романтика. В третьем действии гостиная, с ее обывательскими разговорами, в которую врывается мистика Незнакомки, Звездочета и Поэта. Незнакомка превращается в знакомую даму, единственная странность которой в том, что она называет себя «просто Марией». «Таинственная пошлость» «Незнакомки» — вот что единственное, во что преображает мистика поэта реальную пошлость жизни. И это есть признание гибели мистики, признание жизненного провала своей веры.

Отсюда — отчаяние. Об отчаянии говорит каждая строчка драмы «Король на площади».

«Они строят свое счастье на какой-то сумасшедшей мечте»... говорит человек.— «Да ведь это безумие! — Если они верят в это, значит уж больше не во что верить».— «Страшное время!».. отвечает другой.

Эта сумасшедшая вера в то, что какие-то мифические — «придут корабли» и избавят от голода, нищеты и отчаяния, в то, что можно вдохнуть новую жизнь в короля, от которого осталась лишь «красота его древних кудрей. Ибо могут ли править миром такие дряхлые руки?» — все это «только хватание за жизнь. Верить в это — значит хвататься за соломинку». Так разоблачает автор мечтателей. Они не менее ничтожны, чем те, которые отрицают их мечты, исходя из присущего им здравого смысла, и о которых говорят в драме: «Как жалки обрывки сытых речей».

В драме в каком-то кривом зеркале отражается неулегшаяся буря 1905 г. Пародируются представители различных партий революционных и охранительных, здравый смысл людей беспартийных, воплощенный в образе шута. Здравый смысл, который проникает повсюду: он «в суде, где ты внушал присяжным смертные приговоры; или в церкви, где ты проповедывал смирение; или... да! Здесь, на берегу ты доказывал людям, что им не надо свободы» (стр. 66).

Людям здравого смысла не страшны никакие социальные бури. Они найдут себе всегда

выход. «Здравому смыслу остается одно средство — эмиграция», пародирует их приспособляемость автор. Но поэту нет выхода:

«Ты бичуешь их семьи, ты бичуешь их пошлость! Но все они лучше тебя. Ты изломан, ты не можешь дышать ни морем, ни пылью. Они умеют, по крайней мере, дышать желтой зловонной пылью — преклоняй же перед ними колена!» (49). Таков горько-иронический вывод автора.

Поэт, изживающий свой романтизм, не умел в реальной жизни находить те ценности, которые он мог бы ему противопоставить. И поэтому его осмеяние романтизма так недейственно, оно срывается в пустоту. Характерная черта иронического восприятия и отображения мира здесь полностью выражена: осмеяние через иронию характеризует пассеистическое отношение к жизни погибающих социальных групп, которые умеют видеть только зло социальной жизни, но не видят в ней тех ростков, в которых таятся тенденции социального развития.

И поэту остается лишь «творческий хмель... и гнев последних поколений».

IV

«Я не боюсь ни здравости, ни воли, ни труда, ни грубой мужской силы. Я боюсь безумной фантазии, нелепости — того, что звали когда-то высокой мечтой», так заключает Блок свое разложение, обличение предательской романтической мечты.

Но поэту мало было иронических усмешек по адресу «сытых», по адресу «мистиков». Он сознавал, как бездейственна ирония, как мало иронически отражать удары жизни. Через опыт 1905 г., через продумывание социальной действительности, через все большее осознание социальных процессов пришел Блок к стремлению гневными бичами сатиры прорвать враждебный строй мещанского мира. Реакция, последовавшая за взрывом 1905 г., вызвавшая расцвет мракобесовского мистицизма Мережковских, Бердяевых и др., толкала Блока еще сильнее на борьбу с мещанским бытом. Блок ясно понял, что истинное лицо этих философствующих реакционеров есть все та же буржуазная обывательщина. Об этом говорят его статьи об интеллигенции. Еще более характерна начатая в 1910 г. поэма «Возмездие», вся устремленная на борьбу оружием смеха с буржуазной культурой.

«Дроби мой гневный ямб каменья!» — вот ее лейтмотив.

С поэмой тесно связан цикл стихотворений «Ямбы».

На этом пути ждала поэта неудача. Ибо, какой действенностью мог обладать смех, который кроме осмеиваемого ничего не видел в жизни, который только свои ощущения гибели и разложения мог этому осмеиваемому противопоставить. И поэма «Возмездие», начатая в 1910 году, писалась чуть ли не вплоть до смерти поэта. (Последние стихи за несколько месяцев до смерти). И все же осталась незаконченной.

Сатирический замысел «Возмездия» был не под силу поэту, ибо он основан был на ложной идее: показать, как «род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи — начинает в свою очередь творить возмездие; последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он готов ухватиться своей человечьей ручонкой за колесо, которым движется история человечества. И может быть ухватится-таки за него»... («Возмездие», стр. 14).

Но дворянский род был обречен и на «возмездие» неспособен. Может быть здесь была у Блока аналогия с пролетариатом, чье право на «возмездие» он признавал. Но аналогия эта была механистическая, всем процессом социальной жизни отрицаемая.

Поэма «Возмездие» должна была дать большую картину мира, где погибающие демонические силы людей большой дворянской культуры вновь возрождаются через несколько поколений и через голову ненавистной им буржуазной культуры творят свою жизнь. Но из всего этого замысла законченными и действительно ценными являются лишь сатирические отрывки, характеризующие возникновение и развитие буржуазной культуры 19 и 20 вв.

Но и эти строки действенностью сатиры не обладают, к борьбе не зовут, ибо критика буржуазного строя в них идет не через осознание того, что может заместить разрушаемую культуру, тех реальных, социальных сил, которые могут с ней бороться. И это определяет характер насмешек, ей адресуемых.

«Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла).
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели темные дела...»

(Возмездие, Алконост, Петербург, 1902 г., стр. 30).

С такой общей характеристикой 19 в. можно согласиться. Но когда эта общая характери-

стика раскрывается, то ясно, что ее автор принадлежит к тем, кто зовет к разрушению не для создания нового, кто не видит дальнейших путей.

Ибо кого же можно повести за собой, критикуя

«Век не салонов, а гостиных,
Не Рекамье, а просто дам!»

Рожок горниста вместо рога Роланда и шлем — фуражкой заменя.

Для идущего пролетариата одинаково чужды Рекамье, как и буржуазные дамы. И «жестокость» 19 в. для него не более сильна и ненавистна, чем жестокость феодальных времен. И потому пропадает вся очень острая тирада о «материалистских малых делах» и о «гуманистическом тумане», которым буржуазия стремилась скрыть истинное лицо своих дел, скрыть, что с ней пришла лишь

«Неврастения, скука, сплин,
Век расшибанья лбов о стену,
Экономических доктрин,
Конгрессов, банков, федераций,
Застольных спичей, красных слов,
Век акций, рент и облигаций,
И мало действенных умов,
И дарований половинных
(Так справедливей — пополам)» и т. д.

Этот век создал буржуазную психологию, которая взрастила «вместо храбрости — нахальство, а вместо подвигов — психоз».

Ужас Блока перед буржуазным техницизмом, перед машиной, пытающей человека, перед «неустанным ревом», ее, «кующей гибель день и ночь», только отчасти соприкасается с отношением к ней трудового человека, для которого не машина источник социального зла, а то положение, в котором он находится к машине в процессе производства при буржуазном строе.

Такая картина выражает сознание тех, кого победила буржуазная стихия, но не может организовать сознание тех, кто будет бороться и победит ее.

От этой общей суммарной характеристики Блок переходит к критике отдельных сторон буржуазного строя и здесь он находит достаточно сатирических красок для изображения нелепостей, создаваемых капиталистическим строем. Прежде всего здесь остро реалистически данные ужасы войны.

Вот картина возвращения и встречи войск после Плевны с осмеянием квасного патриотизма:

«Да, дело трудное их — свято!
Смотри: у каждого солдата
На штык надет букет цветов!»

И эти цветы на штыке так контрастируют с тем, что еще так недавно ждали они

«*Подстерегающую где-то*
И настигающую смерть,
Болезнь, усталость, боль и голод,
Свист пуль, тоскливый вой ядра...»

В сравнении с этими трудностями еще более комичен «чувств прилив мгновенный» у петербургских обывателей

«здесь в петербургском сентябре».

Взобравшийся на фонарный столб глава семьи почтенный, его супруга «напрасной ярости полна», которая «зонтик тычет, куда не след она ему», Ванька, напирающий на барыню — все это очень острые реалистически-сатирические зарисовки.

Но острота этих мест пропадает в общем контексте произведения, ибо этим зевакам, которые тянутся за всякой злобой сегодняшнего дня, противопоставлены те, чьи поколения насчитывают века, но которые уже непричастны ни к какой злобе дня. Старые дворянские роды, «из изящных, белых рук» которых власть давно уже ушла, доживают свои дни старыми традициями. Они — живой анахронизм и они карикатурно комичны именно тем, что, как живой, дают тот либерализм 40-х гг., который давно уже умер. Но они-то все же и есть настоящие люди. Для их изображения поэт находит сочувственные краски.

«Не всякий может стать героем,
И люди лучшие — не скроем —
Бессильны часто перед ней...» (43).

Поэт извиняет их слабости, ибо в жизни все равно изменить ничего нельзя. И если смешна при той сложности, какую являет собой капиталистический 19 и 20 вв., их «тургеневская безмятежность», их вера в «гражданские святыни» и общая их отсталость и консерватизм, то не менее смешны и те, кто думает эту жизнь переделать, кто восстает против сложившегося быта. Блок карикатурно дает вихрастого идеального малого, который венчаться не согласен, «когда страдает так народ», и который, несмотря на разговоры «о социализме, о коммуне» в конце концов поступает на службу, сменив косоворотку на манишку, становится честным чиновником и хорошим семьянином и повторяет, таким образом, обычный жизненный круг.

Так в «Возмездии» сатиры не получилось. Вместо «Дроби мой гневный ямб каменья», вместо последовательного отрицания, для которого необходимо было столь же продуманное утверждение тех сторон, которые через это отрицание приведут к их противоположности и выведут из того социального тупика, который так остро сознавал поэт — вместо этого он отрицательному противопоставляет сознание погибающих социальных групп. В свой смертный час они особенно остро биологически ощущают общую красоту и осмысленность жизни, а к отдельным смешным сторонам относятся снисходительно, часто сочувствующе. Частные неурядицы жизни противопоставляются общей целесообразности мира. «Жизнь идет нелепым строем, великолепна и шумна» — так выражает Блок это мировосприятие. Но сознание абсолютной ценности жизни мало уясняло те причины, которые вызывали «нелепость» ее частных проявлений, и делало критику этих сторон жизни абстрактной и пассивной.

Гневные ямбы поэта прозвучали лишь «тихими стихами» презрения к мещанству буржуазного общества. Как ни мелки подчас интересы поэтов, вскрывающих это мещанство в их профессиональной оторванности от жизни, в изолированности их «пустынного квартала», где:

«Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и пряно.
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно. (III, 153).

При всем том есть у них поэтическая мечта, которая преображает жизнь, есть у них «и косы, и тучки, и век золотой — тебе ж недоступно все это».

Умеренности мещанина, который «доволен собой и женой», «своей конституцией куцой», противоставляется в третьем томе «всемирный запой» поэта. И тут же целый ряд портретов этих довольных собой или скучающих «мертвецов».

«Мертвец весь день трудится над докладом.
Присутствие кончается. И вот —
Нашептывает он, виляя задом,
Сенатору скабрезный анекдот...» (III 39).

Мир, который «трудов исполнен малых и мелочных забот», кажется поэту таким ненужным, нестоющим, в нем все так бессмысленно и нелепо, что начинает в его сознании казаться фантасмагорией, становится миром призрачным, фантастическим. Насмешка над «мертвецами» сочетается с фантастикой их изображения. Это столь знакомые и характерные для романтической поэзии формы: сочетание иронии с фантастикой.

Мещанин, нашептывающий скабрезный анекдот, превращается в мертвеца, под фраком его «кости лязгают о кости». И «отменный порядок этого мира становится фантасмагорией, в которой все об'яты сумасшествием тихим».

Фантастичность «мировой чепухи» для романтика с его мерилом абсолютно не становится менее причудливой от того, что она воплощается в «слишком сытые тела». «Довольных сытое обличье» у Блока дано в том же плане нереальности, как знаменитая семипудовая купчиха у Достоевского. И факт прихода «замученных» ими, несомненный для Блока, также не имеет никакой реальной основы. Это мистическое возмездие за грехи «сытых», которое свершится, ибо так «велит времен величье и розоперстая судьба». И именно поэтому осмеяние сытых не ведет к призыву на борьбу с ними, лишено активного волевого момента. Гибель «сытых» для мистического сознания поэта предрешена.

«Овеют призраки ночные
Их помышленья и дела
И загниют еще живые
Их слишком сытые тела.
Их корабли в пучине водной
Не сыщут ржавых якорей,
И не успеть дочесть отходной
Тебе, пузатый иерей». (III, 105).

Так, Блок еще в 1907 году писал отходную старому миру, в то время, как предстояла еще очень тяжелая, жестокая борьба с большими жертвами для борющегося пролетариата.

С другой стороны, пассеистичность блоковской иронии сказывалась в том, что, не видя реальных социальных соотношений, давая буржуазный мир в рамках мистических предчувствий гибели его — что было лишь проекцией ощущений гибели своего класса, — Блок временами принимал, вернее, спокойно, без досады или гнева изображал мещанскую «Русь». Все же это была та атмосфера, в которой он дышал и перед которой слишком ужасными были безвоздушные пространства будущего небытия. В неизбежности гибели старого мира Блок был убежден. «Пустая вселенная глядит в нас мраком глаз». Это звучит почти в каждой его строчке. «Русь» мещанская все же

давала ощущение тепла, пусть и ужасного, но своего родного хлева.

В этом об'яснение стихов о России. Они продиктованы не тем народничеством Блока, о котором так много писали. Вернее, это, так называемое, народничество имело в своей основе стремление «посидеть тихонько в тепле», «в этом комнатном теплом углу». Таким «комнатным» углом была для Блока «Русь», все особенности ее истории, Куликово поле и татары.

Поэтизация «родного» была способом спастись от неизбежной гибели, показать, что не все подлежит этой гибели, что есть какие-то народные основы, таящие в себе истинные ценности. Здесь Блок сближался с народниками. В период революции он официально был связан с с.-р. Но как далек он от них по существу. Вера в народ для с.-р. была панацеей от всех социальных зол. Для Блока это была остановка, передышка в родном тепле на пути к гибели мира. Ни одной светлой картины не вызвали у него его народнические симпатии.

Здесь источник таких стихотворений, как известное «Грешить бесстыдно, непробудно...»

Необычайно ядовитое по своей иронии, оно построено на острых смысловых переходах, вскрывающих ничтожность «святого» и значительного. Заплеванный пол церкви, к которому прикасаются «с головой от хмеля трудной», кресты и поклоны и медный грошик, пожертвованный на бедность обирающим и обмеривающим тех же бедняков — все это дает необычайно яркую, почти физически осязаемую картину буржуазной торгашеской России. Но иронически вскрывая ее сущность, Блок в то же время заканчивает:

«Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне». (III, 321).

Источник такого пассеистического отношения был выше вскрыт. Но он же делал легковесными насмешки Блока над «презрительным эстетом», который носит «томик Уайльда, шотландский плед, цветной жилет», над «женщиной», с ее патетической декламацией, которой она хочет показать свою «независимость». Это все те же вариации портретов «сытых», и они вызывают порой досадливую, презрительную, порой снисходительную скучающую усмешку у поэта, который проходит мимо них, который смотрит на них с какой-то своей высоты. В этом основные свойства его иронии.

Но с высоты романтического, мистического абсолюта также ничтожна и личность того, кто высмеивает ничтожность мира. В гротескно-иронических и в то же время фантастических тонах дана история гибели души поэта («Жизнь моего приятеля»):

«Когда невзначай в воскресенье
Он душу свою потерял,
В сыскное не шел отделенье,
Свидетелей он не искал.

А было их, впрочем, не мало.
Дворовый щенок голосил,
В воротах старуха стояла,
И дворник на чай попросил». (III. 56).

Натуралистические подробности оттеняют здесь фантастическую «потерю души», делая эту значительную и трагическую тему банальной исповедью полупьяного человека.

Так вырабатывается образ: «был он только литератор модный», о котором «какой-нибудь поздний историк напишет внушительный труд» и замучит ребят «годами рожденья и смерти и ворохом скверных цитат».

Бессмысленна реальная жизнь поэта, которая сводится к тому, чтоб «стать достояньем доцента и критиков новых плодить». А мечта поэта хрупка и ничтожна, как сусальный ангел, который так быстро тает, несмотря даже на то, что он «немецкий». «Под ярким пламенем событий, под гул житейской суеты» гибнут и мечты поэта. И поэт знает, что гибель эта неизбежна. Но это не вызывает уже тех острогротескных протестующих строк, как в драмах. С равнодушием отчаяния он говорит: «Так. Погибайте. Что в вас толку?»

Так критика буржуазно-мещанской жизни с романтических высот переходит в критику этих самых романтических идеалов. Причем и та и другая одинаково бездейственны и общи. Ибо то «презренье», которое по Блоку спокойно «созревает гневом», не ведет ни к какой борьбе.

И остается только:

«Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, —
Дням настоящим молвив: нет!» (III, 112).

И потому, что поэт не видит этого грядущего, так мало действенен призыв:

«Гроба, наполненные гнилью,
Свободный, сбрось с могучих плеч» (III, 105).

Задача поэта: «лживой жизни этой румяна жирные сотри»... выполнена поэтому наполовину и не достигает своей цели.

Так, ирония Блока, начавшись с осмеяния пошлости сытых во имя творческой мечты по-

эта, в период, когда крепки были в нем дворянские традиции, когда незыблем был рыцарский образ «Прекрасной дамы», приходит через ироническое разоблачение этой романтической мечты, вызванное социальными сдвигами 1905 г., сделавшими явным для поэта полное разложение дворянства, к показу самодовлеющей пошлости повседневного, которая в своей абсолютности начинает сквозить мистическим туманом.

Комическое и фантастическое сочетание в изображении пошлости сытых.

Эпоха реакции, разоблачившая для Блока подлинное лицо мнившей себя революционной дворянско-буржуазной интеллигенции и в то же время неуменье осознать социальную обусловленность этих проявлений ее мещанско-обывательской сущности, и отсюда приписываемый им абсолютный характер, привели к этому сочетанию комического и фантастического в изображении пошлости «сытых». Выявление «пошлости таинственной» составляет основной стержень третьего тома.

Таков тот поэтический багаж Блока, с которым он пришел к Октябрю. Чем же был Октябрь в творчестве Блока? Что нового дает его поэма «Двенадцать»?

Ясно, что она была подготовлена всем предыдущим путем поэта: острым недовольством социальной действительностью, критикой буржуазного мира поэтом-романтиком. Причем критика эта шла по линии романтической иронии, которая пассивно обнажала смешное с высоты мистического созерцания.

Но правы ли те, которые говорят о переломе, происшедшем в Блоке в связи с революцией (см. П. С. Коган — Литература этих лет).

В известном смысле это было так. Революция была тем толчком, который помог накопленному количеству превратиться в иное качество. Несомненно, что «Двенадцать» дают иное качество иронического отражения жизни, чем прежние произведения Блока. И это иное качество проявляется в том, что иной характер приобретают его насмешки, что прежняя их пассивность в значительной мере исчезает, уступая место активному негодованию. Это сделало возможным появление таких образов, как:

«старый мир, как пес безродный —
стоит за ним, поджавши хвост».

Все образы этого старого мира сатирически заострены и наполнены конкретным социальным содержанием: это уже не расплывчатая характеристика «сытых», лишенная конкретных черт. Блок дает реалистические четкие образы их представителей. Вместо «пузатого иерея» появляется «нынче невеселый товарищ-поп».

«Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ».

Поэты, у которых «и косы, и тучки, и век золотой», превращаются в длинноволосого «писателя-витию», который уже не мечтает о золотом веке, а злостно шипит на строителей новой жизни: «Предатели! — Погибла Россия». Классовый характер их мечтаний о золотом веке, которые Блок когда-то противопоставлял косной тупости мещанства, вскрыт теперь достаточно ясно. Они вместе с этим мещанством составляют единый фронт против общего врага.

Проститутки теряют таинственные очертания «Незнакомки» с ее мистическими намеками на потустороннюю тайну и весьма конкретно обсуждают:

... И у нас было собрание...
... Вот в этом здании...
... Обсудили —
Постановили...
На время — десять, на ночь — двадцать пять...
И меньше ни с кого не брать...

«Барыня в каракуле» и старушка, жалующаяся, что «большевики загонят в гроб», — довершают картину этих представителей старого мира.

В стиле поэмы вообще любопытно перемежаются реалистические и символические формы. Реальные образы буржуазии — с образом-символом:

«Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос,
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост».

Образы красногвардейцев даны с одной стороны в плане реального с такими реалистическими деталями, как «рваное пальтишко, австрийское ружье». С другой стороны — их образы, символы 12-ти христианских апостолов. И за теми, кто идет «без образа святого», стоит фигура Христа «в белом венчике из роз».

Также двойственен тот образ снежной мятели, вьюги, который является фоном всей поэмы. То это комически данный веселый ветер, который крутит подолы прохожих, то это мистический «ветер, ветер — на всем божьем свете»?

Бесполезно, конечно, спорить о том, что же это такое — реалистический романтизм или романтический реализм (см. в книге Никитиной и Шувалова полемику со статьей Гольцева — Реализм Блока). Этот формалистский бред отошел уже в прошлое. Важно то, что выявляется через этот, столь характерный для поэта стиль. Неполнота реалистического изображения, срывы в мистичность, в романтическую символику обнажают неполноту проникновения той новой реальностью, которая открылась поэту в революции.

Ибо настроение его красногвардейцев в памятные послеоктябрьские дни ничего общего не имеет с тем пафосом и в то же время сознательной волеустремленностью, с которой действовал пролетариат в эти дни. Их удальство, их разгул, в котором больше тоски, чем радости, не характерен для действительных участников революционных боев на улицах Москвы и Ленинграда. Люмпенская стихия, влившаяся в революцию, занимает у Блока подлинных борцов революции.

Но в то же время в «Двенадцати» поэт подымается до предельной высоты отрицания старого мира. Его насмешка над ценностями этого мира переходит в резко выраженный призыв к его разрушению. А иронические образы получают художественное наполнение, превратившись из отвлеченно-презрительных насмешек в реалистический показ комических образов.

Этим определяется значение поэмы Блока, о которой в свое время так много спорили. «Может быть, действительно, «Двенадцать» выражают дух нашей революции, может быть они, действительно, занимают совсем особое место в творчестве Блока, может быть утверждая глубоко реакционный характер поэзии Блока, нужно сделать для «Двенадцати» исключение?» — спрашивает Г. Е. Горбачев (Капитализм и русская литература, 1925 г., стр. 160).

И тут же он отвечает: «Если мы Пильняка за изображение революции сквозь аспект обывательских ощущений и половых переживаний считаем художником, бродящим около революции и далеким от проникновения в ее суть, то почему поэма «Двенадцать», изображавшая революцию, как убийство Катьки Петькой, — более достойный дар революции от интеллигенции?» (стр. 161).

Но дело-то в том, что это произвольное толкование Горбачева. У Блока революция дана не фактом убийства Катьки Петькой, а грандиозностью разрушения старого мира. Пусть это разрушение было неорганизованным, стихийным, развязывающим страсти для грабежа «этажей» и для убийства из ревности. Но основным стержнем поэмы является мотив революционного разрушения, образ разрушаемого старого мира, который проявляется и через вводные образы попа, поэта, барынь и др. и через господствующий над всем образ «паршивого пса» — старого мира и через все заносящую снежную вьюгу и музыку разрушения.

Горбачев здесь делает, прежде всего, очень грубую методологическую ошибку, которая встречается у многих исследователей Блока. Считая, что основная тема «Двенадцати» убийство красногвардейцем Петькой проститутки, они явно смешивали понятие темы с сюжетом, с развертыванием темы. Происходит это потому, что под темой разумеется совокупность происшествий, проходящих на протяжении произведения. А так как в «Двенадцати» по существу дано лишь одно такое «действие», то побочный мотив убийства об'являтся основной темой произведения.

То, что момент убийства — второстепенный, это оттеняется в самой поэме словами красногвардейца, которыми он укоряет тоскующего убийцу и которые не учитывает Горбачев:

«Поддержи свою осанку!
Над собой держи контроль.
Не такое нынче время,
Чтобы няньчиться с тобой
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!»

Это товарищеское «над собой держи контроль», это сознание особого бремени, возлагаемого на каждого участника революционных боев, сознание значительности момента, показывает возможность перехода блоковских красногвардейцев люмпен-пролетариев от революционного бунтарства к сознательному участию в революции.

П. С. Коган писал о том, что Блок принимал душу революции, ее романтику и не мог принять ее разума, ее рационального действования.

Конечно, в той потрясающей социальной катастрофе, какой был русский Октябрь, был мо-

мент романтики, который сближал романтика-максималиста Блока с революционной стихией. Ведь каждый революционер был романтиком. Не в смысле философского, не в смысле идеалистического подхода, а в смысле моральном — утверждения ее идеальной сущности. Но Блок остается исключительно в пределах этой веры, освящаемой для него столь чуждым революции образом христа, выдающем классовую чуждость автора. Отсюда неполнота в изображении октябрьских событий, неуменье видеть процесс в его целом: разрушительные тенденции, представленные деклассированными люмпенами, для него совершенно закрывают созидательные тенденции революционного пролетариата.

Приведенное же Горбачевым сопоставление с Пильняком, если вообще законна такая ни на чем не основанная параллель, характерно. На нем легко вскрыть особенности блоковского приятия революции. Пильняк всюду вскрывает в новом старое. Через революцию, через всяческие сдвиги в быту протаскивает он обывателя-мещанина, показывает его неизбежность, а, следовательно, и необходимость в новой жизни, делает его вечной категорией нашей пореволюционной действительности. Блок не принимает обывателя, считает его существование чем-то преходящим, подлежащим уничтожению, относительным. В разрушении обывательского мира, — основное, что привлекло Блока к революции.

Когда после первых месяцев упоения разрушением нужно было приступить к организованной повседневной работе, Блока не хватило на это. Революционная повседневность показалась ему столь же страшной, как и мещанские будни. Ему стало казаться, что обыватель вылезает из каждой щели. Этот преувеличенный страх был обратной стороной своего неуменья стать в ряды строителей новой жизни, своей неизжитой деклассированности. И Блок после 1918 г. замолчал.

Но не о «молчании» Блока нам нужно говорить, не по нему судить о поэте. Блок для нас кончился в 1918 г. Те три года, которые он физически продолжал существовать после этого, по существу могут быть не учтены при оценке литературного наследства Блока. Они говорят о личной драме Блока, о драме человека, которому каждая из борющихся сторон могла по существу сказать: «Ты не наш». Мы можем и должны судить о поэте только по тому, что он дал нам. И в этом разрезе поставить вопрос о том, нужен ли нам Блок, что говорит он современному читателю. Этот вопрос сводится к более общему вопросу о литературном наследстве чуждых нам классово писателей.

Поэзия Блока конечно имеет уже историческое значение: она знакомит современного читателя с умонастроением дворянско-буржуазной интеллигенции до 1905 г. и в период между двумя революциями. При большом мастерстве поэта историческая ценность его творчества очень велика. Отмахиваться от творчества Блока, как это делает Горбачев, заключая свою статью выводом: «Его книги возьмет с собой в могилу уходящая в прошлое буржуазная интеллигенция» — значит левачески отмахиваться от всей прошлой культуры, т. е. делать то дело, которое так осуждал В. И. Ленин. И если ценно для нас литературное наследство чуждых классово писателей, то в отношении Блока есть еще один момент, который делает фигуру Блока не только исторической, но и актуальной в наши дни: это момент признания Октября и момент общей жгучей ненависти к старому миру, закрепленный в мастерские строфы «Двенадцати».

Конечно, смешно апеллировать к этой поэме, когда речь идет о том, чтобы нашего рабочего, комсомольца, колхозника знакомить с художественным отображением Октября. О том, насколько неполно дана в поэме революция, насколько преувеличен в «Двенадцати» момент разрушительный — достаточно говорилось.

Но нужно и должно напоминать о «Двенадцати» как нашей так и западной колеблющейся интеллигенции, как и той белогвардейской банде, которая писала о «соблазнительно-кощунственной» поэме Блока в ее отношении к революции, как о «частном случае отношения к греху и мерзости вообще» (см. анекдотическую статью Струве о «Двенадцати», целиком выписанную Блоком в дневнике 21 г., стр. 236-239). Надо помнить, что все же «Двенадцать» Блока — это наш козырь против старого капиталистического мира.

Ибо в «Двенадцати» сатирические образы, которыми он заклеймил представителей старого мира, подготовленные всем тем арсеналом ненависти и иронии, которые шли нарастая в дооктябрьский период — получили реалистическую законченность и ударную меткость.

V

Художественное оформление иронии идет в творчестве Блока, главным образом, по линии следующего приема: высокое патетически интимное или патетически негодующее описание заканчивается срывом в ироническую концовку.

Переходы эти необычайно остры и резки, чисто гейновские в этом смысле. Целый ряд стихотворений третьего тома, и «Возмездие» построены таким образом. В более ранних стихах мы находим этот прием реже. Он появился в то время, когда осмеяние мещанских будней во имя романтического идеала сместилось разочарованием в этом идеале и отсюда его пародированием.

Прием этот идет по двум направлениям: когда серьезное описание прерывается или заканчивается иронической сентенцией или описанием. Или когда комическое описание ведет к серьезному выводу. В том и другом случае чем резче различие между этими двумя планами, тем острее комический эффект, ими вызываемый, тем резче выявлено основное задание комического уничтожения изображаемого.

Поэтому Блоку нужно было привлечь столь далекий и в то же время столь примитивный образ «детской» с ее радостями немецких «сусальных ангелов», чтоб сопоставить его со всей сложностью и трагичностью переживаний поэта, хоронящего свои поэтические мечты и иллюзии.

Строки предельного отчаяния и тоски «Жизни моего приятеля» прерываются комическим изображением смерти поэтической души, «когда невзначай в воскресенье он душу свою потерял», обставленной такими сугубо реальными подробностями — показаниями свидетелей: «дворовый щенок голосил, в воротах старуха стояла и дворник на чай попросил».

И обратно, комическое описание пустынного квартала поэтов «На почве холодной и зыбкой», их быта и навыков, с их мелочным самомнением и профессиональной тупостью, «разнежась мечтами о веке златом, ругали издателей дружно» кончается взрывом патетически-серьезного. Сравнение этой жизни с мещанским существованием вызывает следующую тираду:

«Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!» (III, 154).

Вся поэма «Возмездие» построена на таких переходах. Жизнь идет «нелепым строем, великолепна и шумна» — вот основное мироощущение поэмы. Поэт вскрывает этот «нелепый строй» на фоне утверждения «великолепия» жизни. Так получается, что каждая картина, вскрывающая ту или иную частную нелепость, заканчивается размышлением по поводу общей осмысленности жизни в ее целом. И обратно, глубокая трагичность жизни нарушается отдельными комическими ее явлениями.

Описание ужасов войны, которые для солдат, вернувшихся от Плевны, еще стоят тяжелыми видениями, заканчивается иронической вставкой о тяжелом бремени «вечной розни среди штабных и строевых» и об «интендантов кознях». И эта вставка, переводя внимание читателя, вскрывает незначительности того, что является причиной этих ужасов войны.

Наоборот, комическое изображение того, как после всех пережитых ужасов солдаты вознаграждены цветами и улыбками обывателей, встречающих с энтузиазмом своих «героев», как патриотическая помпа, которая дана через комические образы зевак, заполняющих улицы, влезающих на фонари, сменяется ощущением величия жизни, в которой происходят подобные комические парады.

Или трагическое сознание рока у поэта. «Ты мог бы некий знак заметить, которого не знаешь ты» сменяется иронией над обывательским отношением к жизни.

«Ты занят всякими делами,
Тебе, конечно, невдомек,
Что вот за этими стенами
И твой скрываться может рок...
(Но если б ты умом раскинул,
Забыв жену и самовар,
Со страху ты бы рот разинул
И сел бы прямо на тротуар!)»
(Возмездие, стр. 39).

И рассуждение о величии жизни в ее постоянном, непрерывном движении:

«Так неожиданно сурова
И вечных перемен полна;
Как вешняя река, она
Внезапно тронуться готова,
На льдины льдины громоздить
И на пути своем крушить»

и сразу переход, вскрывающий ничтожность того, что люди сделали из жизни:

«Виновных, как и невиновных
И невиновных, как виновных».

Таков общий композиционный прием для вскрытия иронического мироощущения поэта-романтика, где критика существующего базируется не на обнажении реальных противоречий, а на противопоставлении осмеиваемому некоего индивидуалистического момента, отвлеченно-возвышенных ценностей.

В соответствии с этим — одним из излюбленных приемов иронического изображения является пародия.

Пародия дает два плана изображаемого без их оценки. Она воспроизводит осмеиваемое или буквально, или выявляя основные стилевые и смысловые формы осмеиваемого, причем дает это в таком контексте, что они, без всякой авторской оценки, производят комическое уничтожение изображаемого. Пассеистическая тенденция поэта-романтика выявляется через пародии.

Блок пользуется формами пародии особенно часто в «Возмездии», причем пародия иногда подчеркнута кавычками, иногда дана без них. Таковы выражения: «Хранит гражданские святыни» — о запоздалом дворянском либерализме, где пародируется высокий стиль «гражданских» речей, или:

«То нигилист в косоворотке
Придет и нагло спросит водки,
Чтоб возмутить семьи покой
(в том видя долг гражданский свой)».

Пародируется народническая терминология и излюбленные народнические выражения, в которых варьируется тема о страданиях народа:

«Жених — противник всех обрядов
(Когда «страдает так народ»)
Невеста точно тех же взглядов:
Она — с ним об руку пойдет,
Чтоб вместе бросить луч прекрасный,
«Луч света в царство темноты»
(И лишь венчаться не согласна
Без флер д'оранжа и фаты)».

Пародируется психология людей, которые все делают лишь «принципиально» и вносят эту «принципиальность» в мелкие вопросы быта:

«Вот с мыслью о гражданском браке,
С челом мрачнее сентября,
Нечесаный, в нескладном фраке
Он предстоит у алтаря,
Вступая в брак «принципиально».

Доморощенный демонизм, байронизм, пародируется через дамскую его интерпретацию. Дамы были в восхищении — «Он Байрон, значит демон»...

Этот демонизм, связанный с иллюзией власти над мирами, разоблачается так:

«И царство (царством не владея)
Он обещал ей...»

Здесь простая прозаическая вставка слов: «царством не владея», сразу обнаруживает эту иллюзорность.

Из частных приемов комического уничтожения изображаемого Блок пользуется приемами, основанными, главным образом, на смысловой игре. Чисто фонетических комизмов, игры слов у него совсем нет.

Игра смыслом понятий построена на указании двойственности реального и мистического.

«Ему хочется за море,
Где живет Прекрасная Дама»

«Так зачем же она не приходит?
Она не приходит никогда:
Она не ездит на пароходе». (II, 69).

Мистическое явление и физический приезд создают здесь двойную игру.

Подобного же рода приемы дают игру реальным и мистическим в следующем примере:

«Ты нам грозишь последним часом
Из синей вечности звезда!
Но наши девы по атласам
Выводят шелком миру: да!» (III, 163).

Игра двойным смыслом выявляется через излюбленный Блоком прием перечисления, когда в одном логическом ряду сопоставляются разные смысловые категории.

Таков в «Ночной фиалке» вышеупомянутый пример, кончающийся сопоставлением:

«Развратно длинных бесед
О дурном состоянии желудка
И о новом совете министров»
(II, 31).

В «Жизни моего приятеля» (см. стр. 58, III), в «Возмездии» такие перечисления всегда бывают связаны с острой смысловой игрой:

«Бывал ботаник здесь Бекетов,
И многие профессора,
И слуги кисти и пера,
И также — слуги царской власти,
И недруги ее отчасти... (Возмездие, 51).

Стилистика комических образов Блока резко выделяется на фоне общей его стилистики своей реалистичностью и определенностью среди мистических и абстрактных понятий.

присущих лирике Блока. Все эти слова главным образом направлены на характеристику физической уродливости и представляют слова вульгарного житейского жаргона. «Виляя задом... его гляделки... дряблость мускулов и грудей обнажив... они, визжа, влезают в воду, шарят неловкими ногами дно» (II, 250).

«Затянутого в китель офицера с вихляющимся задом и ногами, завернутыми в трубочки штанов» (II, 248).

«Пузатый комод... конституция куцая... сытые тела... пузатый иерей, сытое обличье... с вихляющимся задом... плоский смех, с физиономией дурацкой... толстомордонькая» и др.

Все эти приемы, направленные на разоблачение через иронию того мещански пошлого, что составляет сущность буржуазных будней и той пошлости, которая скрывается за мистическим преображением этих будней интеллигентскими приживальщиками буржуазии.

Об этих последних он писал в дневнике 1918 года:

«Происходит совершенно необыкновенная вещь (как все): «Интеллигенты», люди, проповедывавшие революцию, «пророки революции» оказались ее предателями. Трусы, натравливатели, прихлебатели буржуазной сволочи... Это простой усталостью не об'яснить.

На деле вся их революция была кукишем в кармане царскому правительству».

Такие строки были возможны для деклассированного дворянского поэта, для которого в период между двумя революциями защита своих бывших людей уже невозможна, ничтожность буржуазии, творящей жизнь сегодняшнего дня очевидна, а приход будущих людей хотя несомненен, но непонятна сущность этого прихода. Все это вызвало ту критику буржуазного мира, которая шла через романтическую иронию последнего дворянского поэта.

В своей критике буржуазного строя Блок — дворянский поэт — не одинок. Много было попыток такой критики, часто очень меткой, злой и беспощадной. Но все они, принадлежа деградирующим социальным группам, звали от зла современности к благам прошлого, к тем благам, которыми они сами пользовались, когда были наверху социальной лестницы.

Наиболее характерен пример Толстого. На вершине дворянской культуры он видел ее разложение и через это разложение критиковал буржуазный строй, звал к «феодальному социализму».

Особенность положения Блока в том, что он, критикуя буржуазный строй с его культурой, сознавал, что ненужно и невозможно восстановление старого. Его деклассированность позволяла видеть тенденции социального развития, восторгаться пролетарской революцией, хотя и не мог в нее органически войти и подчас плакал над разрушением Шахматова и не видя перспектив революции роптал: «Как я устал от государства, от его бедных перспектив, от этого отбывания воинской повинности в разных видах. Неужели долго или никогда не вернуться к искусству?»

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Иван Шухов.—Горькая линия. Роман. Книга первая. Изд. «Федерация». Москва. 1931 г. Тираж 10.000. Стр. 267. Цена 1 р. 85 коп., переплет 25 коп.

Несмотря на то, что в «Горькой линии» мы имеем пока только первую книгу большого и широко задуманного романа, она теперь же может быть отмечена, как довольно крупное и интересное произведение современной пролетарской литературы.

Шухов взял для своего романа Казакстан в той его части, которая подверглась в свое время усиленной колонизации, а с начала XIX века руссифицировалась при помощи миссионеров пресловутой «киргизской миссии». В Казакстане до Октябрьской революции и в годы гражданской войны наблюдался весьма сложный переплет национальных и классовых взаимоотношений коренного казакского степного населения с пришлыми насельниками края, русским казачеством и крестьянами-переселенцами из центральных губерний, причем основным моментом в развитии этих взаимоотношений была социально-классовая размежовка как в среде кочевников, так и среди колонизаторов-станичников. Постепенное нарастание классовых противоречий в ауле шло по линии безмерной эксплоатации и грабежа степной бедноты богачами — баями и русскими эксплоататорами — кулаками, а в казачьей станице определилось усилившимся процессом пауперизации менее зажиточной части станичного населения.

Первая книга романа обнимает эпоху с лета 1914 до конца 1917 года, причем последние события в степи и в станице носят уже в романе отголоски тех настроений, которыми жили массы в октябре 1917 года.

В первых главах показана жизнь казачьей станицы-крепости, такой, какой мы знали ее в канун империалистической войны. Взаимоотношения казаков с кочевниками характерны своею грубостью, сознанием своего превосходства. Между прочим, в романе дана картина захвата станичниками казакского покоса — таким путем на протяжении целого столетия русские казаки «осваивали» принадлежавшие кочевникам земли. В этой картине автор знакомит читателя с казачьей вольницей, показывая бытовое явление типичного «мирного налета», закончившегося кровавым столкновением и убийством одного джетака.

Станица делится на богачей — «ермаковцев» и бедноту — «соколинцев». Те и другие казаки, но среди «соколинцев» много пришлых людей, «разночинцев», принятых в казачье сословие за ведро водки. В среде этой бедноты несколько колоритных фигур: Афоня Бой, Санька Косоголовик, Спиря Сучок и другие. На протяжении многих лет все эти Афони, Саньки и Спири были только подручными и подпевалами станичных богатеев, «кондовых» казаков — Пикушиных, Сериковых, Бушуевых и прочей станичной «аристократии». Автор в спокойном повествовании показал постепенное и вполне закономерное нарастание противоречий между станичниками, об'единенных только казачьим званием, но глубоко раз'единяемых противоположностью социального положения, материальной зависимостью «соколинцев» от «ермаковцев», разницей их экономических интересов и т. д. Вполне естественно также об'единение казачьей бедноты с джетаками и бедняками-переселенцами для борьбы с обнаглевшей горстью станичных богачей и баев.

Классовая борьба среди кочевого населения носила еще более острый и определенный характер. Корни ее уходят в далекое прошлое. У пастухов Садвакасов и Койнетов много было времени осмыслить необходимость той борьбы, которую они начали против своих вековых угнетателей — баев Альтиев, Келимбетов и прочих.

Шухову следовало бы более рельефно показать классовую подоплеку борьбы и те пружины, которые об'единяли степного бая с кулаком-станичником в их борьбе против бедноты, но это ему сделать не удалось, он старается доказать необходимость об'единения бедноты в данной ситуации, что и так понятно. Активность бедноты вызвана необходимостью и является ответом на агрессивные действия байства и кулачества. Между тем у Шухова активность проявляют только кулаки-станичники, а степное байство остается инертным, тогда как в действительности дело обстояло вовсе не так. Мы знаем, какую активную роль в степи сыграл в свое время бай. Достаточно вспомнить деятельность Алаш-Орды и ее руководителей. Правда, деятельность эта вполне развернулась после чехо-словацкого переворота в 1918 году, когда Алаш-Орда целиком и полностью стала на службу контрреволюции, но и в дореволюционный период работа Алаш-Орды была довольно заметна.

Очень слабо в романе отражены степные события 1916 года, так называемое «киргизское восстание», а между тем это весьма интересная и красочная страница в истории развития революционного движения в казакской степи. Совсем не отмечена в романе руссификаторская роль церкви, работа так называемой «православной миссии». А между тем «работа» миссионеров в годы, предшествовавшие революции, была «притчей во языцех» в степи и вызывала крайне отрицательное отношение. Все это говорит о недостаточном знакомстве автора с исто-

рией революционного движения в Западной Сибири и придает повествованию слишком локальный характер.

Есть в романе Шухова и другие недостатки, совсем, например, отсутствует город, станица-крепость существует как-то сама по себе, нет рабочих, а фигура Салкына, единственного рабочего в романе, слишком схематична и недостаточно ярко очерчена. Шухов не пожалел красок для разрисовки других персонажей романа, в том числе даже эпизодических фигур в роде Сухомлинова, но слишком скупо и бледно написаны у него Садвокас — пастух и Федор Бушуев, являющийся одной из центральных фигур романа. Между прочим недостаточно обоснованы психологические сдвиги и социальный поворот Федора, неубедительна работа Салкына, о которой читателю приходится больше догадываться. Странно также, что русские казаки-станичники не знают казакского (киргизского) языка. В действительности станичники, постоянно соприкасающиеся с казаками-степняками, прекрасно владеют казакским языком, а в Прииртышских станицах (правда, это уже не «Горькая линия») они говорят по-казакски даже дома, в семье и с соседями. Почти у каждого зажиточного станичника в хозяйстве работали батраки-«киргизы», но в романе Шухова этот примечательный бытовой штрих совершенно отсутствует.

Но несмотря на наличие всех этих недостатков романа, нельзя не отметить большого формального мастерства Шухова как художника. Автор достаточно полно и глубоко усвоил большевистские принципы национальной политики партии, что в свою очередь дало ему возможность увидеть и показать классовую правду там, где она долгое время осталась прикрытой романтической дымкой старой экзотики. В этом, наряду с художественной ценностью, одно из главных достоинств романа Шухова.

Н. Феоктистов.

Юберном Пьер.—«В забое № 6». Авторизов. перев. с рукописи К. Варшавской под ред. И. Зусманович, с предисл. И. Анисимова. 1931. 112 стр.

«В забое № 6» — повесть из жизни шахтеров бельгийского рабочего писателя. В основе сюжета лежит эпизод обвала в шахте. На почве этой катастрофы возникает конфликт между администрацией и рабочими: чтобы спасти шахту от появившегося в одном из забоев гремучего газа, угрожающего пожаром всей породе, администрация жертвует жизнью рабочей артели и замуровывает ее.

Юбермон остро вскрывает классовое противоречие: капиталисты ради наживы заживо погребают шахтеров, рабочая масса охвачена ненавистью к эксплоататорам и убийцам. Казалось бы, революционное разрешение конфликта неизбежно. Однако пролетарии у Юбермона оказались классово несознательными, их возмущение бессильным, слепым стихийным гневом. Юбермон не поднялся до обобщений, — эпизод на шахте он дал вне всякой связи с революционной борьбой пролетариата против гнета капитализма.

Подчинение капиталистической действительности характерно для всех действующих лиц повести. Руководитель шахтеров, профсоюзный делегат, не направляет и не использует возмущения массы в целях революционной борьбы. Он — типичный выразитель идей «социального мира». Льевен — инженер (выходец из рабочей среды), потрясенный катастрофой, немедленно бросившийся спасать засыпанных обвалом шахтеров, прекращает спасательные работы, как только ему приказывает компания.

Примиренческие позиции Юбермона оказались как на идеологии повести, так и на ее структуре. Кроме двух борющихся сил, предпринимателя с его прислужниками и рабочих во главе с профсоюзным делегатом Проспером, налицо еще одна стихийная сила, роковым образом разрешающая конфликт. Эта сила природы. Перед ней, угрожающей гибелью угольной шахте, единственному источнику существования для шахтеров — рабочие смиряются. Перед этим аргументом (подкрепленным присланными броневиками и жандармерией), пасует их ненависть. Таким образом, по Юбермону борьба со стихийным бедствием об'единяет пролетариат и капиталистов. Признание возможности такого рода «соглашения» между двумя враждебными классовыми силами и указание на их общую зависимость от стихии «детерминизм стихийности». Эта точка зрения чужда пролетарскому мировоззрению, ибо она игнорирует влияние классовой борьбы на ход истории и нередко служит оправданием теории совместной эксплоатации природных сил и полюбовного дележа прибылей пролетариатом и капиталистами — вреднейшей соглашательской теории, еще до сих пор затемняющей классовое сознание пролетариата некоторых буржуазных стран.

Так бессознательно бельгийский рабочий писатель подпадает в своем творчестве под влияние господствующих в Бельгии идей, питаемых политикой II Интернационала. Юбермон должен преодолеть буржуазное влияние, освободиться от оппортунистических идей, которые заставляют его одинаково бесстрастно и об'ективно живописать и друзей и врагов пролетариата. Для нашего читателя книга Пьера Юбермона приемлема с оговорками, которые и дает предисловие И. Анисимова, обстоятельство, анализирующее творчество писателя и его социальные истоки.

Б. И.

Ясенский Бруно. — «Бал манекенов». Пьеса в трех актах. М.-Л. ГИХЛ. 1931 г. (Новинки иностранной революц. литературы). 110 стр. Ц. 90 к. 5000 экз.

Свою пьесу-гротеск, сатиру на современную социал-демократию, польский революционный писатель, Бруно Ясенский, написал, «чтобы дать пролетарскому зрителю возможность посмеяться над своими врагами здоровым смехом, дающим революционную зарядку». В основу пьесы положен условно фантастический прием. Вырвавшийся из ателье мод манекен случайно присваивает себе голову социалистического депутата, профсоюзного лидера Рибанделя, и принимая сторону бастующих рабочих, дает не-

ожиданный ход конфликту в автомобильной промышленности, срывая уже состоявшуюся сделку Рибанделя с заводчиками. Развертывая с большим искусством фантастический сюжет пьесы, Ясенский сознательно создает комические положения, нисколько не ослабляющие сатирическую революционную зарядку пьесы, а лишь заостряющие выделяемые автором ситуации. Фантастика Ясенского, дающая так много забавного и неожиданного, нигде не подменяет собой действительности, она всецело служит социально-сатирическим целям автора. Чего стоит показание манекена, свидетельствующего о том, что депутат помимо пяти дорогих костюмов, требующих бесконечных примерок, заказывает еще каждый год один бумажный, без примерки для предвыборных собраний. За острыми гротескными масками пьесы выступает истинное лицо буржуазии и ее верных помощников — социал-предателей. Пьеса написана так зло, с таким подлинно революционным сарказмом, что ее место на революционной сцене должно быть обеспечено. Книга легко читается, ее следует довести до широкого читателя.

Б. И.

Альберт Готопп. — Баркас Ли Г. Ф. 13. Роман. Автор. пер. с нем. Д. Усова. Послесловие Э. Миллера. ГИХЛ. 1931 г. Стр. 256. Ц. 1 р. 60 к.

Ряды молодой пролетарской литературы Германии пополняются новыми, свежими боевыми силами. Лорбер, Зегерс, Готопп — вот имена, которые не свидетельствуют о литературной «маститости», но которые много говорят немецкому пролетариату.

Альберт Готопп, активный участник революционного движения в Германии, член коммунистической партии, впервые выступает в литературе со своим романом «Баркас Ли Г. Ф. 13». Готопп, подобно Анне Зегерс (Восстание рыбаков. ГИХЛ 1929 г.), раскрывает перед нами социальное бытие своеобразных пролетариев-рыбаков, которые не перешагнули еще ступени, отделяющей «класс в себе» и «класс для себя». Мелкие кустари-одиночки, связанные со своей жалкой собственностью — баркасом и рыболовными сетями, — надеющиеся путем индивидуального накопления утвердить твердую материальную базу, покоряющиеся гипнозу класса капиталистов — вот социальный типаж, которым оперирует писатель в своем романе. Готопп проводит удачную аналогию между разрозненными хозяйствами рыбаков и индивидуальными формами крестьянского хозяйства. Законы, которые управляют экономическим развитием капиталистической страны, ясны писателю. Идет мощный процесс концентрации промышленных капиталов, беспощадно втягивающий в орбиту своего губительного влияния все новые и новые массы, одиночек-рыболовов, которые, не выдерживая конкуренции с крупными об'единениями, превращаются из мелких собственников в деклассированных пролетариев.

На частном примере — столкновении вдовы рыбака Гинрихсена Ли с Гаральдом Иогансеном, крупным коммерсантом-рыбопромышленником, Готопп раскрывает весь этот процесс, ярко обнажает грубую эксплоатацию класса собственника, который покупает людей, законы, печать.

Бытовая специфика моря, социальные особенности жизни и быта рыбаков, погрязших в рутине, консервативных, профессионально обособленных, моральный и физический распад которых санкционирован самим автором, прекрасно показаны писателем. Морская живопись Готоппа, мощная в своей суровой простоте, колоритно оттеняет художественный материал книги. Пролетарские писатели Анна Зегерс и Альберт Готопп имеют свой своеобразный стиль, простой, чеканный, скупой в эмоциях, почти лишенный украшений.

Но у Зегерс и Готоппа нет еще достаточного социального размаха, широты политического диапазона, глубины и четкости поставленных проблем. Метод фотографии, налет бытовизма в некоторой степени присущи творчеству этих писателей. Анна Зегерс подняла свой рыболовный пролетариат только на первую ступень классовой борьбы — экономическую забастовку. Готопп дал свой материал еще в более узком социальном разрезе. Тот путь, по которому идет западный пролетариат в борьбе за свое освобождение, только слегка намечен писателем. Забастовка, как один из моментов классовой борьбы, снята далеким и неясным планом. Неопределенный характер носит и концовка романа.

«Восстание рыбаков», «Баркас Ли Г. Ф. 13» — только эскизы к большим социальным полотнам, которые мы вправе ожидать от этих пролетарских писателей. **Т. Николаева.**

Висенте Бласко Ибаньес. — В поисках великого хана (Кристобаль Колон). Роман. Перевод с испанского Д. Выгодского. Государственное издательство художественной литературы. Ленинград—Москва. 1931. Стр. 384. Ц. 2 р. 90 коп.

Последний роман Бласко Ибаньеса, только что появившийся в русском переводе, менее всего принадлежит к числу лучших произведений прославленного испанского романиста. Хотя автор и работал над этой вещью восемнадцать лет, пытаясь создать нечто в роде национально-героической эпопеи («В поисках великого хана» является лишь первой частью, за ней должна была следовать вторая часть «Рождение Америки»), однако, роман вышел каким-то громоздким, рыхлым, лишенным художественной цельности. Исторический материал, с необыкновенной щедростью приводимый автором, нередко подавляет и превращает роман в своеобразное повествование типа романизированной хроники. Ибаньес и раньше обращался к сюжетам из прошлого, всегда стараясь щеголять точностью исторических и археологических аксессуаров, но это не мешало чисто художественному построению беллетристического произведения (например «Куртизанка Соннника»). Не то в разбираемом романе. Здесь нет яркости и красочности описаний, столь свойственных Ибаньесу, нет углубленного психологического анализа. Усиленно изучая литературу пятнадцатого столетия, Ибаньес сам стал писать летописным стилем.

Выбор темы характерен для Ибаньеса. Певец испанской буржуазной агрессии, не раз описывающий в своих произведениях устремления отдельных «сильных личностей», Ибаньес как-то естественно должен был обратиться к эпохе открытий и колониальных завоеваний. Открыватели новых стран и отважные конкистадоры не могли не привлечь его внимание. И здесь в первую очередь перед ним предстала загадочная фигура Христофора Колумба (Кристобала Колона). Знаменитый адмирал-мореплаватель действительно как бы создан для самого занимательного приключенческого романа. Ореол романтической тайны окутывает весь его жизненный путь. Насчитывается ни более, ни менее как 14 мест рождения Колумба; на его же долю выпала редкая честь иметь целых две могилы. О Колумбе и его деятельности написана масса различного рода произведений, причем, если одни авторы превозносили путешественника (некий французский писатель Розелли де Рорг договорился до того, что предложил причислить Колумба к лику святых), то другие, наоборот, занимались его развенчиванием. Недавно произвела большую сенсацию небольшая книжка Мариуса Андоэ «Подлинное приключение Христофора Колумба», где автор, перегибая палку в другой конец, изображает Колумба авантюристом, невежественным мореплавателем, злостным работорговцем и т. д. Бласко Ибаньес в своем предисловии к роману, озаглавленному «Тайна Колона», так резюмирует свое мнение: «Колон не был ни ученым, ни святым. Он был просто выдающимся человеком, одаренным большой силой воображения, исключительной волей, душой поэта и жадностью купца, порою дерзкий, порою до того осторожный, что он бросал все свои исследования незаконченными, во многих своих построениях гениальный, а в иных тупой и непостижимо косный. Короче говоря, человек огромных достоинств и больших недостатков...» (стр. 380—381).

Появление Колумба в Испании, всевозможные хлопоты об организации экспедиции и его первое путешествие в Новый Свет, являются темой романа Ибаньеса. Автор ведет свой рассказ на обильно уснащенном подробностями историко-бытовом фоне. Многое здесь весьма интересно и занимательно, но порой излишняя детализация замедляет темп повествования, и без того недостаточно динамичного. Изображая Испанию конца средних веков, эпоху об'единения королевств и победы над остатками арабского владычества, автор склонен к идеализации прошлого. Фердинанд и Изабелла, столь прославившиеся созданием инквизиционных судов и изгнанием евреев, расцвечены у Ибаньеса в самых розовых тонах. Автор с увлечением и под'емом повествует о стремлении Испании к открытию новых земель, считая это делом всего народа. Здесь уже в Ибаньесе говорит политик. Выступая ярким борцом против испанской разновидности фашизма (пламенный памфлет «Разоблаченный Альфонс XII» навсегда пригвоздил жалкую фигуру последнего испанского короля), Ибаньес в прошлом пытался найти оправдание исторической миссии испанского народа. Идея о восстановлении связи между Испанией и странами Латинской Америки была как раз популярна в либерально-буржуазных кругах, к которым был близок Бласко-Ибаньес. Под этим влиянием Ибаньес внес сильный акцент политики в свой роман. Но историческое построение Ибаньеса далеко не отвечает действительности. Им совершенно не учтены ни экономическое положение Испании в эпоху открытия Америки, ни движущие социальные силы.

Что касается до чисто художественных достоинств романа, то он, как мы уже сказали, заметно уступает другим произведениям Ибаньеса. Архитектоника романа громоздка, действие развивается с замедленными темпами. Любовная интрига, оправдываемая в романе Колумба и Беатрисы, довольно случайно притянута в описании любви юного испанца Фернандо и еврейки Лусеро. Автор явно ввел эти персонажи для оживления своего произведения. На это претендуют и сцены райской идиллии в экзотической обстановке, где юные герои впервые познали «плотскую любовь» («повторили первые жесты Адама и Евы», по образному выражению автора). От этого веет, правда, некоторой старомодностью, восходящей к «Дафнису и Хлое». Наряду с любопытным воспроизведением бытового уклада испанского средневековья, Ибаньес образно живописует новооткрытые земли, умело пользуясь дошедшими до нас свидетельствами современников.

Новый роман Ибаньеса, посвященный любопытнейшим моментам эпохи открытий, может быть прочтен не без интереса. Но во всяком случае не по этому финальному аккорду мы будем судить о литературном значении выдающегося испанского беллетриста.

И. Бороздин

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ

(с № 1 журнала „Красная новь" за 1931 г.)

В связи с тем, что подписка на журнал „Красная новь" в свое время значительно превысила предварительно намеченный тираж, часть подписчиков не получила № 1.

В целях удовлетворения подписчиков полным комплектом журнала издательство выпустило дополнительный тираж первого номера.

Просьба ко всем подписчикам, не получившим в своих почтовых отделениях (откуда им доставляется журнал) стоимость первого номера, немедленно затребовать у своих письмоносцев или почтовых отделений доставку себе № из дополнительного тиража.

Одновременно для всех подписчиков, уже удовлетворенных стоимостью недоставленного номера, предоставляется возможность вновь подписаться на № 1.

Подписка принимается только письмоносцами или почтовыми отделениями, ц. 1 р. Дополнительный тираж ограничен—спешите подписаться.

ПЕРИОДСЕКТОР

СОДЕРЖАНИЕ

Редакц. коллегия: Ф. Горохов, Вс. Иванов, Л. Леонов, В. Сутырин, А. Фадеев

Издатель: Государственное издательство художественной литературы

Адрес редакции: Москва, Старопанский пер., 7 Тел. 5-63-12.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1932 год

1-й в СССР

Ежемесячный библиографическо-критический журнал иностранной литературы

ИНОСТРАННАЯ КНИГА

„ИНОКНИГА" является органом Научно-исследовательского института иностранной библиографии СГИЗа.

„ИНОКНИГА" ставит задачи — своевременно информировать издательства, научно-исследовательские учреждения и широкие научные и общественные круги СССР о новинках иностранной литературы, а также давать библиографическо-критическую оценку наиболее выдающихся и актуальных книг.

„ИНОКНИГА" освещает специально-экономическую, научную, техническую, сельскохозяйственную, военную и художественную литературу.

В ЖУРНАЛЕ ПОМЕЩАЮТСЯ: обзоры книжной литературы по перечисленным вопросам, рецензии и аннотации на отдельные книги, а также списки новых книг, по возможности аннотированных, по иностранным критико-библиографическим и общим журналам и газетам.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год — 10 руб., на 6 мес. — 5 руб. Цена отдельного номера — 1 р.
Подписка принимается на сроки: на год — с 1 января, а на 6 мес. — с 1 января и с 1 июля

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: во всех отделениях, магазинах Книгоцентра Огиза, его уполномоченными и на почте

Издательство „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК", Москва, 6, Страстная пл.

ПОСПЕШИТЕ ПОДПИСКОЙ НА 1932 ГОД

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

(8-й год издания)

НОВЫЙ МИР

В 1932 ГОДУ В ЖУРНАЛЕ „НОВЫЙ МИР" БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

М. ШОЛОХОВ — Поднятая целина, роман.
Ф. ГЛАДКОВ — Энергия, роман.
И. БАБЕЛЬ — Рассказы.
П. ПАВЛЕНКО — Баррикады, роман.
И. ГОРБУНОВ — Камень, повесть.
П. СЛЕТОВ — Широкая падь, роман.
Ал. ТОЛСТОЙ — Петр Первый, роман, (вторая ч.)
— Ижорский завод, повесть.
ЮРИЙ ОЛЕША — Смерть Занда, повесть.
— Рассказы.
А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ — Цусима, главы из романа
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Свидание, роман
АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ — Россия, кровью умытая посл. главы романа.
ИВ. ВОЛЬНОВ — Комиссар Временного Правительства, отрывок из посмертной повести.
ВЛ. ЛИДИН — Великий или Тихий, повесть.
О. МАНДЕЛЬШТАМ — Путешествие в Армению, повесть.
К. ФИНН — Превращение, повесть.
Н. АСЕЕВ — Пятилетка, повесть.
Ф. РАСКОЛЬНИКОВ — В Афганском плену, воспоминания.
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — Год зорь, воспоминания.
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Путешествие на Малыгине, очерк.

И РЯД НОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ:

Э. Багрицкого, К. Большакова, С. Гехта, И. Евдокимова, М. Зенкевича, Л. Леонова, А. Малышкина, С. Маркова, П. Низового, Н. Никандрова, Л. Никулина, Б. Пастернака, Б. Пильняка, А. Платонова, М. Пришвина, В. Саянова, М. Светлова, С. Спасского, В. Ставского, Н. Тихонова, К. Федина, П. Ширяева и др.

Люди и факты. Литература и искусство. Литерат. архив. Наука и техника. За рубежом. Книжн. обозр.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 1932 г.: на 1 год — 10 р. 80 к., на 6 м. — 5 р. 40 к., на 3 м. — 2 р. 70 к., на 1 м. — 90 к.

ПОДПИСКУ СДАВАЙТЕ: ПОЧТЕ, ОРГАНИЗАТОРУ ПОДПИСКИ, ПИСЬМОНОСЦУ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1932 ГОД на

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ'ЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

КРАСНАЯ НОВЬ

Выходит под редакцией Ф. ГОРОХОВА, Вс. ИВАНОВА, Л. ЛЕОНОВА, В. СУТЫРИНА, А. ФАДЕЕВА

КРАСНАЯ НОВЬ печатает лучшие романы, повести, рассказы, очерки и стихотворения пролетарских и советских писателей

В 1932 ГОДУ БУДУТ ПЕЧАТАТЬСЯ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

Ник. Анова. И. Бабеля. В Бахметьева, Константина Большакова, А. Бибика, С. Буданцева, В. Вересаева, Артема Веселого, Вс. Вишневского, Е. Габриловича, Ф. Гладкова, М. Горького, Б. Горбатова, М. Громова, Б. Губера, А. Демидова, А. Долгих, Я. Евдокимова, М. Залка, А. Зорича, Вс. Иванова, Бела Иллеш, В. Каверина, А. Караваевой, М. Карпова. В Катаева, В Кина М. Казакова, М. Кольцова, П. Кофанова, Б. Кушнера, Дм. Лаврухина, Б. Лапина, Б. Левина, Л. Леонова, Ю. Либединского, Н. Ляшко, С. Малашкина. А. Малышкина, И. Микитенко, А. Митрофанова, Х. М. Мугуева, П. Низового, Н. Никитина, Г. Никифорова, Я. Новак, А. Новикова-Прибоя, И. Новикова, Л. Никулина, Н Огнева, Ю. Олеши, Д. Острова, П. Павленко, Ф. Панферова, С. Подьячего, Я. Рыкачева, Б. Савранского, Дм. Сверчкова, А. Серафимовича, С. Сергеева-Ценского, Г. Серебряковой. Л. Сейфуллиной, Л. Славина, М. Слонимского, А. Соболева, Шалва Сослани. В Ставского, А. Тарасова-Родионова, Н. Тихонова, С. Третьякова, Ю. Тынянова, А. Фадеева, К. Федина, К. Финна, О. Форш, М. Шагинян, Я. Шведова, М. Шкапской, М. Шолохова, Р. Эйдемана, И. Эренбурга, Бруно Ясенского, А. Яковлева и др.

ПОЭМЫ И СТИХИ

Н. Асеева, П. Антокольского, Э. Багрицкого, Д. Бедного, А. Безыменского, И. Бехера, Н. Брауна, М. Герасимова, А Гидаш, Жарова, Веры Ильиной, В. Кязина, В. Кириллова, С. Кирсанова, В. Луговского, С. Обрадовича, П Орешина, Б. Пастернака. Н. Полетаева, А. Подчертков, А. Решетова, И. Садофьева, Г. Санникова, В. Саянова, М. Светлова, И. Сельвинского, А. Суркова, М. Голодного, Н. Тихонова, И. Уткина, Н. Ушакова, С. Щипачева, М. Юрина и др.

В НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОМ ОТДЕЛАХ ЖУРНАЛА ПРИМУТ УЧАСТИЕ

Л. Авербах, И. Анисимов, В. Бонч-Бруевич, И. Боровдин, Б. Буачидзе, А. Бубнов, И. Виноградов, Б. Волин, М. Гельфанд, М. Григорьев, И. Гроссман-Рощин, Гурштейн, А. Дивильковский, С. Динамов, М. Добрынин, В. Ермилов, А. Ефремин, А. Енукидзе, К. Зелинский, Н. Иезуитов, С. Ингулов, С. Канатчиков, Б. Коваленко, Феликс Кон, Г. Корабельников, В. Киршон, А. Ломовский, А. Луначарский, Д Мануильский, П. Марков, И. Меце, Н. Мещеряков, Мизин, А. Михайлов, Л. Мышковская, С. Нельс. А Норич, Н. Осинский, Р. Пикель, М. Н. Покровский, Н. Плиссанов, Ф. Раскольников, В. Ральцевич, Ф. Ротштейн, М. Савельев, А. Селивановский, М. Серебрянский, Ю. Стеклов, А. Стецкий, В. Сутырин, А. Тарасенков, Л. Тимофеев. Е. Трощенко, Н. Феоктистов, А. Хвалов, Ем. Ярославский и др.

ЖУРНАЛ РАССЧИТАН НА ПАРТИЙНЫЙ, КОМСОМОЛЬСКИЙ, ПРОФСОЮЗНЫЙ И КОЛХОЗНЫЙ АКТИВ И СОВЕТСКУЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год (12 №№)— 12 р., на 6 м. (6 №№)—6 р. Отдельный № 1 р. 10 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в отделениях, магазинах, киосках Книгоцентра, его уполномоченными, всюду на почте и письмоносцами.